ПОДСТРОЧНИК ИСТОРИИ

АЛЕКСАНДР
ГОРОДНИЦКИЙ

«АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО...»

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ОСТРОВИТЯНИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Атланты держат небо на каменных руках…» – эта песня стала настоящим гимном «шестидесятников», а сам Александр Городницкий – живым классиком и одним из основоположников жанра наряду с Владимиром Высоцким, Булатом Окуджавой, Александром Галичем, Юрием Визбором. Однако его новая книга – больше, чем мемуары поэта. Будучи ученым с мировым именем, главным научным сотрудником Института Океанологии Российской Академии Наук, Александр Городницкий объездил весь мир, плавал по всем океанам, много раз погружался на морское дно в подводных обитаемых аппаратах (в том числе и на глубины более четырех километров), был на Северном полюсе и в Антарктиде, участвовал в поисках легендарной АТЛАНТИДЫ…

Александр Городницкий не случайно называет себя островитянином – родившись на Васильевском острове, он высаживался на берега множества островов от Ямайки, Гваделупы и Бермуд до острова Пасхи и Новой Земли. Обо всем этом – о научных экспедициях и дальних странствиях, сенсационных открытиях и незабываемых встречах, о стихах и песнях, довоенном детстве и Блокаде, переломах истории и смене эпох – Александр Моисеевич рассказал в этой книге.

- Александр Городницкий
  - Вместо предисловия
  - Васильевский остров
  - Ленинградские дети рисуют войну
  - Новая Голландия
  - Отечество нам – Горный институт
  - Глеб-гвардии Семеновского полка
  - На материк
  - Паруса «Крузенштерна»
  - Жена французского посла
  - Песни нашего века
  - За линией рампы
  -
  - Сколько миль до Атлантиды
  -

Александр Городницкий «Атланты держат небо…». Воспоминания старого островитянина

Вместо предисловия

Мы старые островитяне…

Вадим Шефнер

Моя память с возрастом, как и слабеющее зрение, делается дальнозоркой, – я начисто забываю события недавних дней и неожиданно для себя отчетливо вижу разрозненные картинки довоенного детства. Так, например, мне ясно вспоминается, как в 1936 году с Андреевского собора, неподалеку от которого стоял наш дом на Васильевском острове в Ленинграде, срывали кресты. Примерно в то же время была взорвана часовня Николы Морского на Николаевском мосту, названном так по этой часовне. После революции мост переименовали в честь лейтенанта Шмидта. Саму же часовню, по преданию, не трогали до смерти академика Ивана Петровича Павлова, жившего в «Доме академиков» на углу 7-й линии и набережной Невы. Великий физиолог был верующим и регулярно посещал эту часовню. Сразу же после его смерти часовню взорвали, но то ли постройка была крепкой, то ли взрывчатку пожалели, а вышло так, что распалась она на три больших части, которые долго потом разбирали вручную. Отец рассказывал, что мы с ним как-то проходили мимо взорванной часовни, и я спросил у него: «Папа, когда ее склеят?»

Я родился на Васильевском острове и вполне могу считать себя островитянином. Первые зрительные воспоминания связаны для меня с такой картиной: в начале моей родной улицы, перегораживая ее, сереют грузные корпуса судов, а над крышами окрестных домов торчат корабельные мачты. Мог ли я в далеком довоенном детстве представить, что мне посчастливится несколько раз обогнуть земной шар, плавать во всех океанах и даже купаться во всех, в том числе и в Северном Ледовитом (правда, там не по своей воле), высаживаться на берега многочисленных островов от Северной Атлантики до Антарктиды, неоднократно опускаться на океанское дно в подводных обитаемых аппаратах?

Я называю себя ленинградцем, ибо первыми словами, услышанными в детстве, были «папа» и «мама», а третьим – «Ленинград». Про дедушку Ленина и все его замечательные качества я узнал значительно позднее. Кроме того, мне трудно называть блокаду «Санкт-Петербургской». Конечно, умом я понимаю, что Великому и многострадальному городу необходимо было вернуть историческое имя, но для моего вымирающего

поколения он навсегда останется Ленинградом.

В 1982 году в небольшом сибирском городке Ялуторовске, неподалеку от Тюмени, в музее декабристов, устроенном в старой почерневшей от времени избе, в которой жил долгие годы ссыльный Матвей Иванович Муравьев-Апостол – брат казненного Апостола Сергея, я увидел странный экспонат. Это была старая толстостенная винная бутылка из темного стекла. Уже не надеясь вернуться в столицу, Матвей Иванович, забытый всеми, положил в эту бутылку записку о себе и уже ушедших из жизни друзьях-декабристах, а бутылку спрятал под половицу возле печки. Как будто не томился в ссылке в заснеженном сибирском городке, а тонул в бурном штормовом океане. Он был уверен, что про их поколение никто давно не помнит. Бутылку с запиской нашли уже в XX веке.

Несколько лет назад была начата большая работа над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо», 34 серии которого были закончены в этом году. Мне пришлось снова входить в дома и квартиры, где я когда-то жил, ездить в города, где я бывал молодым, разыскивать старых друзей, большинство из которых умерли или уехали, и я понял, что поиски прошлого – вещь неблагодарная. Под объективом кинооператора я сидел на подоконнике в узкой комнате на пятом этаже дома на Мойке, 82, где мы прожили с родителями более десятка лет, смотрел на Исаакиевский собор напротив, пытаясь вспомнить свою юность, и ничего не испытывал, кроме тоски по ушедшим и острой ностальгии по себе. И все-таки мне хотелось бы повторить попытку Матвея Ивановича и бросить свою бутылку в бушующий океан времени.

Я – представитель поредевшего поколения «шестидесятников», перешагнувший через рубеж тысячелетий, дожил до времени, когда песни и стихи как будто перестали быть нужны. Те наивные и хрупкие идеалы, которые манили нас в недолгую пору хрущевской оттепели и зыбкое неоднозначное время горбачевско-ельцинских перестроек, оказались призрачными. Авторитарная система, диктатура коррумпированной бюрократии, пришедшая на смену неустойчивой и слабой демократии 90-х годов прошлого века, становится все более циничной и беззастенчивой. Телеэкраны, радиоэфир, газеты, журналы и Интернет наполнены криминалом, кровью и цинизмом. Ксенофобия и неонацизм набирают силу при явном попустительстве властей. Всеобщая усталость, раздражение и разочарование достигли опасного предела.

Тихая, требующая глубоких раздумий стихотворная строка, негромкое звучание гитарной струны, приглашающее к

доверительному разговору – все это осталось в прошлом и сегодня как будто не востребовано. Песен в стране не слышно. Эфир заполнен попсой и так называемым русским шансоном, который и не шансон, и не русский. Телеэкран – третьесортными полицейскими фильмами. Через эфир и экран идет последовательная «дебилизация всей страны». Уместно вспомнить, что когда в средневековом Датском королевстве хотели отравить короля, то капали ему яд именно в ухо. Для чего это делается? Не потому ли, что дебилами легче управлять?

Для меня Родина – не только страна, где я родился, но и эпоха, в которой я вырос и жил. И меня невольно охватывает ностальгия по невозвратно миновавшему времени «поющих шеститесятых», поре недолгих юношеских надежд и первой волны гласности, вызвавшей к жизни среди прочего такое странное явление, как авторская песня, по ушедшим из жизни друзьям. Стремительно уходит в прошлое и становится историей наша научная жизнь, полярные и океанские экспедиции, становление новых теорий в науках о Земле. Кто-то из научных классиков сказал, что новые теории побеждают не потому, что они верны, а потому, что защитники старых уходят из жизни.

Эта книга – воспоминания не о «себе любимом», а скорее о минувшей эпохе и о тех людях, с которыми мне довелось встречаться и без которых моя жизнь могла бы сложиться иначе.

Я детство простоял в очередях
За спичками, овсянкою и хлебом,
В том обществе, угрюмом и нелепом,
Где жил и я, испытывая страх.
Мне до сих пор мучительно знаком
Неистребимый запах керосина,
Очередей неправедный закон,
Где уважали наглость или силу.
Мне часто вспоминаются во сне
Следы осколков на соседнем доме
И номера, записанные мне
Карандашом чернильным на ладони,
Тот магазин, что был невдалеке,
В Фонарном полутемном переулке,
Где карточки сжимал я в кулаке,
Чтоб на лету не выхватили урки.
Очередей унылая страда.
В дожди и холода, назябнув за день,
Запоминать старался я всегда
Того, кто впереди меня и сзади.

Голодный быт послевоенных лет
Под неуютным ленинградским небом,
Где мы писали на листах анкет:
«Не состоял, не привлекался, не был».
Но состоял я, числился и был
Среди голодных, скорбных и усталых
Аборигенов шумных коммуналок,
Что стали новоселами могил.
И знаю я – какая ни беда
Разделит нас, народ сбивая с толка,
Что вместе с ними я стоял всегда
И никуда не отходил надолго.

Васильевский остров

От рождения островитянин,
Я спокоен и весел, когда
За трамвайными блещет путями
В неподвижных каналах вода.
Никогда я на море не трушу,
Доверяя себя кораблю.
Не люблю я бескрайнюю сушу,
А бескрайнее море люблю.
Мне далекие архипелаги
Приносил на заре океан,
Где вились разноцветные флаги
Неизвестных до этого стран.
От Колгуева до Гонолулу,
От Курил и до Малых Антил,
Привыкая к прибойному гулу,
Я их в юности все посетил.
Собирал деревянные маски,
С аквалангом нырял между дел
И на идолов острова Пасхи
С суеверным восторгом глядел.
Но ходившему Зундом и Бельтом,
Больше дальних морских берегов,
Полюбилась мне невская дельта —
Полинезия в сто островов.
Изучивший от веста до оста
Океана пронзительный цвет,
Полюбил я Васильевский остров,
В мире равных которому нет.
Где весною на запад с востока
Проплывают флотилии льда
И у Горного, возле футштока,
О гранит ударяет вода.

7-я линия Васильевского острова между Большим и Средним проспектами, где располагался наш дом, беря свое начало от набережной Невы, в конце своем упирается в речку Смоленку. Как известно, по дерзкому замыслу Петра василеостровские линии и должны были быть поначалу не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы. Обывателям же василеостровским вменялось в обязанность иметь лодки, «дабы по этим каналам

ездить». Однако первый «санкт-питербурхский» губернатор, вороватый «светлейший», герцог Ижорский, большую часть отпущенных казной для рытья каналов денег употребил на обустройство своего роскошного дворца на василеостровской набережной, развернув его фасадом вопреки воле государя к Неве вместо здания Двенадцати коллегий. За это он был, как известно, бит палкой лично государем, но ничего изменить уже было нельзя. Каналы получились узкие, непроточные и такие грязные, что их пришлось засыпать. Можно считать, что с губернаторами Питеру не везло с самого начала.

Я родился в 1933 году, когда большинство старых «питерских» названий улиц, площадей, мостов и даже пригородов было уже изменено на новые «послереволюционные». Дворцовая площадь носила имя Урицкого, которого здесь застрелили, Марсово поле называлось Площадью жертв революции. Это название всегда представлялось мне нелогичным, так как жертвы революции, как мне тогда казалось, – это прежде всего капиталисты и помещики. Невский проспект переименовали в проспект 25 октября, а Садовую – в улицу 3 июля. В связи с этим рассказывали анекдот: «Старушка спрашивает: «Скажи, сынок, как мне к Невскому добраться?» – «А вот садись, бабка, на остановке 3 июля, – как раз к 25 октября и доедешь». – «Что ты, милок, – мне раньше надо». Уже после войны, когда отовсюду активно вытравливался немецкий дух, Петергоф был переименован в Петродворец. Другое такое же переименование породило чисто питерскую шутку, непонятную москвичам: «Как девичья фамилия Ломоносова?» – «Ораниенбаум». Интересно, что в годы моего довоенного детства пожилые люди обычно употребляли старые питерские названия, упорно игнорируя советские переименования. Теперь – когда вернули старые названия, я сам, став пожилым, почему-то предпочитаю привычные моему уху имена моего детства, называя Каменноостровский Кировским, а улицу Первой роты – Первой Красноармейской.

Будучи коренным василеостровцем (или василеостровитянином?), я всегда интересовался происхождением питерских названий. Так не без удивления я обнаружил, что название Голодай (отдаленный приморский край Васильевского) к слову «голод» никакого отношения не имеет. Просто, заселившие Васильевский остров при Петре иностранцы в конце недели отправлялись сюда на взморье проводить свой «holiday». Название пригородного поселка Шушары по Московскому шоссе тоже появилось при Петре. Там на тракте стояла городская застава, и обывателей, имевших документ, пропускали в столицу, а «беспачпортную шушеру» тормозили

здесь, за пределами города, где она и селилась.

Дом № 38 по 7-й линии, где мои родители занимали узкую, как щель, тринадцатиметровую комнатушку с окном, упершимся в черный колодец двора, в коммунальной квартире на втором этаже, был шестиэтажным доходным домом, 1909 года постройки, да и сама квартира, прежде принадлежавшая, видимо, одной весьма состоятельной семье, была раньше довольно комфортабельной, о чем говорили лепные узоры на высоких потолках прежних больших комнат, рассеченных тонкими перегородками на тесные клетушки.

Свет попадал в наше окошко, только отраженный каким-то другим окном, выходившим в колодец-двор. Этот замкнутый стенами двор жил своей отдельной жизнью. Жизнь здесь начиналась ранним утром, когда с Андреевского рынка сюда привозили на тележке бидоны с молоком и раздавались крики: «Молоко! Молоко!» Потом приходил жестянщик, за ним точильщик ножей, и резкий звук дребезжащих о металлический брусок ножей и вилок будил всю окрестность. До сих пор эти звуки, умноженные колодцем двора, отражающиеся дворовым эхом, живут в моем воображении.

Не так давно со съемочной группой фильма «Атланты держат небо» я впервые после войны попал в свою старую коммунальную квартиру. И меня охватило странное ощущение, что это был не я, а какой-то другой человек, жизнь которого мне хорошо известна, но которого как бы и не существует. Все меняется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку и, конечно, невозможно вернуться в детство. Даже мой первый дом таким, каким я видел его семьдесят лет назад, увидеть уже не могу. Дом наш, казавшийся мне тогда огромным, с высоким лепным фасадом и сохранившейся с дореволюционных времен красивой парадной с литыми бронзовыми украшениями и цветными витражами на стеклах, теперь представляется уже не таким большим, а коммунальная квартира и наша комната совсем уж крошечными и тесными. Да и бульвар перед домом был совершенно другим. Еще на моей памяти на нем были посажены молодые деревца. В блокаду их спилили на дрова, а потом посадили снова, на этот раз почему-то ели, и всякий раз, проходя по 7-й линии мимо родного дома, я с грустью вспоминаю довоенный лиственный бульвар.

К трехсотлетнему юбилею Питера рядом с нашим домом поставили бронзовую фигуру «бомбардира» – петровского сподвижника Василия Корчмина, от которого по легенде Васильевский остров получил свое название. За его спиной до войны был кинотеатр «Форум», сгоревший в блокаду, потом

кинотеатр «Балтика», а сейчас элитный жилой дом. На другой стороне нашей улицы, на 6-й линии в бывшем Троекуровском особняке, построенном в первой половине XVIII века, находилось отделение милиции. Кстати, в детстве я очень хотел стать милиционером. Меня привлекала их замечательная белая форма и белые каски с двумя козырьками – спереди и сзади. Потом я, конечно, хотел быть пожарным, поскольку здесь неподалеку располагалась пожарная часть.

На углу 7-й линии и Среднего проспекта, где теперь вестибюль станции метро «Василеостровская», дежурили извозчики в высоких черных пролетках с откидным верхом и лаковыми черными крыльями. Звонкое цоканье конских копыт по еще булыжной мостовой, ржание и всхрапывание лошадей, ласково зазывающие голоса извозчиков, ударяющий в ноздри острый запах лошадиного навоза населяли мертвые каменные городские просторы реальной жизнью окрестной деревенской природы, вытравленной нынче смертоносной гарью отработанного бензина. Все это вновь приходит мне на память, когда я перечитываю замечательные строки Самойлова: «Звонко цокает кованый конь о булыжник в каком-то проезде».

Мои отец и мать родились в губернском городе Могилеве в Белоруссии, откуда отец приехал в Ленинград учиться в конце 20-х годов. Родителей матери я практически не помню. Они умерли в эвакуации в Свердловске в годы войны. Дед мой по отцовской линии был по профессии шорником и имел в Могилеве собственную мастерскую. Переживший трех царей, он отличался крепким здоровьем, религиозностью и редким трудолюбием. Работал не покладая рук до восьмидесяти лет и умер, простудившись на чьей-то свадьбе в восемьдесят четыре года. Более всего любил париться в русской бане. Отец мой вспоминал, что уже в последние годы жизни деда, приезжая из Ленинграда в Могилев, он возил его на извозчике париться в баню, поскольку без посторонней помощи дед уже добраться туда не мог. В бане, однако, отец старался сесть от деда подальше, чтобы не ошпариться брызгами кипятка, долетавшими из его шайки, так как сам горячего пара не выносил.

У меня хранится чудом уцелевший рыжий и выцветший фотоснимок 1911 года, на котором изображен дед за станком в своей мастерской и стоящий рядом трехлетний отец. Смотря на него, я с грустью думаю, что почти ничего не знаю о своей родословной.

Судя по воспоминаниям отца, к большевикам дед относился сдержанно, хотя именно им почему-то, возможно, из-за недостаточного технического образования, приписывал заслугу

изобретения радио, которое, как известно, задолго до них придумали Маркони и Попов. «Нет, нет, это сделали они и сделали специально, – говорил он моему отцу, с опаской косясь на вещающую хриплым голосом черную тарелку репродуктора в углу. – И знаешь зачем? Чтобы никто не мог думать сам. Потому что, если человеку в ухо все время что-нибудь говорят, то он уже сам думать не может».

Много лет спустя, в декабре 1961 года, когда я впервые отправился в океанское плаванье на военном паруснике «Крузенштерн», оригинальное высказывание деда нашло неожиданное подтверждение в реплике нашего замполита. Когда я спросил его, почему по принудительной трансляции на судне весь день оглушительно грохочет радио, забивая уши, он ответил: «А это специально, чтобы матрос много не думал. За него другие думают».

Что же касается заблуждения о могуществе большевиков в области науки и техники, то оно до сих пор бытует довольно широко. Вспоминаю, как в начале 80-х, уже на другом судне, где я прочел для экипажа лекцию о дрейфе континентов, другой замполит спросил у меня: «Скажите, а мы можем управлять движением континентов?» – «Кто это мы?» – переспросил я. «Как это, кто, – удивился замполит, – конечно, партия и правительство». – «Нет, что вы, – замялся я, – человечество пока не в состоянии управлять таким сложным процессом». – «Плохо работаете, – отрезал замполит, – должны научиться». А в пору перестройки и распада Союза мне домой в Москве позвонил корреспондент Би-би-си. «Профессор Городницкий? Мне Вас рекомендовали как специалиста по строению земной коры. Мы хотели бы, чтобы Вы прокомментировали заявление Звияда Гамсахурдии, что большевики специально устраивают землетрясения в Закавказье, чтобы подавить в Грузии движение за независимость». – «Конечно, большевики многое могут, – ответил я, – но специально устраивать землетрясения они, слава Богу, еще не научились. Поэтому заявление Гамсахурдии либо глупость, либо, что вероятнее, – политическая провокация».

Бабушку свою по отцовской линии я помню смутно. Облик ее ассоциируется в памяти с острым ароматом антоновских яблок, лежащих на чердаке в ее могилевском доме, да еще, пожалуй, с торжественным обрядом варки всевозможных варений в сияющем, подобно вечернему солнцу, медном тазу, в процессе чего детям разрешалось лакомиться пенками. Была она непревзойденной мастерицей по части знаменитой еврейской кухни, прежде всего по фаршированию рыбы и изготовлению «тейгелех» – маленьких орешков из теста, вываренных в меду. Двигалась она и говорила

тихо. Когда немцы занимали Могилев, в августе 41-го, она, уже покинув дом, решила вдруг вернуться за какими-то забытыми вещами. Она не слишком опасалась прихода немцев, хорошо помня немецкую оккупацию Могилева в 1918 году, когда немцы торговали с местным населением и не вмешивались в его внутренние дела. Вместе с несколькими тысячами могилевских евреев она и ее сестры в октябре 1941 года погибли в местечке Пашково под Могилевом. Это было место, где впервые испытывались немцами печально известные «душегубки».

Отец мой своей скромностью, трудолюбием и любовью к порядку пошел в деда. Более строптивым характером обладал его младший брат – Борис, мой дядя, ставший потом профессиональным военным. В 1916 году, пяти лет от роду, когда в Могилев, где размещалась Ставка Верховного Командования русской армии, прибыл Николай II, он ухитрился чуть не попасть под царский автомобиль, неожиданно перебежав перед ним улицу. Происшествие это не обошлось без вмешательства полиции и последующей взятки полицмейстеру, чтобы «замять дело». Пятнадцати лет дядя мой добровольцем вступил в Красную Армию. В конце 30-х годов на Дальнем Востоке, где он уже офицером служил в химических частях, чуть не загремел, вместе с другими офицерами их полка, по обвинению в шпионаже в пользу Японии. В отличие от других его тогда в связи с фамилией – Городницкий – обвинили в шпионаже в пользу Польши. Все обошлось по чистой случайности – Ежова сменил Берия, и репрессии были временно приостановлены. Помню, как в 39-м, проездом в Мурманск, «на Финскую», он появился в нашей тесной комнатке на Васильевском, в дубленом, остро пахнущем овчиной полушубке, туго перепоясанный портупеей с кобурой, с «кубарями» в петлицах, сразу заполнив своим громким голосом и воинским снаряжением все наше небольшое жизненное пространство. Пережив Отечественную и дослужившись до подполковника, дядя вышел в отставку и поселился в Саратове.

Был он в свое время изрядным сердцеедом. Вспоминаю, как в 1966 году мы вместе с моим тогдашним начальником Николаем Николаевичем Трубятчинским в промозглую осеннюю погоду прибыли в командировку в Находку, в Военную гидрографию, договариваться о совместной экспедиции. В городской гостинице «Восток» пожилая хмурая администраторша нам сказала, что мест нет и не будет, да и вообще гостиница эта – для интуристов. «Я знаю, что надо делать, – шепнул мне в ухо Николай Николаевич. – Надо вложить в паспорт два червонца и дать ей». Так я и поступил и сказал, просовывая в окошечко паспорт: «Может быть, мы оставим паспорта на случай, если место вдруг

освободится?» – «Да зачем мне ваш паспорт?» – строго спросила администраторша и отпихнула его ладонью. Паспорт упал на ее столик и раскрылся, обнаруживая внутри две красненькие бумажки. К моему удивлению, неприступная дама, даже не взглянув на них, с интересом прочитала мою фамилию и спросила: «Это кто – Городницкий?» – «Я – Городницкий», – несколько смущенный своей популярностью в этом далеком краю, произнес я. «Подождите, – сказала она, вдруг покраснев и начав поправлять свою «химическую» прическу, – вас двухместный «люкс» устроит? Тогда давайте и второй паспорт». Польщенный таким безотказным действием своей фамилии и приписывая все это, конечно, собственным песенным заслугам, я заполнил наши гостиничные анкетки. Когда я ей их передавал, она спросила: «Лейтенант Городницкий, Борис, вам родственник?» – «Только не лейтенант, а подполковник, – наконец начиная что-то понимать, ответил я. – Дядя мой». – «Ой, у меня смена через час кончается. Можно, я к вам зайду, вы мне про него расскажете. Всю жизнь его помню!»

Мать моя родилась в многодетной семье, где было семь детей. Всем им, несмотря на нужду, дали образование. Отец и мать познакомились в 1923 году в школе во время соревнований на лучшую устную газету. В то время в моде были разного рода кружки, один из которых, литературный, собирался обычно в обширной квартире школьных друзей отца Гордонов. Душой кружка был старший из братьев Гриша Гордон, впоследствии ставший журналистом и безвременно умерший в 37-м. Второй брат – Павел Гордон, возможно, под влиянием этого кружка, стал известным поэтом-переводчиком, взяв себе в качестве псевдонима звучную фамилию Кобзаревский. Переводил он в основном стихи белорусских поэтов, а кроме них – еврейских, латышских и таджикских. Жил он и умер в Ленинграде. До сих пор помню его замечательную библиотеку в квартире на Пятой Красноармейской – угол Московского, неподалеку от старинного каменного верстового столба, поставленного еще при Екатерине II. Его именем названа одна из улиц в Могилеве.

В 1925 году родители расстались. Отец поехал учиться в Ленинград, а мать – в Москву, где пыталась поступить в МВТУ им. Баумана. Она сдала приемные экзамены, но не была зачислена «по социальному положению». Тогда она пошла учиться в педагогический техникум, который окончила в 28-м году. После этого ее направили на работу в Сибирь, в Алтайский край, в глухую деревню Вознесенское Рубцовского района, где впервые организовали школу. В непривычной для нее сибирской обстановке приходилось нелегко, тем более что местные власти

всячески старались привлечь ее к коллективизации.

Отец посылал ей письма из Ленинграда чуть ли не каждый день. Он в это время учился в ленинградском фотокинотехникуме, куда поступил в 26-м году. Стипендия ему не полагалась из-за неприглядности социального происхождения – сын кустаря. Приходилось поэтому работать, чтобы прокормиться. В те поры в учебных заведениях существовали на общественных началах трудовые артели, подыскивавшие для студентов временную работу. Через такую артель отец устроился ночным сторожем, поскольку дни были заняты учебой.

Директором фототехникума в годы, когда там учился отец, был профессор Ленинградского технологического института Дмитрий Ильич Лещенко, друживший с А. В. Луначарским, который, приезжая в Ленинград, всегда останавливался у него. В 1917 году, когда Ленин после июльских событий скрывался в Разливе, Лещенко фотографировал его для фальшивого удостоверения загримированным под рабочего сестрорецкого завода. В техникуме он читал на первом курсе неорганическую химию, но на его лекции приходило множество студентов со старших курсов. Читал он захватывающе интересно. Рассказывая о химии, часто приводил примеры из истории революционного движения, участником которого был сам.

Помимо работы ночными сторожами и грузчиками, студенты фототехникума время от времени прирабатывали на киносъемках как статисты. Работа эта была легкой, а заработок – вполне приличным. Как раз в это время Эйзенштейн снимал в Ленинграде фильм «Октябрь». Помощниками его были Г. Александров, М. Штраух и М. Гоморов. Оператором фильма был Эдуард Тиссе. Поскольку съемки начались в мае 1927 года, все студенты, в том числе и отец, старались пораньше сдать экзамены, чтобы освободить время. Сдав экзамены досрочно, отец чуть ли не каждый день ездил на съемки то в Смольный, то в Петропавловскую крепость, то на станцию Кушелевка. Наряду с участием в массовках он работал разнорабочим на съемочных площадках, расставляя осветительные приборы, разматывая кабели или подвозя из Арсенала винтовки, а позднее, научившись обращаться с прожектором, – осветителем на вечерних съемках.

Отец вспоминал, что в фильме «Октябрь» профессиональных актеров почти не было. Ленина, например, играл рабочий цементного завода Никандров, имевший с ним портретное сходство. Ему пошили костюм, пальто и кепку, а на голове выбрили лысину. В роли Керенского снимался также похожий на него студент университета. Зиновьева играл его настоящий брат, а в роли Троцкого был занят какой-то зубной врач, также

обладавший большим сходством с героем. Можно было только поражаться терпению и выдержке Александрова и Штрауха, которые «дрессировали» непрофессиональных актеров. Больше всего возни было с Никандровым, часто не понимавшим, что от него требуется. Обычно на массовках его не показывали. Поскольку отец работал в съемочной группе, ему было поручено привозить Никандрова на съемки в Смольный, где специально была выделена комната для гримировки. На съемочную площадку Никандрова выпускали в самый последний момент. Это производило такое впечатление, что все солдаты и матросы, участвовавшие в массовках, встречали его как настоящего Ленина. Когда он проходил по актовому залу, направляясь к трибуне, не надо было искусственно подогревать «энтузиазм масс». Присутствующие кричали «ура» и кидали вверх шапки вполне естественно, что и фиксировалось на пленке.

Однажды отцу в очередной раз поручили привезти Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в гостинице «Европейская». Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, его не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним был неожиданный скандал. Он поднялся вечером в уже упомянутый ресторан «Крыша», где кутили татары, и, подсев к ним за стол и изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался и кричал: «Кого забираете, гады! Я – Ленин, я вам свободу дал!» В какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: «Ждите в милиции – мы позвоним Подвойскому». Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом – огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там Никандрову устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации «революционных рабочих и крестьян».

На деньги, заработанные на съемках, отец купил себе шапку, ботинки и большую деревянную фотокамеру формата 13х18 для занятий фотографией. Старинный этот фотоаппарат я хорошо помню. Он стоял в нашей комнате на Васильевском и сгорел в блокаду вместе с домом. Помню также необычную фотографию, где отец, игравший в массовке рабочего, снят сидящим между

Лениным и Троцким…

В феврале 1930 года мать приехала к отцу в Питер из Алтайского края, где работала учительницей, и они поженились. Все имущество молодой семьи в тринадцатиметровой комнатушке на 7-й линии Васильевского острова, полученной отцом, состояло из ломберного столика, двух стульев, раскладушки и табуретки. Отец в это время работал в фотокинотехникуме и учился заочно в Московском полиграфическом институте. Мать пошла работать учительницей начальных классов в среднюю школу на Восьмой линии и поступила на заочное отделение физико-математического факультета Пединститута им. Герцена, который окончила в 36-м, когда мне было уже три года.

Родители дома почти не бывали, – днем они работали, а вечером учились. Поэтому большую часть времени в первые мои четыре года я проводил с няньками. Институт нянек в Ленинграде в начале 30-х был весьма распространенным и вполне доступным даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были в основном женщины средних лет или пожилые из псковских, новгородских или вологодских краев, чаще всего верующие. Отправляясь утром на уроки в школу, мать обычно снаряжала нас гулять. Местами ежедневных прогулок были бульвары на 7-й линии или Большом проспекте, а при дальних прогулках – Соловьевский сад на углу 1-й линии и набережной.

В Соловьевском саду с его стройным Румянцевским обелиском, увенчанным бронзовым орлом и гордой надписью «Румянцева победам», по субботам и воскресеньям играл обычно военный духовой оркестр. Исполнялись по большей части старинные марши и вальсы. Мне почему-то более других запомнился часто звучавший вальс «Осенний сон». Зрительная память связывает с глухими ударами вздыхающего барабана и грустным напевом труб огненно-красную акварель сухих кленовых листьев на песчаных дорожках сада. До сих пор, услышав этот старый вальс, я испытываю странное чувство мечтательной грусти, как будто кто-то теплой и влажной рукой осторожно берет тебя за сердце. Может быть, именно поэтому всю жизнь более всего я люблю вальсы. Навсегда остался в памяти и старинный марш «Прощание славянки», уже через много лет снова вернувшийся ко мне со сцены МХАТа в финале «Трех сестер».

Одна из моих нянек, набожная старуха из-под Крестец, во время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский собор на церковные службы, строго-настрого наказав не рассказывать об этом матери. Более всего любила она отпевания. Торжественность

мрачноватого этого обряда, усугубляющаяся казавшейся мне странной неподвижностью лежавшего человека, бледное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма, необычно выпевавшиеся слова, терпкий запах плавящегося воска – все это внушало тоску, побуждало скорее выйти наружу, под яркий солнечный свет, на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. Я не мог разгадать пугающей тайны смерти и понял тогда только одно: смерть – это неподвижность. В 36-м с собора сорвали кресты, и церковь свое существование прекратила.

Вместо свергнутого Бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прибивали странный знак Осоавиахима – с винтовкой, пропеллером и противогазом, напоминающий языческий тотем, который должен был защитить жилище от беды. Увы, не защитил.

Поскольку мать и отец нередко возвращались домой поздно, спать меня в раннем детстве, как правило, укладывали няньки, так что я хорошо запомнил и полюбил старые колыбельные песни, которые они пели. Больше других запомнились мне две песни. Одна из них начиналась строчками:

Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Вторая, которую, я, конечно, так же как и первую, услыхав впервые от своих нянек, считал народной, начиналась так:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман:
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.

Уже через много лет я сильно удивился, узнав, что слова одной песни принадлежат Аполлону Майкову, а второй – другу Пушкина Антону Дельвигу. Именно эти песни всплывают в моей памяти как одни из первых в жизни. Что касается самого Пушкина, то первая картинка, увиденная мной на стене нашей узкой комнатки, – большой, работы Тропинина, портрет Пушкина с перстнем на пальце. Отец вырезал эту литографию из какого-то журнала и повесил над моей кроватью. Так что с Пушкиным я знаком почти с самого рождения.

А с улицы из черных репродукторов гремели другие песни и марши, заполняя собой окружающее пространство и призывая воевать и строить: «Нам нет преград на море и на суше», «Мы железным конем все поля обойдем», «Сталин – наша слава боевая». От песен этих становилось весело и тревожно, хотелось маршировать вместе со всеми, бороться и обязательно побеждать. Только через много лет, привыкший к этим песням, как к неотъемлемой части моей жизни, я вдруг обратил внимание на то, что почти ни в одной из них нет местоимения «я», – вместо него всегда безликое «мы». Так исподволь, через песни, в подсознание слушающих, словно яд в ухо спящему королю, вливалась привычка все делать строем, по команде: сеять, строить, воевать, ненавидеть и даже любить. Сейчас, когда в дни Первомая или 7 ноября я вижу на улице редеющие группы плохо одетых стариков с орденскими колодками, размахивающих красными флагами и распевающих надтреснутыми голосами эти старые песни, сердце мое сжимается от жалости к ним и горечи за наше обманутое поколение.

Что же касается песен времен революции, то их тоже, конечно, пели, но постепенно они как бы уходили из жизни. Это относилось и к «Варшавянке», и к «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и ко многим другим песням. Набирающему силу авторитарному режиму, хотя еще и называвшему себя революционной властью, такие песни были уже не нужны.

Мне вспоминается небезопасная шутка отца. Мы с ним стояли на краю тротуара на Большом проспекте, а мимо нас шагом двигался кавалерийский эскадрон в буденовках с алыми звездами и шишаками сверху. Эскадрон лихо распевал «Интернационал». Когда я спросил у отца, для чего на буденовках эти суконные шишечки сверху (их еще называли «громоотводами»), он, усмехнувшись, сказал: «А ты слышишь, они поют: „Кипит наш разум возмущенный?“ Вот через них пар и выходит».

Моя теща, Нина Ивановна Сундарева, как-то в разговоре заметила, что почти все песни революции – переводные, пришедшие к нам с Запада, – ни одна из них практически не родилась в России. Это и «Интернационал», и «Марсельеза», и та же «Варшавянка». Красноармейцы на Гражданской войне, у костров, подальше от бдительных комиссаров, эти песни не пели. Они предпочитали петь «Ермака» и другие народные песни. Часто одни и те же песни пели и белые, и красные. О чем это говорит? Не о том ли, что сам дух революции, бунта «бессмысленного и беспощадного», чужд российской душе? Вслушайтесь в раздумчивый тон русских народных песен, – вы не отыщете в них и следа грозных мятежей, не раз сотрясавших империю. Даже

гениальная стилизация Блока в «Двенадцати»: «Уж я ножичком полосну, полосну» кажется на этом фоне чужеродной и явно звучит из уст маргиналов, которым «на спину б надо бубновый туз».

В 33-м году отец перешел на работу на Картографическую фабрику Военно-морского флота, где проработал почти всю жизнь – около тридцати пяти лет. Имя его не раз упоминается в книгах, посвященных истории гидрографии ВМФ в нашей стране.

Даже в те дни, когда отец и мать были вечером дома, они, как правило, работали. Мать проверяла бесконечные ученические тетради, а отец готовился к занятиям или штудировал очередную полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам, засыпая, я видел отца или мать склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Зрелище это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец ненадолго освобождался, и мы отправлялись гулять. Основным местом этих гуляний была набережная Невы, куда няньки не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир.

Под сырым пронизывающим до костей балтийским ветром поскрипывали у причалов самые разные суда, – от гигантских (так мне тогда казалось) пароходов до маленьких, густо дымивших буксиров, которые все почему-то носили имена героев Великой французской революции – «Сен-Жюст», «Демулен», «Робеспьер». Веселые матросы курили на палубах. Иногда там же можно было услышать звуки баяна и лихие матросские песни, из которых запомнилась: «По морям, морям, морям, морям. Нынче здесь, завтра там». За маленькими круглыми окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь – уже не на земле, а в другой, хотя и близкой – не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это детское ощущение сладкой притягивающей тревоги и непреодолимого любопытства я вспомнил уже взрослым, когда впервые прочел строки Мандельштама: «Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло».

Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской стороне. Туда надо было ехать на трамвае, хотя и не слишком далеко, а все-таки – настоящее путешествие через мосты. Трамваи тогда были с открытыми площадками и колокольчиком, объявлявшим отправление. Вечером на них зажигались разноцветные огни – для каждого номера свой, чтобы можно было опознать в темноте нужный номер. Сейчас трамваев в Питере почти не осталось. Их вытеснили на дальние окраины пахнущие

бензином автобусы и маршрутки. А жаль.

В зоопарке, налюбовавшись на слонов, жирафов и львов, мы обычно шли кататься на «американские горы». Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала вверх и стремительно неслась вниз по крутым головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце замирало от ужаса и восторга.

Кстати, именно здесь, на Петроградской, несколько позднее, когда я уже мог по складам читать объявления на стенах и вывески, я сделал неожиданное для себя открытие. Зная наизусть «Доктора Айболита», я пришел в восторг, увидев на угловом доме надпись: «Бармалеева улица». Вот оно что, – оказывается, даже улица есть в честь Бармалея! Мне тогда, конечно, было невдомек, что все как раз наоборот. Здесь прежде жил богатый английский купец Бромлей, по фамилии которого и была названа улица, а уже по названию улицы придумал Корней Чуковский имя своему герою.

Теперь, приезжая в Питер, я часто останавливаюсь на Петроградской стороне в квартире моего друга исследователя литературы Серебряного века и творчества обэриутов профессора Александра Аркадьевича Кобринского. Живет он на улице Подрезова, параллельно которой идут улицы Подковырова, Бармалеева, Плуталова. Само перечисление этих чудесных названий уже почти готовая стихотворная строчка. Пару лет назад я написал песню «На Петроградской», которую профессору Кобринскому и посвятил:

Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.
Успокой меня, нетрезвого,
Подбодри меня, усталого.
Ах, родная Петроградская,
Меж Большой Невой и Невкою!
Там примеры нынче брать с кого?
Там влюбляться больше не в кого.
Почему в моих глазах тоска,
На губах моих ирония?
По Введенской и по Лахтинской
Ходят люди посторонние.
Ходят с вечера до вечера
По Зверинской и по Гатчинской.
Здесь искать мне больше нечего —
Все былое смыто начисто.
Бармалеева, Плуталова, —

Только разве дело в имени.
Все подруги стали старыми,
Все друзья мои повымерли.
Ты меня припомни резвого,
Дай мне запах снега талого,
Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.

Любил я и праздничные демонстрации, особенно первомайские, куда отправлялся либо с мамой и ее школой, либо с отцом. Второй вариант был гораздо привлекательней, поскольку колонну картфабрики обычно возглавлял большой военно-морской оркестр, да и в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло иллюзию причастности к морю. Да и сама морская форма осталась любимой на всю жизнь.

Когда в марте 1985 года неожиданно выяснилось, что у отца рак легких и оперировать его бесполезно, я, пытаясь отвлечь отца от размышлений о болезни, уговорил его начать писать воспоминания о своей жизни. Поначалу он никак не мог к ним приступить, но, будучи человеком крайне трудолюбивым, понемногу втянулся в это занятие и успел написать довольно много. Уже после его смерти, внимательно прочитав написанное, я еще раз ощутил горькое чувство сиротства, незнания своих, даже самых, казалось бы, близких корней.

Из записок его я узнал многое, о чем при нашей многолетней жизни в одной комнате даже не догадывался, – например, о том, как в 49-м году, когда началась «борьба с космополитами», отца чуть не посадили по ложному доносу, и наших соседей по квартире вызывали в КГБ, чтобы они дали на него показания. К счастью, все наши соседи были людьми порядочными.

Более всего отец любил книги, которым, будучи полиграфистом, посвятил свою жизнь: работу на картфабрике он совмещал с преподаванием в Ленинградском полиграфическом техникуме и Промакадемии, а выйдя на пенсию, руководил дипломными проектами и принимал постоянно участие в конкурсных комиссиях Ленинградского общества научно-технических изданий, заместителем председателя которого был много лет. Беря в руки красиво изданную книгу, он всегда радовался. Как-то он сказал, что брать в руки неряшливо изданную или грязную и затрепанную книгу хорошего автора так же неприятно, как общаться с умным и талантливым человеком в грязной и рваной одежде.

Судя по воспоминаниям отца, читать я научился по газетным

буквам к пяти годам, а стихи запоминал со слуха довольно легко и очень любил читать их во время прогулок совершенно незнакомым людям. Вот что написал в своих записках отец без тени юмора: «На бульваре Алик мог подойти к сидящему на скамейке человеку и спросить: „Дядя, вы знаете стихи про челюскинцев?“ Если тот говорил – нет, Алик выпаливал ему это стихотворение от начала до конца. Вот откуда у него появилась любовь к публичным выступлениям».

Почти каждое лето родители выезжали вместе со мной в Белоруссию – в Могилев или под деревню Полыковичи «на Полыковские хутора». После тесной василеостровской комнатушки и питерских дождей белорусская солнечная деревенская вольница казалась сказочной. В памяти смутно брезжат протяжные белорусские песни, и до сих пор звенит в ушах лихая «Лявониха» с замечательными четырехсложными рифмами: «Лявониха – душа ласковая, черевичками поляскивала». Собирались мы поехать в Белоруссию под Могилев и в 41-м году, но в мае отцу задержали зарплату, не на что было купить билеты, и родители сняли дачу под Вырицей в Ленинградской области. Это нас спасло.

В 40-м году у меня вдруг отыскали «музыкальный слух», и родители загорелись идеей обучать меня музыке. В начале 41-го года отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник по полиграфии «Производство клише для высокой печати», который ему перевели на сберкнижку. Было решено купить пианино, однако внезапно грянувшая война порушила эти наивные планы. Что касается вклада на сберкнижке, то мать смогла получить его только в 44-м, в эвакуации, в Омске. На эти деньги на целую неделю накупили хлеба, масла и яиц. Так что не могу сказать, что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоит выеденного яйца.

В том же 40-м меня отдали для подготовки к школе в частную немецкую группу, где попутно обучали немецкому языку, столь же модному тогда, как теперь английский. Занятия вела чистенькая невысокая старушка Агата Юльевна. Мы изучали немецкий алфавит, ставили какие-то пьески на немецком языке, разучивали песенки. Однако времени на изучение немецкого мне также не хватило, – началась война.

Колыбельная на три такта.
Отлетающей стаи крик.
Вспоминаешь про детство? Так-то:
Это значит, что ты старик.
В календарь и на паспорт глянь-ка,

Вспоминая далекий год.
Эту песню негромко нянька
Над тобою в ночи поет.
Довоенные бодры марши,
Молодая шумит листва.
Солнце красной косынкой машет,
Уплывая за острова.
Там костюмы другой эпохи,
Там газеты сулят беду.
И оркестра глухие вздохи
В Соловьевском слышны саду.
Колыбельная на три такта
Возвращает меня назад,
На родную мою Итаку,
В мой покинутый Ленинград.
Там баюкает спящих вьюга,
И морозная бирюза.
Обними же меня, подруга,
И в мои погляди глаза.
Ты увидишь в них синь залива
Невозвратных дошкольных лет,
И зеленое пламя взрыва,
И прожектора дымный свет.
И когда по ночному тракту
Я отправлюсь к себе домой,
Колыбельную на три такта
Мне вдогонку негромко спой.

Ленинградские дети рисуют войну

День над городом шпиль натянул, как струну,
Облака – как гитарная дека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе двадцатого века.
Им не надо бояться бомбежки ночной,
Сухари экономить не надо.
Их в эпохе иной обойдет стороной
Позабытое слово «блокада».
Мир вокруг изменился, куда ни взгляну.
За окошком гремит дискотека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе двадцатого века.
Завершились подсчеты взаимных потерь,
Поизнетилось время былое.
И противники бывшие стали теперь
Ленинградской горючей землею.
Снова жизни людские стоят на кону,
И не вычислить завтрашних судеб.
Ленинградские дети рисуют войну,
И немецкие дети рисуют.
Я хочу, чтоб глаза им, отныне и впредь
Не слепила военная вьюга,
Чтобы вместе им жить, чтобы вместе им петь,
Никогда не стреляя друг в друга.
В камуфляже зеленом, у хмеля в плену,
Тянет руку к машине калека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе двадцатого века.
И соседствуют мирно на белом листе
Над весенней травою короткой
И немецкая каска на черном кресте,
И звезда под пробитой пилоткой.

Для меня война началась не 22 июня, а 1 мая 1941 года, на первомайской демонстрации, на которые я любил ходить вместе с отцом. Колонна Картографической фабрики ВМФ, двигавшаяся по улице Герцена (сейчас – Большая Морская) через Исаакиевскую площадь, ненадолго остановилась у здания немецкого консульства, на котором развевался огромный красный флаг с белым кругом и черной свастикой посередине. Тогда мы еще

дружили с гитлеровской Германией. Уже потом, в черную зиму блокады и в сибирской эвакуации, мне как страшный сон, как кошмар виделся этот фашистский флаг, развевающийся над моим родным Ленинградом.

Я отчетливо помню ясный июньский день, когда отец приехал из города на дачу и сказал, что началась война. В это трудно было поверить, – вокруг стояла невозмутимая июньская тишина и казалось, что ничего не изменилось. Однако изменилось многое. Почти сразу после начала войны, в июле 41-го, моя мать вместе с начальными классами своей школы выехала, забрав меня с собой, в деревню под Валдай. В соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед Финской войной в 39-м году, туда отправили несколько десятков тысяч ленинградских детей. Как вскоре выяснилось, вывезли нас практически навстречу немцам… Уже в первый месяц войны Вермахт вплотную подошел к Валдаю, в то время как Ленинград еще был относительным тылом. Вспоминаю, как громыхали на западе орудийные залпы, горело небо, через деревню тянулись обозы с беженцами и медсанбаты, а линия фронта стремительно приближалась. Многие родители кинулись из Ленинграда за своими детьми, чтобы забрать их обратно. В августе одним из последних эшелонов нас с матерью вывезли назад в Питер. Помню бомбежку на станции Малая Вишера, когда нас загнали под вагоны, а вокруг все было красиво освещено яркими осветительными ракетами. (В 2010 году в Нью-Йорке я неожиданно встретил женщину примерно моего возраста, с которой, как оказалось, мы тогда ехали в одном вагоне.) Так, с горем пополам в конце августа мы добрались до Ленинграда, а 9 сентября немцы взяли Шлиссельбург и замкнулось кольцо блокады.

Осень 1941 года тоже была сухой и погожей. Бомбежки становились все чаще, к ним добавился артобстрел. Пайки урезались каждую неделю. К зиме вырубили все деревья на бульваре. Исчезли с улиц и дворов голуби, кошки и собаки. Располагавшийся неподалеку от нашего дома Андреевский рынок из праздничной выставки пищевого изобилия превратился в мрачную пустыню. По городу распространились упорные слухи, что детей воруют, убивают и продают потом на рынках в качестве телятины. Поэтому мать категорически запретила мне выходить на улицу. Отца отправили в Омск, куда была эвакуирована Картографическая фабрика для срочного выпуска военно-морских карт, и мы с матерью остались вдвоем. Началась бесконечная, черная и голодная блокадная зима.

Ветер злей и небо ниже

На границе двух эпох.
Вся и доблесть в том, что выжил,
Что от голода не сдох.
Что не лег с другими рядом
В штабеля замерзших тел,
Что осколок от снаряда
Мимо уха просвистел.
Мой военный опыт жалок
В зиму сумрачную ту.
Не гасил я зажигалок,
Не стоял я на посту.
Вспоминается нередко
Черно-белое кино,
Где смотрю я, семилетка,
В затемненное окно.
Гром разрывов ближе, ближе,
До убежищ далеко.
Вся и доблесть в том, что выжил, —
Выжить было нелегко.

Дом наш загорелся в январе 41-го года не от бомбы и не от снаряда. В квартире выше этажом умерла соседка и оставила непогашенной «буржуйку», а гасить понемногу разгоравшийся пожар было нечем – воду тогда приходилось таскать из проруби на Неве. В апреле 42-го, через ладожскую «Дорогу жизни», нас отправили в эвакуацию в Омск, где уже работал отец. Машины шли ночью, с погашенными фарами, чтобы, не дай Бог, не заметили немцы. Многие из них гибли, проваливаясь под весенний лед. На восточном берегу Ладоги нас пересадили в товарные вагоны.

Мне позабыть окончательно надо бы
Вой нестерпимый сирены ночной,
Черные проруби вздыбленной Ладоги,
Город блокадный, покинутый мной.
Эвакуация, эвакуация,
Скудный паек, затемненный вокзал.
Рельсы морозные, стыками клацая,
Гонят теплушки за снежный Урал.

В Омске первый год отец почти все время был на казарменном положении – надо было срочно пустить фабрику. Мать сначала пошла работать вахтером (за это давали рабочую

карточку), а к 44-му году освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в Гидрографии, где и проработала до пенсии. Около двадцати пяти лет уже после войны она редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для мореплавателей. Вспоминаю, что уже через десятки лет, во время долгих плаваний на «Крузенштерне» и других гидрографических судах, открывая по ночам на вахте в штурманской рубке увесистые тома морских лоций, в выходных данных я не без гордости читал: «Технический редактор Р. М. Городницкая».

В эвакуации, в Омске, я пошел в школу сразу во второй класс. Время было голодное. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменяны на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая заменяла все. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. В доме на Войсковой улице, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки старых журналов «Вокруг света», которые я перечитывал по много раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть, им. поэтому география стала моим любимым предметом.

Сюда же в Омск был эвакуирован из Москвы театр имени Евгения Вахтангова, так что первый мой выход в драматический театр состоялся в Омске. Было это, кажется, уже в 43-м году. На сцене шел «Сирано де Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до этого прочесть однотомник Ростана, так что всего «Сирано» я знал почти наизусть. В конце первого акта, действие которого происходит в театре, король проходит со свитой через сцену и говорит: «Что сегодня было на ужин!» К всеобщей радости публики, актер, игравший короля, под сильным впечатлением от собственного ужина, а возможно, и в мечтах о нем, неожиданно сказал: «Что сегодня было на ужин – биточки!»

Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его крутили в клубе Гидрографии по два раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню как поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки, после фильма «Три мушкетера», постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку д'Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Темная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне еще и потому, что действие его проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.

Вместе с тем, когда я думаю об истоках авторской песни в

нашей стране, я полагаю, что ее зачинателями были не только Булат Окуджава и другие авторы начала 60-х. Их предтечей в военные годы был и Марк Бернес с гитарой в руках, который среди грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых» впервые открыл для нас ее задушевную интонацию. И если именно интонация, негромкий, но проникающий в самое сердце голос – отличительная особенность этого жанра, то Марка Бернеса можно с уверенностью относить к одному из его основателей. И это в те времена, когда гитара еще обличалась как символ мещанства. Неслучайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте и в тылу, породила массу веселых и грустных пародий типа: «Ты меня ждешь, а сама с офицером живешь и от детской кроватки тайком ты в ДК убегаешь».

Открыв для себя Бернеса на этой песне, я стал буквально отслеживать все его роли. Оказалось, что удивительная и точная интонация его негромкого речитатива звучит во всех песнях, которые он поет, – и в кинофильме «Истребители» («В далекий край товарищ улетает»), и в фильме «Антоша Рыбкин» («Там ждет меня далекая подруга синеокая, девушка любимая моя»), и даже в не слишком удачной песне о Ленинграде («Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою»). Все песни он пел так, как будто сам их написал. При этом задушевность исполнения совершенно не зависела от сопровождающего инструмента, – это могла быть гитара («Темная ночь»), рояль («В далекий край товарищ улетает») и даже гармошка («Тучи над городом встали»).

В Омске я впервые понял, что песня может не только радовать, но вызывать чувство обиды и стыда. Еще в 48-м, в начале эвакуации, словоохотливые омские мальчишки в нашем дворе, обозвав меня жиденком, популярно объяснили мне, что это значит. Хорошо помню растерянные лица родителей, к которым я кинулся за поддержкой. Помню, как долго плакал и ни за что не хотел быть евреем, хотел быть, как все вокруг. В связи с этим на долгие годы запомнилась мне весьма популярная в то время антисемитская песенка, распевавшаяся дразнившими меня мальчишками на мотив песни «В кейптаунском порту» и начинавшаяся строчками: «Старушка, не спеша, дорожку перешла, – ее остановил милиционер». До сих пор, когда я вспоминаю ее, сердце сжимается от жгучего чувства детской обиды. Уже значительно позднее я узнал о настоящих фашистских песнях, распевавшихся в Германии, и понял, какой страшной может быть песня, призывающая к убийству и погромам.

Было трудно мне первое время
Пережить свой позор и испуг,
Став евреем среди неевреев,
Не таким, как другие вокруг,
Отлученным капризом природы
От ровесников шумной среды.
Помню, в Омске в военные годы
Воробьев называли «жиды».
Позабыты великие битвы,
Неприкаянных беженцев быт, —
Ничего до сих пор не забыто
Из мальчишеских первых обид.
И когда вспоминаю со страхом
Невеселое это житье,
С бесприютною рыжею птахой
Я родство ощущаю свое,
Под чужую забившейся кровлю,
В ожидании новых угроз.
Не орел, что питается кровью,
Не владыка морей альбатрос,
Не павлин, что устал от ужимок,
И не филин, полуночный тать,
Не гусак, заплывающий жиром,
Потерявший способность летать.
Только он мне по-прежнему дорог,
Представитель пернатых жидов,
Что, чирикая, пляшет «семь сорок»
На асфальте чужих городов.

Пару лет назад, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо», я со съемочной группой побывал в Омске. Надо сказать, что в огромном промышленном современном городе я не узнал того Омска военных лет, где прожил четыре года эвакуации. Пытался найти наш омский дом, но, видимо, он уже не существует. А проблемы того времени существуют до сих пор.

Из всех дней, проведенных в Омске, отчетливо всплывает в памяти самое радостное событие – День Победы в 1945 году. Город был на военном положении, но школы и госпитали работали вовсю. Помню, что, когда я учился во втором и третьем классах, мы читали стихи раненым. Время было очень тяжелое, голодное. Первые диктанты писались в самодельных тетрадках из оберточной бумаги. Но борьба с общим врагом и наша общая

победа над ним объединяли людей.

В сентябре 45-го мы возвратились в родной Ленинград. Поскольку дом наш на Васильевском сгорел, отцу выписали ордер на комнату, разрушенную попаданием снаряда, в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка. На время ремонта нас почти на три месяца приютила семья Карцевых, с которой дружили родители. Только в конце ноября мы перебрались в комнату в большой коммунальной квартире в доме № 82 на Мойке, наконец-то в собственную комнату, где я прожил вместе с родителями более десяти лет.

Война для меня закончилась. Но ее отзвуки еще не раз возникали в моей жизни. Моя мать умерла в 1981 году от очередного инфаркта. Сама она за всю свою жизнь, кроме повседневной работы и забот по дому, ничего не видела и уж, конечно, за границей не бывала и по морям не плавала. Последние годы мать мучили постоянные страхи за меня и за отца, превращавшиеся в нервную болезнь. Она боялась взять телефонную трубку, открыть дверь на внезапный ночной звонок. Когда я задерживался вечером в городе, она могла часами стоять у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. При этом к моим многомесячным экспедициям в Арктику и дальние моря она относилась спокойно, даже зная о риске во время погружений на подводных аппаратах. Все это происходило как бы вне ее реальной жизни и не вызывало такого беспокойства, как мои вечерние опоздания.

Все невзгоды нашей семьи ложились на хрупкие мамины плечи. Ее любили, кажется, все вокруг – и домочадцы, и соседи. Каждого вошедшего в дом она старалась прежде всего накормить, хорошо помня черные военные годы. Более всего боялась обременить кого-нибудь собой, причинить неудобство. Терпеть не могла долгов и внушила эту нетерпимость мне. В доме, несмотря на нужду, всегда поддерживала медицинскую чистоту. Она и умерла оттого, что, почувствовав себя плохо и уже вызвав врача, вдруг решила вытереть пол, показавшийся ей недостаточно чистым.

Ее внезапная смерть в ноябре 81-го года, по существу, сломала отца. Он потерял интерес к жизни, хотя был человеком любознательным и общительным. В январе 1985 года у него обнаружили рак легких, к сожалению, неоперабельный. Летом того же года мы с женой не без труда уговорили его переехать к нам в Москву (он долго сопротивлялся этому переезду, не желая уезжать от могилы матери). Скрывая от него смертельный диагноз и стараясь отвлечь от размышлений о болезни, я предложил ему написать воспоминания о его детстве и юности.

Будучи человеком, приученным к порядку и каждодневному труду, он завел конторскую книгу и начал аккуратно записывать туда свои воспоминания. Работал он, к несчастью, недолго. 6 мая 1986 года он умер на моих руках от горлового кровотечения.

Отца никак не вспомню молодым:
Все седина, да лысина, да кашель.
Завидую родителям моим,
Ни почестей, ни денег не снискавшим.
Завидую, со временем ценя
В наследство мне доставшиеся гены,
Их жизни, недоступной для меня,
Где не было обмана и измены.
Безропотной покорности судьбе,
Пренебреженью к холоду и боли,
Умению быть равными себе
И презирать торгашество любое.
Они, весь век горбатя на страну,
Не нажили квартиру или виллу,
Деля при жизни комнатку одну,
А после смерти – тесную могилу.
Чем мы живем сегодня и горим?
Что в полумраке будущего ищем?
Завидую родителям моим,
Наивным, обездоленным и нищим.

Когда я думаю о счастливых семейных парах, в наше время достаточно редких и нетипичных, то всегда вспоминаю своих родителей. Сейчас они лежат рядом под одним надгробным камнем на Казанском кладбище в Царском Селе, и я рано или поздно надеюсь к ним присоединиться.

Каждый раз по приезде в Питер навещая их могилу, расположенную в конце еврейского участка, я прохожу мимо древнего покосившегося и заросшего мхом могильного камня с изображением могендовида и надписями золочеными буквами по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 1896 году лейб-гвардии фельдфебель Шимон Черкасский, видимо, выходец из кантонистов, отдавший жизнь за обретенную им негостеприимную Родину. Заброшенная эта могила поневоле заставляет задуматься о собственной судьбе.

Кавалер Святого Георгия,
фельдфебель Шимон Черкасский,
Что лежит на Казанском кладбище

в Царском Селе осеннем,
Представитель моей отверженной
в этой державе касты,
Свой последний бивак наладивший
здесь под дубовой сенью.

Гренадер императорской гвардии,
выходец из кантонистов —
Нелюбимых российских пасынков
выпала с ним судьба нам.
Неродного отечества ради
был он в бою неистов,
Управляясь в часы опасности
с саблей и барабаном.

Давний предок единокровный мой
фельдфебель Шимон Черкасский,
За отвагу на поле брани
орден свой получивший,
Обладатель ружья огромного
и медной блестящей каски,
В девяносто четвертом раненный,
в девяносто шестом – почивший.

Ах, земля, где всегда не хватало нам
места под облаками,
Но которую любим искренне,
что там ни говорите!
Ощущаю я зависть тайную,
видя надгробный камень,
Где заслуги его записаны
по-русски и на иврите.

И когда о последнем старте я
думаю без опаски
И стараюсь представить мысленно
путь недалекий сей свой,
Вспоминается мне лейб-гвардии
фельдфебель Шимон Черкасский,
Что лежит под опавшими листьями
на окраине царскосельской.

Что же касается эха войны, то оно еще немало лет

возвращалось ко мне. Дождливым сентябрьским днем 2000 года мне довелось принимать участие в официальной церемонии открытия немецкого военного кладбища в деревне Сологубовка под Мгой, неподалеку от Синявинских высот, для немецких солдат, погибших под Ленинградом в годы войны. Здесь в 1941–1944 годах, когда фашистские войска полностью блокировали Ленинград, неподалеку от ладожской «Дороги жизни» шли самые жестокие бои, в которых погибли десятки тысяч советских и немецких солдат. Именно здесь, на ладожском направлении, в топких Синявинских болотах воевал и был ранен в 42-м молодой лейтенант Александр Межиров, написавший прекрасные стихи «Воспоминание о пехоте»:

> Пули, которые посланы мной, не возвращаются из полета.
> Очереди пулемета режут под корень траву.
> Я сплю, положив голову на синявинские болота,
> А ноги мои упираются в Ладогу и Неву.

Здесь же неподалеку находится деревушка Лодва, где отбивал упорные атаки наседавших немцев юный солдат-разведчик Давид Самойлов:

> Рукоположения в поэты
> Мы не знали. И старик Державин
> Нас не заметил, не благословил…
> В эту пору мы держали
> Оборону под деревней Лодвой.
> На земле холодной и болотной
> С пулеметом я лежал своим.

Здесь в деревне Сологубовка было решено открыть военное кладбище для немецких солдат. История этого кладбища была не простой. Во время войны на территории Ленинградской области было захоронено около 400 тысяч солдат Вермахта. После 1945 года, в точном соответствии с директивой ЦК КПСС, все немецкие воинские кладбища были стерты с лица земли. Под Петербургом сохранилось одно-единственное немецкое военное кладбище под Сестрорецком. С 1992 года, когда впервые было подписано российско-германское соглашение по уходу за воинскими захоронениями, в Петербург и в Ленинградскую область стали приезжать с туристскими группами и поодиночке немецкие ветераны и родственники тех, чья жизнь оборвалась в

годы войны на ленинградской земле. Мало-помалу сам собой сложился традиционный маршрут, который приезжавшие немцы по собственной инициативе обязательно начинали с возложения венков на Пискаревском кладбище. Как сказал Генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Боден: «Каждый житель Германии, посещающий Петербург, должен воспринимать его не только как сокровищницу мировой культуры, но и как трагическую страничку немецкой истории».

Писатель Даниил Гранин, бывший фронтовик, выступил в «Литературной газете» с инициативой установить на Пулковских высотах Крест примирения, чтобы его «простой ясный знак осенил память жертв при наступлении Юденича, сражений белых и красных, русских и немцев». В 1993 году в Питере возник центр международного сотрудничества «Примирение». Его председатель Юрий Лебедев сказал: «Почему именно „примирение“? Слово „мир“ нравится мне меньше. С этим словом за тысячелетия беспрерывных конфликтов произошла ужасная вещь: оно все чаще используется политиками для развязывания войн… Само понятие примирения подразумевает четырехступенчатый процесс: сначала нужно познакомиться, затем понять друг друга, примириться и в конце концов подружиться». Лебедев припомнил известные слова Альберта Швейцера: «Отношение к военным могилам свидетельствует о культуре нации».

Были и другие мнения. Так, известный телерепортер Александр Невзоров в свойственной ему манере представил попытку немцев установить памятный знак в районе Красного Села как «очередную оргию фашиствующих молодчиков».

На открытии кладбища в Сологубовке молодые женщины, восстанавливавшие немецкие могилы, жаловались мне, что в деревне им вслед кричали: «Подстилки немецкие! Вас всех повесить надо!» Кстати, под Ленинградом воевали не только немцы. Здесь, в районе Стрельны, Красного Села, Пушкина, воевали солдаты испанской «Голубой дивизии», норвежского, голландского, бельгийского легионов, сотни поляков, латышей, эстонцев. Были даже французы из Эльзас-Лотарингии, которые ни слова не знали по-немецки.

Теперь, спустя более полувека, бывшие враги разыскивают на многострадальной ленинградской земле, начиненной осколками, своих погибших родственников. Оказалось, что в иностранных архивах сохранились фотографии каждого военного кладбища, каждой немецкой могилы. «Когда родственники погибших немецких солдат привозят с собой эти документы, просят разыскать места захоронений своих родных, становится стыдно, – пишет Юрий Лебедев. – Стыдно, когда видишь, как варварски

обошлись с этими местами… Когда на этом месте устраивается свалка, когда кости разбрасываются по округе мародерами, а мальчишки «стреляют» камнями по черепам, становится жутко».

В 1996 году Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями приступил к строительству в деревне Сологубовка под Мгой крупнейшего немецкого кладбища. На церемонии открытия мне рассказывали, что наших русских ветеранов, которые не всегда однозначно реагировали на строительство кладбища, пригласили в Германию и показали, как ухожены там военные кладбища советских солдат. Это сразу же убедило.

На официальное открытие кладбища в Сологубовке прибыло более тысячи немецких ветеранов и родственников погибших. Возглавляли официальную делегацию бургомистр Гамбурга, города-побратима Петербурга, и немецкий посол в России. Церемония первого дня началась с возложения венков к памятнику жертвам ленинградской блокады на Средней Рогатке в конце Московского проспекта. В тот же день были возложены венки на Пискаревском мемориальном кладбище, и в лютеранской церкви Святого Петра на Невском состоялось богослужение памяти погибших солдат. Вечером состоялся обязательный по такому случаю банкет с обилием официальных речей и тостов.

На второй день автобусы с участниками церемонии отправились в сторону Мги, сначала на Синявинские высоты, где были возложены венки к обелиску памяти погибших здесь советских солдат, и далее в деревню Сологубовка. Здесь на церковной земле была выделена территория в пять гектаров для сооружения кладбища. Церемония началась с православного богослужения у большого деревянного креста, установленного перед руинами церкви, на которое собралось много местного населения. Службу вел местный священник, отец Вячеслав, окончивший технический вуз и свободно владеющий несколькими языками. Рядом стояли лютеранские священники, также освящавшие кладбище. Потом участники церемонии в сопровождении многочисленного милицейского оцепления двинулись за каменную ограду, ворота которой были украшены немецкими флагами, на территорию будущего кладбища. Здесь на покрытом короткой стриженой травой поле стояли по три невысокие гранитные кресты. В нескольких местах поднимались редкие саженцы деревьев и стояли небольшие гранитные стелы с именами погибших.

Родственники погибших, их дети и внуки, уже ставшие седыми и старыми, несли с собой свечи и вечно молодые фотографии своих сгинувших здесь отцов. Более полувека они

безуспешно пытались разыскать эти могилы. Им показывали примерную территорию, где захоронены останки их близких. Они втыкали в рыхлую землю зажженную свечу, укрепляли возле нее фотографию, клали рядом цветы, ложились или садились на поросшую редкой травой глину и плакали. У дальней ограды кладбища в нескольких армейских палатках был организован обед. Там дымили полевые кухни. Каждому, входящему в палатку, давали в руки металлическую миску с мясным гуляшом и гречневой кашей и стопку водки.

Мне почему-то запомнилось, как уже в конце официальной части какой-то человек из обслуги начал торопливо снимать с ворот кладбища немецкие флаги. На просьбу съемочной группы подождать до конца телевизионной съемки он ответил: «Что вы, нельзя, – немедленно все сопрут». Ко мне подошла стайка девушек из соседнего поселка: «Дайте, пожалуйста, автограф. Мы Вас очень любим. Ведь Вы такой известный. Мы Вас узнали, Вы – Давид Голощекин».

Больные и согбенные старики, бывшие немецкие танкисты и наши пехотинцы, обнимались и плакали, поминая погибших. Выяснилось, что у немцев тоже были заградотряды, стрелявшие в своих, если те отступали. Вокруг сочувственно ахали местные бабки в белых платочках. Они поведали нам, что в годы войны партизан подо Мгой не было. Были только наши солдаты, бежавшие из немецкого лагеря. Их выдала местная крестьянка за триста немецких марок. «Да как же не выдать, – объясняли старушки, – у нее четверо детей было, их кормить было нечем». Живется здесь и сейчас невесело. Прежде был совхоз-миллионер с породистыми коровами. Сейчас – нищета, разорение и бескормица.

Теперь, когда минуло более полувека, бывшие рядовые армии противника тоже стали для наших людей жертвами войны. Ведь немецкие солдаты тоже вынуждены были выполнять приказ. Вряд ли им всем, даже одурманенным фашистской пропагандой, так уж хотелось умирать на чужой земле. Немцы подарили мне изданный в Германии дневник погибшего в этих местах немецкого солдата Вольфганга Буффа, начатый 29 сентября 1941-го и оборвавшийся 14 января 1942 года. В дневнике есть и стихи, очень невеселые.

Как знать, может быть, именно моему родному многострадальному Питеру суждено стать в истории первым городом-миротворцем враждовавших народов? По проекту питерских архитекторов в Сологубовке было сооружено кладбище, рассчитанное на захоронение 80 тысяч погибших немецких солдат (самое большое немецкое военное кладбище), и

примыкающий к кладбищу Парк мира, символизирующий бессмысленность войны и означающий примирение. Также была восстановлена и отреставрирована русская православная церковь Успения Богородицы. Церковь эта, освященная в 1851 году, в конце 20-х годов была разграблена, а в 1937 году закрыта. В подвале церкви во время войны находился полевой госпиталь Вермахта, и поэтому она была разрушена советской авиацией.

Еще в 1961 году известный московский художник Борис Неменский написал картину «Безымянная высота», на которой изображены два лежащие голова к голове молодых парня, – русский и немецкий солдаты, убившие друг друга в рукопашном бою на безымянной высоте. Лицо русского солдата обращено к небу. Немец уткнулся лицом в землю. Оба юноши, одетые в солдатскую форму враждующих армий, почти дети, одинаково беспомощны перед смертью. Пожалуй, это единственная из многочисленных картин о войне советского периода, ярко и выразительно показывающая, что война – это не победа и героизм, а страдание и смерть.

Картина вызвала яростное поношение советской критики. Художника обвинили в отсутствии патриотизма и буржуазном пацифизме. Более всего высокопоставленных идеологов советского искусства возмутило, что на картине смерть уравняла немца-захватчика и русского-защитника. Это никак не вписывалось в многолетний привитый нам еще с военных лет стереотип немец-фашист. Несмотря на хрущевскую либеральную оттепель, после ожесточенных споров картина была убрана в запасники. Пытаясь спасти картину, художник сделал ее вариант, где изобразил немца со звероподобным лицом, но и это не помогло. Цензура была неумолима. Только через тридцать лет картина смогла увидеть свет.

Известный немецкий коллекционер Петер Людвиг купил один из вариантов картины и повесил в своем музее в городе Ахене в Германии на одном из самых почетных мест. Там было организовано интервью и открыт конкурс на тему «Память о войне и примирение глазами молодежи». Такой же конкурс в 1997 году был начат и в Петербурге центром международного сотрудничества «Примирение». О нем было рассказано в радиопередаче «Исторический клуб», которую вел профессор В. И. Старцев. Целью конкурса было укрепление взаимопонимания молодежи городов-побратимов Санкт-Петербурга и Гамбурга через творческое переосмысление уроков Второй мировой войны. Основой для конкурса была предложена картина Неменского. Ребят попросили нарисовать еще что-нибудь на эту тему. Сначала казалось непонятным, как можно нарисовать

примирение? Вот войну, например, можно нарисовать, мир – тоже, а примирение как? «Мы сами не знаем, что такое примирение. Зачем же эту идею детям навязывать? – возмущался директор одной из художественных школ. – Давайте заменим тему на „Мир и дружба: Петербург – Гамбург“. Детям будет слишком сложно понять эту тему».

Но одна за другой на конкурс стали поступать детские работы, которых набралось более пятидесяти. При этом решения были самые нестандартные. Меня более других тронул рисунок четырнадцатилетней девочки. На рисунке изображены две могилы рядом на пригорке. На одной могиле – немецкий крест с каской, пробитой пулей, на другой – звездочка на фанерном постаменте и висящая на ней пробитая пилотка. Так появилась песня «Ленинградские дети рисуют войну», исполненная впервые на церемонии открытия немецкого военного кладбища.

В июле 2003 года мне, в качестве геофизика, довелось принимать участие в экспедиции на военном гидрографическом судне «Сенеж». Мы вышли из Мурманска в северо-восточную часть Баренцева моря к берегам архипелага Новая Земля, к тем местам, где в 42-м году погиб печально знаменитый Полярный конвой PQ-17. В 1941–1942 годах, когда напавшая Германия уничтожила большое количество советских танков и самолетов, наши союзники – Великобритания, США, Канада – начали поставлять СССР необходимое вооружение. Значительная часть грузов шла через Арктику, вооружение поставлялось из Англии, Исландии, Канады. Назывались эти караваны транспортных судов, охраняемых военными кораблями, «конвоями». Мурманск и Архангельск в годы войны стали постоянными портами назначения для конвоев с ценными стратегическими грузами. Чтобы топить суда союзников, фашисты специально сосредоточили в районе Норвегии и в других полярных областях значительные силы флота и авиации. Уже после войны выяснилось, что база немецких подлодок была даже на Новой Земле.

Судьбы конвоев складывались по-разному, но большинство из них благополучно достигало русских берегов. Трагическая судьба конвоя PQ-17 наиболее известна, поскольку он был почти полностью уничтожен, когда в июле 42-го по личному указанию первого морского лорда Дадли Паунда его бросили на произвол судьбы британские корабли боевого охранения. Судам конвоя был отдан приказ рассредоточиться и поодиночке пробиваться в русские порты. Тихоходные и беззащитные транспорты, таким образом, были отданы на растерзание немецким подводным лодкам и авиации. Причины этого сих пор не ясны: ведь боевая

мощь судов охранения в несколько раз превосходили силы противника. Немцы атаковали суда конвоя методом «волчьей стаи», разом ударив и из-под воды и с воздуха. В результате были потеряны сотни единиц военной техники, из 36 кораблей конвоя до Архангельска добрались только 12, а более 150 моряков навсегда нашли покой на дне Баренцева моря.

Надо заметить, что советские моряки проявили большое мужество, спасая тонущих союзников. В частности, отличился сторожевик «Мурманец», на котором служил штурманом старший лейтенант Валентин Валентинович Дремлюг. Он лично спас более сорока человек. Сейчас ему за девяносто, он профессор Государственной морской академии им. адмирала С. О. Макарова и один из крупнейших российских океанологов.

В 2003 году общественной организацией «Полярный конвой» совместно с командованием Северного флота была организована мемориальная экспедиция, которую возглавил один из крупнейших российских гидрографов контр-адмирал Вячеслав Анатольевич Солодов. Поставленная перед геофизиками задача состояла в том, чтобы у берегов Новой Земли, по примерным координатам, известным из архивных документов, найти погибшие суда конвоя PQ-17. Отрядом геофизиков на судне «Сенеж» руководил замечательный российский ученый, профессор Михаил Александрович Спиридонов. При поиске затонувших кораблей мы использовали современную аппаратуру: систему спутниковой навигации, специальный подводный аппарат, предназначенный для видеонаблюдения дна, подводных объектов и гидролокатор бокового обзора, который позволяет находить объекты на дне в широкой полосе – до 500 метров от судна.

Нам удалось обнаружить два американских транспорта – «Олапама» и «Алко-Рейнджер», правда, несколько в стороне от предполагаемого места их гибели. Оба этих судна были торпедированы одной и той же немецкой подводной лодкой U-255. На экране гидролокатора получилась отчетливая картинка: были видны даже несколько танков, выпавших с борта транспорта «Олапама».

В мемориальный рейс на судне «Сенеж» вместе с учеными и военными пошли ветераны Полярных конвоев, не испугавшиеся, несмотря на преклонный возраст, отправиться в штормовое Баренцево море: канадцы, американцы, англичане и, конечно, русские. Таких смельчаков было семеро и каждый из них заслуживает отдельного рассказа. Например, Евграф Евлогиевич Яковлев – потомственный помор из архангельской деревни. В 1943 году, в четырнадцать лет поступив в школу юнг на

Соловках, он прошел путь до капитана. Во время войны служил на танкере «Михаил Фрунзе», переоборудованном из лесовоза. На палубе находились бочки с бензином, и однажды, когда немцы обстреливали судно с воздуха, он под огнем сорвал с емкостей вспыхнувший брезент, чтобы все не взлетело на воздух. «А вы не боялись?» – спросил я его. «Боялся, что от начальства попадет, – брезент-то новый», – бесхитростно ответил ветеран. Поразил меня и его рассказ о том, как после бомбежки он переживал об испорченной новой «фланельке»: мол, испачкал казенную форму чем-то черным. Оказывается, это была кровь – в него угодил осколок… Или еще один замечательный потомственный моряк – Алексей Андреевич Нахимовский. Когда-то его отца, родившегося в Китае, подобрал и «усыновил» экипаж броненосного крейсера «Нахимов». От названия корабля пошла их фамилия. Капитан I ранга Анатолий Львович Лившиц, ходивший штурманом на эсминцах, участвовал в 23 союзных и 20 внутренних конвоях. За годы войны он прошел почти сто тысяч морских миль, зачастую в сложнейших штормовых условиях. Пятнадцать раз эсминцы, которым он прокладывал курс, атаковали глубинными бомбами немецкие подлодки. Две из них были потоплены, а еще две – повреждены. Канадским ветеранам тоже было что вспомнить. Так, Роберт Ферли рассказал мне, что в 44-м году он перевозил из Британии в Мурманск тысячи советских военнопленных, которых Черчилль выдал Сталину. Другой канадец – капитан торгового флота Хилл Вилсон начал службу кадетом в Атлантических конвоях, а в конце войны стал старпомом на танкере. Англичанин Уильям Лоус был сержантом Королевских ВВС, у него случился роман с русской девушкой Зиной. Уильям делился с ней своим армейским пайком, спасая от голодной смерти, и вот, спустя шестьдесят лет 83-летние «Ромео» и «Джульетта» вновь встретились в Архангельске.

В числе прочих был и немец, бывший полковник Люфтваффе Хайо Херманн. В годы войны он командовал сначала эскадрильей, а потом полком бомбардировщиков «Юнкерс-88», которые топили конвои союзников. Он – герой Второй мировой, личный друг Геринга, летчик, награжденный всеми боевыми орденами фашистской Германии, неоднократно бывавший на приемах у Гитлера. В 2003 году ему исполнилось девяносто лет. Седой, высокий и статный старик с жестким и твердым характером, «настоящий ариец». На счету Херманна 12 потопленных кораблей общим тоннажем 70 тысяч тонн. Он трижды горел в небе и выбрасывался с парашютом. Полк его полностью выбивали, а он оставался живым и получал новое назначение. В 45-м году в Австрии его взяли в плен и отправили в воркутинские лагеря. Не

зная русского языка, он дважды пытался бежать оттуда, но был пойман. Самостоятельно изучил русский язык. За справедливость и жесткий характер был избран зэками старостой барака. На всю жизнь его любимой песней стала «Широка страна мойя роднайя…» Но взгляды его после войны не изменились: он считал, что воевал за Великую Германию. Последние годы Херманн работал адвокатом в Дюссельдорфе, где вел дела по защите нацистских преступников, неонацистов и «историков», отрицающих Холокост. В ноябре 2010 года он умер.

Внук одного из наших ветеранов, узнав об участии в экспедиции бывшего врага СССР, с надеждой спросил: «Дедушка, а вы его там утопите?» Ничего подобного, конечно, не произошло. Состоялась невероятно трогательная сцена примирения бывших врагов. Деды плакали, обнимались и вместе опускали венки на воду. Для них эта экспедиция стала актом примирения. Наверное, это естественно для людей, проживших трудную, полную противоречий жизнь, которые не хотят испытывать мстительных, враждебных чувств друг к другу.

В рейсе мы с Хайо Херманном подружились и даже выпивали по рюмке. Все шло хорошо, но когда он узнал, что я – еврей, то сильно расстроился. На него было буквально жалко смотреть. Я ему понравился, и ему очень не хотелось, чтобы я был евреем. «Александр, – спросил он дрожащим голосом, – может быть, ты только наполовину еврей?» – «Как говаривал твой дружок Геринг, наполовину евреев не бывает. Понял?» – отрезал я. Он безнадежно махнул рукой, принял сразу две таблетки валидола и ушел спать в свою каюту.

Хайо Херманн подарил мне свою фотографию военных лет с крестами и орденами. Во время рейса я написал песню в память о конвое PQ-17, и он перевел ее на немецкий язык. «Александр, – сказал он мне, – у тебя в песне одна строчка неправильная. Ты пишешь, что хорошо, чтобы погода была нелетной. Это неправильно. Хорошо, когда она летная». – «Это вам, сволочам, нужна летная погода, чтобы нас бомбить, – ответил я, – а морякам – наоборот». Он, кажется, понял. Эта песня звучит в документальном фильме о конвое PQ-17, снятом во время нашей экспедиции немецкими тележурналистами, русский вариант которого мне довелось озвучивать и который был назван по строчке из этой песни – «Корабли собирает конвой».

Аргумент в неоконченном споре —
Злой сирены пронзительный вой.
Для похода в студеное море
Корабли собирает конвой.

Им волна раскрывает объятья,
Им поют, провожая, гудки.
Это ваши друзья или братья, —
Помолитесь за них, моряки.

Каждый твердо в звезду свою верит.
Только знать никому не дано,
Кто сумеет вернуться на берег,
Кто уйдет на холодное дно.
Не дожить им до скорой победы,
Ненадежной мечте вопреки.
Это ваши отцы или деды, —
Помолитесь за них, моряки.

Вспомним тех, кто стоит у штурвала,
Чтоб погода нелетной была,
Чтобы бомба суда миновала
И торпеда в пути обошла.
Отлетают их светлые души,
Словно чайки в полете, легки.
Никому не добраться до суши, —
Помолитесь за них, моряки.

Над водою, соленой от горя,
День полярный горит синевой.
Для похода в студеное море
Корабли собирает конвой.
Там грохочут салюты прибоя,
И намокшие тонут венки.
Это те, кто закрыл вас собою, —
Помолитесь за них, моряки.

По окончании нашей экспедиции в Питере на моем родном Васильевском острове в храме Успения Богородицы состоялся молебен памяти моряков Полярных конвоев, погибших в годы войны.

«Вождей и воинов, на поле брани убиенных,
Прими к себе и память сотвори».
Нестройный хор звучит в церковных стенах,
Где пахнет свежей известью внутри.
Здесь отпевают моряков конвоев,
Что сгинули отсюда вдалеке.
Меж прочих, с непокрытой головою,

Стою и я со свечкою в руке.
Забытые припоминая раны,
Под флагами союзных прежде стран,
Среди других согбенных ветеранов
Стою и я, как будто ветеран.
Поскольку здесь мой дом сгорел в блокаду,
В которую мне выжить довелось,
И сам я уроженец Ленинграда
И Петербурга нынешнего гость.
Знаком мне с детства чаек этих гомон
И монументов бронзовая рать.
Сюда и сам я, не в пример другому,
Когда-нибудь отправлюсь умирать.
А девушки поют в церковном хоре,
И далеко от питерской земли
Шумит в тумане Баренцево море,
Погибшие скрывая корабли.

В 2009 году питерский телеканал «100 ТВ» выпустил документальный сериал «Дети блокады» об известных жителях Петербурга, переживших блокаду, в число которых попал и я. Съемочная группа сначала снимала меня на 7-й линии у ворот моего дома, а потом меня привезли в Музей истории Санкт-Петербурга на Английской набережной Невы, где есть большой отдел, посвященный блокаде. Меня привели в маленькую комнатушку, имитирующую блокадную пору: буржуйка, окна, заклеенные крест-накрест бумажными полосками, черная тарелка репродуктора на стенке, и усадили на узкую койку. «Подождите пару минут, – сказали операторы, – мы сейчас принесем камеру и будем вас снимать». С этими словами они вышли. Через две минуты в уши мне неожиданно ударил вой сирены, и из включившегося репродуктора хорошо знакомый, как бы возникший из подкорки моей памяти, голос закричал: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Сердце мое бешено заколотилось. Я съежился, обхватив голову руками. Глаза мои вылезли из орбит, и на них выступили слезы. Оказывается, все это время операторы снимали меня скрытой камерой, а потом вставили это в фильм. Ну и методы! Почти как у Анджея Вайды в картине «Все на продажу»!

Через несколько дней после показа этого фильма по телевидению мне позвонила моя давняя приятельница литературный критик Ирина Муравьева: «Я хотела поговорить с тобой о блокаде, но я видела по телевизору фильм, и не буду тебя

тревожить».

Тает в часах песок.
Вся голова в снегу.
Черствого хлеба кусок
Выбросить не могу.
Не понимает внук
Мой полуночный бред.
Шепчут, смеясь, вокруг,
Дескать, свихнулся дед.
Вынь мне из сердца боль,
Мой ленинградский Бог,
Чтобы муку и соль
Не запасал я впрок.
Не угождал беде
В мире, где тишь да гладь,
Веря, что черный день
Может прийти опять.

Новая Голландия

Был и я семиклассник зеленый,
И, конечно, в ту пору не знал,
Что ступаю на землю Коломны,
Перейдя через Крюков канал.
Поиграть предлагая в пятнашки,
Возникает из давних времен
Между Мойкой, Фонтанкой и Пряжкой
Затерявшийся этот район.

Вдалеке от Ростральной колонны
Он лежит в стороне от дорог.
Был и я обитатель Коломны,
Словно Пушкин когда-то и Блок.
Здесь следил я, как ранняя осень
Гонит желтые листья в моря.
Здесь осталась на Мойке, сто восемь,
Разоренная школа моя.

Здесь, гордынею полон безмерной,
Я о славе мечтал перед сном,
В коммуналках сырых на Галерной,
И на Мойке, и на Дровяном.
Здесь влюблялся темно и случайно,
И женился бездумно и зря,
Но кружила над крышами чайка,
И гремели в порту якоря

Я ступаю на землю Коломны,
Перейдя через Крюков канал,
И себя ощущаю бездомным
Оттого, что ее потерял.
Там кружит над Голландией Новой
И в далекие манит края,
Прилетая из века иного
Белокрылая чайка моя.

Прилетая из века иного
Невозвратная чайка моя.

Стихи я начал писать случайно. Я в это время учился в

седьмом классе 254-й ленинградской школы, расположенной напротив Никольского собора, в доме на углу проспекта Римского-Корсакова и улицы Глинки, где поворачивали трамвайные рельсы. Школа наша помещалась в старинном здании с высокими потолками и лепными карнизами. На фасаде дома уже при нас водрузили мемориальную доску, извещавшую о том, что именно здесь в гостях у своего друга Никиты Всеволожского бывал Александр Сергеевич Пушкин на собраниях литературно-политического кружка «Зеленая лампа». Самое забавное, что в предыдущие годы эта доска висела на соседнем доме, но потом историки, подумав, перевесили ее на нашу школу. Теперь всякий раз, бывая в Питере и проезжая мимо, я ревниво смотрю на знакомый школьный фасад, опасаясь, не перевесили ли эту доску еще куда-нибудь после очередных исторических уточнений, но она пока еще на месте…

Послевоенное время было трудное. Я помню, что на кухне дымили примуса и керосинки, газа тогда еще, конечно, не было, и мне неоднократно приходилось ходить на угол Фонарного переулка и улицы Декабристов в керосиновую лавку. Денег на новую одежду не хватало, поэтому для меня перешивали что-то из старых отцовских вещей. Так, в конце войны отец отдал мне свое кожаное полупальто, которое получил в Гидрографии и носил несколько лет. Пальто немного подогнали, перешили, и я таскал его в старших классах, очень гордясь своей «кожанкой». В ней я потом ходил и в Горном институте. То же относилось и к другим вещам. Например, были проблемы с кастрюлями. Помню, что очень долго в качестве кастрюль использовались привезенные из эвакуации банки из-под американской свиной тушенки. Только потом мы начали потихоньку обрастать каким-то имуществом.

Заканчивался трудный 47-й год, завершавший для меня пору недолгих мальчишеских увлечений. Марки, которые я начал собирать еще в 44-м, в эвакуации, мне уже изрядно поднадоели. Пробовал в шестом классе начать собирать открытки, но из этого тоже ничего не получилось. Тогда почему-то была пора коллекционирования – все что-нибудь собирали. Отец пытался склонить меня к занятиям фотографией и подарил на день рождения свой старый «Фотокор», снимавший еще не на пленку, а на специальные стеклянные фотопластины. Поначалу мне понравилось это занятие. Особенно привлекали меня ритуальное таинство проявления и фиксации негативов и печатания фотоснимков, секреты рецептур проявителей и фиксажа, приготовление соответствующих растворов, напоминающее о средневековых алхимиках. Наконец, таинственная процедура при красном полутемном свете, когда со дна кюветы, из черноты

раствора, вдруг проступает человеческое лицо. У нас в школе образовался кружок фотолюбителей. Вел его чрезвычайно бледный и болезненный человек с тихим голосом, одетый в неизменный вытертый пиджак с бахромой на продранных рукавах. Он сказал, что все его занятия надо записывать, как лекции. «Ну-ка, покажи, – сказал как-то отец и, посмотрев мои записи, произнес: – Это знающий человек. Сразу видно, что специалист высокого класса». Занятия, однако, продолжались недолго. На одно из них пришел директор школы и попросил у нашего учителя документы. На этом все и кончилось. Только через несколько лет, уже после смерти Сталина, когда только началась пора реабилитации, вспомнив грустный облик нашего болезненного учителя, я понял, откуда он к нам попал.

Я еще таскался с фотоаппаратом, когда к нам в седьмой «Б» пришел новенький, Володя Михайловский, почти сразу же получивший, уже не помню почему, кличку Бича, – невысокий полный мальчик, тихий, немногословный и очень скромный. Рисовал он прекрасно, хотя смущался, краснел и страшно сердился, когда на это обращали внимание. Жил Володя недалеко от школы, на Малой Подьяческой улице, хордой соединявшей петлю Грибоедовского канала. Как раз по этой улице и далее, через Львиный мостик и улицу Декабристов, пролегал мой каждодневный путь в школу и обратно, в огромный дом на углу Мойки и Фонарного переулка, где мы тогда жили. Мы с Володей подружились, тем более что оказались попутчиками. И как-то раз он зазвал меня к себе домой, показал свои рисунки карандашом и акварелями, которые мне сразу понравились. Володя был удивительно одаренным рисовальщиком, быстро и точно изображавшим на бумаге окружающий мир с поразительным, как мне казалось, сходством. Глядя на то, как он рисует, можно было подумать, что дело это простое и доступное для каждого. Поэтому я тоже попытался рисовать, но из этого, конечно, ничего не получилось, хотя Володя по доброте своей усердно мне помогал.

Теперь уже не помню, кто именно посоветовал нам пойти в художественный кружок при Ленинградском Дворце пионеров, располагавшемся в Аничковом дворце на углу Фонтанки и Невского. Володя, которому не хотелось записываться в кружок одному, уговорил и меня. Мы отобрали с ним несколько рисунков и отправились на Фонтанку. Отдел художественного творчества Дворца пионеров помещался в длинном двухэтажном флигеле, вытянутом вдоль Невского перпендикулярно фасаду главного здания дворца. Мы долго ходили по коридорам второго этажа в поисках «художественной студии», с робостью прислушиваясь к звукам разного рода музыкальных инструментов, раздававшимся

из-за дверей. В конце коридора, рядом с вокальным классом, где какой-то высокий женский голос выпевал гаммы, мы увидели наконец надпись «Студия рисования», но двери оказались запертыми. Выяснилось, что сегодня среда, а занятия бывают только по вторникам и четвергам.

Обескураженные, мы повернули обратно, и когда уже дошли до конца коридора, я увидел приоткрытую дверь, за которой звучали стихи. Я подошел поближе и прислушался. Это были очень красивые и совершенно мне неизвестные стихи, как потом выяснилось – Франсуа Вийона. Читал их негромким глуховатым голосом невысокий, стройный и курчавый черноволосый мужчина в толстых роговых очках и темной гимнастерке без погон, перехваченной в талии широким офицерским ремнем (им оказался Ефим Григорьевич Эткинд). На столе перед ним лежала толстая открытая офицерская кожаная полевая сумка, набитая книгами. На стульях перед столом, спиной к дверям и ко мне, сидели несколько ребят и девушек, примерно на класс или на два постарше, чем я. «Ну, чего ты застрял, пойдем!» – окликнул меня Бича. «Иди, я еще побуду», – неожиданно для себя ответил я ему и, тихо открыв дверь, надпись на которой так прочесть и не успел, вошел в комнату и, стараясь не шуметь, сел на крайний стул. Никто из присутствующих не обратил на меня никакого внимания – все были заняты слушанием стихов. Так в феврале 1947 года началось мое увлечение стихами, затянувшееся на долгие годы.

Что же до Володи Михайловского, которому я обязан своим приходом во Дворец пионеров, то с ним мы встретились после многих десятилетий в 1998 году в Питере на моем вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала. Он действительно стал художником. Его батальные полотна морских сражений украшают залы Военно-морского музея и кают-компании многих судов.

Для приема в «Студию литературного творчества» (вот что было написано на дверях) необходимо было представить один собственноручно написанный рассказ или три стихотворения. У меня к тому времени уже было в запасе одно стихотворение, посвященное умирающему гладиатору и подозрительно смахивающее на лермонтовское. Помучившись неделю, я, не ожидавший от себя такой прыти, написал еще одно стихотворение про татаро-монгольское нашествие (я в те поры страшно увлекался книгами В. Г. Яна «Батый» и «Чингисхан»). Там были такие, чрезвычайно почему-то тогда понравившиеся мне строчки:

Монголы, монголы, монголы идут,
И стонет земля под тяжелым копытом,

И рвется тревожный набатный гуд:
Монголы, монголы, монголы идут…

Ободренный своим неожиданным успехом, я настряпал еще одно, примерно такого же качества, стихотворение про Древний Рим. Так что можно сказать, что стихи на историческую тему я начал писать с самого начала.

Меня, хотя и со скрипом, приняли – правда, не в ту, как оказалось, старшую группу, куда я случайно забрел, а в младшую, состоящую из семи– и восьмиклассников. Это, однако, роли не играло, так как на занятиях можно было сидеть как в той, так и в другой группе. Младшей руководил тогда ленинградский поэт Леонид Иванович Хаустов, человек маленького роста, с всклокоченными черными волосами и такими же угольными зрачками. Одет он был неизменно в коричневый костюм и темную рубашку с галстуком, ходил быстрой походкой, был темпераментен и эмоционален.

Старшую группу вел поэт Глеб Сергеевич Семенов, очень худой, небольшого роста, всегда державшийся с подчеркнутой прямотой осанки и казавшийся сутуловатым. Волосы его, в противоположность Хаустову, были прямыми и всегда гладко зачесанными. Ходил он неторопливыми длинными шагами на как бы негнущихся ногах. Пиджак строгого темного цвета висел на его плечах так же прямо. Строгость его внешнего облика подчеркивалась всегда аккуратно завязанным галстуком и негромким глуховатым голосом. Занятия по «теории литературы» (да, да, тогда именно так это называлось) вел уже увиденный и услышанный мною доцент Ленинградского пединститута им. Герцена Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик…

Так начались мои занятия во Дворце пионеров. Проходили они два раза в неделю – по средам и пятницам. Один день – «теория литературы», другой – практические занятия. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял гораздо позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, что мы и понятия не имели, что это за программа. Зато своему первооткрытию звучащей сокровищницы российской поэзии – от «Слова», Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, открытию трагических судеб Данте и Петрарки и не искаженных переводами стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона – я обязан именно ему.

Ефим Григорьевич Эткинд, ныне известный во всем мире как переводчик, писатель, литературовед и критик, был человеком удивительных талантов и не менее удивительной работоспособности. Он не только был переводчиком, прекрасно владевшим европейскими языками, в первую очередь – английским и французским, но и глубоким знатоком русского языка и русской поэзии. Он, по существу, заложил основы науки перевода европейских поэтов на русский язык. Им составлено собрание лучших поэтических переводов в России, вошедшее в состав «Библиотеки поэта». Так же тщательно изучил он и русскую эпиграмму за последние три века. Будучи далеким от политики, он тем не менее не остался в стороне во время позорного процесса над Иосифом Бродским и вместе с Фридой Абрамовной Вигдоровой решительно встал на защиту арестованного поэта. Выступления на процессе Бродского, а также помощь опальному писателю Солженицыну (Эткинд прятал у себя часть его архива, в том числе один из машинописных экземпляров «Архипелага ГУЛАГ») в 1974 году привели к увольнению Эткинда из Педагогического института им. Герцена, где он проработал много лет, и его публичной травле. Лишенный возможности работать, он вынужден был эмигрировать.

В эмиграции Ефим Григорьевич в течение ряда лет с успехом читал лекции в Сорбонне и университетах Германии. В Париже он на русском языке опубликовал свой фундаментальный труд «Анатомия стиха», стал одним из основных редакторов и составителей многотомной «Истории русской литературы» вместе с И. З. Серманом, Ж. Нива и В. Страда. Он подготовил множество изданий классиков русской поэзии от Пушкина до Цветаевой на немецком и французском языках. Активно участвовал вместе с С. Маркишем в издании романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и других книг «тамиздата». В сложной конфликтной обстановке парижской эмиграции с постоянными междоусобицами между отдельными издательскими и литературными группами Эткинд, так же как и Виктор Некрасов, приложил немало усилий для нормализации литературной жизни. Его энергии хватало, кажется, на все. Он ухитрялся ездить с лекциями в Америку, планировать издание «Энциклопедии советской цивилизации», писать многочисленные статьи, выступать с обширными докладами на конференциях и писать книги.

В конце жизни он неоднократно приезжал в Россию. Я встретился с ним последний раз в мае 1999 года в Питере, куда он приехал в связи с пушкинским юбилеем. Он был у меня на авторском вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала, а

на следующий день я приехал к нему домой в маленькую квартирку в доме неподалеку от площади Мужества. Мы просидели и проговорили весь день до темноты. Через много лет он заставил меня перейти с ним на «ты». Это оказалось менее сложно, чем я предполагал: в свои восемьдесят он казался значительно моложе, – та же живость ума, мальчишеская любознательность, азарт в полемике и полное отсутствие занудства и стремления вещать, нередко свойственного классикам ушедшего фронтового поколения. Опасаясь за его здоровье, я по пути к нему деликатно взял небольшую флягу коньяка, и немедленно пришлось бежать за второй.

Говорили как бы сразу обо всем, о Глебе Семенове, о Бродском, к которому ушла его жена, о Льве Копелеве, с которым Эткинда связывала многолетняя дружба, об авторской песне, о поэзии в Питере, о тревогах и надеждах нынешнего дня. Прощаясь, он подарил мне свою «Анатомию поэзии». Кто мог предполагать, что встреча эта окажется последней? Через полгода после этого у него внезапно обнаружили рак, и вскоре его не стало. И когда я слушал его глуховатый голос, я снова вспоминал молодого курчавого красавца в офицерской гимнастерке, вдохновенно читавшего стихи Вийона и открывшего мне когда-то океан мировой поэзии.

«Практика», которую сначала я проходил у Хаустова, а потом у Семенова, заключалась в чтении и разборе стихов. Процесс этот имел строгий, раз навсегда заведенный порядок. За неделю до обсуждения стихи передавались автором двум специально назначенным «оппонентам», которые внимательно читали их дома и готовили подробный критический разбор. На занятии сначала читал стихи автор. При этом строжайшим образом соблюдалась полная тишина. Категорически запрещалось разговаривать, перешептываться или шумно перемещаться. Это строгое правило оцениваешь вполне, когда сам читаешь стихи. После с подробными «докладами» выступали оппоненты. Затем слово предоставлялось всем желающим. Мнения можно было высказывать любые, но их обязательно полагалось аргументировать. «Нравится? Почему? Объясни, пожалуйста». «Не нравится? Опять же, почему?» Резюме обычно подводил руководитель. Обсуждаемому часто приходилось туго, так как мнения высказывались самые резкие, но все люди были пишущие, каждый знал, что наступит и его черед, и обстановка в общем была доброжелательная. Много лет спустя, когда мне самому довелось вести литературные объединения, я всегда использовал эту старую, полюбившуюся мне во Дворце пионеров схему.

«Практика», однако, не ограничивалась только разбором

собственных стихов. Регулярно устраивались литературные игры: цепные стихи, буриме, акростих, стихи заданным размером на заданную тему и так далее. Глеб Сергеевич сказал тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу: «Я, конечно, не могу научить вас писать стихи – это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, будем считать, что мы с вами не зря тратили время». С тех пор прошло более сорока лет, но эти слова я запомнил отлично. Действительно, сколько порой одаренных поэтов страдают отсутствием вкуса – опасной болезнью, становящейся с возрастом неизлечимой, как и другие детские болезни, угрожающие взрослым! А ведь если научиться отличать плохие стихи от хороших, то сможешь и своим стихам, которые каждому автору кажутся замечательными, дать трезвую и правильную оценку, пусть даже самую горькую!

И Глеб Семенов, как мог, воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, родом из старой интеллигентской семьи (приемная мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а приемный отец – известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов авторов, о которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту ничего не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Помню, как-то году в пятидесятом он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,
Горю с остатками угля.
Здесь смертный дух,
Здесь смертью пахнет,
И осыпается земля.
Последние истлеют крепи,
И рухнет небо мертвеца,
И превращаясь в пыль и пепел,
Я домечтаю до конца.
Я лишь на миг тебя моложе, —
Пока еще могу дышать:
Моя шагреневая кожа,
Моя усталая душа.

«Чьи это стихи?» – спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по

своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только несколько лет назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автор этих «безымянных» полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший в то время в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем – ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше. Именно он, помнится, дал мне впервые прочитать стихи прекрасного поэта Николая Тарусского, стихи Николая Заболоцкого и многих других поэтов, тогда запрещенных или полузапрещенных.

Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах, на занятиях литературной студии, именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания мировой поэзии – от Тредиаковского до обэриутов, от терцин «Божественной комедии» и песен вагантов до мужественной «Мэри Глостер» и «Баллады о трех котиколовах». Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.

После занятий мы упорно не хотели расходиться, обычно долго бродили по вечернему шумному Невскому или по тихой и безлюдной Фонтанке, беспрестанно читая стихи или разговаривая о них. Жизнь наша, до того бессмысленная, обрела главный смысл. И дело было, конечно, не в скромных наших способностях и не в уровне собственных злополучных стихов. Мы все обрели истинную веру, причастились великого таинства мира звуков и смысла их единственной гармонии и не могли уже жить, как прежде.

Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно потравленные «воспитанием под барабан» в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы существования, появилось первое сомнение в безусловной правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести «Попытка к бегству» на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим и людей приговаривают к смерти за

следующий состав преступления: «Хотят странного». Стараясь научить нас «отличать плохие стихи от хороших», Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание – «хотеть странного». Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного «стремление ко лжи и к искусству». Не знаю, как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно, и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И это его огромная заслуга перед непорочностью и весомостью слова. Заслуга, благодаря которой мы были обращены в религию творчества. Не все, безусловно, стали литераторами – многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных «ценностей»…

Именно Глебу Семенову принадлежит заслуга превращения в интеллигентов целого поколения пишущей ленинградской молодежи. Он отдал этому делу практически всю свою недолгую жизнь. Много лет руководил студией во Дворце пионеров. Потом, когда я учился в Ленинградском Горном институте, мы пригласили его вести студию там. По окончании Горного все участники «горняцкого» объединения не могли и не хотели расставаться с Семеновым и долгие годы ходили на его занятия во Дворец культуры им. Первой пятилетки, где он потом вел студию литературного творчества. Забегая вперед, могу сказать, что из «Глеб-гвардии Семеновского полка» (так мы себя в те поры величали) вышло немало литераторов, внесших заметный вклад в литературу последующих лет. Среди них – писатели Андрей Битов, Яков Гордин, Борис Никольский, поэты Александр Кушнер, Леонид Агеев, Глеб Горбовский, Владимир Британишский, Олег Тарутин, Нонна Слепакова, Нина Королева и многие другие.

С тех пор прошло много лет, но когда я в журналах или поэтических книжках встречаю вдруг новые хорошие, ранее неизвестные мне стихи, то, читая их, снова слышу глуховатый и негромкий голос Глеба Семенова.

Нам всем, дворцовым студийцам, было от пятнадцати до семнадцати лет, и Глеб Семенов казался тогда безнадежно старым и взрослым человеком, а ведь ему не было еще и тридцати. Поэтическая судьба его сложилась трудно. Первая книга стихов «Свет в окнах», вышедшая в 1947 году, была неудачной. Последующие сборники, очень редкие, тоже были разными по своему уровню. Лучшие стихи оказались доступны для широкой публикации только после его смерти (он умер в январе 1982 года от рака легких). Был он крайне требователен к себе и всю жизнь

мучился из-за хронической невозможности опубликовать то, что хочет. В годы войны его не взяли в армию из-за слабых легких, и это тоже мучило его, что нашло отражение в его стихах. Существовал он более чем скромно тем, что частично переводил, а по большей части работал при Союзе писателей в качестве литконсультанта и вел литературные объединения. Не знаю, что было бы, если бы его творческая судьба сложилась более удачно, но думаю, что в этом случае того уникального (на более чем два десятилетия – в самые черные годы) педагогического семеновского феномена могло бы и не быть…

Но вернемся в 1948 год. В нашем кружке (мы не любили это слово и всегда говорили «студия») были свои лидеры – первые поэты, писатели и критики. Старшую группу одно время посещал Василий Аксенов, поступивший после школы учиться в Первый медицинский институт. Там же занимались Борис Никольский, Владимир Торопыгин (главный редактор журнала «Аврора», безвременно умерший от рака), Игорь Масленников, ставший потом известным кинорежиссером. До сих пор помню его стихи, тогда чрезвычайно мне понравившиеся:

Луч солнца сух и высок,
Сух и высок веками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
И солнце целит дулом в висок,
Верблюд шевелит боками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
Пальмы стоят, стоят с руками,
Лужа прохладной грязи.
Камень, песок, песок, камень.
Камень, песок – оазис.

Часто рядом со мной за столом оказывался очень серьезный и худой старшеклассник с иконописным лицом, который оказался моим ровесником, но я почему-то считал его старше, может быть, из-за неприступного вида, а может быть, потому, что его первого, несмотря на возраст, перевели в старшую группу. Это был Володя Британишский, с которым мы впоследствии учились на одном курсе в Горном институте. Помнится, нам как-то предложили показать свои стихи ленинградскому поэту Петру Ойфе, работавшему тогда в газете для пионеров «Ленинские искры». Прочтя рукописные тексты, он заявил: «У всех стихи плохие, потому что написаны они плохим почерком, трудно читать. А вот

у Британишского стихи хорошие, потому что он пишет печатными буквами, и их читать легко». Стихи у Володи действительно были хорошими. Меня они тогда поражали глубиной и серьезностью тематики.

Да, жил и минерал, он был расплавом, газом,
Он магмой бешеной кипел в груди земной,
Но времена прошли, стал минерал алмазом,
И вот он на стекле лежит передо мной.

«Вот поистине „геологические“ стихи, – думал я, – но какие глубокие и точные!»

В старшей группе выделялся своими стихами Лев Куклин, также ставший потом профессиональным поэтом. Но истинным лидером среди поэтов в ту пору был Феликс Нафтульев, которому все прочили большое поэтическое будущее. Был он на два года старше меня, стихи писал легко и много и очень, по тогдашним нашим представлениям, мастеровито. Здесь надо оговориться, что уровень поэтического мастерства в студии был сравнительно невысок. Несмотря на призывы наших руководителей, за редким исключением все писали привычными ямбами. В последние годы мне часто приходится слышать и читать стихи начинающих поэтов, и я с честной завистью вижу, насколько они «мастеровитее» нашего поколения. Возможно, на этой «ямбической скованности» отразилась наша несчастная эпоха конца 40-х годов, когда любая «формалистическая» поэзия казалась непозволительной экзотикой.

Феликс Нафтульев писал быстро и эмоционально, мог написать стихи буквально на любую тему. Мне более всего запомнились тогда его поэмы «Небо зовет» и «Индийская гробница» (все тогда увлекались этим фильмом). Стихи Феликса были лаконичными и динамичными, из них всегда была отжата «вода», которую лили все остальные. Помню его стихотворение «Стратонавты», посвященное памяти погибших в 30-е годы стратонавтов Васенко, Федосеенко и Усыскина.

Мне надо знать, как это было,
Как трудно долог был подъем,
Как оболочка тихо стыла
И покрывалась синим льдом.
Гондола дрогнула от ветра,
И вдруг в лиловой полумгле
Сорвалась стрелка альтиметра
И закружила по шкале.

Мне надо знать, как пела стенка,
И в страшном небе штормовом
Дюралевые швы Васенко
Рубил наотмашь топором.
Мне надо знать, как тьма редела,
Как стрелки прыгали, шаля,
Как нарастающе гудела
В иллюминаторах земля.
Как разом, отзвенев нелепо,
Вслепую, в чернозем, в века…
Мне надо знать, как страшно небо,
Чтоб победить наверняка!

Нафтульеву я (да и, видимо, не я один) завидовал. Еще бы – такие стихи! На отчетных вечерах Дворца пионеров он всегда читал стихи последним, и в отличие почти от всех других его неизменно награждали долгими аплодисментами. По окончании школы Феликс окончил филологический факультет ЛГУ, стал неплохим редактором и журналистом с детским уклоном, но со стихотворными публикациями завязал. Более тридцати лет трудился в документальном кинематографе, где стал «широко известен в узких кругах», помог Юрию Сенкевичу написать книжки про его экспедиции вместе с Туром Хейердалом на «Ра» и «Тигрисе». Он умер в самом начале 2001 года, перевалив рубеж тысячелетий.

Другим «неформальным» поэтическим лидером очень недолгое время был таинственный человек Олег Ширма, парень шестнадцати лет, которого привел в кружок его одноклассник поэт Виктор Берлин, закончивший впоследствии Политехнический институт. Олег неожиданно появился у нас и почти так же внезапно исчез. У меня с ним сразу же осложнились отношения, так как ему понравилась волоокая, с темной косой и длинными черными ресницами, Лена Иоффе, за которой я тогда ухаживал, и он после первого же занятия с прямотой римлянина стал угрожать мне финкой, чтобы я не ходил ее провожать. Вместе с тем он сразу же потряс всех и прежде всего, кажется, Глеба Сергеевича поэмой, которую нам прочел. Это была поэма о Сталинградской битве, написанная вполне профессионально и явно человеком воевавшим. Поэма настолько отличалась от наших ученических писаний, что сразу же возникло подозрение, подлинно ли Олег Ширма ее автор. До сих пор помню такие строчки из нее:

Бледнеют голубые ромбы

Скрестившихся прожекторов,
И первый взрыв немецкой бомбы
Гремит у бронекатеров.
Пробиты бомбой бензобаки,
И нефть пылает на песке,
И грохот танковой атаки
Подкатывается к реке.

Поэма казалась написанной зрелым настоящим поэтом. А вот другие стихи у Олега как-то не получались. Он походил к нам что-то около месяца, потом пришел на занятие с «маленькой», демонстративно выпил ее «из горла» без закуски, вызвав этим у присутствующих почти такое же потрясение, как прежде чтением поэмы, и исчез. Секрет этой таинственной поэмы так и остался для меня неразрешимым.

Помню, что в восьмом классе, в 1948 году, будучи тогда ретивым комсомольцем, я написал весьма посредственное, но «политически грамотное» стихотворение «Венок красных маков», в котором обличал «поджигателя войны» Уинстона Черчилля (так мы тогда совершенно искренне считали). Стихи эти, по рекомендации Семенова, я прочел на одном из отчетных вечеров и был удостоен первого в своей жизни упоминания в печатной прессе. И не где-нибудь, а в главной газете – «Ленинградская правда»! Статью об отчетном вечере студии литературного творчества опубликовал известный в те поры ленинградский поэт Всеволод Азаров, которому стихи мои вдруг понравились, и он написал: «Молодой поэт нашел гневные слова для разоблачения… и т. д.» Дурацкому моему тщеславному счастью не было предела. Пару раз после этого, в том же 49-м, пару стихов, тоже довольно скверных, напечатала газета «Ленинские искры». Это были мои первые печатные публикации.

Уже сейчас, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо», в музее бывшего Дворца пионеров в старой газете «Ленинские искры» я прочитал свои стишки, посвященные сорокалетию комсомола, и пришел в ужас. К сожалению, «отличать плохие стихи от хороших» я в ту пору еще не научился, поскольку совершенно не хотел понимать безнадежно низкого литературного уровня моей печатной продукции.

Справедливости ради следует сказать, что Глеб Сергеевич Семенов, бывший для меня в те годы высшим авторитетом, довольно трезво и невысоко оценивал мои поэтические способности. Беседуя как-то со мной об упомянутом выше Олеге

Ширме, он сказал: «Понимаешь, про тебя я знаю, что ты можешь, а что нет, а вот он – человек неожиданный». Много лет спустя, уже в конце 50-х годов, в каком-то поэтическом застолье он же, приводя уже не помню чьи остроумные изречения, заявил, обратившись ко мне: «А вот есть цитата про тебя: „Если хочешь быть талантливым, стань лауреатом“». Слова эти я припомнил уже в 1999 году, когда действительно стал лауреатом премии Булата Окуджавы. Возможно, самым разумным в моем положении было бы бросить писать стихи раз и навсегда, но я уже был отравлен сладким ядом обманчивого сознания причастности к литературе и сил честно бросить это неблагодарное для меня занятие в себе не находил. Так, видимо, лишенный актерского таланта юноша готов быть статистом в массовке, осветителем, рабочим сцены – лишь бы дышать пыльным воздухом подмостков, пропитанным едкими запахами нафталина и олифы.

В то время все вокруг постоянно твердили нам, что надо «приобретать жизненный опыт», зарабатывать себе рабочую биографию, изучать жизнь не по книжкам. И только Глеб Сергеевич не уставал повторять нам, что поэзия, так же как и наука, требует от человека глубоких профессиональных знаний и мастерства; что, не зная мировой поэзии, и прежде всего отечественной, нельзя создать ничего нового. Что люди, презирающие культуру, пишущие «пупом», никогда не смогут обогатить литературу. «Рецепт один, – читайте, читайте и читайте», – повторял он.

Выступали мы тогда со стихами довольно редко, как правило, на отчетных вечерах студии в концертном зале старинного Аничкова дворца, куда разрешалось приглашать родственников и знакомых. Потом, в девятом и десятом классе, мы выступали на вечерах Дворца в зале Ленинградской филармонии и в Эрмитажном театре.

Помню, на выступлении в Эрмитажном театре я читал свои (весьма, кстати, посредственные) стихи о португальском мореплавателе Васко да Гама, поскольку увлекался тогда географическими открытиями. Об этом через много лет неожиданно вспомнил в своих стихах Владимир Британишский:

…И он к нам, в кружок наш, в Аничков дворец,
Пришел. Что прочтет горбоносый птенец?
Какими сразит нас стихами?
А он нам – Васко да Гаме.
И в восемьдесят – не соврать бы – восьмом,
В Москве прихожу в цедеэловский дом,
И публика в зале, набитом битком,

И он обозначен в программе.
О чем же прочтет он, лет сорок спустя?
А век наш летит и грохочет, свистя,
Ведь сверхзвуковые теперь скоростя —
Попробуй поспеть за голами!
А он нам – о Васко да Гаме…

Жили мы тогда с родителями в упомянутой выше большой коммунальной квартире на пятом этаже огромного дома на углу Мойки и Фонарного переулка. Во дворе этого гигантского дома с проходными дворами, заставленными дровяными сараюшками, помещались старые петербургские бани. Существует версия, что именно из-за этих, построенных еще в XVIII веке, бань река Мойка и получила свое историческое название. В числе прочих жильцов нашей квартиры (которую раньше занимал повар Мариинского театра), вытянутой подобно кишке вдоль длинного коридора, ведшего на кухню, был член Союза писателей Николай Афанасьевич Сотников. Кто он был, критик или киносценарист, я так и не понял. Он с его, к тому уже времени бывшей, женой и сыном Сергеем, одноклассником Феликса Нафтульева, занимали три крохотных комнатки в конце коридора, возле кухни. Ксения Николаевна, так звали его жену, постоянно подрабатывала машинописью, и в квартире у нас время от времени появлялись ее клиенты и приятели, среди которых мне запомнился Виктор Некрасов, тогда еще молодой автор только что опубликованного романа «В окопах Сталинграда».

Сам Николай Афанасьевич, грузный обрюзгший человек неопределенных лет, в неизменных роговых очках, в квартире появлялся редко. В постоянно пустовавшей комнате его была неплохая библиотека из старых книг, кое-что из которых его сын Сережа давал мне читать. На старом расшатанном столике в передней, напротив входных дверей, где стоял телефонный аппарат (тогда еще не автоматический с наборным диском, а с кнопками «А» и «Б»), вместе с письмами квартирным обитателям регулярно появлялись календарики мероприятий в Доме писателей, Доме кино и различного рода пригласительные билеты, в пору отсутствия Сотникова лежавшие здесь подолгу. Я смотрел на них с завистью к этому таинственному человеку, который каждый день, оказывается, мог ходить то на концерт, то на просмотр и обсуждение кинофильма, то на какую-нибудь интереснейшую лекцию. Вот что значит быть настоящим писателем! Да я бы на его месте только и делал, что ходил бы все время то в Дом писателя, то в Дом кино – не жизнь, а сплошной

праздник, да еще и постоянно среди всяких знаменитостей!

С другой стороны, такой образ жизни отпугивал меня своим, как мне представлялось тогда, праздным бездельем. Я понятия не имел о черном и каторжном писательском каждодневном труде, заменяя его в своем воображении редкими приятными взлетами творческого вдохновения. Да и родители мои, с утра до ночи пропадавшие на работе, усердно приучали меня к тому, что каждый мужчина должен иметь «серьезную» специальность и трудиться, как и все, на производстве. Под словом «серьезная» понималась – техническая. Всякое искусство в нашей «технарской» семье воспринималось в основном как развлечение и отдых после работы, которая, неважно какая, но обязательно каждодневная, и являлась главной целью в жизни. Поэтому делать искусство своей специальностью я тогда не собирался. В то же время, хотя я и старался быть отличником, математика и физика давались мне с трудом, а больше всего я любил литературу и историю, явно обнаруживая, к неудовольствию матери, гуманитарный уклон.

Весной 1947 года я окончил седьмой класс 254-й школы, а поскольку она была семилеткой, то я перевелся в восьмой класс в другую школу, расположенную в Коломне. Такое название получил исторический район старого Петербурга за Крюковым каналом – треугольник между Невой, Мойкой и Фонтанкой. Здесь когда-то жили молодой Пушкин, Евгений – герой его «Медного всадника», Гоголь, Иннокентий Анненский, Блок, Мусоргский, Репин, Глинка и многие другие. В связи с эвакуацией мне пришлось сменить несколько школ, но из всех мне более всего запомнилась именно эта – 236-я школа на Мойке, 108. Находилась она напротив главных ворот знаменитой петровской Новой Голландии, где в начале XVIII века строили галеры, которые сыграли решающую роль в победоносных сражениях молодого русского флота со шведами при Гангуте и Гренгаме. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то испытываю острое чувство ностальгии по временам моей юности. Когда я думаю о том, что такое Родина, не «малая родина», а единственная, потому что Родина малой не бывает, то вспоминаю Васильевский остров и Новую Голландию, район старой питерской Коломны. Вообще каким-то удивительным образом моя жизнь переплелась с жизнью этого города.

Тот город, где легендой стали были,
Как белым снегом черные дожди,
Который императоры любили
И страстно ненавидели вожди.

Тот город, что не встанет на колени,
Предпочитая умереть в бою.
В Москву не зря бежал отсюда Ленин,
Спасая жизнь недолгую свою.
Корабликом на шпиле этот город
Одолевает бурные года.
Его не задушил блокадный холод,
Не затопила невская вода.
Мне – семьдесят, ему сегодня – триста,
Он так же юн, а я – уже старик.
Но, как мальчишка, выхожу на пристань,
Услышав чаек сумеречный крик.
И мне сулит немереное счастье
Немереной гордыни торжество,
Что сделаться и я могу причастным
К суровому бессмертию его.
И, до конца отжив свой век короткий,
Уже не слыша пушку над Невой,
Стать завитком литой его решетки
И камнем безымянной мостовой.

В последних классах школы мне больше нравились гуманитарные предметы, чем точные. Исключение, пожалуй, составляла биология, где со стен биологического кабинета на нас хмуро взирали с портретов Лысенко, Презент и еще какие-то мрачные личности. Физику у нас в восьмом классе преподавала некая Мария Леонтьевна, женщина средних лет, грузная и косноязычная, с тяжелым неподвижным взглядом бесцветных глаз, от которой за версту веяло холодом и полным равнодушием к своему предмету. Я боялся ее гипнотического взгляда, как кролик боится взгляда кобры. В десятом классе ее сменил высокий, узкоплечий и худой Владимир Александрович с впалыми щеками многолетнего курильщика и цепкими презрительными глазами, щеголявший во флотском офицерском кителе и заявивший как-то моему однокласснику Леве Лозовскому, отличавшемуся вопиющей еврейской внешностью: «Зря стараешься. Таким, как ты, я все равно больше тройки никогда ставить не буду, чтобы вы в вузы потом не лезли». Может быть, поэтому никакой привязанности к физике я не испытывал в то время.

Да, еще нелады у меня были с физкультурой. Я был худосочный послеблокадный мальчик, в эвакуации болел, и всегда, как орудий пытки, пугался всяких спортивных снарядов. У

нас был замечательный физкультурник, Георгий Владимирович Старов, в прошлом заслуженный мастер спорта, который воспитал не одно поколение спортсменов. Со мной ему явно не везло.

Для меня мучением когда-то
Физкультура школьная была.
Я кидал недалеко гранату,
Прыгать не умел через «козла».
Я боялся, постоянно труся,
В зале физкультурном не жилец,
Шведской стенки, параллельных брусьев,
К потолку подвешенных колец.
Это после, полюбив дорогу,
Обогнул я Землю раза три,
Прыгал с кулюмбинского порога
С пьяными бичами на пари.
Штурмовал обрывы на Памире,
Жил среди дрейфующего льда.
Но опять, как дважды два – четыре,
Помню эти школьные года,
Где не в силах побороть боязни
Ног моих предательских и рук,
Подвергался я гражданской казни,
Всеми презираемый вокруг.
И в пустой укрывшись раздевалке,
В щели между шкафом и стеной,
Всхлипывал, беспомощный и жалкий,
Проигравший бой очередной.

Математику же преподавал замечательный человек Александр Павлович Григал, прекрасно знавший свой предмет, но грозный и строгий. В нашем девятом «Б» учился высокий крепыш по фамилии Синица, носивший на своей широкой груди множество спортивных значков. (Уже в девятом классе он занимался в юношеской спортивной школе и был разрядником по нескольким видам спорта). С математикой он систематически был не в ладах. Каждый раз, когда Григал громовым своим голосом зачитывал оценки за очередную контрольную, он начинал с отличников: «Камский – пять, Темкин – пять, Капинос – пять…» Потом шли четверки, тройки и двойки. Заканчивал же он всегда в рифму: «Синица – единица!» Меня он тоже не особенно жаловал, так что выше четверки я у него обычно не поднимался.

Совсем другое дело – литература и история. Литературу в

восьмом и девятом вела худенькая и некрасивая Лариса Михайловна, со старомодной косой и высоким восторженным голосом старой девы. Я у нее, конечно, был на самом хорошем счету, так как с литературой, которую любил, проблем никогда не возникало.

Не обходилось, однако, и без конфликтов, в которых каждый раз виновен был я. Помню, однажды зимой она вошла к нам в класс, румяная от мороза, с блестящими глазами и звонко сказала: «Ребята! Сегодня мы с вами начинаем новую тему, связанную с величайшим нашим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, – любовь Пушкина. Дело в том, мальчики, что Пушкин был однолюб». Я, к тому времени успевший прочитать довольно много всякой всячины о поэте, в том числе дневники А. Вульфа, книги Вересаева, работы Щеголева, дневник самого Пушкина в Михайловском с характерной записью о романе с А. П. Керн, и зная знаменитый донжуанский список Пушкина, довольно гнусно захихикал, чем неожиданно для себя вызвал ее яростный гнев. «Городницкий, – закричала она, заливаясь краской, – немедленно покиньте класс. И давайте дневник – я вам двойку поставлю!» Несколько растерянный ее внезапным и, как полагал, несправедливым гневом, я вышел в коридор и, закрывая за собой дверь, слышал, как она объясняла срывающимся от волнения голосом: «Ребята! Не верьте этому цинику! Да, действительно, женщин в жизни Пушкина было много. Но ведь Пушкин был один! И поэтому любовь каждый раз была одна – великая, светлая пушкинская любовь!» Увы, мне потребовалось полвека, чтобы понять, как она была права!

Историю в восьмом и девятом классах вел худощавый и подтянутый, с высоким лбом и строгими роговыми очками Вячеслав Николаевич, ушедший потом преподавать в Нахимовское училище и надевший морскую форму. Вот кто умел говорить красиво! В нескольких словах мог он развернуть захватывающую картину штурма Бастилии или казни Робеспьера. Именно ему я обязан пожизненной любовью к истории. Именно он дал впервые прочесть поразившие меня тогда книги Стефана Цвейга «Жозеф Фуше», «Подвиг Магеллана» и «Звездные часы человечества». В десятом классе его сменил Петр Антонович, лысоватый и неряшливый, с вытянутой длинной и асимметричной головой. Он вел историю СССР и объяснял ее по-простецки: «Услышав это, Ленин сказал: «Ты, милочка Коллонтай, не очень-то тут разливайся, мы тебя враз укоротим!» Впрочем, человек он был добрый, да и отрезок истории ему попался неблагодарный.

Нельзя, конечно, обойти в памяти и уроки военного дела, и нашего израненного под Ленинградом инвалида-военрука в гимнастерке, на которой желто-красных нашивок за ранения было не меньше, чем орденских колодок. У нас, послевоенных мальчишек, отношение к оружию было особенным. С огромным энтузиазмом мы в сотый раз разбирали и собирали затворы знаменитой мосинской трехлинейной винтовки образца 1891 года или пистолета-пулемета системы Шпагина и палили с пыльных матов по картонным мишеням.

Классным руководителем с восьмого по десятый класс была у нас учительница немецкого языка Софья Львовна Щучинская, маленького роста, с черными зачесанными гладко волосами и гоголевским профилем. Характер у нее был сложный и жестокий. Именно она была инициатором создания в школе рукописного журнала «Проба пера», сменным редактором которого в числе прочих был и я. Печатался он на машинке в одном экземпляре. Обложку и рисунки делали сами. В журнале помещались стихи, проза и публицистика. Помню, всего было выпущено номеров шесть (выходил он раз в месяц). К великому сожалению, после перевода 236-й школы в другой район все старые архивы наши, в том числе и журналы «Проба пера», были сожжены. У меня чудом сохранился один номер с напечатанной там моей первой поэмой «Ноябрь».

Кстати, помню замечательную историю. Мы были уже не мальчики, но еще не юноши. Была весна, десятый класс, и прямо у подъезда школы продавались «петушки на палочке», леденцы такие были, с детства всем знакомые. И все мальчишки на большой перемене накупили эти леденцы. Следующим уроком был урок немецкого. Вошла Софья Львовна и сказала: «Как вам не стыдно! Вы уже взрослые мужчины! Это пошло! Вы петушков на палочке купили. Вот Городницкий бы никогда не опустился до такого безобразия». В это время открылась дверь, и вошел я с петушком на палочке.

Мой одноклассник Толя Рыжиков, у которого я недавно был в гостях в Сан-Франциско, припоминает еще один забавный случай: «Сидим мы с Городницким в классе. К нам подходит Софья Львовна и спрашивает: „Как вы думаете, кого нам избрать комсоргом“? Я говорю: „Конечно, Камского“. Городницкий возражает: „Какого Камского, – Камский пессимист“. Я говорю: „Ну, какой же он пессимист? Он просто говорит то, что думает“. Городницкий: „Вот это и называется – пессимист“. В то время большинство из нас думало так же, как Камский, только они молчали, а Камский – нет».

Оглядываясь назад, я понимаю теперь, что в те далекие и

неискренние годы Софья Львовна Щучинская делала все, что могла. Она говорила часто, что не учеба главное в школе, а жизнь в коллективе. «Вы будете вспоминать через несколько лет уже не нас и не школу, а только то, что вы сами успели в ней сделать». Вот и я теперь действительно вспоминаю журнал «Проба пера» и бережно перелистываю его желтые страницы с никому уже, кроме меня самого, не нужными стихами и рассказами. Вместе с тем я никак не мог отделаться от постоянного чувства неловкости, не вполне осознанной, которая возникала у меня всякий раз, когда на классном собрании по любому поводу она громко кричала: «Даю честное слово коммуниста!» Софья Львовна умерла от рака в конце 50-х годов, и я был в числе двух или трех одноклассников, шедших за ее гробом.

Когда метель за окнами шальная
Свирепствует, нередко иногда
Учительницу нашу вспоминаю,
Войною опаленные года.
Она сто раз твердила нам когда-то,
Голодным ленинградским пацанам:
«Всегда любите Родину, ребята», —
За что любить, не объясняя нам.
Был муж ее в тридцать седьмом расстрелян,
А мать ее в блокаду умерла.
«Любите Родину, ведущую нас к цели!
Любите Родину и все ее дела!»
Она болела тяжело под старость.
Ушла ее седая голова.
И все, что от нее теперь осталось, —
Вот эти лишь наивные слова.
Я к ней несу цветочки на могилу
И повторяю по сто раз на дню:
«Любите Родину, покуда будут силы».
За что любить, увы, не объясню.

Что же касается моих гуманитарных склонностей в школьные годы, то все относительно. Несколько лет назад я присутствовал на «Дне открытых дверей» в Международном университете в Дубне, где я числюсь профессором по кафедре наук о Земле. По случаю праздника весь профессорский состав облачили в красные мантии и конфедератки. На кафедре информатики, где мы с коллегами уже успели пропустить по паре рюмок коньяка, стояли компьютеры с экзаменационными тестами для поступающих, вокруг которых толпились студенты и абитуриенты. Когда мы

подошли, кто-то из них пошутил: «Вот, дорогие профессора, вы нам тут вопросов наготовили. А сами-то можете на них ответить?» – «А что, – неосторожно сказал я, разгоряченный коньяком, – можно попробовать». Хохочущая стайка абитуриентов обступила меня и потащила к компьютеру. Остальные профессора от этого скромно уклонились. И тут я не без испуга вспомнил о своих проблемах с физикой и математикой в школе. Отступать, однако, было поздно, – плотное кольцо насмешливых абитуриентов уже сомкнулось вокруг меня. «Ну, ладно, – подумал я, отрезвев от страха, – с литературой и языком-то я как-нибудь справлюсь. А вот как бы с физикой и математикой не опозориться». Результат тестирования оказался для меня весьма неожиданным: английский я еле вытянул на тройку, по литературе получил четверку, а физику и математику, не задумываясь, ответил «на пять».

Что касается искусства, то в то трудное послевоенное время для нас, полуголодных ленинградских мальчишек, самым доступным искусством оставалось кино, игравшее огромную роль в формировании системы наших ценностей и стереотипа поведения. В 1999 году я принял участие в работе жюри Всероссийского кинофестиваля «Окно в Европу», проходившего в Выборге. За неделю мне довелось посмотреть около тридцати новых отечественных фильмов, и меня поразило, что ни в одном из них не звучат песни. Я поделился этим неожиданным открытием с участником фестиваля композитором Владимиром Дашкевичем, автором многих прекрасных песен к кинофильмам, и он грустно развел руками. Песни ушли с киноэкрана, вытесненные обязательными нынче сексуальными подробностями, матом, мордобоем, насилием и другой «чернухой».

Кончались 40-е годы, о мрачной оборотной стороне которых я тогда не догадывался. Уже шла вовсю «борьба с космополитами», предвещая в недалеком будущем дело врачей. Уже были преданы анафеме Ахматова и Зощенко, Шостакович и Мурадели. Снижали послевоенные цены, но испуг оставался привычным выражением человеческих лиц. Что же делать… У нас не было другого детства и юности. Для меня конец 40-х годов стал временем первых вполне платонических сердечных увлечений, горьких раздумий о своей неисправимой национальной неполноценности, мечтаний о будущем, где мне хотелось бы стать «настоящим мужчиной».

Характерно, что поэзия не занимала никакого конкретного места в моих жизненных планах – она как бы существовала сама по себе, не становясь в то же время самоцелью. Я в ту пору увлекался историей и даже собирался поступать на истфак в

Университет. Свидетельством этого осталось интервью, взятое у меня как у «круглого отличника» каким-то незадачливым корреспондентом молодежной газеты «Смена» в девятом классе в 1949 году. Интервью вместе с фотографией попало на страницы газеты, откуда, много лет спустя, перекочевало в юбилейную книгу, посвященную шестидесятилетию газеты «Смена». В книге этой напечатаны «Атланты» и мое дурацкое давнее интервью, названное в духе того времени «Смело смотрим вперед», где я наивно заявлял, что собираюсь после школы в Университет.

Что еще занимало нас тогда? Ну, конечно, любовь. Для нас, питомцев мужской школы, девочки были инопланетянами. В восьмом классе у нас организовали кружок танцев, куда пригласили девочек из соседней 235-й школы. Борьба с «иностранщиной» и космополитизмом была в самом разгаре, поэтому фокстроты и танго, воплощавшие тлетворное разложение буржуазного Запада, были объявлены вне закона. Даже слова были изъяты из обихода. Когда на танцах, не более одного раза за весь вечер, играли все-таки танго или фокстрот, их стыдливо называли «медленный танец» и «быстрый танец». Строгие комсомольские патрули на школьных вечерах бдительно следили, чтобы никто не вздумал танцевать неприлично развратный «гамбургский фокстрот», считавшийся пределом грехопадения. В кружке танцев поэтому тщательно изучали «Русский бальный», «Падекатр», «Чардаш», «Краковяк» и другие мертворожденные бальные танцы. Единственным, кажется, утешением был вальс. Ему я обучился быстро. Считалось особым шиком закружить свою партнершу до такого состояния, чтобы у нее начала кружиться голова, и она, боясь упасть, старалась сама ближе прижаться. Умение танцевать в старших классах казалось нам столь же необходимым, как, например, умение читать.

Саша Малявкин, мой сосед по парте в девятом классе, переводившийся ненадолго в школу рабочей молодежи и успевший почерпнуть там изрядный опыт сексуальных навыков, регулярно ходил на танцы в клуб «Швейник» на Исаакиевской площади и постоянно дразнил наше любопытствующее воображение рассказами о своих победах. По этому поводу в подпольном классном журнале, который вел мой другой одноклассник Миша Капилевич, про Малявкина были написаны следующие исторические слова: «Хвастается, что познал женщину. Однако это свист». Про меня, кстати, Миша Капилевич – а он там давал всем весьма нелицеприятные характеристики – написал следующее: «Маленький, слабенький, а хищник».

Саша Малявкин учился со мной вместе в Горном институте, после чего он стал моим коллегой, геофизиком, несколько лет

работал на аэромагнитной съемке в Антарктиде, застудил там верхушки легких и умер от рака легких, безвременно уйдя из жизни. Остальные одноклассники перебивались редкими поцелуями. Куда нам, тогдашним, тягаться с современными московскими и питерскими старшеклассниками, отягощенными ранним сексуальным опытом! Зато устраивались многочисленные ханжеские диспуты на тему «Дружба, товарищество и любовь», где прыщавые лбы-переростки и полногрудые девятиклассницы, стараясь не смотреть друг на друга, на полном серьезе обсуждали, может ли быть «чистая дружба» между юношей и девушкой.

И все-таки наступали волнующие майские дни, когда на подоконники окон выставлялись радиолы, и пробивалась первая светлая зелень на тополях, стоящих вдоль Мойки, и щемящие до сих пор сердце мелодии вальса «Память цветов» или фокстрота «Укротитель змей» манили наши неокрепшие души и тела смутным обещанием немедленного счастья. И бледные незагорелые ноги девчонки из соседнего дома в неожиданно короткой, не по тогдашней моде, юбке заставляли беспокойно просыпаться светлой ночью, отличавшейся от дня только тишиной и неподвижностью.

С той поры минуло более шестидесяти лет. От нашей школы мало что осталось. Сейчас в этом здании Институт Физкультуры и спорта им. Лесгафта. Мраморные доски с именами золотых медалистов, в том числе и с моим, сняты со стен и выброшены. Наши журналы «Проба пера», наши газеты «Наш голос» сгинули где-то в архивах, их, видимо, за ненадобностью тоже давно уже выкинули. Когда я смотрю на выпускную фотографию нашего десятого «Б» класса 236-й мужской школы Октябрьского района г. Ленинграда в 1951 году, то с грустью отмечаю, что многих уже нет на свете, а многие навсегда уехали в отдаленные края. В Нью-Йорке недавно умер мой многолетний сосед по парте Алик Камский. Один из самых моих близких друзей, упомянутый выше Толя Рыжиков, на которого учительница физики кричала: «Рыжиков, жук навозный, замолчите!» – живет теперь в Калифорнии, небольшом городке Пало-Альто неподалеку от Сан-Франциско. В прошлом году он закончил книгу воспоминаний с характерным названием «Впереди – прошлое». Книга эта вышла в Питере в издательстве моего друга, известного литератора Николая Якимчука, и в июне 2011 года была удостоена престижной литературной премии «Петрополь», которую вручают в музее А. С. Пушкина на Мойке, 12.

Нелепо от утренней боли

Искать утешенье во сне.
Товарищ мой Рыжиков Толя
Скучает в далекой стране.
В округе цветные пейзажи,
Сиянье воды голубой,
О калифорнийские пляжи
Стучит океанский прибой.
Товарищ мой Рыжиков Толя,
Ему нелегко одному.
С ним вместе учились мы в школе
Полвека и больше тому.
Листаем мы старые снимки
Далеких мальчишеских лет.
На снимках мы сняты в обнимку
С друзьями, которых уж нет.
Теперь они все – невидимки,
А мы еще живы пока.
Мы смотрим на старые снимки,
Сутулые два старика.
На раны насыплет нам соли
Волны настоявшийся йод.
Товарищ мой Рыжиков Толя
Нам водки в стаканы нальет.
И мы с ним поднимем стаканы
На этом крутом берегу
За класс наш, что в прошлое канул,
За Мойку в январском снегу.

Все мои школьные и институтские послевоенные годы, почти десять лет, мы с родителями прожили в доме на углу Мойки и Фонарного переулка, где, как уже упоминалось, в 45-м году, когда мы вернулись из эвакуации, отец получил комнатушку на самом последнем этаже в большой коммунальной квартире. Квартира эта когда-то принадлежала повару Мариинского театра, и раньше занимала ее одна семья. Но это было до революции. В наше же время тут размещались четыре семьи. Комната наша была несколько похожа на первую комнату в моем раннем детстве на Васильевском острове. Она была узкой и длинной, как трамвайный вагон. В одном торце ее была дверь, а в другом – окошко, выходившее на Мойку. Это окно и сейчас отчетливо видно снаружи, справа от него ангел, а слева – водосточная труба.

Жили все в коммуналке дружно. Холодильников, естественно, тогда не было, все продукты держались за окошком. Окошко в

конце нашей комнаты увенчивалось чугунной решеткой с вензелями. Окна на зиму закрывали и тщательно законопачивали ватой и тряпками, заклеивая сверху полосками бумаги. Зимы были суровыми, парового отопления не было, дрова таскали снизу, со двора. У каждого был свой сарайчик с замком, и наша квартира имела еще черный ход после длинного коридора. По этой черной лестнице мы таскали дрова и топили печку, сначала «буржуйку», а потом «голландскую».

Когда мне доводится попадать на Мойку, я всегда безошибочно определяю «свое» окно. Оно и впрямь было моим. До сих пор помню весенний праздник его открытия, когда из щелей извлекалась пожелтевшая за зиму вата, отдирались полоски бумаги и крошащаяся замазка и распахивались пыльные рамы, впуская в нашу тесную комнату таинственную полифонию вечернего города. Со стороны фасада окно было перехвачено старинной чугунной решеткой, так что на широком подоконнике при открытом окне образовывалось что-то вроде небольшого балкона, где я обычно любил устраиваться с книгами или тетрадкой.

Кто-то из моих друзей однажды сказал, что мировоззрение человека во многом определяется тем, что он видел в детстве из своего окна. Так вот, на Васильевском острове я из своего окошка видел только глухую стену во дворе, а из этого окна многое другое.

Прямо подо мной, глубоко внизу, медленно струились грязно-зеленые воды Мойки, по которой иногда, пыхтя, тянул буксир какую-нибудь баржу, да в начале лета проплывали учебные шлюпки с обнаженными по пояс загорелыми курсантами Высшего военно-морского пограничного училища, располагавшегося неподалеку от нашего дома, на другом берегу Мойки, возле Поцелуева моста, в здании бывшего Гвардейского экипажа. Враз поднятые по команде сверкающие на солнце весла, резко нагибающийся в такт гребкам старшина, командующий «р-раз, р-раз», неизменный военно-морской флажок на корме – все это заставляло сжиматься сердце в мечтах о настоящем море.

Вечерами по булыжной мостовой возле нашего дома с песнями маршировали курсанты Высшего транспортного училища, также располагавшегося неподалеку. Эти ежевечерние строевые песни «Распрягайте, хлопцы, коней», «Эй, море Черное, песок и пляж», «Взвейтесь, соколы, орлами» и другие, как ни странно, рождали чувство стабильности и покоя.

Напротив дома на противоположной стороне Мойки возвышалось несуразное здание Дома культуры работников связи в стиле социалистического конструктивизма начала 30-х годов,

перестроенное когда-то из немецкой кирхи, своим серым обликом и высокой башней напоминавшее старинный средневековый замок. По выходным на последнем этаже его, где помещался танцевальный зал, устраивались танцы, и громкие звуки оркестра до позднего вечера вырывались из узких длинных окон, похожих на бойницы. В 90-е годы в верхних этажах башни разместилась одна из питерских радиостанций. Мне довелось побывать там, и я через много лет с грустью снова взглянул на «свое» окно на пятом этаже отреставрированного ныне дома, между ангелом и водосточной трубой.

Правее, над крышами старых домов на бывшей Большой Морской (в мое время – улица Герцена, а ныне – опять Большая Морская), где жили когда-то Набоковы и другие именитые дворяне, сиял в лучах заходящего солнца купол Исаакиевского собора. Перед блокадой он был закрашен, «чтобы не служил ориентиром для немецкой артиллерии при обстреле». Помню, как после войны с него долго соскребали краску специально подрядившиеся альпинисты-верхолазы. Это ежевечернее золотое сияние за окном, являвшее разительный контраст с нищенской нашей домашней обстановкой, стало для меня как бы необходимой частью домашнего интерьера.

Лет десять назад на брифинге в роскошной резной черного дерева гостиной особняка Набокова, на Большой Морской, где теперь располагается редакция газеты «Невское время», кто-то из журналистов спросил меня: «Скажите, а вы впервые в особняке Набокова?» «Нет, – ответил я, – я здесь уже был много лет назад, в 49-м году. Тогда я ходил по всей этой анфиладе совершенно голый, прикрываясь листом бумаги». Мое неожиданное заявление привело присутствующих журналистов в явное смятение. Они решили, что у меня «поехала крыша». Пришлось пояснять, что в этом доме в 1949 году помещался Райвоенкомат, где я вместе с другими допризывниками проходил приписку и необходимую при этом медкомиссию. В каждой из комнат бельэтажа сидели врачи, и мы, раздетые догола, ходили из комнаты в комнату, стыдливо прикрываясь обходным листом.

Левее Дома культуры связи, над крышами домов, в том месте, где Большая Морская соединялась с набережной Мойки и в маленьком скверике в апреле всегда прежде других начинали зеленеть два деревца, отчетливо были видны верхушки мачт огромного парусника «Крузенштерн», стоявшего в те годы у причала на набережной Невы, неподалеку от моста Лейтенанта Шмидта. Мачты эти, черневшие на фоне пронзительных алых и желтых закатов, пылавших над Васильевским и Петроградской, будили чувство счастливой тревоги, напоминая о том, что мы

живем на берегу, и вселяя обманчивую иллюзию о доступности дальних стран. Старый этот парусник, построенный в Германии в 1926 году, был захвачен в качестве военного трофея и много лет стоял здесь без движения, ожидая своей дальнейшей участи. Мог ли я тогда думать, что буду штормовать на нем в суровой зимней Северной Атлантике, плыть Гибралтарским проливом мимо Геркулесовых столбов, швартоваться у причалов далекой Ямайки?

Этот пьянящий воздух вечернего города, пропитанный звоном трамваев, обрывками танцевальной музыки, резкими криками вдруг вспыхивающих на солнце чаек, сигналами автомобилей, протяжными гудками близких судов и, наконец, звонким стуком чьих-то запоздалых каблучков по камням в молочном безмолвии белой ночи, кружил голову упрямым несмотря ни на что ожиданием счастья на завтра. Необъятность и неопределенность будущего, кажущееся богатство выбора – все пьянило воображение. И писались стихи, глупые и беспомощно-восторженные, а ныне недоступные, вызывающие острое чувство ностальгии.

Отечество нам – Горный институт

За серыми окнами Горного, —
Забыть их до смерти нельзя,
Где лекции слушал покорно я,
Азы теормеха грызя,
Над линией узкой причальною
Маячили верфи вдали,
Гудками глухими печальными
Прощались с землей корабли.
За серыми окнами Горного,
Дневной застилая нам свет,
Желтея большими погонами,
Огромный качался портрет.
Мы шли с первомайскими флагами,
Усталых не чувствуя ног,
Под статуей Сталина плакали,
Купив со стипендий венок.
За серыми окнами Горного
Рассвет загорался и гас.
Желание славы упорное
Сжигало неопытных нас.
Направо вели экспедиции,
Налево блестела вода, —
Присевшими на воду птицами
Качались у пирса суда.
За серыми окнами Горного
Клубился туман над Невой,
И небо, от копоти черное,
Вдруг вспыхивало синевой.
И плыли в воде отражения,
И вензель мерцал у плеча,
Как солнечное продолжение
Рожденного в небе луча.

Геологией я начал заниматься так же случайно, как и стихами. Увлекаясь в старших классах литературой и историей, не в пример физике и математике, я не мог не сознавать бесплодность этих увлечений. Когда я окончил десятый класс, на дворе стоял 1951 год. Еще не отшумела антисемитская кампания по борьбе с космополитами, а уже готовилось дело врачей. Несмотря на золотую медаль, путь на истфак в Ленинградский

университет, носивший гордое имя Андрея Александровича Жданова, был для меня с моим «пятым пунктом» закрыт наглухо. То же относилось и к основным «престижным» вузам. Идти в «разрешенные вузы» – пединститут, мединститут и так далее, входящие в «черту оседлости», не хотелось. Яд сталинской антисемитской пропаганды до такой степени корродировал мое полудетское сознание (не говорю «душу» – ее тогда, пожалуй, еще не было), что я сам себе казался человеком второго сорта, неженкой и белоручкой, ничего не умеющим. Я мечтал стать «настоящим мужчиной», закаляющим свой дух и тело постоянными трудностями и героическими подвигами, хотелось доказать всем (и себе), что я не хуже других. Реализовать эти юношеские комплексы в те невеселые времена, по моему разумению, можно было только связав свою будущую жизнь с армией или экспедициями…

В начале десятого класса в нашей школе появился ладно скроенный молодой подполковник с голубыми просветами и крылышками на золотых погонах, туго перетянутый скрипучей портупеей. Объявлялся набор десятиклассников в курсанты Высшей военно-воздушной академии. До сих пор помню, с каким завистливым вниманием мы следили за ним, когда он рассказывал об условиях приема. Через год – всего через год! – уже присваивается первое офицерское звание младшего лейтенанта и жить можно будет не в казарме, а дома. Его литая фигура, туго обтянутая новенькой гимнастеркой с яркими полосками орденских колодок, зелено-черное мерцание погон, портупеи и начищенных до предельного блеска сапог безоговорочно покорили и наши мальчишеские сердца.

Нельзя забывать, однако, что для нас, школьников военного поколения, облик боевого офицера был тогда главным идеалом. Не в пример Белинскому «титло литератора» заслонялось от нас «блеском мундиров и мишурой эполет». Кроме того, обещались большие по тем временам деньги и полная независимость от родительской опеки. Остатки сомнений были развеяны, когда на новогодний вечер в школу пришли вчерашние выпускники, ребята всего лишь на два класса старше нас, вместе с которыми мы еще вчера выпускали стенгазету и ставили спектакли. Они появились в такой же летной форме, при серебряных погонах с офицерской звездочкой на голубом просвете.

Заявления в академию подало больше половины класса, в том числе и я, совершенно упустив из виду то (показавшееся нам совершенно неважным) обстоятельство, что прием-то был только на специальность «строительство аэродромов», которая никакого отношения к полетам не имела. Поскольку я, не без оснований,

побаивался, что меня и в академию из-за пятого пункта не возьмут, то одновременно начал думать – не поступить ли в военно-морское училище, хотя, конечно, о море, как и о геологии, никакого понятия не имел, а воды боялся, поскольку плавать не умел.

В моем увлечении морем во многом «повинны» Сергей и Вадим Карцевы, уверенно пошедшие после седьмого класса сначала в подготовительное, а потом в Высшее военно-морское училище. Прибегая домой в недолгие сроки увольнений или в «самоволку», загорелые и отощавшие на военно-морских харчах, братья поражали мое убогое школьное воображение незнакомыми морскими словечками. Пол они называли палубой, кухню – камбузом, стены – переборками, порог – комингсом. Мир вокруг начинал преображаться. Казалось, привычные прежде комнатные стены, став переборками, кренятся и скрипят, унылый дом напротив, маячащий в окнах, превращается во вражеский фрегат, идущий на абордаж, а серые булыжники мостовой искрятся балтийской рябью под атлантическим норд-вестом. Братья чаще приходили в выходной форме с ярко-синим сиянием «гюйсов» (так они называли свои морские форменные воротники с тремя белыми полосками, присвоенными, как мне объяснил Сергей, русским морякам еще в XVIII веке за победы в морских сражениях). Первое, что они делали при этом – бросались, сняв свои «гюйсы», на кухню и начинали яростно их застирывать, стараясь с помощью хозяйственного мыла и щелочей вытравить красивый синий цвет. На мои недоуменные вопросы братья снисходительно отвечали, что новенькие синие воротники – опознавательный знак «салаг», а у настоящих опытных и бывалых моряков, каковыми они, вне всяких сомнений, себя и считали, «гюйсы» должны быть бледными, выцветшими от тропического солнца, полярных ветров и соленой воды.

А чего стоили их палаши в черных тугих ножнах с черными же рукоятями и кистями на эфесах, настоящее «табельное» оружие, которое обычно небрежно отстегивалось и ставилось в угол! Разрешение «подержать» палаш обычно сопровождалось захватывающими дух историями о кровопролитных дуэлях (конечно, из-за женщины), возродивших древнее искусство фехтования. О том, как грозные курсанты наводят ужас на всю шпану в танцевальном «Мраморном зале» на Васильевском острове. Как под угрозой обнаженных палашей испуганные милиционеры, незаконно придравшиеся к курсантам на ночной набережной, вынуждены многократно отдавать им честь, чтобы потом убраться подобру-поздорову.

Но даже когда братья являлись в «самоволку» из какого-

нибудь овощехранилища в грязных, донельзя затертых матросских «робах» и огромных не по размеру матросских ботинках последнего срока носки, прозванных «ГД» (говнодавы), они и тогда казались мне небожителями, штатными гриновскими героями, сошедшими ненадолго на берег.

Итак, мифическое море и не менее мифическое небо, ослепившие честолюбивые мечты худосочного юнца на пороге десятого класса. Я регулярно, вместе со всеми, являлся «на построения» и перекличку на старый, еще дореволюционный плац в Военно-воздушную академию на улицу Красного курсанта на Петроградской и одновременно собирал документы для военно-морского училища. Отец, всю жизнь работавший в системе военной гидрографии, поначалу снисходительно относился к моим безумным намерениям, справедливо полагая, что все равно из этого ничего не получится. Только когда, уже получив аттестат и медаль, я должен был назавтра окончательно отдать документы в академию, где, как ни странно, попал в список, он всерьез встревожился и с несвойственной ему безоговорочно-твердой манерой категорически отговорил меня связываться с военной службой, которую слишком хорошо знал.

Что же было делать? Недолго сомневаясь, я отнес документы на Васильевский в приемную комиссию Ленинградского Горного института, где просил зачислить меня на геолого-разведочный факультет. Почему именно Горный? А не потому ли, думаю я теперь, что и в Горном институте в те времена тоже была форма, унаследованная еще от царских времен и, кстати, весьма напоминающая морскую офицерскую – с такими же двубортными тужурками, украшенными золотыми жгутами погон с литыми буквами на них, напоминавшими императорские гербы? Да и само знаменитое здание воронихинской постройки с его грязно-белой колоннадой располагалось на самой набережной, и неподалеку от подъезда поскрипывали у причала суда. А из вечно пыльных окон институтских аудиторий были видны мачты и надстройки огромных кораблей, стоявших на соседних стапелях Балтийского завода. А еще дальше, за унылыми заводскими корпусами, редкий солнечный луч вдруг выхватывал из дымной мглы ослепительную рябь Маркизовой лужи. Я никогда в отличие от Володи Британишского не увлекался минералогией и геологией и выбирал скорее не специальность, а образ жизни, который в моем наивном мальчишеском воображении был связан с постоянными экспедициями, преодолением трудностей и приключениями. Значительно позднее я прочел и взял на вооружение мудрую фразу любимого мною Роальда Амундсена, одного из самых героических путешественников, открывшего

Северный и Южный полюса: «Всякое приключение – результат плохо организованной работы».

Жесткого «национального ценза» в Горном (по сравнению с Университетом) как будто не было, и я сравнительно легко прошел обязательное для медалистов собеседование. Строгая медкомиссия также подтвердила мою принципиальную пригодность к трудностям геологических скитаний. Но здесь совершенно неожиданно возникла новая проблема. Оказалось, для поступления в Горный надо обязательно совершить прыжок с вышки в воду, как это требуют нормы ГТО. До сих пор не могу понять, какой идиот придумал это условие, что общего между геологией и прыжками в воду.

Известие это повергло меня в полное уныние, поскольку плавать я тогда не умел совершенно. В Горный, однако, очень хотелось, и я, непонятно на что надеясь, отправился в толпе абитуриентов к водному стадиону на Елагин остров. Кончался дождливый ленинградский август. День был будний, холодный и ветреный, на влажных дорожках парка на безлюдных Кировских островах лежали первые осенние листья.

Нас загнали в раздевалку, и затем мы, зябко поеживаясь, долго толклись на некрашеных холодных досках купальни под порывами сырого ветра, ожидая, пока нас по одному вызовут на вышку. Услышав свою фамилию и мгновенно вспотев от волнения и страха, я на подгибающихся непослушных ногах направился к вышке с твердым намерением прыгнуть во что бы то ни стало, хотя и уверен был, что иду на самоубийство. «Главное прыгнуть, – твердил я себе, собрав остатки мужества, – а уж потом как-нибудь вытащат». Наивный школьник, воспитанный под сталинский барабан, я тогда всерьез полагал, что «в советской стране человеку не дадут погибнуть». Увы, сорокалетний опыт экспедиций впоследствии показал, что на деле все обстоит совсем не так.

Руки и ноги меня не слушались. Когда я наконец взобрался на вышку, где очутился впервые в жизни, глянул вниз на отвратительную серую воду с огромной, как мне показалось, высоты и сделал пару неуверенных шагов по шаткой доске, с которой мне надлежало прыгнуть, то понял, что ни за что на свете этого не сделаю. Без всякого юмора вспомнил я в этот момент старый анекдот про еврея, который пообещал, что за четыре поллитры спрыгнет с Исаакиевского собора. Когда он забрался туда, то заявил: «Об соспрыгнуть не может быть и речи. Вопрос об том, как слезть вниз». Я повернулся, чтобы с позором уйти назад, но в этот момент доска спружинила, и я упал в воду. Мне засчитали прыжок. Так я стал геологом…

Ленинградский Горный институт начала 50-х представлял собой своеобразное заведение. С одной стороны – старейший технический вуз, основанный еще при Екатерине II для дворян как «офицерский корпус горных инженеров». В знаменитом музее, среди образцов исчезающих ныне видов горных пород вроде малахита, и диковинного чуда – пальмы, выкованной русским умельцем из обыкновенного чугунного рельса, и портретов ставших известными выпускников (в числе которых красуется теперь и мой), можно увидеть образцы форменных сюртуков конца XVIII века и короткие шпаги «Господ Горных Ея Величества инженеров». Давние эти традиции как бы подчеркивались вновь введенной после войны для горняков и геологов формой. Нам, юнцам, нужды не было в том, что безумный генералиссимус решил перевести на казарменный образ жизни почти все гражданские ведомства. Нас радовали фуражки с молоточками, подтверждавшие принадлежность вчерашних нищих мальчишек к «Горному корпусу». Фуражки эти с самого начала первого курса, еще за год до получения формы (ее разрешали носить только со второго курса), были предметом немалой гордости. Их полагалось заказывать в специальных ателье, где шились они как морские офицерские фуражки – с высокой тульей и широкими полями. Козырек, наоборот, был небольшим, круто скошенным вниз и острым «нахимовским». Молоточки же, украшавшие тулью спереди, должны были быть обязательно геологическими – тонкими, а не, упаси боже, толстыми – горными.

Что касается научной базы, то, несмотря на сталинские разгромы и чистки, в Горном отчасти сохранилась старая школа профессуры – от академиков Келля Германа и Наливкина до профессоров Погребицкого, Нестерова, Шафрановского и многих других. Сохранились многолетние и даже вековые традиции горного дела, столь уважаемого и важного в Российской империи. Во дворе Горного нам показали самую настоящую шахту, построенную еще в XIX веке и точно отображавшую действующие шахты. Преподавательский корпус, где жили профессора и доценты, выходивший на 21-ю линию, носил старое название «офицерского». А сами наши профессора щеголяли в двубортных форменных мундирах «горных директоров» различных рангов, вплоть до генеральских, украшавших их мятые брюки синими адмиральскими лампасами.

В студенческих курилках с придыханием рассказывали о дореволюционной жизни института, в частности о нашумевшей в свое время дуэли между тогдашними студентами Германом и бароном Врангелем, которая случилась «из-за актрисы». Актрисой была еще здравствовавшая в 50-е годы заслуженная артистка

Александринского театра Елизавета Тимме. Дуэль как будто кончилась бескровно, но разыгрался скандал, и, согласно легенде, барон Врангель вынужден был уйти из Горного и поступил учиться в военное заведение. Упорный же Герман стал нынешним академиком. А ведь, пожалуй, повернись дуэль иначе, – и история Гражданской войны могла бы быть иной.

О действительном разгроме профессуры Ленинградского Горного мы узнали уже позднее, после 53-го года, когда всплыли подробности «Дела геологов», по которому пострадал, в частности, один из ведущих отечественных тектонистов профессор Тетяев.

С другой стороны, студенческая жизнь после школы показалась нам вольницей. Героические легенды складывались не только о прошлом института, но и о настоящем. Так, вроде еще в прошлом году, как снисходительно рассказывали старшекурсники, на кольце трамвая 21, который в то время делал круг у самого подъезда института, состоялась историческая драка «горняков» с матросами. К матросам присоединились курсанты соседнего училища им. Фрунзе, и студентов начали сильно теснить. Тогда несколько десятков добровольцев с криком «наших бьют» помчались по коридорам института, распахивая подряд все двери попутных аудиторий, из которых, если верить вдохновенным рассказчикам, выбегали вместе со студентами и преподаватели. Равенство сил было восстановлено, и побоище удалось прекратить, только вызвав две пожарные команды и разделив враждующие толпы движущимися трамваями. Масса страшных историй, обраставших сексуально-питейно-героическими подробностями, была связана также со знаменитым студенческим общежитием на Малом, 40.

В ту пору студенты Горного лишь частью формировались из недавних десятиклассников. Значительную долю составляли вчерашние фронтовики и производственники, пришедшие с шахт и металлургических заводов. Они с презрением поглядывали на нас, послешкольную мелюзгу, не знающую настоящей жизни и мающуюся романтическими бреднями. Надо сказать, что, несмотря на частые запои и драки, ставшие в Горном довольно будничным явлением, эти великовозрастные, как мы считали, люди учились упорно и настойчиво, хотя им науки давались намного труднее, чем нам – вчерашним школьникам. До сих пор помню нашего старосту белоруса Дору Трофимовича, человека богатырского роста, с безукоризненной строевой выправкой и вставными золотыми зубами, всегда ходившего в новенькой офицерской гимнастерке с белоснежным подворотничком, многочисленными орденскими планками и с полевой сумкой в

руках. На войне он служил в охране Жукова, но рассказывать об этом не любил. Старостой в параллельной группе был также бывший армеец Кирилл Иванов – быстро ставший партийным лидером, человек с правильно красивым российским лицом и светлыми кудрями. Не помню уже от кого, может, от них пошла мода ходить на занятия не с портфелями, а с офицерскими полевыми сумками, в которых таскали мы наши несчастные конспекты. Атташе-кейсов, столь модных позже, тогда, конечно, не было и в помине. Нарядами родители нас тоже не баловали, поэтому обычной формой одежды на первых курсах были затертые лыжные костюмы и комбинированные курточки леншвейного незатейливого покроя.

Профессора и преподаватели наши тоже порой бывали странными. Так, читавший математику доцент Вербицкий, будучи искусным художником, изображая по ходу лекции на доске интеграл, вместо обычного штриха или звездочки мастерски пририсовывал под ним в качестве индекса поросенка и говорил: «Интеграл два поросенка» и так далее. Первую свою лекцию в начале второго курса он начал словами: «Итак, друзья, начинается длительный и неприятный перерыв между каникулами».

Практику по математике в нашей группе вел веселый и доброжелательный человек Семен Борисович Фридман, принимавший зачеты и экзамены обычно навеселе, благодаря приносимым нами же «маленьким». «У меня на первом курсе, – рассказывал он, – была одна студентка, которая прекрасно знала математику: она точно знала, что есть синусы и смутно догадывалась, что должны быть и косинусы, но о тангенсах не слышала ничего».

Курс физики читал профессор Тер-Погосян, человек рассеянный и добрый. «Ваша фамилия Обложкина? – спросил он как-то на занятии мою однокурсницу. – У меня на втором курсе есть студент по фамилии Переплетов. Надо бы вас познакомить». «Городницкий, – сказал он мне на экзамене по механике, – почему вы меня можете поднять за волосы, а себя нет?» – «Вас тоже не могу», – неучтиво ответил я, покосившись на его лысый смуглый череп. «Пожалуй, вы правы, – грустно усмехнулся он, – давайте зачетную книжку». Практику по физике вел крошечного роста шарообразный со злыми глазами доцент Звягин по прозвищу «молекула». Уверяли, что всем, кто выше его ростом, он больше тройки на экзаменах не ставит.

Профессор Салье, входивший, блестя глазами, в аудиторию в своем изрядно потертом и лоснящемся «горнодиректорском мундире», в выражениях обычно не стеснялся и смело крыл

«демагога и хама, незаконно захватившего пост министра геологии СССР Антропова».

Более же всего разных баек ходило вокруг члена-корреспондента Академии Наук СССР Николая Келля, бывшего одно время ректором, но всегда одевавшегося чрезвычайно скромно. Рассказывали, в частности, историю, как во время учебной геодезической практики, которая проводилась после первого курса в Псковской области, в районе деревни Вышгород, бригада студентов долго возилась с мензульной съемкой. Когда все устали и обозлились, к ним подошел босоногий старичок в холщовой рубахе и соломенной шляпе и сказал: «Ребятки, может, лучше сделать так-то и так-то?» – «Да пошел ты, дед, – возмутились студенты, – знаешь куда? Что ты в этом можешь понимать?» И послали. И дед пошел. А на следующий день, явившись сдавать зачет по практике, они с ужасом увидели того деда, но уже в генеральском мундире, во главе комиссии.

Главным источником наших первокурсных мучений были, конечно, техническое черчение и начертательная геометрия. О, эти бессонные ночи над «эпюрами» и «листами»! Они одни способны на всю жизнь отбить охоту к любой технической специальности. А «теория машин и механизмов» – ТММ, которая расшифровывалась студентами – «тут моя могила». Преподаватели ее были не слишком либеральны. Так, доцент Филиппов во время сессии заключал пари со своими коллегами на две бутылки коньяка. Выигрывал тот, кто срежет больше сдающих.

«А что это у вас?» – спрашивал, бывало, доцент Фомин на зачете по теории машин и механизмов у робкой вчерашней десятиклассницы. «Маховичок», – жалобно пищала студентка. «Правильно, – улыбался экзаменатор. – А что он делает?» – «Вращается». – «Молодец, – поощрительно хмыкал Фомин. – А сколько он оборотов делает в минуту?» – «Сто двадцать». – «Умница, – окончательно расцветал экзаменатор. – А если его в красный цвет покрасить, с какой скоростью он будет вращаться?» – «Не знаю», – краснела девица. «Ну, идите, еще почитайте».

На пятом этаже лабораторного корпуса располагались большие чертежные аудитории, тесно уставленные кульманами и чертежными столами. Здесь круглосуточно дымно, как в аду, горел свет и сгибали спины над чертежами злополучные хвостисты. Хотя курить здесь категорически запрещалось, на это никто решительно внимания не обращал. В коридоре перед чертежными комнатами по сходной цене можно было сторговаться с умельцами, бравшимися за пару поллитров выполнить любой чертеж. Прямо в чертежке часто принимались и

зачеты, благо сама кафедра начертательной геометрии тоже располагалась на пятом этаже.

Немало проблем мне доставляла физкультура, которой в Горном уделялось особое внимание. Будучи с детства крайне неспортивным, еще в школе со страхом шарахаясь от брусьев или «козла», я, попав на общую физкультурную подготовку, испытывал изрядные муки всякий раз, когда требовалось выполнить какое-нибудь обязательное упражнение. Неприятности эти дошли до края, когда, пытаясь метнуть гранату, я чуть не попал ею в стоявшего неподалеку преподавателя. Не знаю, сколько бы еще мои мучения продолжались, если бы кто-то из однокурсников, уж не помню сейчас кто именно, не дал мне умный совет – записаться в секцию штанги. Помню, вначале я страшно удивился, поскольку богатырским сложением не отличался ни до, ни после. «Это совершенно неважно, – заявил мой доброжелатель, – ты попробуй».

Секцией штанги руководил экс-чемпион Союза по борьбе и поднятию тяжестей с довольно громкой в прошлом спортивной фамилией. Весил он более ста пятидесяти килограммов и силой обладал неимоверной. Когда на остановке он ступал на подножку трамвая, вагон со скрипом кренился. Занятия штангой оказались и вправду совсем несложными. В наши обязанности входило чистить и красить гриф и диски да время от времени разучивать упражнения с небольшими нагрузками. Чаще всего члены секции сидели вокруг штанги и слушали захватывающие истории из мира Большого спорта, которые с удовольствием рассказывал наш тренер – после того, как дежурный возвращался с очередной бутылкой. Держа в руке налитый стакан, он поучал нас: «В штанге ведь что главное? Следите за мной. Главное – взять на грудь. Дальше – пойдет сама». Зачеты нам ставились автоматически, и я до сих пор благодарен своему тренеру за чувство юмора и избавление от мук.

Совершенно автономным государством в Горном была военная кафедра, располагавшаяся на шестом, последнем, этаже лабораторного корпуса. Командовал ею тогда генерал-майор Ефременко. Сначала кафедра готовила артиллеристов, и в первом этаже лабораторного корпуса долгое время стояла большая гаубица. При нас, однако, начали готовить уже не артиллеристов, а саперов, которые «ошибаются один раз в жизни». Военные занятия, проводившиеся всегда по четвергам, не были особо обременительными. Лекции по «общевойсковой подготовке» читали красавцы-полковники, одетые в сияющую форму, с пестрыми орденскими планками. Особым красноречием, впрочем, они не отличались. Помню, один из них, рассказывая о «боевой

славе русской пехоты», поведал нам о том, что на «Бородинском поле гвардейское каре Семеновского полка двенадцать раз отражало атаки французских керосинов». – «Не керосинов, а кирасиров», – робко поправил лектора один из моих однокашников, за что был с лекции изгнан. «У нас на кафедре – все дубы и все шумят», – заметил как-то молодой офицер.

На шестом этаже стоял огромный ящик, в котором был макет местности с рекой, высотами, населенным пунктом и тому подобными объектами. Здесь обычно проводились учебные занятия по тактике. Какая-то студенческая пара после одного из танцевальных вечеров избрала этот довольно уютный ящик для своих любовных утех, удобно устроившись на холмистом рельефе тактической местности. Однако, явно не рассчитав своих сил, подорванных сильными эмоциями, а возможно, и бутылкой портвейна, которая была прихвачена с собой для тактических игр, они крепко уснули. Разбудил их уже на следующее утро дежурный офицер, открывший ящик перед очередной учебной группой и обнаруживший обнявшихся любовников с пустой бутылкой в руках. На военной кафедре по этому замечательному случаю все занятия были отменены, а полковники и подполковники (ниже званий не было) в праздничном настроении отправились с санкции генерала в близлежащий ресторан «Балтика», чтобы отметить чрезвычайное происшествие. Взятая в плен военной кафедрой пара была милостиво отпущена на все четыре стороны.

На первом и втором курсах начались и специальные предметы – общая геология, минералогия и палеонтология, о которых до сих пор вспоминаю с интересом. Практикой по палеонтологии руководил добрейший Борис Васильевич Наливкин. На зачете надо было определить по внешнему виду тип окаменелости и назвать его по-латыни. Моему соседу Коле Золотокрылину достался отпечаток какого-то древнего папоротника, довольно характерный на вид. Коля, однако, все вертел его в руках и никак определить не мог. «Ну-с, – подошел к нему Наливкин, – что вы про это думаете?» – «Если это то, что я думаю, – ответил Коля, – то где же у него глаза?»

Наши представления о геофизике, с которой мы так опрометчиво связали свои жизни, были в те поры более чем скромные. Знали мы только, что если геолог изучает строение Земли по образцам пород, найденных на поверхности, то геофизика исследует ее глубинное устройство на основе измерений разных физических полей – электрического, магнитного и других. Помню, как член-корреспондент Татаринов, читавший у нас курс по полезным ископаемым, на одной из своих

лекций неожиданно дал довольно исчерпывающее определение геофизике как науке: «Геофизика подобна мини-юбке, – она позволяет увидеть массу интересного, скрывая в то же время главный источник информации».

Помню, как уже на втором курсе мы собирались на «мальчишник», чтобы отпраздновать получение формы (тужурки и шинели офицерского образца с черными бархатными контрпогонами, украшенными медными литыми буквами «ЛГИ»). Мы, помню, чрезвычайно гордились своей формой. Особенно нас радовало, когда пьяные матросы на Невском, не разобравшись в непонятной форме, похожей на морскую, отдавали нам честь. На мальчишнике, куда принесли одновременно водку, ликеры и разные вина, пили все подряд, поскольку опыта в этом еще не имели. В результате новая форма изрядно пострадала, мать три дня отпаивала меня молоком, а я дал себе зарок «никогда в жизни не брать этой отравы в рот». Увы, как заметил Баратынский:

Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

С первым курсом связано также воспоминание о печальном завершении моей первой платонической любви, возникшей еще в эвакуации, в Омске, и носившей в основном придуманный эпистолярный характер. Его героиня Таня Ильина, поступившая, в отличие от меня, на истфак ЛГУ, ныне профессор, завкафедрой, автор многих известных книг по истории искусств.

Уже на втором курсе нашу специальность «геофизические методы разведки полезных ископаемых» перевели с геолого-разведочного на специально созданный геофизический факультет. По институту поползли таинственные слухи, что геофизиков будут зачислять на «совершенно секретную» специальность по поискам урана. Никакого понятия о ней мы, конечно, не имели, кроме того, что занимается ею совсем уже секретный СРЕДМАШ под командой «сталинского наркома» Берии. Слухи эти, однако, довольно скоро приобрели вполне реальную основу. В число записавшихся попал и я. Нас пригласили в подвальное помещение, где за обшитой металлом дверью помещалось отделение «радиоактивной разведки», завели на нас обширнейшие анкеты и через некоторое время, приобщив к «форме номер два» и взяв подписки о неразглашении государственной тайны, зачислили на специальность «РФР» – геофизические методы поисков радиоактивных полезных

ископаемых. Мы, идиоты, попавшие на это «избранное» отделение, помню, еще радовались, совершенно не представляя, что нас ожидает в будущем.

Романтика секретности и государственной необходимости затуманивала наш разум. Особенно нам нравилось, что мы освобождались от обязательных для всех учебных воинских лагерей и получали офицерское звание «просто так». Здоровые и молодые, мы не задумывались всерьез о разрушительном действии радиации и на занятиях по технике безопасности беззаботно пошучивали. Тяжелое похмелье пришло гораздо позднее, уже после института, когда я узнал о безвременной смерти моих однокашников, попавших по окончании на престижную и высокооплачиваемую работу на урановые месторождения у нас и в Чехословакии. Пока же наша будущая специальность была неистощимым предметом различного рода сексуальных шуток. Мною даже была написана веселая песенка на мотив популярной тогда песни «Жил на свете золотоискатель» (слова которой, как выяснилось через много лет, принадлежат М. А. Светлову), ставшая со временем трагикомическим гимном студентов нашей несчастной специальности:

На уран он жизнь свою истратил,
Много лет в горах его искал,
И от этой жизни в результате
Он свой громкий голос потерял.
Загрустил от этой он причины
И промолвил с горечью в словах:
«Я теперь уж больше не мужчина,
А всего лишь облако в штанах».

Сейчас, по прошествии многих лет, я не могу без содрогания петь пророческий последний куплет:

Он заплакал и пошел, рыдая,
Через реки, горы и поля,
И лежала перед ним большая,
Женщинами полная земля.

В 1997 году меня неожиданно пригласили на телевидение для участия в популярной тогда передаче «Старая квартира», которая на этот раз была посвящена 1955 году. Надо было вспомнить, что мы пели в том году и вообще в студенческие годы, когда авторской песни как будто еще и в помине не было. Сцена

при этом должна была изображать непринужденную студенческую вечеринку середины 50-х. Режиссер решил, что уместно будет сварить пунш, столь популярный в наше время. Когда я спичкой поджег спирт, налитый в кастрюлю, пламя вспыхнуло с такой силой, что горящий спирт выплеснулся наружу, и пришлось гасить начавшийся пожар. Что же касается песен, то с гитарой в руках я вспомнил несколько песен из тех лет, включая «Глобус», «Бригантину» и «Закури, дорогой, закури».

Вернувшись домой, я вдруг подумал, а что мы вообще пели в начале нашей студенческой жизни, на первом и втором курсах, еще не соприкоснувшись с обширным экспедиционным фольклором и «зэковскими» песнями? А пели мы то же, что и все – лирические песни «Ясной ночкою весенней при луне…» или «Над туманами, над туманами огни терриконов горят» и другую подобную дребедень. Память о недавней войне одаривала нас героическими песнями этой уходящей в прошлое эпохи: «На позицию девушка», «Темная ночь» и «Вечер на рейде». И в то же время причастность к студенческому братству давала нам возможность с удовольствием окунуться в древний песенный мир буршей и студентов, который не имел и не имеет срока давности.

С одинаковым усердием, собираясь на нехитрые наши вечеринки, где, как правило, кутежи ограничивались сухим вином, мы распевали традиционные студенческие песни наших предков – «Крамбамбули», «Там, где Крюков канал и Фонтанка-река словно брат и сестра обнимаются», «В гареме нежился султан». При этом обязательно соблюдалась каноническая форма исполнения каждой песни с соответственным позвякиванием бокалов, хоровыми вопросами и ответами типа «Да я не пью! – Врешь, пьешь!» и другой звуковой аранжировкой. Сюда же, конечно, относятся и неизменные песни типа «Жены» («Холостою жизнью я извелся»), «Кисы-Мурочки», «В пещере каменной нашли поллитра водки», «Я иду по Уругваю» и тому подобных. Все эти песни считались безымянными и народными. Тем большим было мое удивление, когда я узнал, что одну из наиболее популярных песен того времени с широко известными строчками:

Так наливай сосед соседке, —
Соседка любит пить вино.
Вино, вино, вино, вино, —
Оно на радость нам дано, —

написал ленинградский поэт Дмитрий Генкин, старший брат ленинградского барда Александра Генкина. Интересно, что блатной репертуар «Мурки» и других бытовавших в то время

песен уголовного мира у нас не приживался.

Наряду с хоровыми лихими застольными песнями большой популярностью пользовались жестокие романсы и лирические песни из репертуара запрещенного тогда Лещенко, Оскара Строка и близкие к ним по духу. Сюда относились «Как блестят твои глаза», «Осень, прозрачное утро», «Журавли», «Я иду по далекой стране», «Зачем смеяться, если сердцу больно». Почти каждый из поющих, приобретший к тому времени свой собственный опыт первой (конечно, неудачной) любви, вкладывал в эти затертые строчки свой сокровенный смысл. Честно говоря, и сейчас, когда я вспоминаю строки этих «душещипательных» песен, они кажутся мне куда более содержательными, чем их современные аналоги в крикливом стиле «рок-музыки». Тогда хоть не дергались и не выкрикивали. Примерно год назад мне довелось посмотреть по телевидению программу, посвященную песням Лещенко. Выступал очень старый человек, его давний однокашник, и рассказал, что в начале своей артистической карьеры Лещенко был, оказывается, танцором-чечеточником. «Удивительно, что он начал писать песни, – сказал он, – когда человек танцует, у него короткое дыхание, а для песни нужно длинное». Вот в чем различие текстов рок-музыки и авторской песни, идущей от романса и народных песен, – в дыхании! Интересно, что песни пели с одинаковым удовольствием все или почти все. Тогда еще не было разделения на «мы» и «я», столь характерного для нынешнего времени.

Что пели мы в студенчестве своем,
В мальчишеском послевоенном мире?
Тех песен нет давно уже в помине,
И сами мы их тоже не поем.
Мы мыслили масштабами страны,
Не взрослые еще, но и не дети,
Таскали книги в полевом планшете —
Портфели были странны и смешны.
Что пели мы в студенчестве своем,
Когда, собрав нехитрые складчины,
По праздникам, а чаще без причины
К кому-нибудь заваливались в дом?
Питомцы коммуналок городских,
В отцовской щеголяли мы одежде,
И песни пели те, что пелись прежде,
Не ведая потребности в иных.
Мы пели, собираясь в тесный круг,
О сердце, не желающем покоя,

О юноше, погибшем за рекою,
О Сталине, который «лучший друг».
«Гаудеамус» пели и «Жену»,
И иногда, вина хвативши лишку,
Куплеты про штабного писаришку
И грозную прошедшую войну.
Как пелось нам бездумно и легко, —
Не возвратить обратно этих лет нам.
Высоцкий в школу бегал на Каретном,
До Окуджавы было далеко.
Свирепствовали вьюги в феврале,
Эпохи старой истекали сроки,
И темный бог, рябой и невысокий,
Последний месяц доживал в Кремле.

На многолюдных первомайских и ноябрьских демонстрациях, где колонна Горного института с огромным транспарантом из тяжелого красного бархата, украшенным изображением орденов, шла сразу же за колонной Балтийского завода, дружно пели «шахтерскую» песню:

Славься шахтеров племя,
Славься шахтерский труд!
Мы обгоняем время,
Сталин – наш лучший друг!

На демонстрации (явка для комсомольцев была обязательной) шли охотно, без понуканий. У меня в столе до сих пор завалялась фотография 1952 года, где два «отличника-зубрилы», два образцовых комсомольца, добившиеся самой высокой чести – нести на ноябрьской демонстрации транспарант, описанный выше, стоят с бледными от волнения лицами, вцепившись потными руками в толстые, покрашенные пачкающей ладони краской древки, перед внушительной воронихинской колоннадой родного института. Один из них я, а второй – Костя Сергеев, ныне член-корреспондент Академии Наук и директор Института Морской геологии и геофизики на Дальнем Востоке.

Огромная колонна черных студенческих шинелей, расцвеченная женскими шубейками и пальто, картонными и фанерными изображениями терриконов и шахт, разноцветными шарами и букетами из огромных бумажных цветов, полыхающая начищенной по этому случаю медью институтского духового оркестра, медленно двигалась вдоль набережной Невы от 21-й

линии к мосту Лейтенанта Шмидта по влажной и скользкой василеостровской брусчатке. Справа от нас, на хмурой осенней Неве, под порывами промозглого ноябрьского ветра, раскачивались и дымили хищные эскадренные миноносцы, украшенные мокрыми флагами расцвечивания. Слева на панели толклась разношерстная публика, в которой шустро шныряли стайки шпаны в натянутых на уши «лондонских» кепках с «золотыми фиксами» из латуни во рту. Из открытых окон Высшего военно-морского училища им. Фрунзе махали руками курсанты, оставшиеся в этот праздничный день без увольнений. Справа, скрестив бронзовые руки на узкой адмиральской груди, смотрел под ноги идущим великий русский мореплаватель немецкий барон Иван Федорович Крузенштерн.

На углу 8-й линии, где на набережную, мерцая тусклой сталью, выскакивали скользкие, как змеи, трамвайные рельсы, колонна обычно останавливалась. Здесь в ряд стояли «полуторки», открытые грузовики и фургоны с бортами, украшенными красным кумачом и словами «Сталину – слава». С них шла бойкая торговля водкой и нехитрой, но зато и недорогой закуской. Наиболее популярным видом бутербродов были так называемые «сестры Федоровы» – три кильки, положенные на ломоть черного хлеба. Через борта машин в наши протянутые руки легко вылетали баснословно дешевые в те времена «маленькие» и «мерзавчики». Если же в колонну попадала «поллитровка», то она передавалась по шеренге слева направо. При этом каждый на ходу делал по глотку, а правофланговый выкидывал пустую бутылку. Еще вполне здравствующий тогда Верховный Главнокомандующий, «наш лучший друг», с огромного портрета, заслонявшего окна трех этажей на «Доме академиков» напротив въезда на мост Лейтенанта Шмидта, зорко смотрел прямо в глаза и в рот каждому из нас, чтобы никто не смел увернуться от обжигающего глотка водки и бодрого маршевого припева.

Время моей учебы в Горном институте совпало с драматическими событиями в истории страны. 53-й год начался «делом врачей». По каналу Круштейна шел, раскачиваясь и размахивая руками, пьяный, белыми от бешенства глазами пристально вглядываясь в лица встречных. «Жиды! – кричал он. – Жиды вонючие! Убирайтесь отсюда! Всех будем травить, как крыс!» Густая слюна текла по серой щетине его небритого подбородка.

Помню морозный мартовский день 53-го года, переполненный актовый зал института, хмурые мужские лица и заплаканные глаза женщин. Огромная мраморная статуя вождя

возвышалась над залом, где выступавшие клялись в верности сталинскому пути и обращались к правительству с просьбой присвоить институту имя Сталина. На следующее утро мы, второкурсники, всей группой отправились в конец Московского шоссе – тогда оно носило название Проспект Сталина. Туда, где почти на выезде из города, около Средней Рогатки, стояли с обеих сторон проспекта бронзовые фигуры Ленина и Сталина. Путь был не близкий, на автобусе, – метро еще в ту пору не было. С собою мы везли огромный венок, купленный на нищие студенческие стипендии. В полной тишине, сняв шапки, мы прислонили наш венок к заиндевелому мраморному основанию памятника. Умерший вождь равнодушно смотрел теперь уже не в глаза каждому, а поверх наших голов, в сторону Пулково, в лиловую морозную мглу, пропитанную бензиновой гарью. Через несколько лет, после XX съезда, статую с постамента сняли. Взорам всех приезжих, едущих из аэропорта в город, открывалась странная картина: Ленин, показывающий на пустой постамент напротив. Через какое-то время исчез и постамент, а потом убрали и осиротевшего Ленина.

Неожиданные преображения памятников вождям в последующие годы видеть мне приходилось неоднократно. Помнится, в 70-м году в Царском Селе под Ленинградом, где жили тогда мои родители, открыли новую баню, а напротив ее входа установили памятник Ильичу с кепкой в руке. Ленин явно направлялся в баню, поскольку на постаменте были выбиты его слова: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Ситуация эта показалась городским властям несколько двусмысленной, и в одно прекрасное утро памятник неузнаваемо изменился. Надпись с постамента исчезла. Преобразился Ленин: ему была приделана борода, в правую руку вместо кепочки дан веник, а в левую – шайка. Великий вождь превратился в старика, идущего в баню. Этот монумент, однако, тоже простоял недолго и был снят после очередной идеологической инспекции.

В середине 70-х годов во время Международного геологического конгресса по Тихому океану, проходившего в Хабаровске, я попал на автобусную экскурсию по городу. В числе других достопримечательностей Хабаровска нам был показан огромный постамент из красного мрамора, на котором сиротливо стояла несоразмерно маленькая фигурка Владимира Ильича. Бойкая девица-экскурсовод пояснила нам: «На этом месте когда-то возвышался огромный памятник Муравьеву-Амурскому – покорителю края. После революции памятник был снят и на его место поставлен памятник Ленину. Посмотрите – какой несоразмерный монумент: весь Ленин с один сапог Муравьева-

Амурского». Сейчас там Ленина сняли и снова установили памятник Муравьеву-Амурскому.

С чувством горькой ностальгии по своему юношескому ослеплению «светлыми идеями социализма» прихожу я в Москве к Дому художника, невдалеке от которого стоят и сидят свергнутые со своих постов в разных местах столицы Дзержинский, Калинин и Свердлов. У их ног лежит расколотый Ильич из роскошного красного мрамора. И на память приходит надпись, увиденная мною в 1965 году в волжском городе Самаре, тогда Куйбышеве, на мраморной мемориальной доске, висевшей по чьему-то недосмотру на одном из домов, а позднее снятой по указанию партийного начальства: «На этом месте в сентябре 1918 года во время белочешского мятежа толпой озверевших белогвардейцев были растерзаны последние честные борцы за коммунизм».

Что же касается упомянутой песни «про штабного писаришку», начинающейся строчками «Я был батальонный разведчик», которую мы, конечно, считали народной, то с ее автором, Алексеем Петровичем Охрименко, я познакомился только сорок лет спустя в Москве в 1992 году. А. П. Охрименко, автор «народной» песни про батальонного разведчика и не менее популярных песен, которые мы тоже распевали в студенческие годы, – «Венецианский мавр Отелло», «Ходит Гамлет с пистолетом» и «Великий российский писатель, граф Лев Николаич Толстой», родившийся в 1923 году, в 42-м девятнадцатилетним юнцом ушел на фронт, почти сразу же угодив в «мясорубку» подо Ржевом. Помните у Твардовского: «Я убит подо Ржевом»? Но Алексею Охрименко везло. Он не погиб под Ржевом и позднее под Витебском, хотя и перенес тяжелое ранение, а в 45-м закончил войну под Кёнигсбергом. После войны он стал журналистом. Работал в радиокомитете, в журнале «Советский Союз», в «Медицинской газете» и, наконец, в газете «Воздушный транспорт», откуда ушел на пенсию.

Самые знаменитые свои песни – «Батальонного разведчика», «Отелло», «Гамлета» и «Толстого», Охрименко написал в соавторстве с друзьями Сергеем Кристи и Владимиром Шрейбергом. Мне довелось несколько раз выступать вместе с ним в Москве, Киеве и других городах. Он, несмотря на свой почтенный возраст, довольно сильно «закладывал», что, однако, не мешало ему всегда успешно выступать со своей старенькой семистрункой в руках, поскольку для аудитории он всегда был ожившим мифом. Охрименко рассказывал мне, что свои песни он пел в 50-е годы по писательским квартирам в Москве и Переделкине и мечтать не мог об их публикации или записи. Теперь, после ухода в 1993 году последнего из авторов этих песен

(Владимир Шрейберг умер в 79-м, а Сергей Кристи – в 86-м), они снова растворяются в фольклоре и становятся поистине народными.

Экспедиционные «геологические» песни я услышал несколько позднее. Первая моя производственная практика, открывшая начало экспедиционной жизни, состоялась в одной из поисковых партий так называемой «Восточной экспедиции». Так именовалась одна из экспедиций Первого Главного геолого-разведочного Управления Министерства геологии, занимавшегося поисками урана. Работала она в Средней Азии совместно с Отделом специсследований Всесоюзного геологического института, располагавшегося в высоком старинном здании на Среднем проспекте Васильевского острова, неподалеку от Горного.

Еще с начала второго семестра на третьем курсе, за несколько месяцев до практики в аудиториях обсуждались разные варианты экспедиций – от Магадана до Кавказа. Высокомерные старшекурсники, уже постоянно «приписанные» к полюбившимся им организациям, оценивающе, как на рынке работорговли, приглядывались к нашим однокурсницам, вербуя их в свои партии и не обращая никакого внимания на нашу бессильную ревность.

Более других в то время котировались две экспедиции. Первого Главка, – «Горная», работавшая в далекой и таинственной Туве, и «Восточная», работавшая в Средней Азии.

База партии, в которую мы попали на практику, располагалась в Душанбе (тогда – Сталинабаде), куда мы и отправились вчетвером, с моими однокашниками, в длинную дорогу поездом с пересадкой в Москве. Помню, как расстроился мой отец, провожавший меня светлой июньской ночью на Московском вокзале, когда выяснилось, что все пассажиры общего вагона, абонированного для студентов Горного института, мертвецки пьяны, как сокрушался потом о выбранной мною профессии.

Поезд от Москвы до Сталинабада шел тогда около шести суток. Скромные наши студенческие финансы кончились примерно на третий день. Заядлый преферансист Саня Малявкин, взявший «общественную» пятерку и с надеждой на выигрыш отправленный в соседний вагон, тут же ее проиграл. Кто-то из сердобольных соседей посоветовал нам купить по пути в России мешок картошки, чтобы продать его в Средней Азии. Мы сдуру потратили последние рубли на эту картошку, но у нас уже и за Аралом никто ее почему-то не покупал. Сварить ее в условиях общего вагона не удалось, так что в Сталинабад мы прибыли голодные и одуревшие от жары. Что касается жары, то у меня на

много лет осталось неизгладимое воспоминание от этого первого путешествия: в соседнем «купейном» вагоне, на отрезке дороги между Термезом и Каршами сидели голые офицеры, вытирая пот грязными полотенцами и, морщась, пили теплую водку.

В Сталинабаде нас в первый же вечер смертельно напоили разведенным спиртом и местным вином «Тайфи». Потом накормили, снабдили горными ботинками «на шипах», наскоро обучили работе с радиометрами и развезли на грузовиках в горы, в поисковые отряды. Так началась экспедиционная жизнь. Состояла она из изнурительных каждодневных маршрутов по горам Гиссарского хребта, целью которых было геологическое картирование и поиски урана. Ходили в маршруты по двое – геолог и геофизик с радиометром для поисков радиоактивных аномалий. Нередко нашими геологами были женщины. Мне доводилось довольно часто ходить в многодневные маршруты с начальницей нашего отряда Люсей Григорьевой, крепко сбитой крутобедрой дамой лет тридцати с пятым размером повсеместно. Поскольку все приходилось таскать на себе, то лишнего груза не брали. Брали, в частности, один спальный мешок на двоих. Ночью на перевалах температура понижалась до нуля, и, чтобы не замерзнуть, спали в этом мешке, крепко обнявшись. При этом никаких сексуальных позывов не возникало, – во-первых, смертельно уставали за день, во-вторых, мне было девятнадцать, и тридцатилетняя Люся казалась мне весьма пожилой.

Превышения в день достигали двух-трех километров, да и карабкаться приходилось часто по почти отвесным склонам, цепляясь пальцами за обманчивые выступы скал. Вот где я хлебнул первого страха! Если геолог мог хоть немного помогать себе геологическим молотком, цепляясь им за скалы или выбивая ступеньки в дресве, то уж геофизик (то есть я) со своим громоздким и неуклюжим прибором, болтавшимся на груди и больно бившим при каждом очередном падении, был совершенно беспомощен. До сих пор помню, как хорошо было лезть вверх по сланцевым скалам с их плитчатой отдельностью, как бы создающей природные ступеньки, и как тяжело – по гранитам, с их округлыми – не зацепиться – поверхностями, покрытыми мелкой острой дресвой, в кровь ранящей руки. А грозные гюрзы и другие ядовитые змеи, притаившиеся в расселинах скал! А десятки скорпионов и фаланг, вылезавшие по ночам к палаткам на свет! А обманчивые ледовые фирны в ущельях, где только оступись – и засквозишь неведомо куда!

Работы по поискам урана проводились в обстановке сугубой секретности. Пикетажки, куда мы записывали показания радиометров, выдавались нам представителями «первого отдела»

в виде строго прошитых и опечатанных тетрадок. Записи можно было вести только в них. Само слово «уран» в переговорах по радио и при переписке было строго запрещено – вместо него говорили «теллур». Пикетажки эти полагалось хранить во что бы то ни стало, за утерю – суд.

До сих пор помню чувство беспомощности, испытанное мною уже на другой год на том же Гиссарском хребте. Мы с моим геологом Костей Григорьевым удобно расположились на привал у ручья под редкой сенью низкорослой арчи, сняв с себя – он рюкзак с образцами, я – надоевший и раскалившийся на солнце радиометр. Не успели мы расслабиться, как раздалось грозное хрюканье, и по распадку прямо на нас понеслось несколько рослых кабанов. Уж не помню как, но практически молниеносно мы с Костей ухитрились вскарабкаться на самое высокое деревце, бросив все пожитки внизу. Семейство кабанов закружилось под нами, тыча в них розовые пятачки, трогательно контрастировавшие с внушительными клыками. И тут я, несмотря на жару, похолодел от ужаса, увидев, что мой «совсекретный» полевой дневник валяется внизу, и огромный секач – глава семейства к нему внимательно принюхивается – не схарчить ли. Служебный долг и боязнь неминуемой посадки боролись во мне с вполне естественным животным страхом. Я с надеждой посмотрел на геолога, ожидая приказа, но он нахмурился и отвернулся. Тут я окончательно понял, что вниз ни за что не полезу. На мое счастье, потоптавшись под деревом и слегка унавозив «совсекретное» имущество, свинячье семейство неспешно отправилось дальше.

Через каждые несколько дней отрядный лагерь менял свое место. Никаких вертолетов в ту пору в каждодневном обиходе еще не было, и перебазировались с помощью вьючных лошадей, на которых грузили весь скарб – палатки, вьючные ящики и сумы. Рабочими и коноводами были местные таджики, нанимавшиеся на сезон. Были они все молодыми, непьющими и верующими. Все носили усы одинаковой формы – опущенные от углов рта вниз. Кто-то сказал мне, что такая форма усов считается в Таджикистане общепринятой «из-за Буденного». «Как это из-за Буденного?» – не понял я. И мне объяснили, что в годы коллективизации и «борьбы с басмачеством» по горам и долинам Таджикистана огнем и мечом прошелся легендарный маршал Семен Михайлович Буденный, посланный сюда насаждать советскую власть. Мне часто потом в маршрутах доводилось набредать на брошенные и разоренные кишлаки, где в безлюдных глинобитных домах шуршат обжившие их змеи. Так вот, таджики с тех пор закручивают усы концами вниз, потому что Буденный

носил их концами вверх…

На сезонную работу в геологические партии они шли охотно, хотя не обходилось и без комических случаев. Помню, например, как пришел к нам старик из соседнего кишлака на Ходжи-Оби-Гарме. Целый день он сидел молча неподалеку от нашего лагеря и, цокая языком, разглядывал наши палатки и обшарпанный грузовичок, а потом пришел и принес заявление такого содержания: «Прошу принять меня на работу начальником охраны, начальником гаража или вообще каким-нибудь начальником».

По вечерам костров, как правило, не жгли, песен не пели и ложились рано – во-первых, вставали около пяти утра, чтобы начать маршрут не по жаре, а во-вторых, уставали смертельно, поначалу не столько от физической нагрузки (хотя и от нее, конечно), сколько от нервного напряжения. Несколько лет потом мне все снились сны, что я оступаюсь на скальном карнизе и падаю. И я просыпался в холодном поту.

Не менее рискованными оказывались и переходы с вьючными лошадьми. Перемещались по узким козьим тропам, над скальными обрывами и ущельями, что чревато было ежеминутными неприятностями, особенно после дождей. Лошадей вьючили до отказа. Они, зная это, старались надувать животы, на которых затягивали подпругу. Полагалось поэтому резко ударить носком сапога лошадь в брюхо и сразу же после этого туго затянуть подпругу. Надежность вьюка проверялась тем, что полностью навьюченную лошадь прогоняли вскачь по ровному месту. Если вьюк не разваливался, он считался готовым. Сложной наукой оказалось и ведение лошади в поводу по узкой тропе или оврагу над пропастью или крутым склоном. Животное каждую минуту могло испугаться или оступиться, поэтому категорически запрещалось наматывать повод на руку. В то же время всегда надо было быть готовым разгрузить упавшую или испугавшуюся лошадь от вьюка, особенно съехавшего набок, не забывая в то же время постоянно успокаивать ее, чтобы она не начала биться и метаться.

В связи с этим вспоминается странная история, произошедшая на первой производственной практике. Мы, не помню уж зачем, приехали в Сталинабад и по пути обратно в горы заехали на «ГАЗ-51» на рынок. Начальник партии вместе с шофером пошли закупать арбузы, а мы с Олегом (так звали моего товарища) остались стоять в тени машины на пыльной базарной площади. Одеты мы были в выгоревшие и драные ковбойки, сатиновые тренировочные штаны и войлочные широкополые шляпы, носившие почему-то название «мечта идиота». На ногах

красовались изрядно поизносившиеся горные ботинки, подбитые на общий манер кусками автомобильного баллона, что, как утверждали знатоки, обеспечивало меньшее скольжение их на крутом склоне. По этому наряду, выделявшему нас из пестрохалатной и тюбетеечной толпы аборигенов, а также по начисто сгоревшим и облупленным от непривычного солнца носам опознать в нас геологов-практикантов было нетрудно.

К нам подошла цыганка, обликом своим сразу же напомнившая мне старуху Изергиль. Волосы ее были седыми с лиловым оттенком, глаза – в таких же темно-лилового цвета глазных впадинах – казались неподвижными и пугающими. Лилово-черным был и платок на ее голове. В это время в Сталинабаде дул «афганец», южный ветер, приносивший в город мелко взмученную пыль. Пыль эта, висевшая в воздухе, делала его полупрозрачным, поэтому все краски темнели и насыщались, как на театральной сцене при боковом освещении через фильтр. Старуха предложила нам погадать, но денег у нас не было, да и желания узнать судьбу тоже, поэтому, чтобы отвязаться, мы отдали ей случайно оставшийся рубль. Она явно оскорбилась и, цепко схватив своими худыми пальцами Олега за запястье, стала гадать. И он, и я при этом впали в какое-то странное, до сих пор непонятное мне, оцепенение и покорно выслушали все, что она нам нашептала своей хриплой скороговоркой. «Кончишь учиться – большим начальником станешь, – сказала она Олегу. – Самую дорогую руду найдешь, там, где другой не найдет. Орден красный получишь и денег несметно. А потом в горах разобьешься. Еще тридцати тебе не будет, а разобьешься».

Я бы и не вспомнил после про старушечьи бредни, если бы не странность последовавших за этим событий. В 1957 году мы с Олегом окончили родной Горный институт и расстались навсегда. Он попал по распределению в Алтайскую экспедицию в Усть-Каменогорск, и я с ним больше не встречался. Через пару лет я узнал, что Олегу крупно повезло – в каком-то районе, уже забракованном как неперспективный предыдущими геологическими съемками, он совершенно неожиданно наткнулся на крупнейшее месторождение ртути. О нем писали в газетах. Олег вместе с другими был представлен сначала к ордену, а через год и к Государственной премии. Несколько позднее я узнал, что Министерство геологии, несмотря на его молодость, назначило Олега начальником большой экспедиции и заместителем начальника краевого геологического управления.

О дальнейшей его судьбе я узнал только в конце 60-х годов, когда сам уже полностью переключился на морскую геологию. За несколько дней до своего 30-летия, по случаю которого был уже

заказан банкет в городском ресторане, Олег, будучи большим начальником, прилетал на вертолете инспектировать какую-то поисковую партию на Алтае. Работы партии ввиду наступления осени уже сворачивались, и она, как когда-то мы на Гиссаре, должна была выходить с караваном вьючных лошадей вниз. Погода была нелетная, и, не дождавшись вертолета и боясь опоздать на собственный юбилей, Олег решил отправиться пешком вместе со всеми. Уж никак не могу понять, с какой стати ему, крупному начальнику, вдруг вздумалось самому вести в поводу вьючную лошадь, да еще в нарушение самых элементарных правил безопасности, которым нас обучали еще в студенчестве, намотать на руку повод. На крутом и скользком склоне над обрывом лошадь оступилась и сорвалась в пропасть, унеся с собой Олега.

Первым моим начальником был старший инженер Сергей Максимов, здоровый рыжий верзила со звероподобной внешностью и весьма добрым сердцем, большую часть времени пребывавший в нетрезвом состоянии. Помню, с каким восхищенным ужасом мы, новички, смотрели на него, когда в лагере партии на Анзобском перевале он на пари с каким-то другим алкашом за четыре поллитры съел сурка после того, как пришло предупреждение, что сурки могут быть носителями чумы. Никакой чумой Серега не заразился. Зато раз и навсегда приобрел авторитет человека безумной храбрости.

По вечерам собирались у костра и нередко пели песни. Гитара тогда еще не вошла в моду, поэтому пели просто так. Здесь впервые мне довелось услышать довольно много безымянных песен геологического фольклора, многие из которых я помню и пою до сих пор. В их числе прежде всего песня, автор которой до сих пор мне неизвестен:

Закури, дорогой, закури.
Завтра утром с восходом зари
Ты пойдешь по тайге опять
Молибдена руду искать.

Поскольку пели эту песню не в тайге, а на отрогах Памира, то слова «по тайге» обычно заменялись словами «по горам», а упоминание о Москве – соответствующим упоминанием о Ленинграде. Особенно полюбились мне в этой песне сентиментальные строчки:

Жизнь геолога – холод, вода,
Пролетит, не заметишь когда.

Только жить соберешься сполна, —
На висках заблестит седина.

Кроме этой песни часто пели песню:

Я смотрю на костер догорающий,
Гаснет розовый отблеск огня.
После трудного дня спят товарищи, —
Почему среди них нет тебя?

Пелись и другие песни, где речь неизменно шла о трудностях геологической жизни, скитаниях и разлуках, – «Дым костра создает уют», «Глобус» и тому подобное. От песен этих сладко ныло сердце, становилось жалко себя. В то же время они вселяли в нас гордость за свою романтическую профессию, уважение к своему образу жизни, столь непохожему на городское существование.

В связи с этим нельзя не вспомнить забавный диалог, случившийся на горной тропе, когда мы с моим геологом Светом Лесковым возвращались из маршрута в лагерь. Навстречу нам из-за поворота появилась беременная женщина, с трудом переставляющая ноги, стараясь не оступиться. За ней следом верхом на ишаке ехал бородатый таджик в полосатом халате и тюбетейке, широко разведя в стороны длинные ноги, чтобы не задевать землю. Поздоровавшись, мы спросили, куда они направляются. «Жену в родильный дом везем, – ответил он, – рожать пора. А ты кто будешь?» – обратился он к Лескову. «Инженер», – сказал Свет. «Плохой инженер, однако, – заявил наш собеседник. – Хороший инженер в городе живет, на заводе работает. Если в горы пошел, то плохой инженер». И, сокрушенно поцокав языком, отправился догонять жену.

Интересно, что в отличие от первокурсных студенческих компаний, в экспедиции «лихих» студенческих песен и песен военного времени уже почти не пели, заменив их на «профессиональный» лирический репертуар. Под влиянием этих песен я и сам начал придумывать первые грустно-юмористические куплеты:

Исцарапанный весь и избитый,
Между диких обрывов и скал,
Притулившись на глыбе гранита,
Молодой геофизик страдал.

Что касается нашего тогдашнего отношения к опасностям, то к ним надо было привыкать как к неизменной детали нашего повседневного быта. Нам даже надбавку к зарплате платили за это – двадцать процентов «высокогорных» – как говорилось, «плата за страх». В 1955 году, в свой второй полевой сезон на Гиссарском хребте, мне довелось быть свидетелем гибели своего коллеги – двадцатипятилетнего геофизика Адольфа Образцова, насмерть разбившегося в маршруте. Истерзанное его тело, расклеванное орлами, долго не могли достать со дна ущелья. Эта первая в моей жизни безвременная смерть потрясла меня, и я тогда же написал об этом песню:

Снова солнце зажгло ледники,
Водопады в тумане шумят.
У стремительной горной реки
Поисковый стоит наш отряд.
И опять, как и в прежние дни,
На рассвете, проверив прибор,
На плечах закрепивши ремни,
Мы уходим тропинками гор.

Так песня памяти погибшего товарища стала моей первой экспедиционной песней. К сожалению, впоследствии таких песен стало больше. Песню эту, уже как безымянную, некоторое время пели в экспедициях, но потом почему-то пошел слух, что она приносит несчастье, что все, кто ее любит петь, рано или поздно разобьются. Мне по окончании Горного института в горах больше работать не доводилось, однако и сам я эту песню петь не люблю.

В 1956 году, на преддипломной практике в другом горном районе, – на Тахталыкской гряде Тянь-Шаня, мне впервые пришлось столкнуться с землетрясением. Палатки нашей партии стояли на травянистом склоне пологого предгорья. Помню, у кого-то из геологов был день рождения, и все изрядно выпили. Ночью нас разбудил испуганный Коля Золотокрылин: «Ребята, трясет». «Пить надо меньше, тогда трясти не будет», – сердито отреагировал начальник отряда. В этот момент произошел еще один вполне ощутимый толчок, и все враз умолкли, прислушиваясь к низкому гулу, долетавшему из дальнего ущелья. Нам, кажется, на склоне, поросшем травой, под полотняными крышами, ничего особенно не грозило, но всем стало как-то зябко. Утром выяснилось, что землетрясение разрушило мост через реку Нарын, и машина с продуктами к нам дойти не сможет. Всю следующую неделю, пока не наладили переправу, мы занимались тем, что распарывали бикфордовы шнуры для

взрывных работ и кропотливо вытряхивали из них порох. Порохом этим набивали ружейные гильзы и стреляли горных куропаток – кекликов, поскольку больше есть было нечего.

Из странных мистических явлений, запомнившихся мне в студенческие годы по экспедициям на Гиссарском хребте, помню одно. Ясной лунной ночью, в полном безветрии, палатки наши стояли на плоском травянистом склоне на берегу узкой и бурной горной речушки, у самого подножия отвесных и неприступных гранитных скал. Напротив нас, на том берегу реки – такой же травянистый склон, со всех сторон также замкнутый отвесными скалами. В отличие от нашего берега, вдоль которого шла узкая вьючная тропа, противоположный берег для людей был недоступен. Перед палатками стоял складной походный стол, на котором мирно горела свеча. Четверо геологов при свете огарка яростно сражались «в пульку».

Вдруг неожиданно и громко завыли обе наши собаки, а через несколько минут после этого прибежал рабочий Саид и стал взволнованно и сбивчиво, забыв от испуга русские слова, что-то мне объяснять, все время показывая рукой в сторону противоположного берега. Мы пригляделись и вдруг увидели странную процессию – около десятка темных фигур, напоминавших средневековых монахов с накинутыми на голову капюшонами, спускались вниз по склону от нижнего края скальной гряды, направляясь в нашу сторону. Перед каждым из них колыхалось в такт их движениям бледно-голубое пламя, как будто каждый нес перед собой огромную свечу. И хотя за ревом реки и стуком швыряемых ею камней ничего разобрать было невозможно, мне показалось, что слышно монотонное пение. Как могли попасть люди в это неприступное место? Из путаных речей нашего проводника, требовавшего немедленно бежать, стало понятно наконец, что, по местному поверью, души умерших и не преданных земле бродят в лунные ночи по горам с непогашенным огнем и умерщвляют грешных людей своим прикосновением. Сидевшие вокруг стола так и застыли с картами в руках. Собаки продолжали выть. Никто был не в состоянии двинуться с места. Дойдя почти до реки, тени и огни исчезли. Я взглянул на часы. Все это продолжалось не более десяти минут. Саид, успокоившись, ушел, собаки замолчали, преферанс был продолжен, и о странном событии скоро забыли. До сих пор не могу понять, что это было – мираж? Массовая галлюцинация?

Что же касается памятных историй, то приключались, конечно, не только мрачные, но порой и смешные. В число методов поисков месторождений урана входил так называемый эманационный. Дело в том, что в процессе распада соединения

урана могут образовывать радиоактивный газ – радон, а соединения тория – торон. Если месторождение урановой руды в коренных породах закрыто сверху чехлом осадков, то газ этот может проникать снизу в почвенный слой, создавая эманационный ареал. Поэтому на горных склонах, закрытых почвой, уран искали так: откачивали специальным насосом из шурфов в почве воздух в резиновые мешочки и затем отправляли их в Сталинабад, в лабораторию, на определение содержания торона или радона. При этом в качестве «резиновых мешочков» весьма успешно использовались обычные презервативы. В один прекрасный день они вдруг кончились, и меня вместе со «старшим», которым был тоже студент-практикант Гена Слонимский, учившийся когда-то со мной в одной школе, отправили за пополнением «резиновых мешочков» в Сталинабад, поскольку их отсутствие грозило срывом работ.

Мы с Геной, исполненные важностью нашей миссии, оседлали коней и поскакали вниз. «Девушка, нам, пожалуйста, презервативы», – заявил Геннадий, осадивший своего Басмача у дверей центральной аптеки, где по случаю жаркого дня было безлюдно. «Сколько?» – спросила продавщица. «Две тысячи», – гордо сообщил Гена. Девушка всплеснула руками и скрылась за дверью с надписью «Заведующий». Через несколько минут оттуда появился старый еврей-провизор в серебряных очках. «В чем дело, Леночка?» – переспросил он и, наморщив лоб, посмотрел на нас поверх очков. «Лев Исаакович, они просят две тысячи!» – «Ну и что? – невозмутимо заметил провизор. – Отпустите, может быть, у них вечеринка»…

Месяцы, проведенные в горах, тяжелые маршруты на солнцепеке, скупой палаточный быт (хотя по нынешним временам он не был таким уж скупым – всегда были и фрукты, и арбузы, и свежая баранина) закалили наши городские нетренированные тела, укрепили уверенность в том, что профессию мы выбрали верно. Самое замечательное, как я понял уже значительно позднее, что за три года, которые я проработал на производственной практике в Средней Азии, сначала на Гиссарском хребте, а потом на Тахталыкской гряде Тянь-Шаня, никаких серьезных рудопроявлений урана мы так и не обнаружили, как ни старались. Зато запомнились на всю жизнь яркие крупные и близкие звезды над ночным хребтом, лунное мерцание соседних ледников, пронзительно-голубые краски мечетей и медресе, недолгое ощущение счастья, когда поднимаешься на недоступную, казалось бы, вершину и приятный холодок штатива на обожженном солнцем плече. Теперь, когда я вспоминаю это время, из памяти начисто выветриваются все

невзгоды и неприятности, которых было, видимо, немало. Остаются только сожаление о невозможности вернуть эти первые ощущения страха, смешанного с постоянным восхищением многогранностью и богатством таинственной горной страны, и тоска по утраченному ныне собственному легкому и послушному телу, стремительно карабкавшемуся когда-то по отвесным кручам.

Запомнилось мне с тех пор и одно древнеперсидское изречение, выбитое на скальной стене: «В горах кто ходит медленно, тот ходит хорошо, а кто ходит хорошо, тот ходит быстро».

Глеб-гвардии Семеновского полка

Наш студенческий сборник сожгли в институтском дворе,
В допотопной котельной, согласно решенью парткома.
Стал наш блин стихотворный золы неоформленным комом
В год венгерских событий, на хмурой осенней заре.
Возле топкого края василеостровской земли,
Где готовились вместе в геологи мы и в поэты,
У гранитных причалов поскрипывали корабли,
И шуршала Нева – неопрятная мутная Лета.
Понимали не сразу мы, кто нам друзья и враги,
Но все явственней слышался птиц прилетающих гомон,
И редели потемки, и нам говорили: «Не ЛГИ»
Три латунные буквы, приклепанные к погонам.
Ветер Балтики свежей нам рифмы нашептывал, груб.
Нас манили руда и холодный арктический пояс.
Не с того ли и в шифрах учебных студенческих групп
Содержалось тогда это слово щемящее «поиск»?
Воронихинских портиков временный экипаж,
Мы держались друг друга, но каждый не знал себе равных.
Не учили нас стилю, и стиль был единственный наш:
«Ничего, кроме правды, клянусь, – ничего, кроме правды!»
Не забыть, как, сбежав от занятий унылых и жен,
У подножия сфинкса, над невскою черною льдиной,
Пили водку из яблока, вырезанного ножом,
И напиток нехитрый занюхивали сердцевиной.
Что еще я припомню об этой далекой поре,
Где портреты вождей и дотла разоренные церкви?
Наши ранние строки сожгли в институтском дворе
И развеяли пепел – я выше не знаю оценки.
И когда вспоминаю о времени первых потерь,
Где сознание наше себя обретало и крепло,
Не костры экспедиций стучатся мне в сердце теперь,
А прилипчивый запах холодного этого пепла.

Первой практике, знаменовавшей начало моей экспедиционной жизни, продолжавшейся впоследствии около сорока лет, предшествовало еще одно немаловажное событие –

осенью 1953 года, при активном содействии Володи Британишского и Саши Гдалина, учившихся со мной на одном курсе, в Горном институте было организовано литературное объединение. В качестве его руководителя, конечно же, приглашен был Глеб Сергеевич Семенов. В Горном выходила в то время многотиражка «Горняцкая правда», вокруг редакции которой группировались люди, интересующиеся литературой или уже пишущие. Главный редактор этой газеты Павел Иванович Мустель, ставший позднее ректором Горного института, оказал нам немалую поддержку, и, наконец, профком и комитет комсомола приняли соответствующее решение. Первые занятия «объединения», на которые собиралось вначале не более десяти человек, проходили в тесной комнатке редакции, но популярность ЛИТО стала быстро расти, и уже через месяц для каждого занятия приходилось заказывать в диспетчерской Института специальную аудиторию. Мы с Володей в ту пору были уже третьекурсниками, и я, как один из организаторов, стал первым старостой ЛИТО.

Основу литобъединения составили начинающие поэты. В их число вошли геологи Геннадий Трофимов и Игорь Тупорылов, старше нас на курс, студенты-геологи 53-го года поступления Леонид Агеев и Олег Тарутин, наша сокурсница Лина Гольдман, студентка с нефтяной геофизики Лидия Гладкая. Несколько позднее в ЛИТО вошли первокурсники с геолого-разведочного факультета Елена Кумпан, Яков Виньковецкий, Эдурд Кутырев и Андрей Битов, писавший вначале, очень недолго, стихи, а затем переключившийся на прозу. Поначалу же проза была представлена Анатолием Кравчинским, в отличие от известного классика именовавшимся «Кравчинский-не-Степняк», Всеволодом Белоцерковским, быстро переметнувшимся в режиссеры, а позднее уже упомянутыми Битовым и Виньковецким.

Занятия велись примерно по той же схеме, что когда-то во Дворце пионеров. Контингент, однако, был иной, да и эпоха была уже совсем другая – умер Сталин, приближался XX съезд. Для нас, студентов Горного, выбравших себе, как мы были уверены, самую «земную» специальность, литературные увлечения были не абстрактными, а дополняющими суровую и горькую нашу действительность, не перемещением в отвлеченный от нее мир изящной словесности, но формой осмысления этой действительности и, прежде всего, попыткой мучительного прозрения от детски-просталинских иллюзий. Может быть, именно поэтому основным направлением в горняцком ЛИТО стало сугубо реалистическое, из-за чего мы довольно скоро получили полунасмешливое название «почвенники». В названии

этом, однако, как я думаю сейчас, не было, по существу, ничего обидного, ибо оно довольно точно соответствовало реальности.

Наиболее яркими представителями этого направления были, конечно, Леонид Агеев, Олег Тарутин и Володя Британишский. Несколько позднее к нам в ЛИТО пришли поэты из других объединений – Нина Королева, Глеб Горбовский и еще позднее – Александр Кушнер.

С самого начала «горняцкого объединения» или, как мы называли его в ту пору, «Глеб-гвардии Семеновского полка» в нем установился нетипичный в то время дух демократии, который, как я теперь понимаю, был определен в первую очередь Глебом Семеновым. На обсуждениях стихов, встречах с поэтами из других ЛИТО и просто в разговорах он все менее выглядел ментором, скорее – старшим товарищем. Чем далее, тем больше он незаметно становился как бы нашим ровесником и, возможно, сам чему-то учился. Ничего удивительного в этом не было – все как-то незаметно стали друг другу соперниками и учителями, тем более что круг доступного нам чтения был достаточно узок и о многом приходилось узнавать друг от друга.

В это время в Ленинграде существовало несколько групп молодых поэтов. Наиболее «официальным» было университетское объединение, которое состояло в основном из филологов. Сюда входили Майя Борисова, Илья Фоняков, Владимир Торопыгин, Валентин Горшков и некоторые другие. Большой популярностью пользовалось ЛИТО при Доме культуры трудовых резервов, которым руководил Давид Яковлевич Дар. Именно оттуда пришел Глеб Горбовский, там занимались в те годы Виктор Соснора, Алексей Ельянов и другие поэты и прозаики.

Наиболее близкая к рафинированному литературному слою группа создала (правда, несколько позднее) круг, который концентрировался вокруг Анны Андреевны Ахматовой. В него входили Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и, наконец, безвременно ушедший из жизни Иосиф Бродский. Они-то и называли нас «почвенниками». Особняком держались авангардисты – Уфлянд, Еремин и Виноградов. Существовало также литобъединение в Политехническом институте, видную роль в котором играл уже упомянутый мной поэт Виктор Берлин и на занятия которого ходили Александр Штейнберг, Борис Голлер и другие.

В 1954 году в актовом зале Политехнического института начались общегородские вечера студенческой поэзии, проходившие при огромном стечении народа. У меня много лет хранится «самиздатовский» сборник по материалам одного из таких вечеров, с памятной надписью «талантливым горнякам от

литобъединения Политехнического института». Там напечатаны стихи Валентина Горшкова, Виктора Берлина, Бориса Голлера и многих других. При всей непохожести отдельных авторов их объединяют энергия и некая устремленность в завтра, которой, при всей несравнимости уровня нынешней гласности и дозволенности, сегодня нет.

Возвращаясь к нашему горняцкому ЛИТО, надо сказать, что его «идейными лидерами» в ту пору в действительности были Британишский, Агеев и Тарутин, а поэтическим – Глеб Горбовский.

Я вспоминаю вечера поэзии, на которых выходил Володя Британишский, худой, в заношенной горняцкой тужурке, и читал свои героические, по тем временам, стихи о вечере встречи в родной школе: «Обстановка совсем семейная, – семьи тоже бывают лживые», или стихи о курсантах: «Не любитель я военщины, только хочется и мне, чтобы девушки и женщины уважали их вдвойне». Стихи эти, написанные в 56-м году, напечатаны были только в 90-м. Но уже тогда они ходили в списках, смело обличая всемогущий класс «аппаратчиков».

Острые и непримиримые стихи Британишского, как правило, вызывали бурную реакцию зала, – сочувственную у одних и враждебную у других. За их распространение исключали из вузов. Помню, Борис Слуцкий подарил ему книжку с надписью: «Одному из лучших поэтов шестидесятых годов». В 58-м году вышла первая поэтическая книжка Британишского «Поиски», вызвавшая резкую доносительскую статью в «Ленинградской правде» с характерным названием «Снимите с пьедестала». В 56-м году Володя уехал работать в Тюменскую область в Салехард. Потом в 60-м году переехал в Москву, где вышли две книги его стихов «Наташа» и «Пути сообщения». После этого его четырнадцать лет не печатали, мстя замалчиванием за недавнее поэтическое лидерство, за доверие не забывшей его аудитории и коллег по перу. Это многолетнее испытание забвением Владимир Британишский выдержал с честью: ни одной строки в угоду, «для власти, для ливреи».

Лишенный возможности печатать свои стихи, он полностью посвятил себя поэтическим переводам с польского, за короткое время освоив язык и став одним из ведущих переводчиков польской поэзии. Только в 80-м году вышла из печати его новая книга стихов «Открытое пространство», в 85-м «Движение времени», а в 93-м – «Старые фотографии». В этой книге наиболее четко отразилась связь времен, эволюция, которую испытал автор за эти годы. На смену юному задору и темпераменту пришли потребность в анализе и модели мира. Не «сорванный голос», как

написал о нем несколько лет назад питерский критик Виктор Топоров, а иные поэтические и философские рубежи, другая система чувств и мыслей. На мой взгляд, голос у Владимира Британишского все тот же – полный достоинства, начисто лишенный фальши и аффектаций, внешне сдержанный, но содержащий взрывчатый заряд. Неслучайно поэтому его, уже полвека живущего в Москве, до сих пор относят к «поздним петербуржцам».

Леонид Агеев писал тогда же жесткие и горькие стихи о поэтах, погибших в 37-м:

Еще их тело сытое, хмельное,
Блаженствует. Не этому ли телу
С распоротою пулею спиною
Упасть, хрипя, под каменную стену?

Леониду Агееву не суждена была долгая жизнь. По окончании Горного института он работал в Первом Главном геологоуправлении в Ленинграде, выпустил несколько книг стихов, стал членом Союза писателей и время от времени, к сожалению, сильно пил. В последний раз мы с ним встречались в конце восьмидесятых в Мурманске, куда приезжали выступать. В 1991 году он, сорвавшись дома со стремянки, куда за чем-то полез пьяный, упал и разбился насмерть. Я тогда написал стихи, посвященные его памяти:

Снова провожаем мы друг друга,
Словно в институтские года,
В те края, где не стихает вьюга,
Реки несвободны ото льда.
В этот дом старинный на Покровке,
Помнится, в такой же вот мороз
Синий тортик вместо поллитровки
Кушнер по наивности принес.
За начало новых экспедиций
Стопку поминальную налей,
Трудновато будет возвратиться
Из далеких нынешних полей.
В том краю, где не бывает хлеба,
Как и встарь, без вилки и ножа,
Все мы соберемся возле Глеба,
Рюмки невесомые держа.
А пока что молча, без улыбки,
Вспоминаем посреди зимы

Тот квартал болотистый и зыбкий,
Где живали некогда и мы.
Где, гордясь горняцкою фуражкой,
По асфальту шел я, молодой,
И мерцала медленная Пряжка
Черной непрозрачною водой.

Один из ближайших друзей Леонида Агеева, учившийся с нами вместе, поэт и геолог Олег Тарутин, действительно долгое время жил рядом с рекой Пряжкой на углу Английского проспекта и улицы Декабристов, почти рядом с домом Блока на Пряжке. Позднее на стихи Олега Тарутина написал песни «Телепатия» и «Неандерталец» Александр Дулов. Окончив Горный институт, Олег через пару лет попал со мной вместе в Енисейскую экспедицию Научно-исследовательского института геологии Арктики, и мы с ним неоднократно встречались в Игарке. В экспедициях он написал немало стихов и даже одну песню «Стланики» на мотив известных тогда «Ландышей». Песня эта сразу же оказалась под запретом из-за крамольного куплета:

Если б в эти стланики-то
Вдруг попал Хрущев Никита,
Хоть в маршруте укороченном,
Доставали б чудака
Представители ЦК
Кириченко и Коротченко.

Вспоминая о ЛИТО Горного института, нельзя не сказать о Якове Виньковецком, который впоследствии эмигрировал в США и трагически погиб, кончив жизнь самоубийством. Это был человек удивительных и разносторонних талантов, хотя и во многом загадочный. По окончании Горного довольно быстро защитил кандидатскую. Писал прозу. Потом увлекся живописью и приобрел довольно широкую известность как художник-модернист и в Союзе, и за рубежом. Неслучайно его работы, выставленные на нашумевшем «Вечере творческой молодежи Ленинграда» в Ленинградском Доме писателей 30 января 1968 года, стали одним из объектов известного доноса, состряпанного В. Щербаковым, В. Смирновым и Н. Утехиным и опубликованного позднее Сергеем Довлатовым: «За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателей были наспех выставлены работы художника Виньковецкого, совершенно исключающие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие

традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Поллака, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Я. Гордин говорил всем братьям по духу как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств «консолидации различных искусств».

Яшины непонятные картинки вызывали неоднозначную реакцию и в нашем ЛИТО. Я вспоминаю споры между ним и искусствоведом и поэтом Львом Мочаловым, который, глядя на абстрактную Яшину живопись, говорил: «Яша, я признаю, что ты настоящий художник. Только ты нарисуй меня или вот птичку, чтобы похоже было. А потом рисуй любую абстракцию. А пока ты птичку не нарисуешь, я тебя художником не признаю». Виньковецкий при этом всячески бранил Мочалова, но птичку не рисовал.

Был он человеком удивительным. Незадолго до своего отъезда написал и опубликовал – как рукописное издание – небольшую книжку об устройстве Земли, которую подарил мне. Я тут же прочел ее (вернее – попытался прочесть) и почти ничего не понял. Через много лет, в 1983 году, уже защитив докторскую, также посвященную строению и эволюции оболочек Земли, я снова прочел ее и снова многого не смог понять. Когда я сказал об этом Андрею Битову, он заявил, что я напрасно пытаюсь найти в этой книге реальные научные обоснования. Она отражает скорее не геологические, а натурфилософские взгляды. Эмигрировав в Америку в 1975 году, Яков устроился на работу в крупную нефтяную фирму «Эксон» в Хьюстоне и какое-то время вполне преуспевал. Но потом его неожиданно обвинили в растрате казенных денег. Не найдя возможности (или не желая) оправдываться, он покончил с собой. Вскоре после этого выяснилось, что он невиновен. Неожиданная его смерть всех потрясла. В 1999 году в Бостоне его вдова Дина Виньковецкая показала мне изданный ею альбом его живописных работ. Теперь он стал признанным художником, и никто уже не будет требовать от него нарисовать птичку.

Что же касается поэтических открытий, то ими буквально потрясал молодой Глеб Горбовский, в стихах которого казалось бы обыденный мир вокруг нас преображался в таинственную страну:

Просеменила муха вдоль клеенки
И в блюдечко уткнулась хоботком.
Отравленная, умирать в сторонку
Отправилась на животе ползком.

Жаль мне муху – безрассудна муха,
Доконала муху Смерть-старуха.
Но прекрасен в блюдце мухомор —
Красный в белых крапинках убор.
Нет, конец у мухи не простой —
Отравилась муха красотой.

Только поэтический глаз Горбовского мог заметить очевидную вещь: «крокодилы ходят лежа». Холодом северного пространства дышали строки его стихов, привезенных из первых экспедиций, где он работал рабочим-взрывником:

Пустыня кончится обрывом
В необозримый океан.
Твой воротник стоит, как грива,
Твое шоссе – меридиан.

Тема отдельного разговора – песни Глеба Горбовского, ставшие целой эпохой в Ленинграде конца 50-х. Песни эти, написанные по большей части на расхожие мотивы, тут же распространялись и распевались не только нами, его друзьями, но и широким кругом людей, о нем никогда не слыхавших. Пожалуй, наиболее известной стала песня Горбовского, придуманная им на оригинальный мотив – «Когда качаются фонарики ночные». Мне неоднократно приходилось в самых разных местах до хрипоты спорить, доказывая авторство Глеба, с яростными сторонниками «древнего народного» происхождения этой песни. Совершенно очевидно, что песню эту написал поэт. Достаточно вспомнить великолепные строчки: «Смотрю, как кот в окно» или: «Я сам себя убил и выбросил за борт». Широкой популярностью пользовалась в 60-е годы в Ленинграде его песня о художниках:

На дива – на диване, на диване,
Мы лежим – художники.
У меня, у меня, да и у Вани
Протянулись ноженьки.

А мы в те годы с удовольствием дома и на улице распевали его песни о незадачливом постовом:

У помещенья «пиво-воды»

Стоял не пьяный постовой,
Слуга народа из народа,
Как говорится, парень свой.

Надо сказать, что сам Горбовский на гитаре не играл, песни свои пел только вместе со всеми «а капелла» и со сцены их не пел, кажется, никогда. Судьба, однако, сыграла с ним злую шутку. Излечившись путем многолетних и неоднократных героических усилий от хронического пьянства, Глеб Горбовский вместе с ним во многом избавился и от своего незаурядного поэтического таланта. Может быть, именно поэтому в последнее время Глеб Яковлевич Горбовский всячески старается подчеркнуть свою «истинно русскую сущность» и печатает стихи с выразительными строчками: «Они примазались к России, чтоб очернить ее лицо…» Читать это стыдно и грустно.

Возвратимся, однако, в Ленинградский Горный институт конца 50-х и его славное литобъединение. Важным событием в нашей тогдашней жизни, как и в жизни нашего поколения, был XX съезд партии и доклад Хрущева, впервые открыто разоблачившего культ Сталина. Рухнул идол, завалив своими обломками все жизненное пространство. Надо было заново учиться жить. Это не могло не отразиться в стихах, которые мы писали.

После начала перестройки, весной 90-го года, в Ленинграде, благодаря инициативе Майи Борисовой, также безвременно ушедшей из жизни несколько лет назад, вышел стихотворный сборник «То время – эти голоса. Ленинград. Поэты „оттепели“». В него вошли стихи Владимира Британишского, Глеба Горбовского, Леонида Агеева, Олега Тарутина, Александра Кушнера и других поэтов, связанных в те годы с ЛИТО Горного института. Посвящен этот сборник памяти умершей незадолго перед этим ленинградской поэтессы Татьяны Галушко, тоже имевшей отношение к Глебу Семенову. Перечитывая сегодня в этой книге наши старые стихи, пусть наивные с позиций сегодняшнего времени, я все-таки испытываю радость за них и за нас тогдашних. В 1956 году и думать было нельзя эти стихи напечатать. Ценой больших усилий на ротаторе Горного института был на правах рукописи выпущен тиражом триста экземпляров сборник стихов членов ЛИТО под редакцией Глеба Семенова, ставший теперь предметом зависти коллекционеров. Вместе с нашими стихами туда вошли также стихи студентов ЛГИ более старших поколений – Нины Островской, Бориса Рацера, Льва Куклина, Игоря Тупорылова. Из «литовцев» там – Игорь

Трофимов, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Эдуард Кутырев, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Владимир Британишский и я.

Поскольку сборник разошелся моментально, решили сделать второй выпуск, существенно расширив круг авторов. Этот второй выпуск действительно вышел в 1957 году. Ему, однако, не повезло. В это время проходил первый Всемирный фестиваль молодежи, и цензура была особенно бдительна. Сборник попался кому-то на глаза и вызвал бурю. По категорическому указанию партийных властей партком института принял решение весь тираж сборника уничтожить, и он был сожжен в котельной института. Прямо как в Средние века. Чудом уцелело только несколько экземпляров. Уничтожение этого сборника, а также ряд доносов в разные инстанции, включая КГБ, привели к тому, что занятия ЛИТО Горного института в 57-м году были прекращены, а Глеб Сергеевич Семенов из него изгнан.

Одним из поводов этого разгрома послужили, в частности, стихи Лидии Гладкой, посвященные происходившим тогда печально-известным венгерским событиям:

Там алая кровь заливает асфальт,
Там русское «стой» – как немецкое «хальт»…

«Богема проклятая, – стучал на нас кулаком секретарь парткома института Олег Васильевич Литвиненко, – до прямой антисоветчины докатились!» Жалобы на ЛИТО в партком были и раньше, но они носили не слишком серьезный характер. Так, в 1955 году на одном из институтских партийных собраний секретарь парткома заявил, что стихи участников ЛИТО, публикуемые в газете «Горняцкая правда», разлагающе действуют на студентов. «Начитавшись этих стихов, – говорил он, – студенты, вместо того чтобы нормально учиться, начинают влюбляться, женятся. Тут же появляются дети, а мы не можем обеспечить их жилплощадью. И несчастные дети страдают по вине безответственных поэтов». Помню, как радовался Глеб Семенов такой высокой оценке нашей лирики.

На этот раз «наезд» был вполне серьезный. И хотя ЛИТО формально не закрыли, вместо Глеба Семенова из Союза писателей был приглашен руководить им Дмитрий Леваневский, хорошо известный своим приспособленчеством. На этом недолгий взлет ЛИТО Горного института закончился. Мы, питомцы Глеба Семенова, уже после окончания Горного, перебрались в его ЛИТО в Доме культуры им. Первой пятилетки, которое он вел в последующие годы. Там на занятия вместе с нами приходили Александр Кушнер, Яков Гордин, Вадим Халупович, Виктор

Соснора, Анатолий Пикач, Майя Данини и многие другие, прочно вошедшие позднее в ленинградскую литературу.

Что касается Андрея Битова, то он впоследствии перешел из ЛИТО Горного института в ЛИТО при альманахе «Молодой Ленинград», который был в те годы единственным изданием, реально доступным для молодых авторов.

Несмотря на сравнительно недолгий срок существования (не более трех лет), ЛИТО в Горном институте сыграло значительную роль в жизни почти каждого из его участников, большая часть которых навсегда связали себя с литературой. Стали профессиональными литераторами Леонид Агеев, Олег Тарутин, Андрей Битов, Нина Королева, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Владимир Британишский и некоторые другие – явление для технического вуза в известной степени уникальное.

Где-то году в 55-м я впервые, вместе с Кушнером, Тупорыловым и Британишским, участвовал в «конференции молодых авторов», организованной в ленинградском Союзе писателей. В семинаре, которым руководили Вадим Шефнер и Анатолий Чивилихин, рядом со мной сидел худенький курчавый юноша в солдатской форме с черными строительными погонами, перечеркнутыми ефрейторскими лычками. Это был москвич Сергей Артамонов, служивший под Ленинградом и писавший тогда стихи. Мы с ним быстро подружились, и я сразу же познакомил его с Семеновым и сосватал его в наше литобъединение. Отслужив, он вернулся в Москву, где я неоднократно бывал у него потом в доме на Кривоарбатском переулке. Он жил там вдвоем со своей бабушкой в старой московской коммуналке, в длинной и узкой, как щель, комнатушке, разделенной надвое огромным шкафом.

В этой комнате в ноябре 1961 года во время встречи с Иосифом Бродским я случайно познакомился с молодой московской поэтессой Анной Наль, ставшей позднее моей женой. Именно Сергей ввел меня в первый раз в дом Давида Самойлова, с которым был хорошо знаком. Писал он тогда стихи и очень неплохие рассказы, которые никто и нигде, конечно, не печатал. В 1973 году Сергей Артамонов эмигрировал во Францию. Теперь Артамонов живет недалеко от Парижа в городке Медон. Много лет он занимается резьбой по дереву, обнаружив безусловный талант скульптора. В 1998 году он приезжал в Москву и устроил выставку в музее архитектуры им. Щусева, которая прошла с большим успехом.

Помню, после семинара один из довольно именитых тогда ленинградских поэтов, чье имя внушало мне большое почтение, пригласил нескольких участников семинара, и меня в том числе,

к себе домой. На столе стояла обильная водка, разговор шел о литературе, и я все ждал от известного поэта каких-нибудь мудрых слов, соответствующих моим о нем высоким представлениям. Он же, выпив, поглядел на меня туманным взглядом и сказал: «Форма у тебя красивая. На блядей, наверное, здорово действует».

Примерно в 54–55-м годах в нашем Горном пошла мода на студенческие спектакли. Был даже объявлен конкурс на лучший факультетский спектакль. Тут же возникли группы режиссеров, актеров и, конечно, в первую очередь, авторов. Главными сценаристами факультетского спектакля геологов были Леонид Агеев и Олег Тарутин, на нашем геофизическом факультете – мы с Володей Британишским. Тарутин с Агеевым написали лихой текст в стихах, и спектакль с блеском прошел на институтской сцене, явно обеспечив себе первое место. Мало того, в отдельных героях легко угадывались пародийные черты их потенциальных соперников-геофизиков.

Я незадолго перед этим, под впечатлением экспедиций на Гиссар, написал цикл «мужественных», в духе своего любимого в те поры Киплинга, а на самом деле – довольно беспомощных и подражательных «Стихов о Гиссарском хребте», где всячески воспевал трудности экспедиционного быта и суровые мужские забавы. Поэтому герой агеевско-тарутинской пьесы, старшекурсник, рассказывающий небылицы робким первокурсникам, гордо заявлял:

Помню, было на Гиссаре…
От сапог подметки ели —
Аж язык распух во рту,
А последних три недели
Дотянули – на спирту.

Факультетский спектакль геологов пользовался громким успехом и явно претендовал на первое место в конкурсе. Надо было как-то, хотя бы в чем-нибудь обойти торжествовавших геологов. О том, чтобы написать стихотворный текст лучше, чем Агеев с Тарутиным, не могло быть даже речи. Тогда на заседании факультетского комсомольского бюро было решено написать специально для спектакля песни, которых у геологов не было, – чтобы выиграть конкурс. Тем более что недавно окончивший геофизический факультет молодой композитор Юрий Гурвич обещал написать музыку. Ответственным за тексты песен и их подготовку в спектакле был назначен я – Британишский в это время писал стихотворные репризы, описывая деканатский

коридор:

Вот первокурсники-ягнята,
Какими были все когда-то,
На расписание толпой
Глядят с покорностью тупой.
Но, в расписание не глядя,
Шагает старшекурсник-дядя,
Он расписание давно
В сплошное превратил «окно».

Я исправно, к указанному мне сроку, сочинил требуемые тексты для песен, главной из которой в спектакле должен был стать «Геофизический вальс», и отправился к Гурвичу, бывшему в те поры зятем известного ленинградского писателя Юрия Германа. Потом я несколько раз звонил ему, но он все говорил, что песня еще не готова. Наконец, когда до спектакля оставалось всего два дня, я приехал к нему, и он выдал мне нотную запись, которую я, ввиду своей полной музыкальной безграмотности, прочесть, конечно, не мог. Я тут же помчался в Горный и вручил ноты нашей главной «солистке». Посмотрев их, она ударилась в слезы, решительно заявив, что такую сложную мелодию петь не в состоянии. А спектакль – послезавтра. Как же быть?

Разгневанный комсомольский секретарь заявил мне: «Ты эту кашу со своим Гурвичем заварил, ты и распутывай. Как хочешь и что хочешь делай, но чтобы назавтра песня была, а иначе – комсомольский билет положишь за срыв факультетского спектакля». Угроза по тем временам казалась мне нешуточной. Гурвич после моего отчаянного звонка к нему обиделся и, обвинив нас в «непонимании музыки», повесил трубку. Положение было критическое. Все, что мне оставалось, ценою бессонной ночи (очень не хотелось расставаться с комсомольским билетом – не зря, как-то выступая против меня на занятии ЛИТО в те годы, Британишский заявил: «Городницкий был когда-то комсоргом и никак не может этого забыть») попытаться придумать нехитрую мелодию песни.

Наутро я принес ее в институт, и певица петь песню согласилась. Так, впервые в своей жизни, я придумал мелодию для песни, хотя, по всей видимости, не придумал, а скорее слепил из обрывков мотивов, бывших у меня в то время на слуху. Получилась песня «Геофизический вальс»: «Снег на крышах темнеет и тает на исходе весеннего дня». Несколько обнаглев после этого, я придумал тут же еще одну песню «Сонные кони храпят без седла», а Володя Британишский, ревниво следивший за

моими потугами, немедленно написал песню для сцены в общежитии:

Задумчиво встали походные кружки
На серой клеенке стола.
Совсем как в палатке, у нас в комнатушке
Не больно-то много тепла.

И мотив к ней он придумал довольно неплохой. В результате мы заняли в конкурсе первое место, и геологи были посрамлены. Правда, бдительная партийная цензура категорически вычеркнула из нашего спектакля сцену застолья в студенческом общежитии на Малом, 40, где тамада провозглашал: «В Москве прошел XX съезд», а его сосед немедленно добавлял: «Пусть каждый выпьет и заест!» Так на четвертом курсе я начал «слагать песни». К числу самых первых относятся «Геофизический вальс» и упомянутая выше экспедиционная песня «Снова солнце зажгло ледники…».

В том же 1956 году я первый раз в жизни получил «официальный» заказ на песню. В связи с подготовкой к празднованию в 1957 году юбилея города хор профсоюзов «Трудовые резервы» решил исполнить «Гимн Великому городу» Глиэра из известного балета «Медный всадник». Надо было написать текст гимна. Узнав об этом, Глеб Сергеевич уговорил руководство хора заказать текст мне. «Имей в виду, – сказал мне Семенов, – что дело это платное и денег у них много, так что проси как можно больше». Я пришел в клуб «Трудовые резервы» и на вопрос, сколько будет стоить текст гимна, зажмурившись от собственной наглости, попросил шестьсот рублей – сумму, как мне тогда казалось, непомерно высокую. Директор, к моему удивлению, радостно улыбнувшись, тут же поставил цифру в договор. «Дурень, – сокрушенно покачал головой Глеб Сергеевич, узнав об этом, – они же собирались тебе три тысячи заплатить». Тем не менее гонорар этот на многие годы стал моим самым большим литературным заработком.

Так нечаянно я стал в 56-м году автором «Ленинградского гимна», пополнив собой славные ряды «гимнюков». Гимн этот начинался словами:

Тебя поем мы, наш город величавый,
Рожденный в боях и дыму баррикад,
Твой каждый камень овеян славой,
Седой Петербург, Петроград, Ленинград.
Для мира ставший знаменем свободы,

На радость нам и недругам на страх,
Не волей царей, а волею народа
Ты гордо встал на невских берегах.

Много лет он исполнялся на разного рода официальных церемониях и при отправлении «Красной стрелы» от перрона Московского вокзала.

Помимо занятий в ЛИТО, которые обычно проходили раз в неделю, мы довольно часто собирались, читая друг другу стихи и обсуждая их или споря о прочитанном. Собирались обычно либо у Агеева на Покровке, где у него вместе с его женой Любой была небольшая комната, либо у Олега Тарутина на углу Маклина и Декабристов. Застолья при этом были чисто символическими, главное – что читалось и говорилось, хотя, конечно, серьезные выпивки, особенно с участием Глеба Горбовского, тоже случались. Как-то в зимнюю пору мы с ним и с Агеевым распивали «маленькую» на невском льду, перед сфинксами, а поскольку стакана не было, то вырезали ножом рюмку из яблока. Вообще – умение выпить входило как бы в кодекс «горняцкого» бытия. Помню, как все смеялись над Сашей Кушнером, когда на мои проводы в экспедицию вместо общепринятой поллитры он принес торт, перевязанный голубой ленточкой.

У меня на старой и затертой допотопной бобине сохранился обрывок записи одного из тех давних сборищ, происходившего в тесной комнате моей коммуналки на Красной улице. Тогда, кажется, обсуждались мои стихи. Из общего нестройного гомона явственно выделялся голос Кушнера: «Так как постановили – считать это стихотворение плохим или хорошим?»

Встречи эти, с чтением, обсуждением и разговором, чаще всего уже без Глеба Семенова, стали традиционными. И после, когда все разъехались по разным краям и экспедициям, а вернувшись, уже отошли друг от друга, отсутствие этих сборищ сильно сказывалось. И еще одно: средой нашего литературного обитания всегда был Ленинград, его улицы, переулки, каналы, Васильевский вокруг Горного. Это вовсе не значит, конечно, что мы писали именно о городе, – он просто всегда незримо присутствовал в самом дыхании нашем в те годы…

К середине 50-х относится также начало моей дружбы с братьями Штейнбергами, которые, хотя сами стихов и прозы не писали, сразу же оказались в самом центре литературной жизни. Старший – Генрих – учился в Горном на два курса после меня, где ухитрился закончить сразу два факультета – геолого-разведочный и геофизический. По окончании института он уехал на Камчатку,

где провел много лет, став известным вулканологом. К нему в конце 60-х – начале 70-х годов регулярно ездили в гости и «работать» питерские друзья-литераторы, в том числе Андрей Битов, Глеб Горбовский и многие другие. Сам Генрих был и остался человеком фантастическим и таинственным. Еще учась в Горном институте он, согласно легенде, прыгал на пари с Ласточкина гнезда в Крыму, на Камчатке опускался в кратер действующего вулкана, усиленно тренировался для того, чтобы попасть в отряд космонавтов и даже вступил для этого в партию (но не помогло). Его однокашник Андрей Битов посвятил Штейнбергу целую повесть «Путешествие к другу детства».

В начале 70-х директор Института Вулканологии, где работал Генрих, С. А. Федотов, широко известный своими антисемитскими высказываниями, организовал настоящую травлю Штейнберга. Генриха обвинили в крупной растрате казенных денег, исключили из партии и отдали под суд. Уволенный с «волчьим паспортом», не имея возможности устроиться на работу по специальности, он довольно долго работал истопником в кочегарке, а изучение вулканов продолжал в свободное время и на свои средства. Позже, когда ложные обвинения с него были сняты, он перевелся работать на Сахалин в Институт Морской геологии и геофизики и в Москву наезжал редко. Уже став доктором наук, академиком РАЕН и директором им же созданного Института Вулканологии, он, однажды приехав ко мне домой, высыпал на стол из мешочка горсть каких-то кристаллов, Оказалось, что это – сернистый рений, редкометалльный минерал, впервые в мире найденный им в вулканических извержениях.

Младший, Александр, был в те поры студентом Политехнического института и немало усилий приложил к организации там студенческих вечеров поэзии. Окончив институт, он много лет работал в Государственном институте прикладной химии в Ленинграде, где занимался теорией взрыва (видимо, не только теорией, поскольку после одного эксперимента изрядно оглох). В начале восьмидесятых Александр перебрался в Черноголовку – научный центр под Москвой, стал доктором наук, профессором, а в 90-е уехал работать в Калифорнийский университет в Беркли. Иногда братья объединяли свои научные усилия. Так они разработали оригинальную модель работы гейзеров на Камчатке и многое другое.

В студенческие годы, да и позднее, братья Штейнберги были знакомы и дружны практически со всеми известными в то время молодыми писателями, поэтами и художниками из упомянутых выше группировок. У их родителей – Анны Аркадьевны и Семена

Исааковича, в большой квартире старого петербургского дома на Пушкинской улице, неподалеку от Московского вокзала, все время собирался разнообразный народ. Здесь можно было увидеть и уже упомянутых горняков (Глеб Горбовский обладал в этом доме личным правом сдавать пустые бутылки – в фонд следующих посиделок), и Иосифа Бродского, и Евгения Рейна, вернувшегося с Камчатки и читавшего с рычанием свои плотоядные стихи «люди ели мясо», и молодых тогда писателей: Сергея Вольфа, Владимира Кацнельсона (впоследствии ставшего Марамзиным), Игоря Ефимова с женой-поэтессой Мариной Рачко. За большим столом блистал острыми репликами Анатолий Найман, читал свои первые рассказы Андрей Битов, устраивали домашние вернисажи Олег Целков, Анатолий Зверев, Михаил Кулаков, Яков Виньковецкий.

У одного из братьев, Генриха, была хотя небольшая, но своя комната, на стене которой красовался огромный портрет хозяина работы Михаила Кулакова. В комнату эту набивалось обычно несметное количество народа, сидевшего ночи напролет в густом табачном дыму. Поскольку дом располагался рядом с Московским вокзалом, он служил также постоянным местом ночлега для заезжих москвичей. Родители братьев сами с удовольствием принимали участие в застольях, чтобы выпить рюмку водки и послушать «современную молодежь». К этому времени Саша Штейнберг женился на Нине Королевой, Глеб Горбовский – на Лидии Гладкой, так что литературные общения переплелись с семейным бытом.

Уже после окончания Горного ЛИТО клуба Первой пятилетки и наша компания дополнились молодыми поэтами – Яковом Гординым, Татьяной Галушко и Виктором Соснорой, поразившего всех удивительными стихами, и, прежде всего, своей поэмой «Слово о полку Игореве». Все они стали профессиональными литераторами. Трагически сложилась судьба талантливой Татьяны Галушко, умершей в самом расцвете творческих сил от рака, в 1988 году. В 1968 году она вместе с Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым и мною попала в знаменитый донос после вечера в Доме писателей, о котором я уже упоминал. О Татьяне там было сказано так: «Не раз уже читала со сцены Дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушко (Санасарян). Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы на Турцию, за которой близка ее подлинная родина, и единственный живой человек спасает ее на нашей советской земле – это давно почивший, еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам».

Последние годы Татьяна работала в Пушкинском музее и музее Некрасова. Темпераментная, нетерпимая ко всяческой фальши, с пышными черными волосами и низким сильным голосом, она всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью. Когда читаешь ее последние стихи, становится горько от несправедливости судьбы, отнявшей у нее возможность жить и писать. Примерно за год до смерти, уже зная безысходность своего диагноза, она написала в поэме «За все заплачено – не забудь»:

Теперь, когда смертный объявлен час,
Меня не догнать никому из вас,
Начальники жизни, политруки, —
Теперь это даже вам не с руки.

Мое последнее свидание с ней оказалось нечаянным. Осенью 1988 года я был в Таллине и поэтому не знал о ее смерти. В один из первых дней дождливого октября, оказавшись проездом на одни сутки в Ленинграде, откуда улетал вечером на юг, я отправился в Пушкин, на Казанское кладбище, навестить могилу родителей. Уже смеркалось, когда я вышел к безлюдному входу, вблизи которого стоит полуразрушенная старая часовня, построенная еще Кваренги и заросшая травой и кустарником. Неожиданно я заметил погребальный автобус у ворот и небольшую группу людей, прячущихся под зонтиками от дождя. Среди них я узнал Соснору, Кушнера и Майю Борисову. «Как хорошо, что ты приехал», – сказала Майя. Я, потрясенный случившимся, не стал ничего объяснять, но благодарен судьбе, которая вывела меня к кладбищенским воротам точно в назначенное время. Татьяну похоронили недалеко от входа, справа, среди старых надгробий XIX века с серыми массивными гранитными крестами и золочеными ятями на полустертых надписях, занесенных в осеннюю пору опавшей листвой.

Виктор Соснора в 50-е годы служил в армии, недолго работал токарем. Помню пародию, написанную на ставшие уже знаменитыми его строчки из «Слова» Нонной Слепаковой:

И сказал Кончаку Гза —
Ты смотри, как идет фреза!
Мы понизим токаренку разряд —
Не платить же ему деньги зазря!

Стихи молодого Сосноры выделял из других и высоко ценил

Николай Асеев, ходивший в то время в классиках. Несмотря на широкую известность Виктора как поэта, а начиная с конца 80-х и как прозаика, большая часть из написанного им долгое время оставалась ненапечатанной.

Яков Гордин, начинавший когда-то как поэт и работавший в те годы техником в геолого-разведочных экспедициях в Якутии, стал известным писателем и историком-исследователем, работы которого, посвященные Пушкину, декабристам, первой половине XIX века, вызывают не только литературный, но и серьезный научный интерес, прежде всего оригинальными концепциями автора. Он – автор либретто многих современных опер. Последние двадцать лет Гордин руководит в Питере журналом «Звезда».

В 1954 году, на вечере поэзии в Политехническом, я впервые познакомился с молодым поэтом Борисом Голлером, привлекшим меня вдохновенно-темпераментным исполнением своей поэмы «Красная капелла», посвященной одному из героев антифашистского движения Харро Шульце-Бойзен. Он (автор, конечно) женился на «горнячке» Лине Гольдман и тоже на какое-то время примкнул к нашей компании. Надо сказать, что со стихами он довольно скоро «завязал» и начал писать пьесы, которые, к великому сожалению, много лет никто не ставил. Одна из первых его пьес «Десять минут или вся жизнь» была посвящена трагической судьбе американского пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Мне эта пьеса страшно нравилась, особенно в его собственном темпераментном чтении. До сих пор я уверен, что Борис Голлер, имя которого много лет практически замалчивалось, – один из интереснейших наших драматургов. И это несмотря на то, что две или три его пьесы, поставленные в ленинградском ТЮЗе Зиновием Корогодским, «Матросы без моря» и «Вокруг площади» – особого успеха не имели. Надо сказать, что мнение мое не изменилось и в последние годы, когда Голлера долго не хотели принимать в Ленинграде в Союз писателей, и укрепилось после того, как я совсем недавно прочитал его большую драму о Грибоедове. В 90-е годы Борис Голлер переехал в Израиль, но несколько лет назад возвратился.

Одной из многообещающих поэтесс в ЛИТО Горного института была во второй половине 50-х годов Лена Кумпан, ходившая тогда в неизменной финской шапочке, писавшая прекрасные лирические стихи и даже успевшая опубликовать одну книжку стихов «Горсти». Лена тоже выступала на упомянутом вечере в 1968 году в Доме писателя. О ней авторы доноса отозвались так: «И в такой „дикой“ стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть даже не имевшими

человеческого обличия, вещает „поэтесса“ Елена Кумпан. Она поднимается от этой „страшной“ жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом». Справедливости ради, следует сказать, что к «великому еврейскому народу», куда причислили Лену ослепленные злобой доносчики, она никакого отношения не имела. Жила Лена вместе с сестрами-близняшками Ксаной и Верой и матерью в большой коммунальной квартире на 18-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами. В этой квартире мы тоже частенько собирались, особенно после занятий ЛИТО – благо, недалеко от Горного. Именно к этим сборищам в то время и относились ее шуточные строчки: «По копейке собирали – покупали „Саперави“».

Окончив Горный институт, Лена какое-то время работала в институте ГИПРОНИКЕЛЬ, однако геология ее не интересовала, и она пошла работать экскурсоводом по Ленинграду. Потом она вышла замуж за Глеба Сергеевича Семенова и вошла в круг старой ленинградской интеллигенции, центром которой были Лидия Яковлевна Гинзбург и Тамара Юрьевна Хмельницкая. Близки к этому кругу были также Виктор Андроникович Мануйлов, Дмитрий Евгеньевич Максимов и Ефим Григорьевич Эткинд. Стихи, однако, Лена перестала писать раз и навсегда, о чем можно только сожалеть. Через пару лет после смерти Глеба Семенова она вышла замуж за ученого-литературоведа Елизария Моисеевича Милетинского и переехала в Москву.

Что касается «женской поэзии» глебовского ЛИТО, то в Горном в ней наряду с Леной ведущее место занимали уже упомянутая Лидия Гладкая и Нина Королева. По окончании Горного мы неоднократно собирались в квартире Нины на Гаванской улице. Мне почему-то запомнилось сборище у нее 7 ноября 1967 года, в день пятидесятилетнего юбилея Октябрьского переворота. Тогда, помню, власти решили, что надо бы повторить «исторический выстрел „Авроры“». Носовая пушка «Авроры» была снова заряжена и на самом деле пальнула холостым выстрелом, но, видимо, плохо рассчитали заряд, поскольку во многих ближних домах на Английской набережной полетели стекла. Компания в тот вечер у Нины собралась шумная и большая. Я незадолго перед этим вернулся из очередного экспедиционного рейса на «Крузенштерне» и рассказывал про Бермудские острова, недоступную тогда «заграницу», для красочности довольно подробно остановившись на увеселительных заведениях, которые мы видели, на самом деле, только со стороны. Выслушав мой рассказ, питерский прозаик Сергей Вольф, уже успевший «принять», восторженно закричал: «Саня, вот это моя мечта –

западные женщины. С ними можно сразу переходить к любви! Им не надо, как нашим дурам, сначала два часа толковать про Кафку и прочую лапшу на уши вешать». Примерно через полчаса пришла чешская журналистка Милена, приехавшая из Праги. Вольф тут же подсел к ней и, не отрывая вожделенных глаз от ее крутых коленок и могучих бедер, туго обтянутых модной тогда мини-юбкой, спросил дрожащим голосом: «Скажите, Милена, а вот вы, чехи, считаете Кафку своим национальным писателем?»

Выпито было тогда довольно много. Читали стихи, спорили. Под конец вечера начались танцы. В это время пришел какой-то запоздалый гость, знакомый Нины, только что приехавший из Москвы. Он никого из присутствующих не знал и несколько оробел, попав в шумную и разгульную компанию. Как раз в этот момент Инга Петкевич (кстати, весьма одаренный прозаик, написавшая в свое время серию прекрасных рассказов «Мы с Костиком» и многое другое), красивая и полная рыжеволосая женщина, сбросив мешавшие ей туфли, решила исполнить сольный танец на столе. Гость начал с тревогой оглядываться по сторонам и увидел одиноко сидевшего за столом Андрея Битова, который, ни на кого не обращая внимания, с меланхолическим видом поедал что-то из своей тарелки и показался затосковавшему пришельцу (возможно, из-за очков) единственным интеллигентным человеком среди этой пьяной богемы. «Простите, – доверительно шепнул он ему, – кто эта вульгарная рыжая баба?» – «Не обращайте внимания, – ответил Битов, не переставая есть, – это моя жена». Гость испуганно выскользнул в переднюю, оделся и ушел.

Позже Нина Королева вышла замуж за Сашу Штейнберга, и они переехали на Мойку в дом неподалеку от квартиры Пушкина, а еще позднее – в Москву.

В 1958 году в ДК им. Первой пятилетки я впервые услышал стихи молодой поэтессы Нонны Слепаковой. В конце октября 1959 года, вскоре после моего возвращения из экспедиции, мы случайно оказались с ней вместе в пустовавшем Доме творчества писателей в Комарово, куда не в сезон давали льготные путевки молодым поэтам. Там же я познакомился с известным ленинградским литератором Кириллом Косцинским, которого примерно через год посадили, обвинив в антисоветской агитации. Нонне тогда только что исполнился двадцать один год. У нее были светлые коротко стриженные волосы и узкие зеленоватые глаза. Она, помнится, сильно переживала тогда какой-то свой неудачный роман, если не ошибаюсь, с неким Ефимом Славинским, из-за которого она, судя по ее собственным словам, пыталась покончить с собой. В то же время за ней усиленно

ухаживал впоследствии безвременно погибший поэт Александр Морев, чуть ли не каждодневно наезжавший из Ленинграда. Мы с ней подружились.

Позже Нонна вышла замуж за Льва Мочалова. Ее стихи стали заметным явлением в ленинградской поэзии. Мы с ней в ту пору регулярно созванивались, и она часто читала мне по телефону свои новые стихи. Однажды она позвонила и стала читать новое стихотворение, начинавшееся строкой: «А жил ты где-то очень рядом». Там дальше была такая строфа:

А я сидела на скамейке,
Мальчишкам подставляла рот,
А дом твой знала только мельком, —
Там был трамвайный поворот.

«Стоп, – прервал я ее, – это не годится». – «Почему?» – удивленно спросила она. «А ты сама подумай, что ты написала». – «Городницкий, ты пошляк», – возмутилась она и бросила трубку. Через пару дней она снова позвонила мне и радостно сообщила: «Саня, ты был прав, я все переделала». – «Ну, читай, – сказал я, – все не надо, только эти строчки».

А я сидела на скамейке,
Мальчишек целовала в рот.

«Стоп, – снова остановил я ее, – это еще хуже». – «Ну, а теперь-то что?» – «А ты сама подумай». – «Городницкий, – закричала она, – ты сексуальный маньяк, ты патологический тип!» И снова бросила трубку. Больше она мне не звонила. А стихи потом были опубликованы в такой редакции:

А я сидела на скамейке
И целовалась у ворот,
А дом твой знала только мельком, —
Там был трамвайный поворот.

В конце 50-х Нонна начала писать песни и довольно успешно выступала с ними в Ленинградском доме писателей, аккомпанируя себе на гитаре. Песни эти отличались точностью образной поэтической строки, глубоким лиризмом. Помню такую ее песенку:

Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице темно, темно,
Свист милиции ночной, ночной,
Долетает к нам в окно, в окно.
Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице светло, светло,
А на улице пустой, пустой,
Дворник шаркает метлой, метлой.
А на улице пустой, пустой,
Час, наверное, шестой, шестой.
Как ты думаешь, любимый мой,
Не пора ли мне домой, домой?

Где-то в начале 60-х мы с Нонной решили «создать» нового поэта на манер Черубины Де Габриак. Выбор пал на одну из ее подруг, очень красивую жгучую брюнетку Галю, учившуюся в Ленинградской консерватории по классу вокала. За два-три присеста мы с Нонной настряпали около десятка «ультралирических» стихов со строчками вроде: «Сколько в верности предательства, а в измене чистоты» и, снабдив Галю стихами, отправили ее в Дом им. Первой Пятилетки к Семенову. Эффект, который она произвела на первом же занятии своей внешностью и стихами, особенно на мужскую часть объединения и, прежде всего, на самого Глеба Сергеевича, был потрясающим. Мужчины наперебой прочили ей большое поэтическое будущее. Подборку стихов немедленно затребовал ленинградский молодежный журнал. К сожалению, артистических возможностей Гали хватило не надолго, и она довольно быстро «раскололась», положив конец столь удачно начатой мистификации.

Позднее Нонна Слепакова написала песни к спектаклю по Киплингу «Кошка, которая гуляет сама по себе», однако «своих» песен больше не пела.

Неповторимой особенностью поэтического таланта Слепаковой была склонность ее к иронии, граничащей с сарказмом, довольно успешно разработанной ею как литературный прием, использованный для ее озорных поэм. В этом она во многом предвосхитила нынешних постмодернистов. Писала она не только стихи и песни, но и пьесы, прозу, в том числе автобиографический роман. Несколько лет руководила литературными объединениями и до последних дней была окружена молодежью, которая ее боготворила.

Характер у Нонны был не простой, – мятежный и взрывчатый. Мы с ней нередко ссорились и даже на какое-то время

расходились. По прошествии времени мы, однако, неизменно мирились. На юбилейном вечере по поводу моего 60-летия в 1993 году в Концертном зале у Финляндского вокзала она заявила: «Вот, считают, что Городницкому в жизни повезло, – его песни широко известны. А ведь на самом деле и ему не повезло, он – невостребованный поэт. И вообще, если бы собрали на эту сцену всех женщин, любивших Городницкого, она бы рухнула под их тяжестью».

Нонна Слепакова умерла от рака летом 1998 года на Петроградской стороне, где прожила всю свою жизнь. За несколько лет перед этим она перенесла тяжелый инсульт, но упорно продолжала работать и шутить. Большая последняя книга ее избранных стихов «Полоса отчуждения» вышла через три дня после ее смерти в Смоленске. Песни же, оставшиеся только в случайных записях, долгое время не были опубликованы. Мне с большим трудом удалось собрать ее плохие по качеству записи на бытовых магнитофонах и вместе с Наталией Аккуратовой и Львом Мочаловым выпустить диск с ее песнями. В последние годы благодаря поддержке Дмитрия Быкова и Александра Кушнера вышел трехтомник ее произведений и книга стихов в издательстве «Азбука-классика».

Как мы ломились в открытые двери
В поисках слова!
Ссорились часто, друг другу не веря,
Ссорились снова.
Наших романов, случайных и многих,
Не сосчитаешь.
Знать не могли мы, что будет в итоге
Эта плита лишь.
Жизни недолгие сикось и накось
Шли бестолково.
Странно читать на плите эту надпись:
«Н. Слепакова».
Много ли зерен оставит потомкам
Сломанный колос.
Мне бы обратно вернуть этот тонкий
Яростный голос.
Слушать порой, как она матерится
После спиртного,
Ссориться с нею, и после мириться,
Ссориться снова.
Если бы вспять повернула природа
Землевращенье,

Я бы вторично вошел в эту воду,
Невозвращенец.
Чтобы за дальнею зыбкой границей
Века иного,
Ссориться с нею, и после мириться,
Ссориться снова.

Интересно, что именно на рубеже 50–60-х годов, как раз в то время, когда в Москве появились песни Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой, ленинградские поэты тоже активно начали писать песни, хотя и недолго. Кроме песен Глеба Горбовского и Нонны Слепаковой широкой популярностью пользовались шуточные песенки Виктора Сосноры (их называли «фишки»). Неоднократно, собираясь в разного рода поэтических застольях, мы дружно распевали лихую песню Виктора:

Летел Литейный в сторону вокзала.
Я шел без денег и без башмаков,
И мне моя любимая сказала,
Что я окончусь между кабаков.
Пошел я круто – пока, пока,
Прямым маршрутом по кабакам.
Сижу и пиво желтое солю.
Официант, полбанки и салют!

Пытался придумывать песни и Леонид Агеев, но у него они почему-то не получались. Сочиняли песни и поэтесса Ирена Сергеева и брат Ефима Григорьевича Эткинда Марк, написавший в 60-е годы, на мотив «Кирпичиков» песенку об израильско-египетском конфликте:

На Синайском том полуострове,
Где лежит государство Израйль,
Положение очень острое,
Потому что воинственный край.

Широкой популярностью в поэтических компаниях пользовалась в то время «блатная» песня:

Стою себе на Невском – держусь я за карман,
И вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан.
Он спрашивает тихо, куда б ему пойти,

Чтоб можно было лихо там время провести.

Как выяснилось после, песня эта была придумана вовсе не блатарями, а ссыльным интеллигентом Ахиллом Левитоном.

Что касается песенных открытий того времени, то они связаны для меня в конце 50-х и начале 60-х годов с домом Руфи Александровны и Ильи Захаровича Серманов, живших тогда неподалеку от Нарвских ворот, а позднее эмигрировавших в Израиль. Илья Захарович тогда преподавал литературу и защитил докторскую по русской поэзии XVIII века. Руфь Александровна (ее девичья фамилия – Зевина) была испанистом-переводчиком и писала рассказы под псевдонимом Зернова. Она успела в свое время принять участие в гражданской войне в Испании, в 1935–1936 годах, получить там орден и потом отсидеть на Колыме. За Илью Захаровича она вышла замуж после освобождения. Сама Руня, как ее звали друзья, и ее дочь Ниночка, ставшая в те годы моим первым аккомпаниатором, прекрасно играли на гитаре и пели. Мне запомнилось одно из первых моих публичных выступлений в Ленинградском Дворце пионеров. После концерта рослая старшеклассница подошла к Ниночке и спросила: «А почему вы ему аккомпанируете? Вы что, лучше всех играете или вы ему кто?»

Именно в этом доме, где часто собирались ленинградские переводчики и писатели, я впервые услышал в исполнении Руни множество лагерных песен, вывезенных ею с Колымы. В их числе такие, например, как «Голубые снега», «Черные сухари», «По тундре, по широкой дороге» и многие другие. Песни эти потом я многократно слышал в тайге и тундре, в Туруханском крае и на Кольском, с разными текстовыми и интонационными вариантами в исполнении бывших и настоящих зэков. Но, пожалуй, именно Рунино исполнение до сих пор представляется мне наиболее точным.

Через Серманов мне довелось познакомиться в те годы со многими интересными людьми – от легендарного испанского тореро Мигеля Домингина до писателей и переводчиков Овадия Герцевича Савича, Фриды Абрамовны Вигдоровой и ее мужа Александра Борисовича Раскина, Норы Яковлевны Галь, только что переведшей любимого мною Экзюпери, и, наконец, безвременно умершей Натальи Григорьевны Долининой, замечательного педагога и литератора. Похоронена она на кладбище в Комарово, неподалеку от могилы Ахматовой, рядом с могилой ее отца – известного филолога профессора ЛГУ Гуковского.

Сейчас я думаю, почему именно «блатные» песни еще до появления стилизованных песен Высоцкого (написавшего их тоже, кстати, в духе времени) и «лагерных» песен Галича пользовались таким успехом в компаниях интеллигенции? Возможно, дело прежде всего в том, что страшная жизнь сталинских лагерей, откуда многие из них возвратились после хрущевской оттепели, подсознательное ощущение преступности всей авторитарной государственной системы, внутри которой существовали мы все, сближало нас с героями этих песен, тем более что в отличие от одесского «ядовского фольклора» начала 20-х годов речь в этих песнях шла, как правило, не об убийцах и налетчиках, а о заключенных. «Интеллигенция поет блатные песни», – метко подметил один из поэтов в то время.

Именно эти песни в те переломные годы в московских и ленинградских застольях были естественным продолжением «крамольных» разговоров и предтечами песен Галича, Высоцкого и Кима. Сейчас большинство этих песен забыто и, видимо, незаслуженно, поскольку они создавали точную доверительную обстановку общения. И еще одно. Примерно с середины 50-х и далее, к 60-м, пение песен стало понемногу вытеснять чтение стихов, даже в поэтических компаниях. Так незаметно наступила пора «поющих 60-х».

Что же касается нас, тогдашних выпускников Горного института, то главным, навсегда объединившим нас, было то, что все мы с незначительной разницей в возрасте – от самых старших вроде меня и Британишского, до самых молодых – Битова или Кумпан, принадлежали к поколению недолгой хрущевской оттепели. Наше политическое и литературное самосознание стремительно совершенствовалось – начав еще в школе с соцреализма и «Краткого курса», оно менялось по мере открытия Хемингуэя и Ремарка, Цветаевой и Мандельштама, первых документов о масштабах сталинских репрессий и песен заключенных.

Кроме того, что немаловажно, мы были молоды, полны неизрасходованной энергии, чувствовали себя нераздельной частью великого народа, победившего недавно фашизм в грозной войне, зацепившей наше детство. В нас еще устойчивы были иллюзии всеобщего братства и общности советских людей, не было еще армяно-азербайджанской резни на Кавказе, погромов в Оше, войны в Чечне, Абхазии и Южной Осетии. Смотря хлынувшие к нам через «железный занавес» западные фильмы, от Де Сантиса до Феллини, сравнивая себя с героями Хемингуэя и Ремарка, мы не считали тогда свое поколение потерянным, ибо еще верили в «комиссаров в пыльных шлемах». И были полны

оптимизма.

Общение наше с Москвой в те годы было случайным и эпизодическим. Центром нашего мира неизменно был Питер. Поэтому мы не считали его «великим городом с областной судьбой». Напротив, он был нашей единственной столицей и началом отсчета в литературе, истории и жизни. И это несмотря на то, что именно Ленинград после разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», Ахматовой и Зощенко стал оплотом самой черной реакции в литературе. И все-таки именно тогда мы начали обретать собственный голос. Именно в это время начали вызревать в наших незрелых душах слабые ростки миропонимания, давшие всходы позднее. Замечательно, что ни позже, ни в наши дни почти никто из питомцев «Семеновского полка» и в первую очередь из «горняков» не стал приспособленцем и не писал «по указке». Несмотря на разную степень литературной одаренности, все остались – людьми.

На материк

От злой тоски не матерись, —
Сегодня ты без спирта пьян:
На материк, на материк
Идет последний караван.

Опять пурга, опять зима
Придет, метелями звеня.
Уйти в бега, сойти с ума
Теперь уж поздно для меня.

Здесь невеселые дела,
Здесь дышат горы горячо,
А память давняя легла
Зеленой тушью на плечо.

Я до весны, до корабля
Не доживу когда-нибудь.
Не пухом будет мне земля,
А камнем ляжет мне на грудь.

От злой тоски не матерись, —
Сегодня ты без спирта пьян:
На материк, на материк
Ушел последний караван.

По случаю окончания Горного состоялся шумный выпускной банкет в снятой для этого столовой Свердловского райкома на Большом проспекте Васильевского острова. «Научный доклад в связи с защитой диплома» за столом делал староста одной из групп Олег Горбунов. «Поскольку оказалось, – вещал Олег, – что в Технологическом институте во время выпускного банкета был убит преподаватель, в качестве эксперимента решено пригласить сюда и преподавателей». Затем шло «геологическое» описание обеих наших групп. «Группа РФ-51–1, – продолжал Горбунов, – представляет собой плотную серую массу с редкой вкрапленностью долбежников. Группа РФ-51–2 характеризуется ярко окрашенными вторичными образованиями, именуемыми женским полом. Группы несогласно перекрываются одна другой, о чем свидетельствует большое количество заключенных браков». Действительно, на последних курсах многие, в том числе и я,

успели жениться на своих однокурсницах, что привело впоследствии к многочисленным разводам.

Вечер был шумный. Все предвещали друг другу великое будущее и большие открытия. Предстояло всеобщее расставание. В заказанной мне «оде», написанной в подражание великому образцу, были такие строчки:

Какие б ни качали нас глубины,
Куда бы новый ни увел маршрут,
Все те же мы, – нам целый мир чужбина,
Отечество нам – Горный институт.

Мне было торжественно присвоено звание «горного инженера-геофизика» и вручены диплом с отличием, не дававший, однако, никаких реальных преимуществ, а также большой бронзовый овальный институтский знак, напоминающий дворницкую бляху. Распределили меня в Караганду, в «Степную» экспедицию Первого главка. Названия этих экспедиций «Степная», «Лесная» и другие, как понял я уже в недавние годы, подозрительно напоминали недобро известные названия «Степлаг», «Леслаг» и им подобные. Впрочем, ничего удивительного в этом не было – ведомство, практически, одно и то же.

На мое счастье, в Караганде не оказалось ни жилья для молодых специалистов, ни особой потребности в них, и я, получив свободный диплом и вернувшись в Питер, попал на работу в Научно-исследовательский институт геологии Арктики, располагавшийся на моей родной Мойке, неподалеку от бывшей школы, в районе все той же Новой Голландии. Меня взяли туда инженером-геофизиком по попутным поискам урана, которые в те годы, согласно строгому приказу министра геологии, велись во всех экспедициях при любой геологической съемке. Затем этот идиотский приказ отменили.

НИИГА, как сокращенно именовался институт, представлял собой в то время довольно своеобразную организацию, сравнительно недавно переведенную в Министерство геологии из системы Севморпути. Поэтому многие, особенно старые сотрудники, еще щеголяли в морской форме и в фуражках с голубым полярным флажком, тем более что экспедиции института работали по всей Арктике – на побережье от Мурманска до Певека и на островах Ледовитого океана. Директором института в те годы был Борис Васильевич Ткаченко, человек органической порядочности и доброты, немало способствовавший созданию и сохранению в институте здорового

психологического климата.

Его заместителем по науке был профессор Михаил Григорьевич Равич, человек со сложным характером, но одаренный и знающий геолог, немало времени и сил отдавший изучению Арктики и Антарктики и получивший в 70-е годы Государственную премию. Скончался он от неожиданного инфаркта в постели у любовницы в Вильнюсе, куда в последние годы зачастил читать лекции. На его похоронах новый директор Игорь Сергеевич Грамберг сказал: «Михаил Григорьевич умер как настоящий мужчина».

Порывистость и горячность Равича иногда приводили к курьезным ситуациям. Как-то в конце 50-х, приехав с инспекцией в нашу съемочную партию на Таймыр, он заприметил молодого смышленого паренька из зэков – Алеху, кашеварившего в нашем отряде. Голубые любознательные глаза и преданный серьезный вид Алехи приглянулись Равичу, и он решил привить пареньку любовь к геологии. Неделю подряд он, не жалея своего драгоценного профессорского времени, таскал Алеху в маршруты, терпеливо объясняя значение мудреных геологических терминов, обучая парня обращаться с компасом и картой, отбирать геологические образцы и на глаз «мордально» определять виды горных пород.

Ученик ему попался благодарный – он преданно смотрел в глаза своему наставнику и буквально впитывал знания. Уже на второй день специальным приказом по партии любознательный повар был переведен в техники с существенным повышением оклада. Сам Михаил Григорьевич, неоднократно ставя любознательность Алехи в пример всем другим геологам, с нетерпением ждал момента, когда тот начнет задавать вопросы. Наконец закончив, как он считал, первый курс введения в геологию и надиктовав своему прилежному ученику полтетради, Равич благосклонно произнес: «Ну, Алексей, спрашивай». И блаженно сощурился в предвкушении вопросов. «Михаил Григорьевич, – робко спросил Алеха, не отрывая от учителя своих преданных, все понимающих глаз, – что такое внематочная беременность?» На следующее утро он снова варил кашу.

Помню, как несколько лет спустя, выступая на ученом совете НИИГА с лекцией о своем участии в Антарктической экспедиции, Михаил Григорьевич рассказывал, как его из-за курчавых волос не хотели в Кейптауне пускать в бар для белых. «Тогда я достал советский паспорт, – сказал Равич, – и говорю: «Ай эм рашен». В уважительной тишине присутствовавших раздался ядовитый шепот одного из старейших геологов В. М. Лазуркина: «И тут соврал!»

Ученый совет в конце 50-х состоял в основном из старых полярников, в число которых входили такие известные геологи, как Николай Николаевич Урванцев, в 1921 году открывший Норильское медно-никелевое месторождение и затем сидевший в лагере с конца 30-х до начала 50-х, доктора наук Атласов, Сакс, Марков – да и не только они. Среди молодежи господствовал стереотип поведения «старых полярников». Один, например, по фамилии Вакар, даже в Ленинграде ездил на работу летом на байдарке, лихо причаливая у самого подъезда института. Он, помнится, был также неистощимым изобретателем разного рода самодельного арктического снаряжения, именовавшегося по его имени «вакар-рубаха», «вакар-палатка» и так далее.

Однако главным достоинством истинного и заслуженного «северянина» считалась способность к выпивке. Так, старый полярник Емельянцев, например, записался как-то на теплоходную экскурсию на Ладогу, в течение которой пил, не выходя из каюты, а на вопрос – зачем поехал, ответил: «А на воздухе больше входит». Вспоминаю, как в первый год работы в институте, когда я поутру шел в свою комнату № 69 по коридору первого этажа, меня, чаще всего по понедельникам, останавливал весьма, как потом выяснилось, талантливый, но сильно в ту пору пьющий геолог Владимир Александрович, который обычно стрелял у меня трешки на опохмелку. Появляясь, вяленый и бледный, как привидение, из-за шкафа с образцами и дохнув на меня страшнейшим перегаром, он доверительно шептал: «Мне сейчас, чтобы умереть, достаточно подпрыгнуть». Я тут же испуганно протягивал ему трешку.

Поначалу я попал в Енисейскую экспедицию, где в мои обязанности входило руководить попутными поисками урана при геологической съемке в правобережье низовьев Енисея, в районе Игарки и Норильска. Так летом 57-го года я впервые оказался на Крайнем Севере, с которым связан был потом более семнадцати лет. До сих пор помню чувство ни с чем не сравнимой гордости, когда я притащил домой выданное мне на институтском складе «полярное обмундирование», состоявшее из старой «восстановленной» цигейковой куртки, двух пар сапог – кирзовых и резиновых, плащ-палатки и спального мешка. Предметом особой гордости был также настоящий кавалерийский карабин с двумя обоймами патронов. Дело в том, что по существовавшей тогда инструкции секретные материалы, а в число их входили все стотысячные карты, с которыми работали геологи при съемке в енисейской тайге, полагалось выдавать в Первом отделе института только вместе с оружием «для их охраны».

Устав от маршрута земного,
Во мраке вечерних минут,
Тебя вспоминаю я снова,
Арктический мой институт.
Еще не желая сдаваться,
Припомню, хотя и с трудом,
Тот старый на Мойке сто двадцать
Покрашенный охрою дом.
Мы были задорные парни,
И каждый – судьбою любим.
Дышать не давал накомарник,
Плечо натирал карабин.
Веселой толпой оборванцев
Мы шли по течению рек.
Был с нами профессор Урванцев,
Седой и заслуженный зэк.
А если тонули и если
Другой обретали мы кров,
Нам пел погребальные песни
Пронзительный хор комаров.
Не сгинул в воде и не спился,
Тот опыт ловя налету,
Но вкус разведенного спирта
Доныне остался во рту.
И снова ревут перекаты,
Где лодку мотает поток,
Опять пробираюсь куда-то,
Сжимая в руке молоток,
О будущем не беспокоясь,
В том давнем счастливом году,
Когда убеждал меня компас,
Что верной дорогой иду.

Путь мой в первую полярную экспедицию оказался тернистым – я был послан «старшим» с группой сезонных рабочих, набранных в близлежащем к институту районе Покровки в основном из злостных алиментщиков, бичей и алкашей. Шесть дней мы ехали с ними плацкартным вагоном от Ленинграда до Красноярска, затем дней десять ждали парохода и еще примерно неделю плыли по Енисею до Игарки. Все это путешествие запомнилось мне как чудовищная непрерывная пьянка. Я, хотя и числился старшим, в силу своей неопытности и беспомощности, был совершенно не в силах с ней бороться, и она закончилась

сама собой, когда были наконец пропиты все деньги. Забавная история на пароходе произошла с двумя нашими молодыми геологами, которые познакомились с роскошной блондинкой, следовавшей в Дудинку к своему мужу в одноместной каюте люкс. Они на все свои последние деньги накупили коньяка и отправились к ней в каюту в надежде напоить ее. Где-то часа через два она брезгливо вытащила их бесчувственные тела из своей каюты со словами: «Ну и народ пошел – выпить толком не с кем. Пойду одна допивать». До сих пор помню, однако, суровую красоту енисейских берегов, которые мне довелось тогда увидеть впервые.

Вид тогдашней Игарки тоже поразил меня – она в те поры была построена целиком из дерева. Здесь был большой лесной порт и лесобиржа. Лес сюда сплавлялся по Енисею и обрабатывался, а потом продавался прямо на иностранные пароходы, заходившие в устье Енисея. Это несоответствие нищих деревянных барачных построек, праздничного пылания белого ночного июльского неба, отражавшегося в енисейской воде, и казавшихся непривычными здесь пароходов с итальянскими и греческими флагами поражало воображение, напоминало о Джеке Лондоне и Киплинге. Здесь все было из дерева – не только дома, но и мостовые, более похожие на огромные настланные полы. Именно это заставило меня в 1959 году написать песню об Игарке «Деревянные города»:

Укрыта льдом зеленая вода,
Летят на юг, перекликаясь, птицы.
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.

База нашей экспедиции располагалась на самом краю города, по южную сторону лесобиржи, вытянувшейся вдоль правого берега Енисея и окруженной высоким глухим забором со сторожевыми вышками. Там круглосуточно сновали высокие штабелепогрузчики, напоминающие марсианские треножники из Уэллса, перевозя пакеты досок от лесопильного комбината к причалам. Прямо за почерневшим от ветров и мороза и покосившимся на мерзлоте двухэтажным бревенчатым домом нашей экспедиции, недалеко от которого делал кольцо старенький игарский городской автобус, начиналась тундра. Перед окнами, на пологом берегу енисейской протоки, за которой день и ночь взревывали самолеты на аэродроме, догнивали брошенные здесь рыболовные сейнеры и какая-то старая, но, видно, ладно сколоченная норвежская зверобойная (как мне

объяснили) шхуна с остатками латинских букв на покосившейся высокой рубке.

На летнее время, с началом навигации, по Енисею в Игарку завозили обычно несколько десятков тысяч вербованных мужчин и женщин для работы на лесосплаве, сортировке и погрузке леса. На все это время объявлялся сухой закон. До сих пор помню, как, придя в игарский военторг за одеколоном, я спросил, нет ли у них «Шипра». «Шипра» нет, – есть только «Кармен», – ответила продавщица. «Бери – не сомневайся, – толкнул меня локтем случившийся у прилавка работяга, – «Кармен» – вкуснее».

Единственным местом, где продавали спиртное, недоступным, правда, для местных жителей, был клуб иностранных моряков, куда иностранные моряки, как правило, не ходили, и поэтому в нескольких «гостиных» клуба, за столами, заваленными агитационной литературой на английском языке, скучали подвыпившие гэбэшники. Центром клуба были бар, где «наливали все», и танцевальный зал, где плясали местные комсомольские активистки, «допущенные к иностранцам», и несколько проверенных органами профессионалок. Напротив интерклуба высилась высокая, надежно сложенная из отборных строевых бревен игарская тюрьма, также обнесенная высоким забором, построенная в конце 30-х – начале 40-х и служившая долгие годы местом пересылки.

В тюрьме этой оказалась довольно неплохая библиотека художественной литературы, сложившаяся из книг, отобранных у заключенных при «шмонах». Помню, когда мы работали на реке Колю, то взяли во временное пользование в тюремной библиотеке целый вьючный ящик с книгами. Среди этих книг оказался, в частности, первый том из так и неизданного двухтомника Эдуарда Багрицкого, который был тогда моим любимым поэтом. В углу титульного листа книги сохранилась надпись «Зелик Штейнман». Зная, что известный ленинградский критик Зелик Штейнман вернулся из лагерей в Ленинград, я «зажилил» эту книгу и привез ее в Питер. Придя на встречу с ним, чтобы вернуть книгу, я с горечью и сожалением услышал его страстную речь о том, что сажали правильно, что Сталин был гений и тому подобное.

Уже позднее, в 1962 году, мне довелось быть свидетелем страшного пожара в Игарке, когда неизвестно от каких причин (говорили, что поджог) вдруг вспыхнула лесобиржа, а потом огонь перекинулся на город. Жаркий июль и небольшой ветер привели к тому, что буквально за несколько часов сгорело более половины города. Температура пламени была настолько высокой, что его не брала вода, моментально превращавшаяся в пар, и

огонь потом гасили уже с вертолета, бросая специальные химические бомбы. Помню, как из обреченного огню интерклуба, под строгой охраной автоматчиков, вытаскивали ящики с коньяком и водкой и давили их трактором прямо на глазах у горюющих мужиков. Только тюрьму удалось отстоять от огня. Выстроившиеся цепочками с ведрами в руках зэки так упорно защищали свой «казенный дом», что огонь отступил. Более всего меня поразило, что никто даже не пытался бежать. Когда сейчас я слышу выкрики на коммунистических митингах о возвращении к старому строю и вижу, как много голосов, особенно в нищей и темной нашей глубинке подается за коммунистов на выборах, мне постоянно вспоминается эта картина.

Что же касается интерклуба, то уже с первого года шустрые ленинградцы проторили туда дорогу, раздобыв какие-то липовые бумажки. Поэтому путешествие в интерклуб с его баром и нехитрыми танцевальными знакомствами, так же, как баня и кино, были мощным стимулом для экспедиционной молодежи, прозябавшей под комарами в тайге и тундре, хоть ненадолго выбраться «погулять» в Игарку. Забегая вперед, могу сказать, что, кроме интерклуба, танцы иногда организовывались в Клубе лесопильного комбината, доступного для всех. Поскольку мужское население Игарки значительно превышало по численности женское, то в клубе этом нередко вспыхивали драки.

Досталось там пару раз и нам, в 58-м году, когда местные парни, обиженные на своих подруг, явно отдававших предпочтение «питерским», решили сквитаться, легко определив нас по однотипным летным меховым курткам. Малочисленные экспедиционники вынуждены были организованно отступить, и мне бы уйти с ними! Но девушка, с которой я танцевал, шепнула: «Еще один танец, и уйдем вместе». Как только я получил в гардеробе свою куртку, моментально опознавшие врага и обрадованные легкой добычей аборигены тут же сбили меня с ног и начали избивать ногами. Первыми же ударами мне разбили нос и лоб, так что кровь залила глаза. «Абзац», – подумал я уныло, не успев толком испугаться. Поднявшись на четвереньки из последних сил, я каким-то звериным чутьем угадал, где выходная дверь. И с «низкого старта», ударив головой в живот загородившего выход парня, вывалился через выход на высокое деревянное крыльцо и засквозил вниз, бороздя окровавленным лицом по обледенелым ступеням. Никто из противников вслед за мной на мороз выскакивать не стал. Я вытер, как мог, разбитое лицо снегом и попытался встать на ноги, но от боли в правом подреберье тут же упал обратно на четвереньки. Дама моя, конечно же, меня бросила. Предмет моей гордости, выданная мне

недавно новая летняя куртка, которая так меня подвела, была испачкана кровью и грязью, меховая шапка осталась в клубе победителям в качестве трофея. С трудом поднявшись на ноги, охая от боли и безуспешно стараясь унять кровь, обильно лившую из носа, я поплелся по скользкой и накатанной заснеженной деревянной мостовой, идущей под гору.

И тут я заметил, что навстречу мне, снизу вверх, так же, как я, скользя, падая и снова поднимаясь, движется человек в такой же куртке, громко выкрикивая бранные слова. Когда мы сблизились, я узнал в нем Олега Тарутина, хотя опознать его (видимо, так же, как и меня) было нелегко, – часть его русой бороды была вырвана, под глазом чернел огромный «фонарь». Выяснилось, что после первого столкновения, в котором Олегу тоже досталось, враждующие стороны договорились о прекращении драки при условии, что «наши» уйдут. Они действительно ушли, и уже на базе, где мои потерпевшие поражение земляки утешали себя разведенным спиртом, Олег вдруг вспомнил, что я вроде тоже был в клубе. Поскольку никто возвращаться туда за мной не захотел, он героически отправился выручать меня один. Читателям будет нетрудно представить живописный вид двух избитых и грязных питерских поэтов, обнявших друг друга на морозной игарской улице, где «мостовые скрипят, как половицы».

Начало работы на Крайнем Севере ознаменовалось для меня первым общением с авиацией… Перед путешествием в Игарку мне ни разу не довелось ни на чем летать, поэтому первый мой в жизни воздушный полет состоялся в июне 1957 года, когда нас перевозили на биплане Ан-2, который летчики ласково называли «Аннушкой», на базу партии на реке Горбиачин.

Помню, когда в игарском аэропорту «Полярный», расположенном на острове посреди Енисея, самолет оторвался от земли и накренился на правое крыло, делая разворот, и мне больно придавили ногу поехавшие по металлическому полу вьючные ящики и какие-то седла, а в маленьком круглом иллюминаторе стремительно понеслись подо мной бревенчатые дома, штабели леса, вспыхнувшая ослепительным солнцем серая енисейская протока с дымящими посреди нее пароходами и, наконец, зеленые полосы тайги вперемежку с зеркальными осколками болот, я испытал острое чувство настоящего счастья и обретения своего главного места в жизни. Мне казалось – сбылась моя главная мальчишеская мечта о превращении в «настоящего мужчину», обживающего тайгу и обряженного в штормовку и резиновые сапоги с длинными голенищами. До этого, однако, было еще далековато.

«Тебя когда-нибудь в самолете укачивало?» – спросил меня второй пилот, вылезший из пилотской кабины, недоверчиво приглядываясь к моей физиономии. «Никогда!» – уверенно ответил я, тем более что это была чистейшая правда – меня действительно до этого ни разу не укачивало на самолете, поскольку я летел на нем впервые. «Молодец, – одобрительно хлопнул меня пилот по плечу, – а то нам тут еще „на сброс“ надо залететь». «На сброс» – так называется доставка по воздуху груза в те места в тайге, где приземлиться самолет не может, поэтому все необходимое просто бросается в открытый люк с небольшой высоты на вираже, так, чтобы не разбилось и не потерялось. Мы в тот раз, как помню, доставляли «на сброс» овес для лошадей. Чтобы овес не рассыпался из лопнувшего мешка, в каждый мешок овес насыпали только наполовину, а потом завязывали его еще в один мешок. Кроме овса, бросали почту, палатки и спирт, налитый по этому случаю в резиновые грелки. Для каждого прицельного броска надо было делать по нескольку заходов. Потом бортмеханик швырял в распахнутый люк очередной мешок, машина вздрагивала, круто поднималась вверх и, опрокидываясь на крыло, стремительно шла на следующий заход. До сих пор не помню, как мне удалось выжить в этой мучительной и непривычной для меня ситуации. Когда самолет наконец приземлился, я с трудом выполз из него и лег под крыло. «А говоришь, не укачивало», – неодобрительно покачал головой второй пилот.

Несмотря на неудачный первый опыт, к самолетам всех марок и к вертолетам я привык довольно быстро и укачиваться перестал. В те годы геологов на Крайнем Севере возили летчики Полярной авиации, независимого в ту пору ведомства, на котором еще лежал отсвет громкой славы покорения полюса и арктических перелетов Громова, Чкалова и Водопьянова. Для работы в Полярной авиации тогда действительно требовались высокая профессиональная подготовка, смелость и знание Севера. Почти все командиры машин, летавшие с нами, имели «право первой посадки» в незнакомом месте, были настоящими полярными асами и уж, конечно, личностями. В конце 50-х – начале 60-х годов мне немало пришлось летать с летчиками Полярной авиации и в Туруханском крае, и в районе Норильска, и в Амдерме, и в Косистом, и, наконец, на станцию «Северный полюс», при этом трижды с вынужденными посадками, и я всегда удивлялся их постоянному самообладанию и спокойному юмору даже в самых критических ситуациях.

Реальность таких критических ситуаций я вполне ощутил уже в 58-м году, когда на несколько дней, теперь уже не помню зачем,

прилетел из тайги на базу в Игарку, и мне надо было отправляться назад, на реку Горбиачин, где работала наша партия. Меня, как договорились, должна была попутно забросить «Аннушка», летевшая потом дальше с грузом для оленеводов. Переправившись утром в аэропорт через енисейскую протоку, я разыскал командира машины и спросил, когда полетим. «Да часа через два – не раньше, – ответил он. – Еще пообедать успеешь». Успокоенный его ответом, я и впрямь пошел обедать в аэродромную столовую. Не успел я покончить с первым, как услышал за окном гул прогреваемого мотора. Схватив рюкзак, я выскочил наружу и увидел, как «мой» самолет выруливает на взлетную полосу. Я кинулся наперерез ему, размахивая руками. Увидев меня, командир засмеялся и через прозрачный колпак кабины показал мне «дулю». Меня обдало песком и мелкими камушками, взвихрившимися от работы винта, и «Аннушка» взлетела. Обиженный и раздосадованный, я поплелся обратно, собираясь все высказать коварному командиру, когда самолет вернется. Выяснилось, однако, уже в диспетчерской, что командир ни при чем. Ему поменяли полетное задание в связи со срочным санрейсом, и дожидаться меня он не стал.

Примерно часа через два самолет должен был возвратиться. Однако он не вернулся ни через два часа, ни к вечеру. Все попытки вызвать его по радио были безрезультатны. Разбитый самолет с погибшим экипажем нашли только на третий день. У них, видимо, что-то случилось с рулем высоты. Все трое – оба пилота и бортмеханик – вцепились в штурвал, напрасно пытаясь выправить машину.

К 58-му году относится также мое первое знакомство с вертолетами, доставлявшими нас туда, где «Аннушка» сесть не могла. Надо прямо сказать, что полеты на них особого удовольствия не доставляли. Этому немало способствовало то, что в первый же год, почти на наших глазах, прямо в игарском аэропорту, разбился вертолет, у которого при взлете отломался винт. Сами летчики, чаще всего пересаженные на вертолет с самолета за какие-нибудь провинности, свои новые аппараты тоже недолюбливали. «На вертолете летать – все равно что тигрицу трахать, – говаривали они, – и опасно, и удовольствия мало». – «Мы на вертолетах людей не возим, – сказал мне как-то один из вертолетчиков, – возим только грузы и геологов».

С героической и бесшабашной вольницей полярных летчиков связано немало легенд и баек, ставших предметом настоящего северного эпоса, где правда неотличима от вымысла. Один из знаменитых полярных летчиков-героев конца 30-х годов, генерал Илья Павлович Мазурук, как-то рассказывал при мне такую

историю. На исходе 41-го года, в самое тяжелое время, когда немцы были уже под Москвой, Московская группа особого назначения Полярной авиации (МОГОН) получила срочное и ответственное задание. Надо было перегнать из Аляски в Москву новую партию американских боевых самолетов для пополнения наших повыбитых ВВС. В состав группы особого назначения входили наши самые прославленные полярные летчики – Герои Советского Союза Водопьянов, Черевичный, Мазурук и другие, хорошо знавшие сложную полярную трассу. С трудом преодолев ураганные ветры и снежные заряды, к 31 декабря они добрались до Амдермы. До Москвы оставалось совсем немного. И тут, как назло, занепогодило. Внезапный циклон принес беспросветную пургу. Стало ясно, что до родной Москвы уже не добраться и Новый год придется встречать здесь. Это никого не радовало, помимо всего прочего, еще и потому, что все запасы спирта полностью вышли, так как все надеялись к Новому году вернуться домой.

Далее Мазурук описывает такую невеселую картину. За длинным праздничным столом летной столовой сидят, позванивая орденами, унылые героические полярные летчики. На столе – множество самой разнообразной закуски – от соленой кеты до нежной американской тушенки, и при этом полное отсутствие хотя бы одной бутылки. Часы показывают одиннадцать вечера, а за столом царит мрачная тишина. Вдруг распахивается наружная дверь, и вместе с клубами снежного пара в помещение входит старый аэродромный механик дядя Вася, держа в руках большую трехлитровую бутыль с непонятной жидкостью красного цвета. «Дорогие наши сталинские соколы, – говорит дядя Вася нетвердым уже голосом, – не извольте погнушаться. Сам не знаю, что это такое – у себя в ремонтном балочке нашел». Таинственную красную жидкость тут же стали испытывать на запах. По запаху – вроде «она». Но ведь красная. Если бы зеленая или хотя бы синяя, как денатурат! Ведь известно, что красный цвет специально добавляют во все яды, чтобы их кто-нибудь сдуру не глотнул.

Пробовать жидкость никто не решался. Стрелки часов к этому моменту показывали уже половину двенадцатого. «Уважаемые герои, – снова заявил дядя Вася, – жизни ваши нужны товарищу Сталину и всей нашей стране для войны с фашистами. А я человек старый, одинокий, никому особенно не нужный. Разрешите за вас смерть принять!» С этими словами он налил себе полстакана зловещего красного зелья. Кое-кто фальшивым голосом стал было его отговаривать, но большинство трусливо промолчало, и дядя Вася со словами: «За Родину, за Сталина»

лихо опрокинул стакан. В напряженном ожидании прошло минут двадцать. Дядя Вася сидел за столом в полном здравии и наливал себе еще. Наконец – без десяти двенадцать – летчики не выдержали. Все налили себе и под далекий бой кремлевских курантов, прорывавшийся сквозь треск ночного эфира, выпили за Новый год и за победу. Оживление и веселый разговор, вспыхнувшие враз за столом, отвлекли общее внимание от дяди Васи. Вспомнили о нем только через полчаса, когда заметили, что за столом его нет. Обнаружили его под столом. Дядя Вася лежал на полу, хрипел и дергал ногами.

«И тут мы все как были, в одних гимнастерках, выскочили из-за стола и дернули стометровку в наш медпункт, в соседнюю избу, к нашему врачу. Нам, конечно, сразу же – рвотное и промывание желудка, потом опять то же самое, и так часа два. И вот лежим мы все трясущиеся и голые, а гимнастерки наши с орденами и золотыми звездами валяются на лавках. И вдруг вспомнил кто-то, – а дядю Васю-то, старика, забыли! С трудом напялив обмундирование, поплелись назад, открыли дверь в столовую и увидели странную картину. За пустым столом сидит живой и здоровый дядя Вася, наливая себе очередной стакан». «А, голубчики, явились, – язвительно заметил он, допивая таинственную жидкость. – Будете над стариком издеваться? Да вы не сумлевайтесь – спирт чистейший. Просто я в него для понту пачку красного стрептоцида опустил…»

Мой безвременно ушедший из жизни друг – автор песен и журналист Юрий Визбор, прилетавший в 50-е годы с каким-то журналистским заданием в район Тикси, тоже попал там как-то на сброс сена. «Для кого сбрасываете?» – поинтересовался Визбор, и словоохотливый бортмеханик популярно объяснил ему, что сено сбрасывают для мамонта. «Вы что, неужели не знаете? – изумился механик недоумению журналиста. – Ведь во всех газетах писали. В устье Лены недавно мамонтенка разморозили, Диму, и оживили. Теперь его в Москву надо переправлять, а в самолет он не помещается. Решили пустить его своим ходом. Вот мы по пути следования ему сено и бросаем». На самом деле, как потом оказалось, сено сбрасывали для лошадей в геологическую экспедицию.

Подобная привычка к веселой и дерзкой мистификации всегда подкупала меня в этих бескорыстных и смелых людях с психологией озорных мальчишек. Мне рассказывали о забавном случае, произошедшем в Антарктиде на станции «Восток». Прилетевший туда полярный экипаж закрепил по-штормовому машину и по случаю усилившейся пурги пошел выпивать. Когда все сидевшие за столом уже клевали носами, с центральной базы

в Мирном пришла срочная радиограмма. Необходимо было сообщить в Москву на радио, проводятся ли в Антарктиде какие-нибудь спортивные соревнования. «Как же, проводятся, – сообщил в Мирный еще державшийся на ногах радист, глядя на уснувших летчиков и бодрствующего со стаканом в руке синоптика. – Эстафета четыре по сто… С прицепом». – «А кто победил?» – запросили из Мирного. «Наука. На втором месте – летчики», – сообщил в эфир радист и отключился. На следующий день Московское радио передало в спортивных новостях: «Несмотря на трудные условия антарктической зимовки, советские полярники не теряют бодрости духа и регулярно проводят спортивные соревнования. Как нам только что сообщили по радио, на станции «Восток» вчера состоялись легкоатлетические соревнования – эстафета четыре по сто метров, с прицепом в виде саней. Первое место заняла команда синоптиков, на втором месте – летный состав».

Вспоминается в связи с этим еще одна история, случившаяся в 64-м году, когда я участвовал в полярной экспедиции в Северном Ледовитом океане. Работа наша заключалась в проведении магнитных и гравиметрических измерений на льду моря Лаптевых. Самолет Ан-2 садился на льдину, из него выскакивали геофизики и проводили наблюдения, после чего самолет перелетал на следующую точку. Поскольку до берегового аэродрома лететь было далеко, то с целью экономии горючего и времени для ночевки выбиралась льдина понадежнее. Самолет ставился «на колодки», чтобы его не сорвало ветром, неподалеку от него воздвигалась утепленная палатка, и люди устраивались спать. В очередной раз, когда экипаж выбрал льдину и мы сели, пришла радиограмма из Косистого, что назавтра ожидается нелетная погода. По такому случаю экипаж наш решил «расслабиться». Притащив бачок с «антиобледенителем» и несколько банок тушенки, они изрядно загуляли. Часа через два весь летный состав – оба пилота и механик, исключая, пожалуй, радиста, полностью отключились, уронив свои мужественные лица на шаткую поверхность складного стола. И в этот момент нас неожиданно вызвали с базы и дали команду срочно вылетать на материк, поскольку получено штормовое предупреждение, и льдину может сломать.

Что делать? Слегка протрезвевший от чрезвычайной ситуации радист попытался растолкать сначала первого пилота, потом второго, но все его усилия были напрасны, – оба они лыка не вязали. Только механик, которому долго терли лицо снегом, понемногу начал приходить в себя. Вместе с радистом они снова попытались оживить командира, но и второй заход успеха не

имел. Тогда радист решился на крайнюю меру, – он налил полный стакан спирта и с помощью механика с трудом влил этот спирт в командирский рот. «Что ты делаешь?» – испуганно закричал я. «Подожди, – ответил радист, – я его знаю, он сейчас очнется». Действительно, к моему немалому удивлению, минут через пять командир начал подавать признаки жизни. «Помогайте», – скомандовал нам радист. Мы подхватили командирское тело и, преодолевая усилившуюся вьюгу, поволокли его к самолету. С большим трудом мы упихали его в левое кресло и положили его негнущиеся пальцы на рукоятки штурвала. Вторая бригада тем временем срочно грузила в самолет наши пожитки и снимала растяжки и колодки, на которых была закреплена машина. Место второго пилота, лежавшего в грузовом отсеке, занял радист.

Самое поразительное, что, почувствовав под руками штурвал, командир мгновенно «включился» и, совершенно трезвым голосом отдав проверочные команды, врубил двигатель и взлетел, после чего немедленно уснул снова. «Ничего, – успокоил меня радист, – курс я знаю и до аэродрома машину доведу. Вот только для посадки снова придется его будить». Через час с небольшим полета мы добрались до Косистого. Перед посадкой была повторена операция со спиртом, после чего первый пилот снова ожил. Несмотря на мой ужас и полную уверенность, что нам пришел конец, посадка была безукоризненной. Совершив посадку, однако, командир отключился уже окончательно, и из кабины его пришлось вытаскивать.

Под впечатлением от общения с полярными летчиками в 1959 году, во время весновки в Туруханском крае, на реке Колю, о которой речь пойдет ниже, я написал песенку, им посвященную:

Кожаные куртки, брошенные в угол,
Тряпкой занавешенное низкое окно.
Бродит за ангарами северная вьюга,
В маленькой гостинице пусто и темно.

Командир со штурманом мотив припомнят старый,
Голову рукою подопрет второй пилот,
Подтянувши струны старенькой гитары,
Следом бортмеханик им тихо подпоет.

Эту песню грустную позабыть пора нам, —
Наглухо моторы и сердца зачехлены.
Снова тянет с берега снегом и туманом,
Снова ночь нелетная даже для луны.

Лысые романтики, воздушные бродяги,
Наша жизнь – мальчишеские вечные года.
Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги,
Ты, метеослужба, нам счастья нагадай!

Солнце незакатное и теплый ветер с веста,
И штурвал послушный в стосковавшихся руках…
Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты,
В маленьких асфальтовых южных городках!

С песней этой в ту же осень произошла забавная история. Окончив полевые работы, мы летели домой в Ленинград через Туруханск, где застряли на несколько дней ввиду нелетной погоды – пришла ранняя полярная зима и замела Туруханск внезапной вьюгой. Оставалось только дожидаться. Настроение, однако, было приподнятое – после четырехмесячного сидения в тайге мы наконец возвращались домой в Ленинград, к чистому белью, к цивилизации, к родным и близким. Кроме того, мы были, конечно, уверены, что обнаруженные нами рудопроявления дадут начало новому Норильску.

Поздней метельной ночью мы почему-то решили зайти «на огонек» в дежурное помещение начальника туруханского аэропорта. Сам аэропорт представлял собой грунтовую взлетно-посадочную полосу, быстро раскисавшую под любым дождем, а здание аэропорта было обычной потемневшей и покосившейся на мерзлотной почве от времени избой. Начальник же аэропорта, судя по рассказам, был человеком далеко не заурядным. Мне уже довелось вскользь познакомиться с ним предыдущей весной в мае, когда, приходя к нему, я безуспешно выпрашивал у него вертолет для заброски на весновку, а он неизменно выставлял меня вон, точно указывая, куда именно я должен пойти. Меня еще тогда поразил его неизменно хмурый и похмельный вид, и я поинтересовался причинами такой постоянной мрачности. Причины, как выяснилось из рассказов, были серьезные.

Всего лишь год назад этот неприветливый и обрюзгший человек был майором военной авиации, пилотом первого класса и командовал где-то под Москвой эскадрильей тяжелых реактивных бомбардировщиков. Примерно через месяц ему должны были присвоить очередное воинское звание подполковника и назначить начальником штаба полка. Был он высок ростом, статен и широкоплеч и очень гордился личным сходством с «великим летчиком нашей эпохи» Валерием Павловичем Чкаловым. Именно

это сходство его и подвело. Я вспоминаю, как уже где-то в 80-е годы в Центральном доме литераторов выступал писатель Марк Галлай, в прошлом летчик-испытатель, Герой Советского Союза, с воспоминаниями о своем учителе Чкалове. «Валерий Павлович, – сказал он, – был человеком большой личной храбрости». Помолчал и добавил: «Любил выражаться по-русски». Снова помолчал и еще добавил: «К женщинам относился конкретно».

Примерно такими же чертами отличался и наш герой. Всем известна нашумевшая в свое время, еще до войны, история, как Чкалов на пари со своими друзьями-летчиками пролетел на самолете под главным пролетом Троицкого моста над Невой в Ленинграде. И хотя он продемонстрировал не только полное свое бесстрашие, но и уникальное пилотское мастерство, его все же надолго уволили из авиации и летать запретили. Герой нашего рассказа, всерьез относясь к своему сходству с великим летчиком, решил во что бы то ни стало повторить чкаловский подвиг. А поскольку больших мостов через реки в Подмосковье не оказалось, то он на пари с такими же асами посадил свой тяжелый современный реактивный командирский бомбардировщик на Можайское шоссе, и посадил, как утверждают очевидцы, классно. Не успел он принять поздравления и почать бутылку из трех ящиков выигранного им на пари коньяка, как дело о нем уже было передано командованию ВВС. К тому же еще совершенно некстати выяснилось, что по Можайскому шоссе пролегает трасса личных автомашин членов Политбюро. В итоге недолгого, но сурового разбирательства бывший командир эскадрильи был от командования отстранен, из майоров разжалован и из военной авиации навсегда уволен. Для исправления он послан был в Туруханск в Полярную авиацию, командовать аэродромом без права полетов. Потому-то и пребывал в перманентно хмуром состоянии.

Услышанная романтическая история только укрепила в нас желание немедленно пообщаться с начальником аэропорта, и мы, несмотря на поздний час, осторожно постучались к нему. В его полупустом кабинете, на огромном деревянном рубленом столе, за которым он сидел, подперев щеку кулаком, стоял селектор, соединявший его с аэродромными службами, пара телефонов и небольшой дюралевый бачок с упомянутым выше антиобледенителем. Антиобледенителем называется специальная жидкость, которая разбрызгивается на плоскости летящего самолета в северных широтах, чтобы они при полете в облаках и тумане не покрывались льдом и самолет не падал. Говорят, что в последние годы, благодаря успехам отечественной (а может быть,

зарубежной) химии, для летчиков изобрели что-то такое, что можно только лить на плоскости, но в то отсталое время это был чистый спирт-ректификат.

Посидев с хозяином, встретившим нас с неожиданным радушием, минут двадцать, я решился показать ему свою песню про полярных летчиков, не сказав, конечно, что это моя, во избежание неожиданных последствий (я уже говорил, что он был человеком невычисляемым). Когда, немного пригубив антиобледенителя, я эту песню спел, он действительно совершил поступок довольно неожиданный. Включив селектор, он объявил по аэродрому боевую тревогу, и когда минут через пятнадцать в кабинет набились испуганные, заспанные и полуодетые люди, он нетвердым голосом приказал: «Немедленно проснуться, отложить все дела и начать разучивать новую песню».

На следующий день его сняли и с этой должности. В бумаге, посланной по его персональному делу в Главное управление Полярной авиации, значилось, что он, «грубо используя служебное положение, пытался принудить во внеслужебное время сотрудников и сотрудниц (подчеркнуто особо. – ***А. Г.***) разучивать нецензурную песню неизвестного содержания». Понесенное им вторичное наказание не было, видимо, слишком долгим, уже через пару лет выяснилось, что он снова стал летчиком, на этот раз уже в системе Полярной авиации. А поскольку летчик он был действительно классный, то дела его довольно скоро пошли в гору. К середине 60-х он уже стал начальником крупного авиапредприятия на северо-востоке, был награжден орденами и впоследствии с почетом ушел на пенсию.

А песня осталась на Крайнем Севере как безымянная. Впрочем, не совсем безымянная. Однажды мне довелось лететь самолетом из Мурманска в Москву. Седой командир корабля, с многочисленными орденскими планками на тужурке, идя по проходу между креслами, оглянулся на меня и спросил: «Простите, я не обознался? Это вы „Кожаные куртки“ написали?» – «Я», – сознался я, смутившись. «Напишите мне что-нибудь на память. Это ведь наша песня». После этого я был приглашен в кабину, где и присутствовал при посадке. Песня эта, в числе четырех моих наиболее популярных по данным «всенародного» опроса песен вместе с песнями «Снег», «Перекаты» и «Атланты», вошла в первый диск «Песни нашего века», вышедший в Москве в 1998 году по инициативе Георгия Васильева и Алексея Иващенко.

Надо сказать, что на эту песню, как и на многие другие мои ранние песни, написано немало пародий. Вышло так, что значительную часть своей жизни я провел среди мужчин, на долгие месяцы оторванных от нормальных условий жизни, от

родного дома и от женщин. Семнадцать лет на Крайнем Севере, потом около тридцати лет в океане. Ну, а поскольку народ, окружавший меня, – геологи, летчики, моряки, были в основном молодыми и достаточно задорными, то большинство пародий на мои песни носило ярко выраженный сексуально-питейный характер.

Одна из первых пародий была написана на песню «Кожаные куртки» моим коллегой и многолетним другом геологом Михаилом Константиновичем Ивановым, с которым я встретился впервые в 1958 году, когда, поняв, что уран искать в правобережье Енисея бесполезно, переквалифицировался на поиски медно-никелевого оруденения. Весной 1959 года нас вдвоем с Ивановым еще по апрельскому снегу выбросили вертолетом на весновку в район реки Колю, притока реки Северной, где предстояло провести детальное обследование выявленных там медно-никелевых рудопроявлений. Около двух месяцев мы с Михаилом прожили вдвоем в палатке, отрезанные от внешнего мира. Сначала мы выходили на лыжах осматривать обнажения, а потом, в мае, когда началось снеготаяние, и лыжи стали непригодны, просто топили «буржуйку» и ожидали, пока сойдет снег. Он, увлекавшийся живописью, обычно вытаскивал на солнце мольберт и краски, а я садился с тетрадкой писать стихи, в числе которых и была написана «Песня полярных летчиков». «Ну, и компания подобралась, – смеялся Михаил, – стишки, картинки, а кто геологией заниматься будет?» Питались мы выданным нам яичным порошком, китайскими консервами «Великая стена» и сухарями и читали по очереди единственную книгу, захваченную нами из Игарки из числа все тех же книг, полученных в тюремной библиотеке. Это был роман Ричарда Олдингтона «Все люди – враги». В этом весьма сентиментальном романе действие происходит в Англии в пору Первой мировой войны. Герой романа, оставив свою подругу, отправляется воевать в Европу, а она за это время успевает ему изменить. Когда он возвращается, то, ничего ему не объясняя, она очень долго не подпускает его к себе, считая, что «должна морально очиститься», и причиняет ни в чем не повинному герою немалые страдания. Мне эта ситуация не понравилась, о чем я и заявил Михаилу. Он же, будучи поклонником Олдингтона, сердито ответил: «Да, да, Саша, твои ухватки мы знаем. Ты ведь высокой и чистой любви не понимаешь. Тебе надо, чтобы сразу в койку! Как это поется в твоей новой песне?» После чего он с ходу выдал пародию из двух строчек:

Кожаные брюки, брошенные в угол,

Юбкой занавешенное низкое окно.

Несколько позднее все тот же Иванов написал довольно едкую пародию на мою песню «Деревянные города», в которой продолжал обличать мою примитивную сексуальность:

В какой бы ни попал я уголок,
Мне разводить не надо канители:
Дровами, заготовленными впрок,
Ложатся дружно женщины в постели.

В той же пародии содержалась довольно верная, хотя и нелицеприятная, характеристика моих вокальных способностей:

А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как Городницкий.

Много лет спустя, в марте 1993 года, на мой шестидесятилетний юбилей московский автор и пародист Игорь Михалев, намеренно использовав строчку из давней пародии Иванова: «Кожаные брюки, брошенные в угол…», написал новую пародию, точно отражающую мое нынешнее жалкое старческое состояние:

Кожаные брюки вновь на старом месте,
И в стакане челюсть бьется о края.
Ты чего пристала, школьница-невеста?
Отойди от дедушки, милая моя.

В 1991 году в Израиле в перерыве моего авторского концерта ко мне подошел старый седой человек в пиджаке несмотря на жару, с большим числом советских орденских колодок и сказал: «Я старый полярный летчик, всю жизнь работал в Арктике, с фашистами воевал. Вашу песню полярных летчиков пою много лет. Думал, что народная. Теперь вот уже несколько лет сижу здесь. Уделите мне, пожалуйста, после концерта хоть полчаса, про Арктику вспомнить. А то ведь здесь поговорить не с кем…» Смотрю, а у него из кармана пиджака выглядывает горлышко водочной бутылки. Потом он горестно хмыкнул и произнес следующие исторические слова: «И кому нужна в Израиле Полярная авиация?»

С тех давних северных экспедиций запомнился мне и еще один увлекательный и небезопасный способ путешествия – плавание по северным рекам на байдарках или надувных резиновых лодках, именуемых почему-то «клиперботами». Реки были быстрые, порожистые, иногда непроходимые, с большим числом водопадов и перекатов, особенно в правобережье Енисея. Чтобы защитить тонкие резиновые борта от острых камней, их часто обвязывали снизу брезентом. Надувные лодки обычно состояли из трех и более отсеков, что, однако, не всегда давало гарантию безопасности на перекатах. Каждый раз, прежде чем проходить на плаву опасный участок на неведомой реке, полагалось тщательно осмотреть его с берега. Это, однако, в тяжелом дневном переходе, под комарами, далеко не всегда выполнялось, так как требовало дополнительных усилий. Результатом были довольно частые в те годы несчастные случаи на воде, в том числе и с трагическим исходом. Но об этом ниже.

С 1958 по 1962 год мне каждую весну доводилось летать из Питера в Игарку в начале полевого сезона. Пару лет назад я вспомнил об этом, снова вылетая из Питера на Север.

Под крылом над спящим Ленинградом
Небо разгорается в дыму.
Мой сосед, со мной сидящий рядом,
Он куда летит и почему?

Осторожным удивленным глазом
Он в окно глядит на облака.
Он покуда не женат ни разу
И друзей не хоронил пока.

Снежного не покидал причала,
С черной не соседствовал бедой.
Он худой, носатый и курчавый, —
Я сутулый, лысый и седой.

Повидал пока он в жизни мало,
В дальний отправляясь перелет.
Ждет его на Мойке дома мама,
А меня никто уже не ждет.

Как бы жизнь свою построил, если
Все начать сначала, не пойму.
Мой двойник, сидящий рядом в кресле,
Он куда летит и почему?

Снова оказалось по пути нам,
Неразрывным связанным родством.
Я лечу на турбореактивном,
Он еще на старом – винтовом.

За окошком сгустки черной влаги
Превращает солнце в молоко.
Далеко лететь ему, бедняге, —
Мне уже – совсем недалеко.

Пропасти под облаками круты.
На востоке теплится рассвет.
Мы летим по одному маршруту
С разницею в пять десятков лет.

Поскольку в 1957 году в мои обязанности входила проверка попутных поисков урана в полевых партиях, то мне немало пришлось с самого начала пространствовать по туруханской тайге в правобережье Енисея вместе с начальником Енисейской экспедиции Анатолием Васильевичем Лоскутовым. Мы перебирались обычно с караваном оленей из расположения одной партии в другую, где он проверял, как идет съемка, а я – состояние попутных поисков. Был он человек довольно интеллигентный и, видимо, неплохой геолог, но сильно пьющий. Он оказался хорошим рисовальщиком и, кажется, даже учился прежде в Мухинском.

В пути нас сопровождало два десятка вьючных оленей, которыми командовали эвенки – каюр Мишка Довендук и его жена Тоська с удивительно красивым и тонким лицом и безнадежно кривыми ногами. У Мишки Довендука брат был милиционером, и это, по твердому Мишкиному убеждению, давало ему безусловное право относить себя к высшему эшелону власти. Он поэтому никогда не расставался с красно-синей милицейской фуражкой, подаренной ему братом, и к другим каюрам относился свысока. Эту социальную спесь с Мишки, однако, постоянно сбивала его жена, непрерывно бранившая его день и ночь. За всю свою жизнь, ни до, ни после, я не слышал, чтобы женщина так отчаянно и беззастенчиво материлась. Обычно мы с Лоскутовым с утра уходили в маршрут, а каюры, сняв лагерь и навьючив оленей, должны были к вечеру переместить его на другое указанное на карте место. При вечерних поисках лагеря в незнакомой таежной местности мы с

Лоскутовым практически никогда не испытывали затруднений, так как уже метров за триста был отчетливо слышен пронзительный голос кричащей на мужа Тоськи, служивший нам безошибочным ориентиром. Иногда, хотя и довольно редко, своей постоянной руганью Тоська настолько донимала супруга, что он все-таки не выдерживал. В запасе против сердитой подруги у него всегда был один-единственный козырь. «А тебя, Тоська, солдат…!» – торжествующе выкрикивал он в самые критические моменты семейной перепалки, и Тоська на какое-то время действительно умолкала, все же испытывая, видимо, определенное смущение при упоминании о ее явном грехе, весьма, правда, недолгое.

В наших каюрах-эвенках, при всей детскости и неустройстве звериного их бытия, меня всегда привлекало чувство удивительного, недоступного нам, горожанам, единения с окружающей природой, ощущения себя частью ее. Живя, на наш взгляд, в грязи и нищете, в нечеловеческих условиях, напиваясь до бесчувствия спиртом или одеколоном, они в то же время смотрели на нас с мягким и снисходительным превосходством хозяев окружающего мира по отношению к недолгим и ничего не понимающим пришельцам. Они мирились с необходимостью нашего обязательного присутствия в их жизни, но вряд ли воспринимали нас всерьез.

Мне нравилось скупое и надежное архитектурное устройство их высокого чума, который можно было возвести на любом месте за несколько минут из жердей, оленьих шкур и веревок. Высокая острая крыша с отверстием в ней обеспечивала хорошую тягу, поэтому, когда в чуме разводили огонь, то дым весь уходил вверх, а тепло всегда оставалось, что мы особенно оценили в начале ранней полярной зимы, когда попытки согреться с помощью «буржуек» в наших тоненьких и моментально выдуваемых брезентовых палатках приводили только к их загоранию. Котел с едой кипел прямо здесь – в чуме, и не надо было выскакивать, чтобы поесть, наружу, под дождь или снег. Постоянным и неизменным источником их существования были олени – они ели оленину – свежую или вяленую, одевались с ног до головы в оленьи шкуры, спали на полу, застланном такими же шкурами, обеспечивавшими тепло и сухость, и даже чумы свои строили из оленьих шкур.

Природная незлобивость этих детей лесотундры, философский созерцательный склад ума располагали их к мягкому юмору. Рассказывали такой эпизод, случившийся в те годы в нашей енисейской экспедиции. Вдоль таежной речушки по оленьей тропе медленно движется караван оленей. На передних

нартах сидит каюр эвенк и невозмутимо курит трубку. К этим же нартам привязаны, чтоб не упали, мертвецки пьяный начальник партии и вьючный ящик. На вторых нартах трясутся так же надежно привязанные мешок картошки, два рюкзака, палатка и пьяный геолог. Навстречу едет эвенк на нартах и тоже курит трубку. Поравнявшись со встречной нартой, он спрашивает у каюра: «Эй, мужик, куда едешь, чего везешь?» – «Экспедиция, – невозмутимо отвечает каюр, – всякий разный груз».

И в первый, и в последующие годы, когда мне довелось работать и жить с эвенками, меня всегда занимал незатейливый, но точный механизм негромких песен, которые они пели. Вот движутся неспешно по тайге нарты, я подремываю, а каюр сквозь зубы, не выпуская изо рта трубки, тихо напевает что-то односложное на непонятном мне языке. «Мишка, про что поешь?» – спрашиваю я у него. «Как про что? Про реку, – удивляется он, – вдоль реки, однако, едем». Проходит минут двадцать, а мотив песни как будто не меняется. «А теперь про что, все еще про реку?» – «Нет, однако, теперь про сосну – вон большая сосна показалась». Еще через полчаса в песне начинают вдруг появляться нотки повеселее. «Что, опять про сосну?» – «Совсем не про сосну, – терпеливо и снисходительно, как глупому ребенку, объясняет он мне. – Видишь, дым над лесом появился – чум, однако, близко». Эта нехитрая творческая манера – петь только о том, что видишь и знаешь, заимствованная у наших каюров, на долгие годы запала мне в сердце.

Что же касается оленей, то странные безропотные эти животные всегда вызывали мое удивление своим неизменным безмолвием в любых случаях жизни. Они даже умирали молча – только плакали. В жаркое летнее время они десятками гибли от «копытки». Пару раз случалось нарты с грузом таскать на себе. Зрелище молча умирающих оленей в первый год так поразило меня, что я написал какие-то весьма чувствительные стихи о нашей экспедиционной жизни, которые начинались так:

В болотах ложатся и гаснут олени —
Все меньше оленей в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?

Была там еще одна особо понравившаяся мне строчка: «Тревожными тонкими голосами кричат исступленные каюры». Вернувшись в Ленинград, я имел неосторожность показать эти стихи Нонне Слепаковой и заодно рассказал о поисках урана и тяготах экспедиционной жизни. Она немедленно откликнулась

пародией:

Хочу написать я о женских коленях —
Их было немало в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?
Когда колотил молотком по каменьям
И партию вел в бурелом и буран,
До боли скучал я по женским коленям,
Но пагубно действует подлый уран.
Мы поняли – стать не придется отцами —
Мужьями не быть наступила пора.
Тревожными тонкими голосами
Кричат исступленные фраера.
И я подвываю, считаю оленей,
И слушаю тихо, как буря гремит.
Пишите мне письма, хозяйки коленей,
Мой адрес несложен: Игарка, Гранит.
Я к вам относился добротно, без лени,
Но чувствую я перемену в себе.
На что мне колени, чужие колени?
Все меньше коленей в моей судьбе.

Возвращаясь к многодневным нашим маршрутам с Лоскутовым, должен сказать, что благодаря им мне удалось освоить в первый же год все виды внутритаежного транспорта – от самолета и вертолета до оленей и надувной лодки. Маршруты эти закончились примерно через месяц, когда, пнув ногой последнюю пустую флягу из-под спирта, он улетел на центральную базу на Горбиачин. Там он запил уже серьезно. Выходя по утрам из своей палатки, чтобы осмотреть новые горные выработки – шурфы или канавы, которыми пытались вскрыть рудные тела, он с трудом подходил к краю канавы и, брезгливо морщась, говорил: «Что это у вас? Долериты? Какая гадость!» И шел обратно похмеляться. На следующий год он был с позором из начальников изгнан, и на его место назначили пожилого и непьющего Михаила Никитовича Злобина, невысокого человека с крестьянским, иссеченным морщинами лицом, тихим голосом и цепким глазом. «Никель-то мы, конечно, не найдем, – говаривал он обычно. – И пес с ним, пес с ним! А вот копеечку государственную, копеечку-то сбережем. Это уж будьте спокойны!»

В 1958 году я, окончательно разочаровавшись в «попутных поисках урана», переквалифицировался на геологическую съемку,

а потом на магниторазведку при поисках медно-никелевых руд сначала в районе реки Горбиачин, а потом южнее, на реке Колю.

Оперативная связь базы экспедиции с полевыми партиями осуществлялась по радио. Каждый день в указанное время обычно после маршрутов, в районе девяти вечера, все партии со своими позывными вызывались центральной рацией из Игарки, и передавались сообщения и почта. Если слышимость была плохая – работали ключом, если же хорошая, то пользовались просто микрофоном. Часто поэтому сугубо личные телеграммы, посланные из Ленинграда по телеграфному адресу – Игарка, Гранит, далее, – становились известными всем. Помню, например, как рабочий одной из партий получил от жены телеграмму такого содержания: «Вышла замуж, прошу развод, целую, Шура», а наш студент-дипломник из Университета получил от любимой девушки такой ободряющий текст: «Коленька ура все в порядке ничего не будет целую Нина». С радиограммами этими вообще было много трагикомических историй. Так, в Ленинград из одной экспедиции, работавшей на Таймыре, была послана телеграмма, подписанная ее участниками: «Иванов, Поммер». На телеграфе заменили «Поммер» на «умер», и в Ленинграде семья ни в чем не повинного Иванова испытала нервный шок. Были и смешные истории: заместитель начальника нашей экспедиции, попав в Туруханск, прислал оттуда в Игарку телеграмму: «Пароходом выехать не могу думаю баржей». Ответ начальника гласил: «Думайте головой выезжайте чем хотите».

Из-за этого «телеграфного стиля» немало насмешек пришлось перенести и мне. Я в то время занимался уже магнитной съемкой. На базе экспедиции в Игарке стояла самодельная вариационная станция, которую обслуживала молоденькая девица Соня Коварженко, славившаяся своей наивностью и невинностью на всю экспедицию. Станция эта должна была работать бесперебойно, иначе все измерения в тайге оказались бы бракованными. Поэтому, уезжая в поле, я строго-настрого предупредил Соню: «Главное, чтобы не было никаких задержек в измерении вариаций, иначе мы в тайге будем работать впустую, понятно?» Каждый вечер, в строго установленное время, к чему уже все привыкли, Коварженко вызывала по радио Городницкого, и начиналась длительная передача вариаций: «Шесть ноль-ноль – двадцать шесть, ноль пять – двадцать две» и так далее. Вдруг передачи эти прекратились, и на третий день, вместо ожидаемых данных о вариациях, пришла паническая телеграмма: «Саня, третий день задержки, что делать? Соня». Надо мной долго издевалась вся экспедиция.

Одним из моих первых начальников партии оказался старый

геолог Борис Борисович Мариенгоф, младший брат Анатолия Мариенгофа, того самого, который вместе с Есениным был когда-то основоположником имажинизма и написал книгу «Роман без вранья». Старший брат, судя по рассказам Бориса Борисовича, не слишком признавал младшего, который, несмотря на отсутствие высшего образования, обладал глубоким аналитическим умом и стремлением к философии. «Саня, – поучал он меня, – жене, конечно, можно изменять, но уж признаваться в этом ни в коем случае нельзя. Потому что если ты признаешься женщине, что был с другой, – это самое для нее оскорбительное. Поэтому всегда и все отрицай, несмотря даже на очевидные факты. Пусть она прямо с другой тебя в постели застанет, все равно говори – не было, тебе показалось – оптический обман. И рано или поздно она тебе все-таки поверит, потому что хочет верить. Понял? Значит, главный принцип такой – не верь своим глазам – верь моей совести».

«А теперь, – заявил он мне как-то, – я объясню тебе механизм власти. Вот, погляди, у меня двадцать работяг и двадцать пар сапог. Я им сапоги раздал, и они на меня плюют: я им не начальник, я – завхоз. А сейчас представь себе другую ситуацию: у меня двадцать рабочих и только десять пар сапог. Я уже начальник – я кому-то могу дать, а кому-то – нет, понял? В этом и есть главный принцип власти».

Его улыбающаяся, всегда небритая физиономия с мясистым горбатым носом, никак не гармонировавшая с неизменной морской фуражкой, с которой он никогда не расставался, казалась лукавой и плутоватой. Однажды, после какой-то крупной пьянки, он выстроил в шеренгу своих работяг, которые его обожали, вызвал из палатки меня и спросил заплетающимся языком: «Саня, скажи, а вот есть в Ленинграде такой поэт – Шефнер?» – «Ну, есть», – негромко ответил я, удивленный неожиданностью и неуместностью вопроса. «Громче говори, а вы, босяки, все слушайте, понятно?» – «Есть такой поэт», – уже громко выкрикнул я, ничего по-прежнему не понимая. «Хороший поэт?» – снова спросил Мариенгоф. «Ну, хороший, а что?» – «Нет, еще раз скажи, что хороший, а вы все слушайте!» – «Хороший», – заорал я громко. «Так вот, – торжествующе заявил Борис Борисович, подняв вверх палец, – я у него в 38-м году в Ленинграде бабу увел!»

С тех позабывшихся времен я не видел Бориса Борисовича Мариенгофа более двадцати лет. Однако совершенно неожиданно в конце 80-х годов встретил его в переполненном вагоне ленинградского метро. «Привет, Саня, – окликнул он меня и, как будто продолжая прерванный только вчера разговор, сказал: – А я

все-таки этих сук обманул (он показал пальцем вверх) – у меня сын в Париж уехал!» И улыбнувшись своей плутоватой улыбкой, сошел на следующей остановке.

Первый полевой сезон в Заполярье подарил мне также знакомство и дружбу с удивительным человеком – Анатолием Клещенко. Мне вспоминаются жаркий июльский день 1958 года, наполненный неотвязным гудением комаров на порожистой и стремительной таежной реке Горбиачин, в правобережье заполярного Енисея, и узкая заплатанная байдарка с двумя бородачами в накомарниках и видавших виды штормовках, выскочившая из-за поворота перед нашей стоянкой. Оба они оказались нашими земляками-ленинградцами, один, как и мы, геолог, Вадим Драгунов, а второй, невысокого роста, худощавый, с цепким внимательным взглядом и дымящей трубкой, назвался сезонным рабочим. Так произошло мое первое знакомство с Анатолием Клещенко, поэтом, писателем и охотником, человеком трудной и легендарной биографии, опубликовавшим свои первые стихи в 1937 году, принятым в Союз писателей в 39-м и осужденным на максимальный срок за антисталинские стихи в 40-м.

Анатолий Клещенко родился 14 марта 1921 года в деревне Поройки Ярославской области. Отец Толи – Дмитрий Андреевич – был «богомазом», реставрировал иконы в церквах города Мологи, ушедшего вместе с ними на дно Рыбинского водохранилища. Говорят, до сих пор в окрестных деревнях в некоторых домах висят иконы, написанные отцом Анатолия. В 11 лет Толя решил убежать в Америку, но вместо этого в Молдавии попал в табор к цыганам и почти год кочевал вместе с ними, научился ходить на руках, делать сальто. Там же он в совершенстве изучил блатной жаргон, что немало помогло ему впоследствии в лагерях. После того как отец разыскал беглеца, он отвез его в Киево-Печерскую лавру, где обучил иконописному мастерству. Это тоже помогло и в лагере, и в последующей ссылке под Красноярском. Я помню, что стены в его последней квартире в Петропавловске-Камчатском были поначалу разрисованы им самим, но вмешался бдительный «домовой комитет», и пришлось живопись со стен убрать.

Анатолий не получил высшего образования в молодости, но был упорным самоучкой, человеком редкого стремления к культуре и познанию. В его детском и юношеском воспитании большую роль сыграли известный литературовед Борис Иванович Каплан, расстрелянный в 41-м году, и его жена Софья Шахматова. Борис Иванович впервые был арестован еще в 34-м году, так что обстановка произвола и репрессий была знакома Толе с детства.

Его ранние поэтические публикации привлекли внимание Анны Ахматовой и Бориса Корнилова. Зверские пытки и избиения в подвалах печально знаменитого Большого дома на углу Литейной и Шпалерной не сломили девятнадцатилетнего юношу и не заставили его отречься от найденных у него при обыске самоубийственных стихов, в которых он непримиримо обличал сталинизм и самого Сталина:

Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег,
Но все равно не спится по ночам
И под охраной пулеметных вышек.
Что ж, дыма не бывает без огня:
Не всех в тайге засыпали метели!
Жаль только – обойдутся без меня,
Когда придут поднять тебя с постели.

В темные и страшные времена, когда, не выдержав физических и нравственных мук в застенках, бывалые бойцы покорно подписывали заведомо ложные обвинения, отрекаясь от самих себя, Анатолий нашел в себе силы и на суде бесстрашно обличать сталинщину. Почему его не расстреляли? По чистой случайности – как раз в это время ненадолго была отменена смертная казнь. Вместо этого ему предстояло заживо сгнить в лагерях. Шестнадцать беспросветных лет провел он там, но не погиб, не сломался и не согнулся.

В лагере, в нечеловеческих условиях неволи и каторжного труда, состоялось его поэтическое и нравственное становление. Там он ухитрился написать несколько циклов стихов и поэму о своем любимом герое – Франсуа Вийоне. Выбор героя его поэмы – не случаен. Именно великий французский поэт, вынужденный общаться с судьями и палачами, давал Анатолию силы выжить в беспросветных потемках ГУЛАГа, и выжить достойно. Да и соседями его подчас оказывались весьма достойные люди – такие, например, как Василий Семенович Буняев – впоследствии автор многих учебников по французской и немецкой литературе.

Пройдя все круги лагерного ада, Клещенко не согнулся, не ожесточился, не озлобился. XX съезд и реабилитация в 1957 году вернули его в родной Ленинград. По ходатайству Анны Ахматовой, Бориса Лихарева и Анатолия Чивилихина его заново приняли в Союз писателей, поэтому до самой смерти в его документах значилось, что он член Союза не с 39-го, а с 57-го. Приходилось все начинать с нуля. Стихи его не печатали. Александр Ильич Гитович помог ему с переводами – надо было на

что-то существовать. И тогда Анатолий начал писать прозу («для денег», – говорил он сам). Его переводы тибетских народных песен, сделанные в 1957 году, сразу же получили самую высокую оценку Л. Н. Гумилева и Б. И. Панкратова.

В последующие годы в Ленинграде одна за другой стали выходить из печати его повести: «Дело прекратить нельзя», «Распутица кончается в апреле», «Когда расходится туман», «Это случилось в тайге». А вот стихи практически не печатали. Слишком горькими и обличительными казались они осмотрительным редакторам «эпохи застоя», подспудно замалчивавшей и обелявшей годы сталинских репрессий. Так появился писатель Анатолий Клещенко, а поэт как бы исчез. Анатолию, однако, было душно в городе, где, по существу, мало что изменилось. Все, кто сажал его, остались на своих местах. Будучи человеком прямым и бескомпромиссным, он не мог спокойно чокаться в ресторане Дома писателей с доносившими на него стукачами, в том числе с преуспевавшим поэтом Николаем Новоселовым, чей донос сыграл роковую роль в его судьбе. На лето Анатолий нанимался сезонным рабочим в геологическую экспедицию и уезжал в тайгу и тундру.

После нашего неожиданного знакомства на Горбиачине мы не раз встречались с Толей в Ленинграде и в Комарове, где он жил рядом с Анной Андреевной Ахматовой. В шумных геологических застольях, где все звали его просто Толя, всегда поражали его скромность, сосредоточенность и немногословность. По его простецкому виду, бороде и постоянной трубке, с которой он никогда не разлучался, все окружающие принимали его за типичного геолога. Даже Анатолий Найман, ночевавший у него в те годы в Комарово, в своей книге об Анне Ахматовой не назвал его имени среди поэтов – соседей Анны Андреевны по Комарово, а на недоуменный вопрос вдовы ответил: «Я думал, что он геолог». О стихах его, и прежде всего о лагерных стихах, не знали даже самые близкие приятели. Вряд ли он надеялся когда-нибудь их опубликовать. За этим обликом неизменно скромного и доброжелательного рубахи-парня трудно было распознать героя, обличавшего всесильного злодея, и поэта трагической судьбы.

В то время стали известны песни Александра Галича, и Анатолий один из первых зазвал его к себе и записал на магнитофон. Потом он как-то неожиданно исчез из Ленинграда, а через год выяснилось, что он навсегда покинул Питер, завербовавшись на Камчатку в качестве инспектора охотхозяйства Елизовского района. Уход в тайгу был уходом от ненавистной ему жизни. Наша последняя встреча с ним состоялась в сентябре 1974 года в Петропавловске-Камчатском, куда я попал как

участник Всесоюзной конференции по вулканологии, в его маленькой квартирке, напоминавшей старинное жилье настоящего охотника: чучела зверей и птиц между грубыми самодельными полками, заставленными книгами, медвежьи шкуры на полу и на стенах. Мы просидели тогда вдвоем целую ночь до утра, он читал мне свои стихи, агитировал махнуть с ним на Командоры, был полон сил и не всегда свойственного ему веселья. Договорились встретиться через полгода в родном Питере, куда он собирался вернуться. Однако судьба судила иначе. Через две недели после нашей встречи Анатолий отправился на последнюю (как он считал, перед возвращением) охоту. Охота эта действительно оказалась последней. Заброшенный на промысел вертолетом, Клещенко жестоко простудился и заболел двусторонним воспалением легких. Охотничья избушка оказалась разбитой. А тут еще, как назло, наступила нескончаемая пора ураганных ветров и ледяных ливневых дождей, столь частых осенью на Камчатке. Почти два штормовых ненастных месяца в безлюдной тайге, без помощи и медикаментов боролся он со смертью. В этом последнем беспощадном поединке снова проявились стойкость его характера, несгибаемое мужество перед лицом беды. Слабея от болезни, кашляя кровью, из последних сил он заставлял себя подниматься на работу и осмотр леса. Когда наконец прилетел вертолет у него еще хватило сил забраться в кабину. Но было уже поздно…

В Ленинграде, в просторном и полутемном вестибюле Союза писателей на улице Воинова, почти напротив места, где его когда-то пытали, я встретился с его гробом, привезенным с Камчатки. Прах его захоронили в Комарово, неподалеку от могилы Ахматовой. Он снова стал ее соседом, теперь уже навсегда.

Анатолий Клещенко прожил всего пятьдесят три года нелегкой и героической жизни. Лучшие его стихи только в перестроечные времена начали свой путь к читателю – горькие и непримиримые лагерные стихи, полная юношеского романтизма и сарказма поэма, посвященная его любимому герою и поэту – Франсуа Вийону, философская лирика последних лет.

Переехав в Москву в 1972 году и попадая в Питер только нечастыми наездами, я редко теперь бываю в Комарово и еще реже – на удаленном от станции кладбище, среди могил которого прорастает все больше надгробных камней с близкими мне именами.

Полевой сезон 1959 года начался для меня с описанной выше весновки с Михаилом Ивановым. В конце мая к нам закинули

вертолетом рабочих и техников, из Ленинграда прибыл второй геолог – Станислав Погребицкий, и начались поисковые работы на медно-никелевое оруденение, включавшие и магниторазведку, за которую отвечал я.

Не обошлось и без экзотики. Заместитель начальника экспедиции Петухов с первым же вертолетом прислал к нам нанятую им в Игарке на сезон повариху, шуструю чернявую девку с золотыми зубами и блатной татуировкой. Свою программу она объявила тут же у трапа вертолета, откуда выгрузилась, держа в руках большую гитару, перевязанную огромным розовым бантом: «Буду со всеми, а начну с начальства». Вечером того же дня начались первые неприятности. Мы с Мишей и Стасом мирно выпивали в своей палатке, как вдруг раздался истошный женский крик: «Помогите, насилуют!» Мы выскочили наружу. Крик повторился. Ориентируясь на него, в уже полной темноте, мы вышли на взлетную площадку, куда днем приземлился вертолет. Посреди площадки лежала Шурка (так звали нашу новую повариху), одна, совершенно одетая, и орала благим матом. «Насилуют», – снова крикнула она, увидев нас, и захохотала. Выяснилось, что она пьяна в стельку и встать на ноги не может. «Значит, померещилось, – заявила она нам в ответ на нашу негодующую реакцию. – Уж и помечтать девушке нельзя!»

Первым объектом ее устремлений стал Миша Иванов, бывший тогда начальником нашей партии. У нас в палатке стоял старый ламповый приемник, на стенке которого были наклеены какие-то цветные женские головки, с обертки из-под немецкого туалетного мыла. Каждый вечер она повадилась приходить к нам, невыносимо надушенная. «Михаил Иванович, скажите, – это ваша жена? – кивала она на наклейки. – Какая красивая! А я, однако, вам больше подойду. Вы не смотрите, что я на вид такая худая – просто кость у меня тонкая, а с меня ведь не враз встанешь!» Потом она принималась закидывать ногу на ногу, и шелковая юбка, сползая, обнажала ее смуглое бедро с синей вытатуированной на нем надписью «добро пожаловать» и указывающей вверх стрелкой. Несколько дней подряд мы ее успешно выставляли, но потом Иванов не вынес натиска и сбежал вместе со Стасом в недельный маршрут, оставив за старшего меня.

Тут уж настала тяжелая жизнь и для меня. По ночам я наглухо законопачивался в палатке, хотя и переселил туда своего приятеля геофизика Володю Юрина, чтобы не оставаться одному. Шурка обозлилась. По утрам, направляясь к большой армейской палатке, где располагался наш камбуз, на завтрак, я слышал, как она, разливая кашу, держит речь перед нашими проходчиками под их одобрительный смех: «Он что же думает, что если он образованный, то он могет от меня свой жидовский нос воротить? Не выйдет. Все равно я его уделаю!» Я разворачивался и шел обратно в палатку завтракать лежалым сухарем. На мое счастье,

через пару дней нашлись добровольцы, закрывшие собой эту амбразуру, и даже, как выяснилось позднее, довольно многочисленные, но неприятности на этом не кончились. «Александр Михайлович, – заявила она, явившись ко мне через пару дней, уже вполне серьезно, – вызывайте санрейс – мне свернули матку».

Ужас охватил меня при этих словах. Сказалось, что я, взращенное в наивности городское чадо, прожившее всю досюлешнюю жизнь с добропорядочными родителями, оказался теперь в дикой тайге среди грубых, безжалостных людей, где понимают только мат, и даже женщины теряют человеческий облик! Первой мыслью было срочно послать радиограмму в Игарку и вызвать санрейс. Это, однако, тоже было делать боязно, потому что если вызов оказывался ложным, то меня ожидало строжайшее наказание. Слегка успокоившись и подумав, я все-таки решил, что если бы все было так, как она заявила, то навряд ли она явилась бы ко мне, подбоченясь и с папиросой в зубах. Оказалось, что она опять пошутила.

На следующий день, воспользовавшись правом старшего, я все-таки вызвал вертолет и приказал дрожащим голосом погрузить ее туда вместе с баулом и гитарой с бантом. Этим, однако, дело не кончилось – пока вертолетчики обедали у нас, она успела «признаться» одному из своих новоявленных хахалей, что у нее гонорея. Тот побледнел и кинулся в свою палатку. Когда настала пора отправлять вертолет, ко мне подошли девять (из двенадцати) наших мужчин и, переминаясь с ноги на ногу, заявили, пряча глаза: «Михалыч, отправляй нас тоже – значит, и у нас…» Всю бригаду загрузили в вертолет, выкинув из него ящики с образцами, и отправили в Игарку, сорвав все работы партии примерно на неделю. В Игарке, к счастью, выяснилось, что она снова пошутила. Тут же послали за Ивановым, и мы все наконец облегченно вздохнули. Я же все последующие годы, пока работал начальником партии, женщин больше в повара не брал…

Контингент наших техников и рабочих, набранных только на сезон еще в Питере, как уже я упоминал, состоял из людей случайных, и хотя, принимая на работу, требовали показать паспорт и с судимостями старались не брать, люди попадались всякие. На этом фоне выделялся Федор Васильевич Гусев, неизлечимый алкоголик, которого называли Федя, невысокого роста, плотный, с седыми кавалерийскими усами и цепким неприятным взглядом пустых и неотвязных глаз. Пил он при каждом удобном случае. Выпив, становился агрессивен и назойлив. Я как-то, понадеявшись на его фронтовое прошлое, назначил его было завхозом, но он при первой же поездке в

Игарку пропил все казенные деньги, да еще и продал нашим эвенкам-каюрам закупленный им для экспедиции фталазол, выдав его за противозачаточное средство. Ходил он в неизменном донельзя вытертом и лоснящемся пиджаке с орденом Красной Звезды. Всю войну, если верить ему, прошел «от звонка до звонка».

О карьере своей военной рассказывал так: «Был я сержантиком, был я лейтенантиком, был я и капитанишкой… Потом – опять сержантиком». Служил он поначалу в танковых частях, потом – в штрафбате. Говорить с интересом мог только о двух предметах, которые знал досконально – о системах немецких танков и женских задницах. Вспоминая какую-нибудь свою давнюю знакомую в разговоре за столом, он вдруг заявлял: «Как же, помню, мы с ней были в хороших отношениях». Это означало, что он с ней спал. На мой недоуменный вопрос он удивленно возразил: «А вы что, считаете, что это плохие отношения?» Уважения ко мне он не испытывал решительно никакого, особенно после того, как, вспоминая каких-то своих фронтовых друзей, сказал: «Да какие они мне друзья – суки они, все меня продали потом. Я таких друзей полетанью мажу». Когда я спросил у него, что такое «полетань», он заорал мне в лицо, что не может быть в тайге начальником человек, который не знает элементарных вещей, – такой начальник всех погубит, и это впрямь вызвало довольно долгое скептическое отношение ко мне со стороны наших работяг.

Был и еще один, Семен Иванович Зайцев, убивший в разное время пять человек и отсидевший «по мокрому делу» в разных лагерях лет пятнадцать, а потом досрочно освободившийся по сложной зачетной системе. По вечерам он подсаживался ко мне и вздыхал: «Эх, Александр, тут же скука смертная! Тут же только мы с вами двое – интеллигентные люди, не с кем слова сказать!»

К вопросам жизни и смерти, впрочем, относились довольно просто. Летом того же 59-го года к нам на Колю прислали огромного черного азербайджанца Ахмеда с его подругой Фаридой для промывки шлихов. Однажды вечером Фарида у костра поулыбалась мне несколько больше, чем, по мнению Ахмеда, это полагалось. На следующий день я вместе с его бригадой пошел с утра на шлихи вдоль берега Колю. Время было утреннее, прохладное, поэтому одет я был, как и все прочие, в ватник, а на спине болтался сзади полупустой рюкзак. Ахмед шел след в след по тропе за мной. Вдруг я почувствовал какое-то горячее прикосновение к левой лопатке. Ощущение было не столь болезненным, как неожиданным. Я обернулся и увидел Ахмеда, молча заносящего окровавленный нож для второго удара.

Поскольку в правой руке я нес лоток, то инстинктивно закрылся от удара свободной левой, поэтому нож пробил мне кисть левой руки между большим и указательным пальцами. Подбежавшие сзади схватили Ахмеда за руки и отняли нож. Меня пришлось перевязывать, разорвав для этого мою же безнадежно испачканную кровью рубаху. Первый удар был нацелен точно под левую лопатку. Спасло меня только то, что ватник и свободно висевший полупустой рюкзак уменьшили глубину вхождения ножа, а случившаяся пряжка на лямке рюкзака повела втыкающееся лезвие выше. Так у меня и остались теперь на память два шрама – на левой руке и левой лопатке.

Несмотря на несколько экзотических ситуаций, возникавших в нашей партии, в целом этот длинный полугодовой полевой сезон на реке Колю остался в моей памяти как самый интересный. Жили мы втроем в одной палатке, и по вечерам за чаем обычно проходили долгие разговоры, заводилой которых неизменно был Стас Погребицкий, отличавшийся резким и острым умом, оригинальностью суждений и довольно сложным задиристым характером. Он тогда ходил в молодых геологических гениях и держал в страхе весь наш ученый совет, включая знаменитого первооткрывателя Норильского месторождения профессора Урванцева. Истинную суть его докладов, содержавших непривычные для геологов физические и математические модели, понимал разве что только академик Коржинский в Москве.

У Стаса была довольно неприятная привычка: в полемике или споре долго и пристально смотреть своему противнику в глаза неподвижным и немигающим взглядом. Выходя на ученом совете НИИГА, он говорил: «Ну что мы все впустую обсуждаем условия минерализации на пальцах? Давайте нарисуем простейшую трехкомпонентную схему». От него в испуге шарахались. «Вы тут все, – заявил он однажды со свойственной ему грубой прямотой, – малообразованные люди, и мне с вами обсуждать нечего».

Нас с Михаилом он тоже несколько раз «прикладывал», не стесняясь в выражениях. В том году он прилетел позже нас в поле, поскольку должен был на ученом совете института защищать наш общий отчет по результатам полевых работ прошлого года, где соавторами были мы трое. Мы с Ивановым, помню, долго ждали от него телеграмму о результатах защиты и наконец получили такое сообщение: «Отчет защитил. По мнению рецензентов, вам следует заниматься палеодерьмологией». Несмотря на молодость (а было ему двадцать четыре), он уже был автором нескольких нашумевших статей. В долгие темные вечера в палатке на Колю велись длинные научные и ненаучные споры, в которых последнее слово всегда было за ним. Послушав однажды мои

стихи, он заявил в своей обычной манере: «Бросай немедленно геологию – все равно как геолог ты останешься говном». – «Почему это?» – спросил я обиженно. «Да потому, что стихи у тебя получаются хорошие, а две такие разные вещи человек хорошо делать не может».

Именно тогда я запомнил его фразу, взятую мною после на вооружение: «В науке лучше работать под заведомо ложную гипотезу, чем вообще под никакую». Недавно читая методическое наставление Российского фонда фундаментальных исследований при Президиуме РАН, я неожиданно обнаружил там эту фразу со ссылкой на мою первую книгу воспоминаний: «Как говорит грантодержатель РФФИ геолог проф. А. М. Городницкий, „лучше работать под заведомо ложную гипотезу, чем вообще под никакую“, ибо только наличие гипотезы структурирует исследование и придает ему четкую направленность на выяснение закономерности».

Осенью и зимой 59–60-го годов, в Ленинграде, мы втроем – Стас, Михаил и я – нередко отправлялись после работы в многочисленные тогда различного рода питейные заведения от «Щели» на Исаакиевской площади в здании «Астории» или забегаловки «У Петьки-кабатчика» на улице Печатников до ресторанов «Метрополь» и «Кавказский». Идейным вдохновителем этих загулов был все тот же Стас. Однажды, после посиделок в ресторане «Восточный», я вдруг вспомнил, что мне надо идти выступать со стихами в ДК им. Первой пятилетки, где тогда читали стихи поэты из объединения Семенова. Стас и Михаил тут же заявили, что стихи – это как раз то, чего им сейчас не хватает, и они должны обязательно идти вместе со мной. Михаил, посаженный мною в зрительный зал, начал тут же шуметь и требовать «немедленного выхода Городницкого», а отставший от нас Станислав заблудился и попал на другой этаж Дома культуры, где в точно таком же зале заканчивалась лекция по антирелигиозной пропаганде. «Так вот, – завершал свое выступление лектор, – теперь вы ясно видите, что Бога нет». – «Неправда, – выкрикнул от дверей вошедший Стас, – Бог есть». Его тут же забрали в милицию, где он пытался объяснить, что забирать его никак нельзя, поскольку у него «двойное пролетарское происхождение – он сын крестьянки и двух рабочих».

Другой раз в Игарке, по окончании полевых работ, он в пьяном виде начал гоняться за начальником экспедиции Злобиным со стулом в руках. Вынужденный на следующий день написать объяснительную записку, он начал ее так: «В тот вечер, выпив скверного коньяку…» Вместе с тем работоспособности он

был нечеловеческой. Мог сутками пропадать на обнажении или сидеть за микроскопом. Жадно поглощал всю научную литературу, неизвестно где доставая оттиски статей, у нас не издававшихся. Неукротимый характер Стаса, широкий научный кругозор и безусловный талант исследователя предвещали ему блестящее будущее. Случилось, однако, иначе. В начале июля следующего, 60-го, года он погиб на реке Северной, неподалеку от того места, где стояли наши палатки на Колю.

В тот год мы с Ивановым остались в Ленинграде защищать отчет предыдущей экспедиции, а Станислав поехал на весновку с отрядом, чтобы осмотреть новые рудопроявления и наметить фронт разведочных работ. Помню, мы провожали его в мае в ресторане-поплавке на Петроградской, где немало было выпито шампанского и сказано заздравных тостов. Станислав улетел в Игарку, откуда еще по снегу высадился с отрядом в район среднего течения притока Нижней Тунгуски – реки Северная (старое эвенкийское название этой реки – Тымера, что по-русски значит Опасная). Здесь, примерно на сто пятнадцатом километре выше устья реки, они встали лагерем, чтобы, как только сойдет снег, начать осматривать близкие медно-никелевые рудопроявления и вскрывать их канавами и шурфами. Начальником партии был Стас – самый молодой в ней по возрасту. А дальше произошло следующее. Когда сошел снег, надо было кому-то отправляться вниз по течению реки Северной, чтобы посмотреть выходы коренных пород вдоль берега. Погребицкий вызвал для этого из Туруханска вертолет, но тот не пришел. Его ждали день, другой, третий. А время уходило. Наконец Стас «психанул», приказал всем продолжать разведочные выработки на старом месте, а сам, погрузившись в резиновый «клиппербот» и взяв палатку и продукты на два-три дня, стал сплавляться по реке один, чем сразу нарушил одно из главных правил работы в тайге – никогда не ходить в одиночку. Приказать ему, однако, было некому – он был самый главный.

Река Северная в том месте, где стоял отряд Стаса, спокойно течет в пологих песчаных берегах и шириной она – метров около трехсот. А вот ниже, на сто первом километре от устья, где песчаники сменяются базальтами, она резко сужается и входит в глубокий базальтовый каньон с отвесными и скатанными – не зацепиться – стенами, и, пенясь, бурля, идет, набирая скорость, как лыжник на трамплине, к огромному порогу в нижней части ущелья с водосливом около десяти метров. Напротив водослива – отвесная скала, а под ним кипит, бешено крутясь, стремительный поток. Еще за год перед этим нам пришлось наблюдать, как входят в это проклятое место деревья, смытые половодьем. Из

водоворота они выскакивают на поверхность – как из лесопилки – с обломанными ветвями и ободранной корой.

Станислав прекрасно знал, что место это на плаву непроходимо, и, конечно, не собирался этого делать. Что стряслось – так и осталось навсегда загадкой. Может быть, он, слишком близко подойдя на лодке к каньону, не успел выгрести к берегу? Одет он был, ввиду холодного времени, в меховую куртку и сапоги с длинными голенищами. Рюкзак и геологический молоток были привязаны к борту лодки, которую с одним пробитым отсеком выкинуло на мелководье на отмель тремя километрами ниже по течению. Станислав же бесследно исчез. Судя по всему, он остался в этом каменном мешке под водоворотом. Таким же именно образом, спустя пару лет, на этом же месте погиб турист из Новосибирска.

В день, когда все это случилось, я прилетел из Питера в Туруханск. И уже на другой день, поскольку поиски с самолетов и вертолетов ничего не дали, я в составе группы из трех человек, на двух резиновых лодках (в том числе и на его бывшей) отправился на поиски пропавшего без вести Стаса вдоль всей реки Северной – до самого ее устья. Не дай Бог никому искать погибшего товарища, с которым недавно смеялся в аэропорту, провожая его, когда, увидев в бинокль труп собаки, лениво покачивающийся в речной заводи, устраиваешь за ним настоящую охоту. Медленно двигаясь вдоль берегов и обыскивая кусты, отмели, заросли речной травы и островки, мы перемещались к устью. На пути и сами попали пару раз в тяжелые пороги и, пропоров свои надувные лодки и утопив рацию, надолго застряли без связи с базой. Только на шестые сутки, выйдя наконец к Нижней Тунгуске и встретив там катер новосибирской экспедиции, мы включились с помощью их радиостанции в приемное время в эфир на нужной частоте, и я услышал радиопереговоры между заместителем начальника нашей экспедиции Петуховым, находившимся в Туруханске, и начальником Ушаковым, находившимся в Курейке. Из разговора было ясно, что каждый из собеседников винит другого в том, что «пропала без вести группа Городницкого», и снимает с себя ответственность.

Стаса Погребицкого так и не нашли. Памяти его посвящены написанные тогда стихи, напечатанные в моей первой книге «Атланты», и песни «За белым металлом» и «Перекаты». За долгие годы экспедиций на Крайнем Севере и в океане мне неоднократно приходилось терять товарищей, но эта ранняя гибель Стаса запомнилась мне на всю жизнь.

Первая песня, посвященная его памяти, стала потом чем-то вроде безымянного марша геологов, работавших на Крайнем

Севере:

В промозглой мгле – ледоход, ледолом.
По мерзлой земле мы идем за теплом:
За белым металлом, за синим углем,
За синим углем да за длинным рублем.

И карт не мусолить, и ночи без сна.
По нашей буссоли приходит весна.
И каша без соли пуста и постна,
И наша совесть – чиста и честна.

Ровесник плывет рыбакам в невода,
Ровесника гонит под камни вода.
А письма идут неизвестно куда,
А в доме, где ждут, не уместна беда.

И если тебе не пишу я с пути,
Не слишком, родная, об этом грусти:
На кой тебе черт получать от меня
Обманные вести вчерашнего дня?

В промозглой мгле – ледоход, ледолом.
По мерзлой земле мы идем за теплом:
За белым металлом, за синим углем,
За синим углем – не за длинным рублем!

Судьба второй песни, «Перекаты», тоже, конечно, безымянной, сложилась несколько иначе. В ней тоже речь шла о человеке, идущем по непроходимой реке:

Все перекаты да перекаты —
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты, —
Плыву вперед по абрису.

А где-то бабы живут на свете,
Друзья сидят за водкою…
Владеют камни, владеет ветер
Моей дырявой лодкою.

К большой реке я наутро выйду,
Наутро лето кончится,
И подавать я не должен виду,

Что умирать не хочется.

И если есть там с тобою кто-то, —
Не стоит долго мучится:
Люблю тебя я до поворота,
А дальше – как получится.

Все перекаты да перекаты —
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты, —
Плыву вперед по абрису.

Однако наши туристы, народ молодой и жизнерадостный, быстро взяли ее на вооружение и разнесли по всей стране, как лихую развеселую песню. В начале 60-х годов столь любимый мною Марк Бернес, выступая по телевидению, заявил: «Сейчас среди молодежи пользуется большой популярностью песня, где есть такие слова: „Люблю тебя я до поворота, а дальше – как получится“. Я против такой любви».

Несколько лет назад, накануне Дня геолога (первое воскресенье апреля) меня пригласили выступить коллеги в Институт геологии горючих ископаемых. Прибыл я к ним около часу дня, и, хотя день был рабочим, обнаружил, что трезвых сотрудников осталось не так уж много. Когда я попытался войти в зал, где должно было состояться выступление, навстречу мне, дохнув на меня могучим перегаром и чуть не сбив меня с ног, вывалились два разгоряченных верзилы, торопившиеся продолжить праздник. Один из них, поддерживая приятеля, сказал: «Федя, может, останемся барда послушать?» – «А чего их слушать, дерьмо современное?» – удивился второй. «Давай лучше нашу споем». И они ушли по коридору, распевая: «Все перекаты да перекаты…»

В 2007 году я впервые попал в Иркутск, где у меня был авторский концерт в филармонии. Была ранняя осень. Большой зал филармонии был полон, но директор сокрушенно сказал мне: «Какие-то странные люди на вас пришли. Я их до этого никогда в филармонии не видел». Оказалось, что, узнав о моем приезде в Иркутск, множество геологов из окрестных полевых партий, с Байкала, из тайги приехали посмотреть на меня. Прибыли они на концерт, одетые совсем не театрально, – в штормовках и полевом весьма потертом снаряжении. Кто-то даже на вездеходе приехал. В перерыве я вышел в фойе и услышал, как один здоровый бородач за моей спиной говорит другому: «Интересный человек к

нам приехал, он все наши песни знает».

Несчастный тот сезон 60-го года выдался самым, пожалуй, тяжелым и драматичным. Более месяца потратив на безуспешные поиски Погребицкого, мы не успевали выполнить до наступления осенней непогоды запланированных поисково-разведочных работ. Кончался сентябрь, когда, завершив наконец работы, мы с помощью оленей перетащили два десятка ящиков с образцами найденной нами руды в центральный лагерь на реке Колю и, отпустив каюров с оленями, вызвали самолет. На вид образцы были богаты никелем, – сплошной металл! Но окончательный ответ о его содержании мог дать только спектральный анализ. Шел мелкий, сухой по-зимнему снежок. Прилетевший на второй день пилот сказал: «У меня строгий приказ – брать только людей. Все имущество бросайте до следующего года. Циклон идет». Как это – бросить имущество, которое на нас числится? Ящики с бесценными образцами, содержащими, как нам казалось, промышленные запасы никеля? Ведь это значит похоронить только что открытое месторождение, возможно – новый Норильск.

Жажда подвига и безответственность бродили в наших незрелых умах. И мы с Ивановым заявили своим коллегам: «Ящик с образцами – семьдесят килограммов, и человек – столько же. Мы двое ставим вместо себя ящики и остаемся ждать следующего рейса. Кто с нами?» Охотников таких набралось вместе с нами семь человек, тем более что лету до Туруханска было всего не более получаса, и пилот сказал, что постарается вернуться. Вернулся он, однако, только через месяц.

Этот месяц, проведенный в напрасном ожидании самолета, без продуктов, с вышедшей на второй день из строя рацией, в непроходимой замерзающей тайге, стал мне хорошей школой на всю последующую жизнь. Первое, что я окончательно усвоил тогда – это пустоту и лживость уже упомянутых мною наших детских иллюзий времен челюскинцев, бездумной уверенности в том, что «в нашей стране человеку не дадут погибнуть». Еще как дадут! Оказывается, авиаотряд в Туруханске связался с базой нашей экспедиции, где летчиков уверили, что продуктов у нас – минимум на два месяца, так что можно особенно не беспокоиться. А было их – на неделю. Но виновато было не начальство, а мы с Михаилом, забывшие о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ставить во имя сомнительных открытий и легкомысленных амбиций под угрозу жизни людей, за которых отвечаешь.

Больше всего мучились наши курильщики. Сначала они разбирали полы палаток и искали под ними старые окурки, потом

стали жарить на костре березовые листья и пытались их курить. Их нечеловеческие мучения навсегда отбили у меня охоту к курению. Лично у меня самые неприятные ощущения начались тогда, когда кончилась соль. А потом вообще все кончилось, и самое трудное было заставить себя и других каждый день расчищать площадку от снега в бесплодной надежде на прилет самолета. А снег все валил и валил…

Когда самолет все-таки сел, площадку уже давно никто не расчищал, а нас тащили волоком и долго потом откачивали в Туруханске. Примерно через месяц после этого, уже в Ленинграде, мой товарищ застал меня дома за обедом накануне планируемого у него на следующий день дружеского застолья. «Еды готовь побольше, еды», – заявил он жене, вернувшись домой.

Самое обидное, что в образцах, таких богатых с виду, на которые мы с Михаилом возлагали самые радужные надежды и из-за которых, не задумываясь, поставили на карту не только свои, но и чужие жизни, промышленных содержаний никеля не оказалось. Так невесело кончилась для меня детская романтика быстрых и героических открытий. Итогом же месячного голодания в осенней тайге стала песня «Черный хлеб»:

Я, таежной глушью заверченный,
От метелей совсем ослеп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я гляжу на черный хлеб.

Михаил Константинович Иванов, замечательный геолог и одаренный художник, умер в 1998 году, окончательно подорвав здоровье многолетними экспедициями, курением, приведшим к ампутации ног, и алкоголем, отвыкнуть от которого он так и не смог. Помню, в конце 60-х удалось показать пару раз его картины и рисунки по телевизору, однако потом все это как-то заглохло, да и сам он, занятый повседневной работой, уделить серьезное внимание своей живописи не мог. Михаил был человеком удивительно разносторонним, – до того как поступить в Ленинградский университет на геологический факультет, он успел закончить еще и музыкальную школу по классу фортепиано. Помню, во время очередного нашего загула втроем у кого-то в доме, где был рояль, он сел за него и, к великому нашему удивлению, начал играть Шопена. Потом, неожиданно оборвав игру, заявил: «Ведь когда-то я любил тонкие и красивые вещи. А потом подружился с Городницким, – и все!» У меня дома над письменным столом много лет висит карандашный портрет его работы, на котором он изобразил меня на описанной выше

весновке в 1959 году, напоминая о нашей неразлучной когда-то троице.

Ностальгией позднею охвачен,
О своей задумавшись судьбе,
Вспоминаю реку Горбиачин,
Вспоминаю реку Кулюмбе,
Где когда-то мы сидели вместе
С экспедиционным багажом,
И скрипела банка желтой жести
Под тупым охотничьим ножом.
Комары над ухом пели тонко,
Перекат шумел невдалеке,
Плавилась китайскяя тушенка
В закопченном черном котелке.
На стене висит теперь кинжал сей,
Снятый с сыромятного ремня,
Я один на свете задержался
Из троих, сидевших у огня.
К темному прислушиваясь гуду,
Талым снегом спирт не разведу,
Никогда теперь уже не буду
В том незабываемом году,
Где в одежде латаной казенной,
Золоченом гнусе и пыли,
Мы шагали дружно к горизонту,
Небо отделяя от земли.

В последующие два года мне довелось руководить большой геофизической партией, которая работала на реке Сухарихе, неподалеку от Игарки, где были обнаружены медные и халькозин-борнитовые руды с редкометалльным оруденением, и надо было проследить рудные тела с помощью электроразведки для последующего разведочного бурения. Работы эти проводились по договору с Красноярским геологическим управлением, и были хотя и тяжелыми, но привязанными к одному месту, так что прежней «съемочной» экспедиционной экзотики в них уже не было, а был жесткий производственный план да постоянная боязнь, что заданная тобой под геофизическую аномалию скважина не вскроет рудного тела. Не имея тогда опыта работ, я с наивностью школяра верил в могущество геофизики, как выяснилось позднее, совершенно напрасно.

Дуракам, однако, везет. В 1995 году мы вместе с Юлием Кимом были на фестивале авторской песни в Норильске, где я не

был более тридцати лет. Меня как почетного гостя пригласили в Норильскую комплексную геологическую экспедицию, где торжественно вручили образец медистого песчаника и показали бережно хранящийся в фондах мой давний отчет о работах Сухарихинской геофизической партии за 1962 год. Оказалось, что одна из заданных мной много лет назад скважин, видимо, дуриком вскрыла рудное тело. Так я неожиданно для себя попал в число первооткрывателей Игарского месторождения медистых песчаников.

Экзотические события, тем не менее, все-таки случались. Неподалеку от нас, ниже по течению реки Сухарихи, стояла большая производственная разведочная партия Красноярского геологоуправления, в которой было около десятка геологов и шесть десятков буровиков, большей частью из бывших зэков, людей пьющих и отчаянных. Женщин у них в партии не было совсем, и поэтому, бывая у нас по-соседски в гостях, они, и прежде всего бригадир буровиков – огромного роста рыжий детина, которого все звали просто Федя, положили глаз на нашу лаборантку Нину Козлову, отличавшуюся высокой грудью, кокетливой улыбкой и пышными светлыми кудрями.

В конце августа во всех геологических партиях в те поры шумно и пьяно отмечали Всесоюзный день шахтера – собственного дня тогда у геологов еще не было. Как раз накануне основной отряд геофизиков из нашей партии отбыл на соседнюю речку Гравийку, чтобы начинать там новый полигон. В старом лагере, кроме меня, остались только старик повар, один молоденький практикант и Нина Козлова, занимавшаяся вычерчиванием какой-то отчетной карты. Мы не знали, что к нашим соседям по случаю праздника завезли самолетом из Игарки десять ящиков спирта. Вечером того же дня до нас донеслись беспорядочная ружейная пальба, рев тракторов, и в небо над лесом одна за другой взлетело несколько ракет. «Гуляют ребята», – равнодушно, хотя и не без зависти, произнес старик повар и, постукивая деревянной ногой, на которую сменил свою на каком-то лагерном лесоповале, отправился спать. Посреди ночи я неожиданно проснулся в своей маленькой холодной палатке от явственного рокота приближавшегося трактора. Выйдя из палатки и поеживаясь от предутреннего холода, я заметил в рассветных сумерках приближающийся трактор, к которому были прицеплены большие тракторные сани. На санях размахивала руками и орала что-то бессвязное пьяная орава. Увидев меня, все обрадовались и радостно засвистели. «Саня, – заорал появившийся из кабины трактора Федя, – ты не бойся нас – мы тебя не тронем. Только Нинку нам выдай – и все. А то мужички

мои без баб сильно оголодали».

И тут, как назло, из-за моего плеча вынырнула неизвестно откуда возникшая Нинка. До нее явно дошел смысл сказанного. Она побледнела и затряслась. «Беги ты в лес куда-нибудь», – с досадой шепнул я ей, хотя, сказать по правде, и не уверен был, что от той оравы удастся убежать. Трактор тем временем опять неторопливо двинулся к нам. Что было делать? Выдать ее, а потом повеситься? Я кинулся в свою палатку, где около спальника валялся старый трехлинейный карабин, и, схватив его, судорожно запихнул в пустой магазин случившуюся неполную обойму с четырьмя патронами. Другой обоймы нигде обнаружить не удалось. Махнув рукой, я выскочил из палатки навстречу приближающемуся тракторному гулу.

Трактор и сани были уже метрах в ста пятидесяти. Увидев меня с карабином, Федя снова остановил трактор и крикнул: «Ты смотри не балуй, а то мы тебя самого, жидяра, враз пришьем. А Нинка все одно наша будет». Трактор опять затарахтел и двинулся в мою сторону. Тогда, ошалев от страха, но вспомнив неожиданно давние уроки военного дела, я залег прямо перед палаткой и дрожащими пальцами поставил планку прицела на 150 метров, наведя ходившую ходуном мушку на лобовое стекло тракторной кабины. Что теперь делать, неужели стрелять? И тут опять некстати появилась проклятая Нинка. Ее зареванный вид с растекшейся от ресниц тушью был ужасен. Обезумев от страха, она кинулась ко мне и, обхватив руками, громко стала кричать от страха, мешая целиться. Бабахнул выстрел, и пуля пошла куда-то вверх. Трактор тем не менее остановился. «Ах, ты так, гад?! – крикнул снова вылезший Федя. – Ну, погоди. Пошли, ребя!» И вся ватага, человек пятнадцать, покинув сани, уверенно направилась в нашу сторону. «Беги», – яростно зашипел я на Нинку, и она, увидев вдруг мое перекошенное от страха лицо, ойкнув, скрылась куда-то.

Я залег снова. «Стой – стрелять буду», – каким-то чужим казенным голосом неуверенно крикнул я идущим. «Только попробуй, сука», – широко осклабясь, ухмыльнулся Федя. И тут, когда до идущих, а шли они плотной кучей, нисколько меня не боясь, оставалось уже метров пятьдесят – не больше, я, вдруг успокоившись, старательно прицелился прямо в широкую Федину голову чуть пониже его неизменной, несмотря на лето, ушанки и, задержав дыхание, как учили, плавно нажал на спуск. Федя упал. Я даже поначалу думал, что убил его, но, как оказалось потом, пуля только чуть оцарапала кожу на голове и сбила ушанку, а упал он от испуга. Тут же залегли и все остальные и, громко матерясь, начали отползать к саням. Они-то ведь не знали, что у

меня осталось только два патрона! «Ну, погоди, – заорал уже оправившийся Федя. – Мы сейчас к себе в лагерь за ружьями смотаемся и тебя, падла, изрешетим. А Нинка все одно наша будет!»

В редеющих уже утренних сумерках затарахтел отъезжающий трактор, волоча за собой сани с матерящимися хмельными пассажирами. Через полчаса, отыскав в кустах спрятавшуюся там Нинку, я немедленно отправил ее на Гравийку, в другой отряд, вместе с практикантом, напуганным не меньше меня, а мы с одноногим поваром остались в лагере.

Уже под вечер снова раздалось знакомое пыхтение трактора. Никакой вооруженной ружьями команды он, однако, не привез. «Саня, – заорал радостно «подстреленный» Федя, заблаговременно притормозив перед лагерем и выскочив из кабины, – не стреляй – мириться едем!» На тех же тракторных санях позвякивал ящик со спиртом, рядом стоял еще один с китайской свиной тушенкой «Великая стена». Вокруг ящиков сидели присмиревшие гуляки. По-видимому, бояться было нечего. «Прости, друг, – заявил, похмелившись, Федя, – черт попутал. Ты, главное, в голову не бери и шума из-за того не поднимай. Здесь у нас закон – тайга, медведь – хозяин, так что сами разберемся, понял?!»

Клены горбятся понуро,
Ветки бьются о стекло.
Что минуло, то минуло,
Устаканилось, прошло.
Я на север нелюдимый
Улетал, покуда мог,
Над дрейфующею льдиной
Зябкий теплил огонек.
Страх, под пьяным стоя дулом,
Не выказывал врагу,
Стал от тяжестей сутулым,
Спал на шкурах и снегу.
Ветки желтые рябины,
Спирта синего напалм.
Я палил из карабина, —
Слава Богу, не попал.
Я на рею, горд безмерно,
В качку лез, полунагой,
В припортовую таверну
Дверь распахивал ногой,
В океанские глубины

Погружался и всплывал,
А тогда из карабина,
Слава Богу, не попал.
Я искал лихие рифмы
И любил неверных жен,
Я коралловые рифы
Расковыривал ножом.
Звезд подводные рубины
Добывая, вспоминал,
Что, паля из карабина,
Слава Богу, не попал.
Облаков седая грива,
И осеннее пальто.
Я судьбе своей счастливой
Благодарен не за то,
Что подруг ласкал любимых,
Что не слишком век мой мал:
Что, паля из карабина,
Слава Богу, не попал.

Главной нашей утехой и отдыхом при работах на Сухарихе, впрочем, как и всегда при полевых работах на севере, была, конечно, баня. Не зря существуют старые геологические поговорки: «В Арктике грязь – стерильна» или «Хорошо себя чувствуешь после бани – особенно первые четыре месяца». Готовились к ней тщательнейшим образом. На берегу реки опытные умельцы складывали каменку из базальтовых валунов. При этом придирчиво разглядывали каждый камень – трещиноватых, «сырых», не брали. Камнями этими обкладывалась буржуйка, сверху заранее устанавливался деревянный каркас для палатки. Топилась буржуйка преимущественно березовыми дровами до такого состояния, чтобы каменная кладка раскалилась. После этого на каркас быстро натягивалась самая плотная брезентовая палатка, сверху еще и тент, чтобы тепло держалось. На раскаленную каменку плескалась первая шайка воды (чтобы дурной пар сошел), и баня была готова. Ставилась палатка у самой реки выходом к воде, так что можно было, распарившись до отказа и вытравив из своего измученного тела всю многодневную грязь и усталость вместе с волдырями от комаров и кровавыми расчесами от мошки, плюхнуться с первобытным радостным криком в ледяную речную воду, холод которой начинаешь ощущать только через минуту-другую, да и то как слабое и приятное покалывание, бодрящее и освежающее твое

такое непривычно белое новорожденное тело.

Веники готовили заранее из молодого березняка. Их ошпаривали и вымачивали в душистом квасе, приготовленном из сухарных крошек. От этого над баней стоял свежий хлебный дух, вызывавший здоровый аппетит. Спирт по случаю бани также разводился и настаивался заранее, обычно на клюкве или поспевающей уже бруснике, а запивали его ледяной брусничной водой.

Парились основательно, в два или три захода. Сначала березовым веником, не стегая им по телу, а медленно нагоняя жгучее облачко пара и проходя им с мазохистскими стонами от пяток вдоль всей спины до самой макушки. Потом, отдохнув в спасительной прохладе воды, возвращались назад и ожесточенно хлестались вениками до той поры, пока тела из белых не становились медно-красными с бронзовым отливом. Профессионалы часто использовали, наряду с березовыми, пихтовые веники, утверждая, что только пихтовые иголки дают необходимый эффект, а старый полярник и поэтому профессиональный радикулитчик Коля Тимофеев, перед тем как париться «начисто», обмазывал себя специально для этого привезенным медом, уверяя, что если париться с медом, то «все поры вывернутся наружу, как перчатка».

Бане, устраивавшейся перед выходным днем, предшествовали обычно специальные ловля рыбы и варка ухи, сначала из мелкой второсортной рыбы, а по второму разу, в том же бульоне, – из благородного хариуса – северной форели.

Поскольку партия наша на Сухарихе состояла практически из одних мужиков, то единственную нашу даму, упомянутую уже Нинку, которая сильного пара не выносила и мылась поэтому значительно позже, отправляли на другой край лагеря, а сами вольготно разгуливали нагишом, справедливо полагая, что в дикой тайге женщинам взяться неоткуда. Именно так однажды, в конце августа 1962 года, мы и блаженствовали, остужаясь после пара в мелководной Сухарихе, когда из-за близкого речного поворота, не более пятидесяти метров от нас, неожиданно выскочили две резиновые лодки, на которых явственно пестрели женские косынки. Встать из воды мы уже не могли, поэтому пришлось лежа объяснять столь внезапно возникшим гостям сложность ситуации, которая усугублялась тем, что лодки их могли плыть только вниз по течению, а обратно за поворот – нет, так что мы были вынуждены, замерзая, ждать до тех пор, пока они пристанут к берегу и удалятся из зоны видимости.

Так появился в нашем лагере «тематический отряд» Татьяны Стриженовой из Ленинградского нефтяного института в составе

трех женщин и двух рабочих – контингент для севера довольно нетипичный. О самой Стриженовой к тому времени в Туруханском крае ходили самые фантастические легенды. Говорили, например, что она на пари с геологами-мужчинами высосала без закуски через соску две поллитры, и ни один мужчина не то что превзойти, но даже повторить этот подвиг не смог. Легенда утверждала также, что в прошлом году она прыгала, опять же на пари, на резиновой лодке с Большого Кулюмбинского порога и выиграла два ящика водки, которые подарила своим работягам. Рассказывали также всякие небылицы о ее полном бесстрашии по отношению к любому начальству и различного рода сексуальных подвигах. Сама героиня мифов оказалась худощавой и черноволосой, цыганистого типа женщиной с постоянной папиросой в углу сильно накрашенного рта и большой пиратской золотой серьгой в левом ухе. Затянута она была в редкие еще в то время американские джинсы, заправленные в резиновые сапоги, и тельняшку с глубоким вырезом. На шее болтался свободно повязанный красный прозрачный платок – «андалузка». На голове красовалась широкополая шляпа-сомбреро, а на правом бедре, на настоящем американском поясе-патронташе, отсвечивал черной вороненой сталью шестизарядный «Кольт». Сопровождавшие девицы, явно подражая ей, обряжены были в аналогичные тельняшечки с «андалузками» и широкополые шляпы. Только вот на бедрах у них вместо «кольтов» висели простые охотничьи ножи. Три розовые палатки пришельцев, к бурной радости нашего немногочисленного, но гостеприимного мужского коллектива, спустя полчаса были установлены внутри лагеря, между нашими – зелеными. Гостям была обеспечена баня, и развернулся могучий праздник, тем более что недостатка в спиртном не испытывали ни мы, ни гости. Польщенный явным вниманием столь легендарной личности, как Стриженова, я по наивности и представить себе не мог, что визит ее к нам совсем не «попутный», как она нам объяснила, а попросту я поставлен в план ее очередных подвигов. Это меня в ту пору, правда, вряд ли могло бы смутить.

На следующее утро над нашим лагерем начал кружиться неожиданно прилетевший из Игарки самолет, улетевший затем обратно, и стриженовские рабочие, вошедшие за ночь в большой дружеский контакт с нашими, пояснили, что это, судя по всему, прилетал ее муж, тоже геолог, грузин, да еще и страшно ревнивый, хотя, понимающе вздохнув, добавили они, о такой жене не позавидуешь. Сама Татьяна на эту воздушную инспекцию реагировала довольно равнодушно и тут же потащила меня в совместный маршрут.

На следующий день гости двинулись вниз к устью Сухарихи, где их должен был забрать катер, а вместе с ними отправился в Игарку и я, поскольку обещанный мне вертолет, как всегда, был отменен. К вечеру пришли на берег Енисея, где катера не оказалось. Поэтому поставили там палатки, выбрав место потише, так как поднялся сильный ветер, и устроились на ночлег. Пытались развести костер, но его сильно задувало порывами ветра, поэтому, согрев кое-как чайник, расползлись по спальникам в ожидании утра.

Утро встретило нас настоящим штормом. Палатки, хотя и стоявшие в укрытии за кустами на второй грядовой террасе, вздувались, как паруса, на ослабевших веревках, угрожая их оборвать. Такие случаи бывали нередко. Вспоминаю, как в 1957 году на Тянь-Шане, на Тахталыкской гряде, где я был на преддипломной практике, нас застал внезапно налетевший в сентябре шквал со снежным зарядом на высоте около трех тысяч, на перевале, где мы встали лагерем. Мы сидели вчетвером в палатке, надежно закрепив ее на распорках и привязав опорные колья к таким глыбам, которые ничем, кажется, сдвинуть было нельзя, и, напившись кофе, играли в карты. На столе уютно светила керосиновая лампа, создавая иллюзию домашнего уюта. Снаружи, правда, бушевал ветер и мела налетевшая метель, но мы-то были внутри и чувствовали себя прекрасно. Вдруг палатка над нами напряглась и зазвенела, как натянутая струна, под необычно резким порывом ветра. С пушечным громом одновременно лопнули все четыре веревки, и наш еще минуту назад такой надежный дом, мелькнув, как ковер-самолет, и махнув нам крылом на прощание, улетел в ближайшую пропасть. Повалилась, погаснув, лампа. Тонко зазвенело разбитое стекло. И посреди пустынного горного перевала, в полной темноте, под снегом и воющим ветром, остались сидеть четыре идиота с картами в руках.

Здесь, в устье Сухарихи, ветер тоже гулял вовсю, грозя сорвать и унести кокетливо-розовые польские палатки Татьяниного отряда. Они выгодно отличались от обычных наших, имевших грязно-зеленый цвет, тем, что мы утром всегда просыпались в зеленых сумерках, и каждое пробуждение встречало нас пасмурным днем, а в розовой палатке каждый новый день был солнечным независимо от погоды. Вместе с тем эти изящные, психологически продуманные туристские сооружения не были рассчитаны для полярной осенней погоды и бились на привязи, подобно европейским птицам, застигнутым внезапной сибирской осенью, при попытке улететь на юг.

Выбравшись из палатки, чтобы закрепить ее, мы увидели, что

на Енисее гуляет настоящий шторм. Огромные серые волны, набегая из мутного снежного тумана, разбивались о прибрежные камни. В последующие годы мне много пришлось увидеть штормов и даже ураганов в океане, в том числе – осенних тайфунов вблизи Курильских островов и ураганов в юго-восточной части Тихого океана, на полюсе относительной недоступности. Никогда, однако, даже когда мы в 62-м году терпели бедствие на паруснике «Крузенштерн» в Северной Атлантике у берегов Канады и крен достиг критической величины, шторм не казался таким грозным, как на Енисее. Может быть, дело в том, что на судне ты не предоставлен самому себе и разделяешь общую, пусть неминуемую судьбу, борешься вместе со всеми, действуешь по команде и никогда не чувствуешь себя одиноким? Здесь же ты оказываешься с грозной стихией один на один и можешь полагаться только на собственную твердость духа (если она у тебя есть) и незначительные физические силы.

Мне несколько раз приходилось попадать в переплет на воде. Один раз в 57-м году на осеннем Енисее, на моторке, когда заглох мотор и лодку начало заливать и топить, и все-таки, несмотря на наши жалкие потуги вычерпать воду, потопило, хотя и недалеко от берега, и мы «выруливали» вдвоем с мотористом Геной Седельниковым на пустой бочке из-под солярки.

Другой раз в том же году, уже на маленьком буксирном катере, который после хлипких байдарок показался мне непотопляемым дредноутом. Капитан и моторист, постоянно бившие себя в синие от татуировки груди и рассказывавшие чудовищные морские истории, видя мое детское любопытство, тут же предложили мне постоять на руле, объяснив нехитрое управление катером и повесив мне на шею бинокль, а сами пошли в кубрик допивать. Так я, польщенный доверием, и вел катер по хмурому сентябрьскому Енисею от Игарки до Туруханска, пока к концу суток не задремал за рулем и, перепутав спросонок белые бакены с красными и сойдя с фарватера, лихо посадил катер на мель, поломав перо руля. Сильной волной потерявший управление катер начало гулко бить о камни. Надо сказать, что реакция у экипажа, казалось бы, мертвецки спавшего в кубрике, уронив головы на стол и отпугивая редких комаров запахом перегара, была моментальной. Услышав первый гулкий удар по железу, они с криком «полундра» выскочили из кубрика наверх, причем сапоги у них уже были сняты…

Еще одно мое купание на лодке в шторм случилось в августе 1972 года, когда мы стояли на рейде в Обской губе на сухогрузе

финской постройки типа «река-море», который перегоняли с караваном судов по трассе Северного морского пути из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Обская губа вблизи устья широка, как залив, да и погода в ней под осень переменчива. Мы ходили на мотоботе на берег, на ближайшее стойбище, закупать оленину, вернее, не закупать, а менять на спирт. Весь день мы пробыли на берегу и обратно на рейд возвращались уже в полной темноте, да еще налетевший внезапно западный ветер развел немалую волну. Моторист наш впотьмах, хотя судовые огни были видны ясно, перепутал подветренный и наветренный борта, шлюпку стукнуло набежавшей волной о борт прежде, чем успели передать с нее конец, накренило, и следующая волна перевернула ее. Все мы оказались в воде, холода которой (а была она градусов пять-шесть самое большее) я, например, совершенно не почувствовал, так же, как и страха. Все бодро поплыли к борту, стараясь ухватиться на гребне волны за скользкие деревянные ступеньки выброшенного штормтрапа. И хотя были мы все в куртках и сапогах, никогда в жизни мне не плавалось так легко. Нас извлекали по одному. Потом выловили и перевернутую шлюпку. Горячий душ и стакан спирта избавили меня от нервного шока и верной простуды.

Вернемся, однако, на берег Енисея в сентябрь 1962 года. К середине дня, сквозь вой ветра и глухие удары набегающих волн, мы неожиданно услышали негромкое, но явное тарахтение движка. Шторм тем не менее не утихал. «Неужели катер?» – обрадовались Татьянины девицы. Это был, однако, не катер. Подлетая и снова пропадая среди свинцовых волн, с трудом борясь с волнением и ветром, со стороны Игарки к нашему берегу медленно перемещалась открытая дюралевая моторка, на которой съежились под зелеными, насквозь промокшими плащами, два человека. Отважиться в такую погоду плыть по Енисею на плоскодонной дюральке, которая моментально переворачивается при первом же отказе ненадежного подвесного мотора, мог только сумасшедший. Примерно так оно и было, поскольку им оказался уже упомянутый встревоженный муж, невысокого роста курчавый человек с нервным и измученным лицом, больше похожий не на грузина, а на еврея, уж не знаю как уговоривший своего моториста отправиться с ним. Прибывших переодели, отогрели и накормили. К вечеру шторм начал стихать, но катера все не было, поэтому деваться все равно до следующего утра было некуда.

Ближе к ночи развели костер и выпили спирта, но, несмотря на шумные разговоры и смех, вокруг костра возникла какая-то странная напряженность, усиливавшаяся мрачным молчанием

старавшегося не смотреть в мою сторону Володи (так звали супруга) и вызывающим поведением подчеркнуто не отпускавшей меня от себя Татьяны. Все ждали неминуемой развязки. У Володи на ремне болталась кобура с «Наганом», у меня же вообще никакого оружия с собой не было. Да если бы и было, что толку? «Саня, спой что-нибудь», – попросила Татьяна, блеснув откровенно злым взглядом на мужа. Я, конечно, умом понимал остроту ситуации, но какой-то недобрый азарт вел меня, заставляя позабыть об осторожности и бездумно толкая на темное озорство. Пьяное бахвальство бродило в моей дурацкой голове. И я, вызывающе глядя на окружающих, громко запел услышанную незадолго перед этим в Москве отчаянную «женскую» песенку, написанную как позже оказалось, Александром Дуловым:

Ой-ей-ей, я несчастная девчоночка,
Ой-ей-ей, вышла замуж без любви.
Ой-ей-ей, я нашла себе миленочка,
Ой-ей-ей, милый муж мой, не гневись,
Ах, зачем любила я,
Зачем стала целовать?
Хошь режь меня, хошь ешь меня,
Уйду к нему опять.

Мертвая тишина повисла вокруг костра, только головни негромко потрескивали. Володя поднял голову и без выражения посмотрел в мою сторону. «Может, пойдем лучше постреляем?» – спросил он тихо, ни к кому конкретно не обращаясь, но все сразу поняли, что речь идет обо мне. «А что – пошли. Патроны-то у тебя есть?» – откликнулся я, поднимаясь с места. Никто нас не отговаривал. Пьяный неостановимый азарт нес меня, как мутный поток. «Я облегчу твою задачу, – нахально улыбаясь, заявил я ему. – Сыграем в Вильгельма Телля. Спорим на две поллитры, что ты не собьешь у меня с головы из нагана с десяти шагов банку из-под тушенки». С этими словами я подхватил с земли опустошенную банку из желтой жести. Глаза у Володи вспыхнули. «А если промахнусь?» – так же тихо сказал он. «Тогда две поллитры с тебя», – засмеялся я.

Мы отошли метров за сто на полутемный берег. Я, пьяно покачиваясь, встал на прибрежную гальку и установил на темя пустую банку, придерживая ее левой рукой, подобно восточной женщине, несущей на голове кувшин. Володя, стоя в десяти шагах от меня и по-прежнему глядя в сторону, дрожащими пальцами расстегивал непослушную кобуру. Неподалеку за кустами все так же горел костер, и вокруг него продолжали неподвижно сидеть

все, включая и Татьяну. Наконец он достал «наган», поднял голову и навел дуло прямо мне в лоб. «Не будет стрелять, – подумал я, чувствуя, как неожиданный горячий пот начинает заливать мне глаза, больно пощипывая их, – пугает».

В этот момент грянул выстрел, и пуля обожгла мне ухо. Не успел я схватить воздух пересохшим ртом, как у меня под ногой от второго выстрела взорвалась галька, раскровенив мне щеку отлетевшим осколком. «Сволочь», – крикнул я, но мой противник меня не услышал. Зажмурив глаза и вытянув руку с «Наганом» вперед, он начал безостановочно нажимать на спусковой крючок офицерского самовзвода, пока не расстрелял весь барабан. Тогда он бросил пустой «Наган» в камни, закрыв лицо руками, медленно опустился на корточки, потом лег ничком на холодную гальку и заплакал. Я продолжал оцепенело стоять в дурацкой позе, держа банку на голове. Его увели и уложили в палатку. Наутро по стихшему Енисею пришел ожидаемый катер, доставивший нас в Игарку. Еще целый день потом я считал себя героем, а не подлецом…

В 1962 году, начав регулярно плавать в океане, я расстался с Крайним Севером, возвратившись туда лишь ненадолго в 64-м году, когда участвовал в работах на дрейфующей станции «Северный полюс», где проводились геофизические наблюдения. Станция эта, СП-17, была организована для обеспечения аэромагнитных и гравиметрических съемок Северного Ледовитого океана, проводившихся тогда в обстановке настолько строгой секретности, что даже при вынужденной посадке на лед запрещалось объявлять «SOS». А случаи такие в нашей экспедиции случались. Чтобы произвести измерение силы тяжести, самолет должен был сесть на дрейфующую льдину. Пригодность льдины для посадки можно было оценить только с воздуха, то есть «на глазок». Иногда случалось, однако, что льдина для посадки была непригодна. Выяснялось это, как правило, уже после того, как севший самолет вдруг начинал проваливаться под лед. Поскольку сначала проваливались только лыжи, а самолет еще какое-то время держался на поверхности льда на широких плоскостях, весь экипаж обычно успевал выгрузиться на лед и вытащить необходимое снаряжение и рацию. У меня до сих пор лежит в столе впечатляющий фотоснимок, на котором успели заснять хвост самолета, уходящего под лед. Я как-то спросил у своего приятеля-геофизика, который первым ухитрился открыть дверцу проваливающейся под лед «Аннушки», трудно ли было открыть дверь. «Открыть было нетрудно, – ответил он, – труднее было оторвать от двери руки, которые за нее схватились».

Быт на станции СП-17 был довольно своеобразный. Жили по трое или четверо в так называемых КАПШах – специальных утепленных палатках, обогреваемых обычными газовыми плитками на баллонах. Поскольку газ экономили, то зажигать его полагалось только вечером, когда ложились, и утром, когда поднимались на работу. Без газовой плитки температура в палатке менялась от нуля до минус двух (на дворе было около тридцати градусов мороза, да хорошо еще, если безветрие). Минут через десять-пятнадцать после того, как зажигались горелки, она поднималась до десяти-пятнадцати выше нуля. Этого было вполне достаточно, чтобы, раздевшись, забраться в спальный мешок из тяжелого и плотного собачьего меха, надежно предохранявший от холода. Кто ложился последним, гасил горелку на ночь. Самое неприятное предстояло утром, когда дежурный (а дежурили все по очереди) должен был первым вылезать голышом из теплого спального мешка в промерзшей за ночь палатке и, приплясывая от холода и дыша на пальцы, чтобы не ломать отсыревшие спички, зажигать газовые горелки. Остальные, нежась в теплых спальниках, ожидали, когда температура в палатке поднимется выше нуля. Приходилось также поочередно круглосуточно дежурить по лагерю, так как каждую минуту приютившая нас льдина могла дать трещину. Доставляли хлопоты и повадившиеся к нам белые медведи, оказавшиеся совсем не безобидными…

Льдину нашей дрейфующей станции начало ломать в конце апреля. Помню, когда меня с моим отрядом выгружали из Ан-12 на нее в начале марта, она казалась необъятным и надежным ледяным полем. Вместе с нами для заправки малых самолетов завезли много бочек с горючим, которые мы должны были катить на «склад». «Ну, что, выпьем по поводу прилета на Северный полюс? – предложил мне знакомый командир машины. – Зови своих хлопцев». «Хлопцы» мои, однако, отказались, ссылаясь на то, что им еще надо откатывать бочки с горючим. «Где ты таких чудаков набрал? – возмутился летчик. – Бочки им откатывать, эко дело! Мне вот перегруженную машину до Косистого тянуть, и то ничего!» И, захлопнув дверцу, улетел обиженный. В конце же апреля стало ясно, что льдину нашу надо срочно покидать, пока на нее еще может сесть большой самолет, и 30 апреля к нам прилетел Ли-2, чтобы с его помощью определить состояние льдины, решить, можно ли еще на ней остаавться или надо срочно лагерь ликвидировать. Поскольку был канун первомайских праздников и вопрос о ликвидации станции еще не был решен, из аэропорта Косистый, откуда прилетел самолет, к нам на лед были отправлены праздничные гостинцы, главным

образом спирт и шампанское из расчета по бутылке на человека. Все это было тут же роздано, однако, поскольку сразу стало ясно, что лагерь снимается и надо лететь на материк, решили отложить выпивку до берега и долгожданной бани. Только один из моих техников, пожилой уже человек, долго страдавший из-за сухого закона на станции, решил ничего не ждать, и когда погрузка закончилась, его пришлось втаскивать в самолет. Тяжело нагруженная машина с трудом оторвалась от льда и, развернувшись, взяла курс на юг.

Когда мы взлетели, то, взглянув на родную нашу льдину, сразу поняли, что покидаем ее вовремя. Главные неприятности, однако, были еще впереди. Почти сразу же после взлета самолет вошел в плотные снеговые облака, и начался «слепой» полет. Минут примерно через сорок мы обратили внимание на замкнутость и озабоченность летчиков, переставших выходить из кабины. Я постучался к ним, и меня с неохотой впустили. «Что-то не в порядке?» – спросил я у командира. «Да обрастаем льдом понемногу, – невесело хмыкнул он, – еще так минут двадцать полетим – и падать можно». «А сколько лету до берега?» – с тревогой спросил я. – «Не меньше часа».

Я вышел к своим. Хотя я и успокаивал их, сказав, что все нормально, они мне не поверили. Всем все было ясно. Машина медленно, но неуклонно теряла высоту. Взревывали моторы, переведенные на форсаж, самолет ненадолго поднимался вверх, но потом снижался снова. В салоне началась паника. Самый молодой геофизик, всегда веселый и остроумный, вдруг начал истерически кричать и требовать, чтобы мы «сели немедленно». Куда садиться? Под редеющим снизу ярусом туч явственно чернели воды Ледовитого океана. Я начал орать на своих сотрудников и стыдить их, ставя в пример летчиков, но это мало помогало, если не считать того, что, крича на них, я отвлекся от собственного страха. Народ понемногу примолк. Все с ужасом поглядывали в окна на приближающуюся хмарь воды, по которой плавали мелкие льдинки. Наконец, уже над самой водой, самолет, дотянув-таки до берега, не разворачиваясь, плюхнулся, точно выведенный штурманом, чуть ли не поперек посадочной полосы и, резко тормозя, остановился, накренясь набок. Выбравшись на дрожащих ногах наружу, мы увидели, что у нас разбито правое шасси. Трудно описать жалкое наше состояние, когда, бледные и трясущиеся, мы выгружали свое имущество из самолета. Единственным счастливцем оказался только наш нетерпеливый коллега, выпивший свой спирт и шампанское еще на льдине и мирно проспавший весь полет в своем кресле. «Ерунда, – заявил он на следующий день, похмелившись, – никуда

мы не падали. Все было в норме, нечего меня разыгрывать – я все отлично помню». Этот случай послужил мне хорошим уроком никогда не откладывать выпивку «на потом» …

В следующий раз я попал в Арктику уже в 72-м году, когда участвовал в уже упомянутом перегоне речных судов через все моря Ледовитого океана из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. На нашем жестяном суденышке «Морской-10» мне повезло за одну навигацию без аварий и зимовки во льдах пройти от Белого моря до Охотского через суровые льды пролива Вилькицкого и осенние тайфуны Берингова моря. Недели две мы стояли у острова Вайгач, в поселке Варнике, ожидая лучшей ледовой обстановки в проливах Новой Земли и любуясь недолгой и неповторимой красотой цветущей августовской тундры.

Много лет дома в Ленинграде, а потом в Москве я упорно продолжал хранить давно не нужное мне старое обмундирование из давних северных экспедиций. Мне жалко было расстаться с таким родным и надежным спальным мешком собачьего меха, с литыми сапогами с длинными голенищами, «летными» меховыми куртками и такими же непродуваемыми штанами. В самом углу на антресолях лежали аккуратно сложенные подсумки с десятью снаряженными обоймами к кавалерийскому карабину и большая россыпь «сэкономленных» патронов к «Нагану». Меня все время не покидало ощущение ностальгии по этим вещам, с которыми в юности связано было так много. Казалось, стоит снова обрядиться в «энцефалитный» костюм и сапоги с длинными голенищами, навесить на широкий офицерский пояс старый охотничий нож в черном кожаном чехле и горный компас в брезентовой кобуре – и снова станешь молодым, любопытным, ожидающим радостного события за каждым новым поворотом реки. Вещи, однако, понемногу обветшали. Меховые штаны и куртки были распороты для домашних ковриков, патроны утоплены, сапоги и ножи раздарены.

И все-таки что-то осталось. Потом тоже были экспедиции, по всем морям и океанам, на солнечные Гавайские острова, в далекую Новую Зеландию и в Бермудский треугольник, и на недоступное для человека океанское дно. Но эти экспедиции уже не вызывали у меня такой детской первозданной радости, как северные. Может быть, потому, что миновала молодость и притупилась острота восприятия нового. А может быть, потому еще, что именно Север, его суровые традиции, жесткая и непреложная система сложившихся там людских отношений, жизнь в маленьком, оторванном от нормальных условий мужском коллективе, где все надо делить поровну, где простителен страх, но непростительна ложь, заложил в моей неуверенной юношеской

душе основу нравственных критериев человеческого общежития.

Дело, однако, не только в этом. В те давние 50-е годы экспедиции в енисейское Заполярье открыли мне глаза еще и на другое… База нашей экспедиции в 1959–1960 годах располагалась в Курейке, где когда-то томился в ссылке Сталин. Над старой бревенчатой избой, в которой он жил, возвели огромный павильон из бетона со стеклянными стенами. От музея вниз к Енисею спускалась величественная лестница, увенчанная большими городскими фонарями. А над ней возвышалась гигантская статуя «великого вождя», хорошо видная издалека с Енисея. Пароходы, проплывающие мимо, должны были салютовать монументу гудками. Вид этого роскошного мемориального комплекса посреди окружающей нищеты производил странное впечатление. Уже после нас статую с пьедестала скинули, мемориальную избу вытащили трактором из павильона и разобрали, а бетонный остов музея так и остался.

О пребывании Сталина в Курейке местные жители поведали нам немало баек. Выяснилось, что этот шустрый молодой грузин, переехавший сюда из Туруханска, где он смертельно поссорился со Свердловым, тут же завел шашни с некоторыми местными девицами. Хорошо помню, как к нам на базу приходили какие-то алкаши, которые били себя в грудь, уверяя, что они побочные дети генералиссимуса, и требуя на этом основании денег на опохмелку. Наряду с этими визитами «детей лейтенанта Шмидта», весьма, правда, недолгими, мне запомнилась услышанная там история, достоверность которой остается на совести рассказчиков, о том, что местные мужики, которым не понравилось, что «ссыльный грузинец» испортил их дочерей, решили этого вредного человека утопить. Дело было зимой, и схваченного соблазнителя повели топить в прорубь на Енисей. Но исторические беды русского народа с тем всегда и связаны, что начатое дело никогда не доводится до конца. То ли прорубь оказалась слишком далеко, то ли мужики опохмеляться спешили, – так или иначе, но до проруби ссыльного не довели, а бросили его посреди Енисея, – авось сам замерзнет, и пошли обратно допивать самогон. А напрасно! Ведь как написал в своем «Сандро из Чегема» Фазиль Искандер, если бы мальчик сказал отцу, куда все тот же спасшийся кавказец уже позднее погнал вьючных лошадей с награбленным им добром, то история нашей страны «могла бы пойти нижне-чегемским путем, но она пошла верхне-чегемским».

Я же, попав в Туруханский край, видел уже следы активной деятельности этого неутопленного вовремя вождя. Каждую весну, в половодье, мимо наших палаток по реке Сухарихе проплывали

десятки человеческих черепов и костей из размытых весенним паводком безымянных захоронений выше по течению, где догнивали остатки бараков и сторожевых вышек на месте бывших лагерей.

С желтого песчаного откоса,
Где прошла звериная тропа,
Половодье приносило кости,
Кисти рук, ключицы, черепа.
На свободу их из заключенья
Выносила мутная вода.
Мы стояли ниже по теченью
На реке Сухарихе тогда.
Запах тленья, приторный и сладкий,
Вниз распространялся по реке.
Поутру проснешься – у палатки
Скалит череп зубы на песке.
В лагерях на быстрых этих реках,
Где срока не меньше десяти,
По весне расстреливали зэков,
Чтобы летом новых завезти.
Мы со спиртом поднимали кружки,
Поминая этих доходяг.
С той поры мне объяснять не нужно,
Что такое сталинский ГУЛАГ.

А неподалеку от Курейки, на том же левом берегу Енисея, ниже по течению, вблизи от поселка Ермаково, там, где к Енисею должна была выходить по замыслу «величайшего гения всех времен и народов» знаменитая «мертвая» железная дорога Салехард – Игарка, я видел ржавеющие в болотах десятки паровозов «ИС» («Иосиф Сталин»), завезенных сюда когда-то баржами из Красноярска. Дорогу эту строили на вечной мерзлоте, заранее зная, что держаться она на ней не сможет. Но обреченное это строительство затеяно было не для того, чтобы поезда ходили, а для того, чтобы умертвить сотни тысяч людей, и эта цель была успешно достигнута.

В 1995 году в Норильске нам с Юлием Кимом показывали только что открытый музей истории Норильска, ставший, по существу, одним из первых музеев ГУЛАГа. В середине музея стоит огромный чугунный крест, который, если смотреть сбоку, имеет форму вопросительного знака. Мэр города объяснил нам, что это – проект памятника безвинно погибшим, который должны были бы поставить на центральной площади, да так и не

решились. Людей сюда завозили летом, в навигацию, на пароходах. До следующего лета они должны были умереть от непосильной работы на лесоповале или в рудниках, от цинги и холода. Тех, кто не умирал сам, расстреливали по весне и завозили новых. Самым страшным временем поэтому в норильских и других северных лагерях была весна. Так в Туруханском крае и под Игаркой стала открываться для меня страшная изнанка сталинской империи.

Что же до истоков авторской песни, то именно в этих северных экспедициях я впервые столкнулся со странными песнями, которые пели наши рабочие, по большей части из бывших зэков. Некоторые из них я слышал позднее в доме Серманов, отсидевших на Колыме. Так я услышал впервые великие песни, созданные безымянными авторами в беспросветных потемках лагерей гулаговской империи: «Ванинский порт», «Голубые снега», «Черные сухари» («А на дворе хорошая погода. В окошко светит месяц голубой. А мне сидеть еще четыре года. Душа болит – так хочется домой»), «Бежит речка да по песочку, бережок моет», «Идут на север срока огромные, кого ни спросишь – у всех указ», и многие другие. Я не любил и до сих пор не люблю блатные песни, которыми иногда щеголяли мои приятели. Помню, как в 1965 году мы спорили об этом с Володей Высоцким в доме Евгения Клячкина в Питере. Я полностью согласен с Варламом Шаламовым в его оценке блатарей и не вижу никакой романтики в воровстве и бандитизме. Но песни зэков – это уже совсем другое.

Когда я вначале по наивности и неопытности интересовался, кто автор, мне с угрюмой усмешкой отвечали одно и то же: «Слова народные, автора скоро выпустят». И я перестал спрашивать. Песни эти пелись, конечно, не под гитару, а просто так, что называется, а капелла, – вечером у костра или прямо у палатки. К одному поющему понемногу неторопливо присоединялись другие. Каждый пел не для других, а как бы только для себя, неспешно вдумываясь в поющиеся слова. Незримая общность того, о чем говорилось в песне, объединяла поющих, и возникало подобие разговора и того странного точного взаимопонимания, которого я не встречал в других местах. Так я впервые понял, что песня может быть средством общения, выражением общего страдания, усталости, грусти. От того, что и жили вместе, и страдали.

Стихи здесь не котировались – они считались проявлением слабости, сентиментальности. Песня – совсем другое дело. Песню можно было петь везде и всегда. В Арктике песни пели все: рабочие после тяжелой работы на лесоповале под комарами и в

жару, летчики после утомительных дневных или ночных полетов со сложными посадками и дурной видимостью, геологи после изнурительного маршрута, пели все, глядя, не мигая, в желтое пламя вечернего костра. Песни были, конечно, разные, но тональность их, полное отсутствие бодрячества и фальши, точная психологическая правдивость иногда наивных, но всегда искренних слов были неизменны.

Именно там, на Севере, подражая этим услышанным песням, я начал уже всерьез придумывать какие-то нехитрые мотивы на собственные стихи и петь их у костра, не сообщая при этом своего авторства. Так были написаны «Снег», «Деревянные города», «Перекаты» и некоторые другие песни, также ставшие со временем безымянными. Песня «Снег» была написана после первого полевого сезона в Арктике в феврале 1958 года в Ленинграде. Посвящена она сестре Нины Королевой Лене Ошкадаровой, за которой я тогда вполне платонически ухаживал. Отсюда и «Петроградская сторона» и «Кос твоих светлая прядь».

Тихо по веткам шуршит снегопад,
Сучья трещат на огне.
В эти часы, когда все еще спят,
Что вспоминается мне?
Неба далекого просинь,
Давние письма домой…
В царстве чахоточных сосен
Быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.

Снег, снег, снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится,
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег.

Над Петроградской твоей стороной
Вьется веселый снежок,
Вспыхнет в ресницах звездой озорной,
Ляжет пушинкой у ног.
Тронул задумчивый иней
Кос твоих светлую прядь,
И над бульварами Линий
По-ленинградскому синий

Вечер спустился опять.

Снег, снег, снег, снег,
Снег за окошком кружится.
Он не коснется твоих сомкнутых век.
Снег, снег, снег, снег…
Что тебе, милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек
Снег, снег, снег.

Долго ли сердце твое сберегу? —
Ветер поет на пути.
Через туманы, мороз и пургу
Мне до тебя не дойти.
Вспомни же, если взгрустнется,
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком – как придется —
Песня к тебе доберется
Даже в нелетные дни.

Снег, снег, снег, снег,
Снег над тайгою кружится.
Вьюга заносит следы наших саней.
Снег, снег, снег, снег…
Пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем вокзальный перрон
Завтрашних дней.

Помню, через пару дней после того, как она была написана, мы вместе с Леной Кумпан и Олегом Тарутиным ездили в Комарово кататься на лыжах. Я показал им эту песню, и она им понравилась. Через каждые полчаса мы сходили с лыжни и, встав в кружок, снова пели «Снег», пока они не выучили песню наизусть. Эта песня стала очень быстро распространяться. Позднее ее включил в свой репертуар Иосиф Кобзон и даже спел в новогоднем «Голубом огоньке» 1966 года. Где-то году в 60-м ее опубликовала на своих страницах «Комсомольская правда», и я почти сразу же получил письмо из города Иваново от какой-то девушки, которая представилась как комсорг цеха и передовик производства и предложила завязать переписку. «Так приятно иметь талантливых друзей, – писала она, – и, может быть, со временем эта дружба перейдет в лю…» К письму была приложена ее маленькая паспортная фотография. «У меня нет под рукой

другой, – извинялась девица, – но в следующий раз я обязательно пришлю свой снимок в купальнике». Больше всего мне запомнился конец письма: «Извини, дорогой Саша, что, еще не будучи с тобой знакома, я сразу обращаюсь к тебе на „ты“, но я считаю, что комсомольцы должны обо всем говорить друг другу прямо».

Несколько песен в те годы были написаны мною под прямым влиянием зэковских песен. В их числе «Полночное солнце», «Мокрое царство», «Перелетные ангелы» и «На материк».

Судьба последней песни довольно примечательна. Я написал ее в Туруханском крае в 1960 году. Уже на следующий год во время полевых работ после какого-то сабантуя наши работяги, выпив сваренной ими бражки и выданного мною спирта, запели «старые лагерные» песни и, к моему удивлению и радости, спели эту песню. Я был молод, глуп и тщеславен и немедленно заявил о своем авторстве. Вот этого-то, оказывается, и нельзя было делать. Все, что было мне сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, может быть сведено к лаконичной форме: «Еще раз скажешь, что твоя, – замочим». Угроза была вовсе не шуточной – народ в тех краях подбирался серьезный. «Да за такую песню, – кричали они мне, – надо всю жизнь страдать в зоне! Чтобы фраер с материка да такую песню придумал? Наша песня, всегда была нашей, понял?» Нашлись даже очевидцы, которые «собственными ушами» слышали эту песню в 40-е в лагерях под Норильском.

Надо сказать, что по прошествии почти тридцати лет авторство этой песни все-таки было закреплено за мной представителями того самого контингента, который когда-то его оспаривал. Я получил письмо из лагеря, расположенного в Ленинградской области, где-то под Лугой. Письмо было подписано «членами общества книголюбов». «Дорогой Александр Моисеевич, – было написано в письме, – мы любим ваши песни, особенно песню „От злой тоски“, которую считаем своей». В последней части письма следовали стандартные пожелания творческих успехов и счастья в личной жизни. А в конце было написано главное: «А ежели что, – примем как родного».

В 1992 году любимый мною артист Зиновий Гердт исполнил песню «На материк» по российскому радио в программе «В нашу гавань заходили корабли», сообщив, что «автор песни сгинул в сталинских лагерях». Он тоже очень удивился, узнав о моем авторстве, несмотря на наше давнее знакомство.

В середине 80-х на Кольском полуострове, неподалеку от Мурманска, в поселке Заполярный, куда я приезжал в командировку на первую в мире скважину сверхглубокого

бурения, начальником которой много лет был Давид Миронович Губерман, старший брат моего друга поэта Игоря Губермана, в местной гостинице я познакомился с молодыми специалистами, инженерами и врачами, работавшими здесь около года. Узнав, что я геолог и интересуюсь песнями, написанными на Севере, они неожиданно предложили мне показать могилу мужика, который написал песню «На материк». Я очень удивился, но, конечно, немедленно согласился. На следующий день они подогнали к гостинице старый вездеход «ГАЗ-47», и мы отправились в тундру. Примерно через час езды по трудной дороге мы прибыли в расположение бывшей «зоны» – несколько бараков, обнесенных уже сгнившим от сырых баренцевоморских ветров частоколом с покосившимися пулеметными вышками на углах. Эти «типовые» архитектурные сооружения мне доводилось встречать уже неоднократно в Туруханском крае и на Колыме. Неподалеку притулилось небольшое кладбище: два-три покосившихся креста и несколько безымянных камней. Подойдя к одному из безымянных камней, спутники мои сказали: «Ну вот, тут он и лежит. Здесь в зоне эту песню придумал, здесь его и прикончили». – «За что?» – наивно спросил я. «Как это – за что? За песню, конечно. Ну что ж, надо помянуть». С этими словами они начали разливать по кружкам привезенную с собой водку. Тут мне стало не по себе, – какие шутки, тут же реальный покойник лежит. «Подождите, – остановил их я, – а вы уверены, что здесь похоронен именно автор этой песни?» Они так разозлились, что даже перестали мне наливать и сердито спросили, на этот раз уже у меня: «Как, разве не Городницкий эту песню написал?» – «Да вроде Городницкий», – смутился я. «Ну вот видишь, – а ты сомневаешься. Шапку сними». Мы наполнили кружки и помянули безвременно погибшего автора. Потом сели в вездеход и уехали обратно в Заполярный. Моей фамилии, слава богу, никто не спросил, а то могло стать одним безымянным камнем больше.

В 2005 году я вместе с Юлием Кимом выступал на фестивале политической песни на месте бывшего лагеря политзаключенных «Пермь-36», расположенного неподалеку от городка Чусового на реке Чусовой. Концерт проходил прямо на бывшей пилораме. После концерта ко мне подошел пожилой полковник МВД, сильно навеселе, держа в руках мою книжку. «Дайте мне, пожалуйста, автограф! Разве вы меня не помните? Ну, как же, – ведь вы у меня здесь сидели во втором бараке. Я же вас дважды от карцера спас! И песню „От злой тоски“ вы здесь у меня написали!» – «Да я вообще не сидел!» – резко возразил я. «Что же мне делать, – огорчился он, – а я про вас уже в своих воспоминаниях написал».

В последние годы мне нередко приходится отвечать на

вопрос, как я отношусь к тому, что имени моего по большей части не знают, а песни поют как безымянные. В качестве ответа на него, в подражание великим, я написал стихотворение с «оригинальным» названием «Памятник».

Я обошел все континенты света,
А город мой все тот же с давних пор,
Там девочка, склонясь у парапета,
Рисует мост, решетку и собор.
Звенят трамваи, чаек заглушая,
Качает отражения вода.
А я умру, и «часть меня большая»
Не убежит от тлена никуда.
Моих стихов недолговечен срок.
Бессмертия мне не дали глаголы.
Негромкий, незапомнившийся голос
Сотрут с кассет, предпочитая рок.
Прошу другого у грядущих дней,
Иная мне нужна Господня милость, —
Чтобы одна из песен сохранилась,
Став общей, безымянной, не моей.
Чтобы в глухой таежной стороне,
У дымного костра или под крышей,
Ее бы пели, голос мой не слыша,
И ничего не зная обо мне.

Так проходили мои «северные университеты». Иногда по ночам я просыпаюсь от писка комаров или крика пролетающей над палаткой птицы, и мне кажется, что пора подниматься и идти в маршрут. Едкий запах густого белого дыма от брошенного в разгорающийся костер сухого ягеля щекочет мои ноздри, и в ушах снова негромко звучат протяжные и горькие северные песни.

Нам ночами июльскими не спать на сене,
Не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос.
Перелетные ангелы летят на север,
И их нежные крылья обжигает мороз.

Опускаются ангелы на крыши зданий,
И на храмах покинутых ночуют они,
А на утро снимаются в полет свой дальний,
Потому что коротки весенние дни.

И когда ветры теплые в лицо подуют

И от лени последней ты свой выронишь лом,
Это значит – навек твою башку седую
Осенит избавление лебединым крылом.

Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям,
Вы не врите, братишечки, про утраченный юг, —
Перелетные ангелы летят на север,
И тяжелые крылья над тундрой поют.

Паруса «Крузенштерна»

Расправлены вымпелы гордо,
Не жди меня скоро, жена,
Опять закипает у борта
Крутого посола волна.
Под северным солнцем неверным,
Под южных небес синевой,
Всегда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

И дома порою ночною,
Лишь только раскрою окно,
Опять на ветру надо мною
Тугое поет полотно.
И тесны домашние стены,
И душен домашний покой,
Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

Пусть чаек слепящие вспышки
Горят надо мной в вышине.
Мальчишки, мальчишки, мальчишки,
Пусть вечно завидуют мне.
И старость отступит, наверно,
Не властна она надо мной,
Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

Для любого моряка его первое судно так же незабываемо, как первая любовь. Для меня таким судном стал парусник «Крузенштерн», на трап которого я впервые поднялся в 1961 году, в заметенном декабрьской вьюгой Балтийске. С этого времени начались мои океанские плавания, резко изменившие мою судьбу. За последующие тридцать пять лет мне довелось плавать во всех океанах на самых разных судах – гражданских и военных, много раз погружаться на дно Мирового океана в подводных обитаемых аппаратах, но память о моем первом судне осталась на всю жизнь. В отличие от меня оно не состарилось и до сих пор совершает кругосветные плавания, занимая призовые места в международных парусных регатах. Когда сейчас я вижу белоснежные паруса «Крузенштерна», то ощущаю острое чувство

ностальгии по собственной, к сожалению, уже навсегда ушедшей молодости.

Если бы в 1960 году кто-нибудь сказал мне, сухопутному геологу, кормившему комаров в Туруханском крае, что через несколько месяцев я отправлюсь в плавание в Северную Атлантику на настоящем паруснике и навсегда после этого свяжу свою жизнь с океаном, я бы посчитал это глупой шуткой. Но еще в начале 61-го года в нашем отделе геофизики неожиданно появился новый сотрудник, Николай Николаевич Трубятчинский, уволенный в запас молодой худощавый и небольшого роста морской подполковник, жгучий и неимоверно энергичный брюнет с цыганскими усами. Он, как и многие другие офицеры, стал «жертвой женевского соглашения», одним из нескольких десятков тысяч офицеров, попавших под хрущевское сокращение начала 60-х. Вернувшись в родной Ленинград из Калининграда, где он служил, Николай Николаевич пришел в райком партии, который должен был его трудоустроить. Там ему предложили должность директора Сенного рынка. Это безусловно блестящее предложение неразумный Николай Николаевич отверг, а поскольку по образованию был гидрограф с геофизическим уклоном, пришел в отдел геофизики нашего института, где когда-то знали его отца, известного магнитолога, тоже Трубятчинского и тоже Николая Николаевича.

Отделом геофизики тогда руководила профессор Раиса Михайловна Деменицкая, женщина острого и не ортодоксального ума, необозримой честолюбивой фантазии и весьма неожиданных поступков, которая сама еще совсем недавно рассталась с морской формой Главсевморпути и нашивками капитана II ранга. Маленький, энергичный и подвижный, как черная ртуть, подполковник ей понравился, а еще больше понравилась идея попробовать наземную геофизику на судах военной гидрографии.

И вот я в составе первой геофизической группы из девяти человек под доблестной командой Николая Николаевича Трубятчинского оказался на борту одного из крупнейших в мире парусников – экспедиционного океанографического судна «Крузенштерн», того самого, верхушки мачт которого были когда-то постоянно видны из окна нашей комнаты на Мойке. Именно это судно было выделено морским начальством для постановки опытных геофизических работ в океане. В декабре 1961 года оно отправлялось на полгода в Северную Атлантику для проведения там океанографических исследований по программе Гидрографического управления ВМФ. Так, хотя и с некоторым опозданием, сбылась моя школьная мечта попасть наконец в океан.

Забегая вперед, могу сказать, что на «Крузенштерне» было совершено немало крупных научных открытий. Так, в 1962 году с его борта впервые в мире было измерено электрическое поле Мирового океана, исследование которого играет сейчас огромную роль при решении целого ряда прикладных задач (в том числе – военно-морских) и о существовании которого до наших работ ничего не было известно. В том же 62-м году с этого судна была проведена первая магнитная съемка в океане с буксируемым датчиком, и мне довелось принимать в этом участие. До этого магнитное поле океана изучалось только с немагнитных судов – американской яхты «Карнеги» и советской шхуны «Заря». Наши же исследования на «Крузенштерне» положили начало массовому картированию магнитного поля океана с судов со стальным корпусом. Было много и других важных научных открытий: например, структура поля течений, соленость и температура воды в самом знаменитом океанском течении – Гольфстриме. Однако вернемся к началу этой истории.

Нет необходимости описывать длинную и нервную эпопею оформления визы для выезда в «капстраны», необходимой для загранплавания в Атлантике, эпопею для меня тем более трудную, что я при всех своих анкетных недостатках оформлялся впервые, ни на что при этом особо не надеясь. Тем большей была нечаянная радость, когда я узнал, что меня «пропустили». Немало хлопот доставила мне и строжайшая медицинская комиссия и заполнение «медицинской книжки моряка», хотя я и был приятно польщен, когда врач-венеролог, бдительно осмотрев меня и проверив анализы, так же, как и другие, написал: «Годен». Главным источником неприятностей за более чем сорок лет прохождения разного рода медкомиссий для меня было (да и сейчас, конечно, осталось) артериальное давление, которое, даже если за полчаса до этого было нормальным, немедленно подскакивало при комиссионной проверке. Эффект этот, являющийся, видимо, следствием неизлечимой уже внутренней боязни «не быть, как все», приобрел характер постоянного нервного синдрома, весьма типичного для моего поколения. В связи с регулярным участием в рейсах мне много лет приходилось проходить обязательные медицинские комиссии. Несколько лет назад, уже в солидном возрасте, я опять проходил комиссию, в том числе и обязательного в этом случае венеролога. Когда я вошел к врачу в кабинет, он сидел, не поднимая головы, и что-то писал. «Фамилия», – буркнул он. Я назвал. «Вензаболеваниями болели?» – «Пока нет». Он поднял голову, посмотрел на мою лысину и седину и, улыбнувшись, произнес: «А вы – оптимист».

Но вот, так или иначе, все рогатки чистилища, выездные и медицинские комиссии пройдены, и в морозный декабрьский день мы подогнали свои грузовики с оборудованием на пирс Балтийска, где у самого выходного маяка стоял великолепный четырехмачтовый барк «Крузенштерн», готовящийся к трудному походу в штормовую зимнюю Атлантику. «Крузенштерн» – один из трех крупнейших в мире немецких парусников, построенных в начале XX века специально для перевозки кофе и пряностей из Южной Америки в Европу. Дело в том, что кофе, чай и пряности не выносят запаха солярки, поэтому для их перевозки решено было построить гигантские парусники водоизмещением около 7000 тонн каждый. Это были нынешние «Крузенштерн», «Седов», стоявший здесь же, в Балтийске, неподалеку от нас и также собиравшийся в поход, и «Памир».

«Крузенштерн», спущенный на верфи в Бремерхафене в 1926 году, первоначально назывался «Падуя», о чем извещает латинская надпись на старой корабельной рынде. Судно действительно огромное для парусника – 114,5 метров в длину и 14 в ширину, водоизмещением 6400 тонн. Высота его мачт, изготовленных не из дерева, а стальных, достигает 56 метров от ватерлинии. Парусное вооружение состоит из 31 больших и малых парусов с общей площадью 3800 квадратных метров. Полвека назад на «Крузенштерне» кроме парусов был еще не слишком мощный дизель, который годился только для маневров при подходе к берегу и «не выгребал» против сильного ветра. Собственно говоря, по замыслу создателей «Падуи», двигатель паруснику был не очень нужен, поскольку он относится к экстра-классу барков, которые получили название винджаммеров – выжимателей ветра. Полное косое и прямое парусное вооружение позволяет судну идти под любым ветром с достаточно большой скоростью. Так, выходя из Гамбурга в Атлантику, «Падуя» спускалась на юг до границы Северного тропика, где дуют ветры западных румбов, и, поставив все паруса, с крейсерской скоростью около 10 узлов шла к берегам Америки. Там, приняв груз кофе, парусник двигался обратно, примерно с той же скоростью, уже к югу от экватора. Эти широты раньше носили название «конских» – дело в том, что испанцы когда-то возили по пассатным зонам на своих парусниках в Новый Свет лошадей, так напугавших аборигенов.

«Падуя» и «Магдалена Виннен II» (так в Германии назывался барк «Седов») были переданы СССР в 1946 году в счет репараций после Второй мировой войны и приведены в Кронштадт, где и простояли много лет, поскольку неясно было, на что их употребить. Тем более что на нашем флоте не было парусной

команды, которая могла бы такие большие парусники освоить. Тем не менее в 1959–1961 годах команду подготовили, оба парусника отремонтировали, отодрав в каютах переборки красного дерева и другие ненужные советским морякам излишества, и приспособили их в качестве военных океанографических судов для научных работ в океане. Нынешнее имя, в честь знаменитого русского мореплавателя, тоже немецкого происхождения, адмирала Ивана (Иоганна) Федоровича Крузенштерна парусник получил в 46-м году. Несколько лет назад офицеры барка «Седов», приходившего в Питер, с грустью говорили мне, что судьбу судна во многом определяет его название. Например, Иван Крузенштерн сделал блестящую карьеру, совершил несколько кругосветных плаваний, стал полным адмиралом, а Георгий Седов – был неудачником, карьеры не сделал, дослужился лишь до старшего лейтенанта, до Северного полюса не дошел и был задушен собственными матросами. Возможно, поэтому кораблю, названному его именем, не слишком везет, и «Седов» долгие годы остается в тени своего более удачливого собрата – «Крузенштерна».

С 1961 года «Крузенштерн» начал новую жизнь как экспедиционное океанографическое судно Гидрографического управления ВМФ. При нас в огромном носовом трюме, где прежде размещался груз, разделенном переборками, находились матросские кубрики. Главное достоинство «Крузенштерна», обеспечивающее его долголетие, – корпус. Известно, что срок средней «жизни» современного судна не превышает, как правило, двадцати лет. Причина этого – неостановимая коррозия стального корпуса химически агрессивной морской водой, которой не в силах противостоять никакая покраска. У «Крузенштерна» же стальной корпус при постройке был плотно обшит пробковым деревом, не допускающим контакта морской воды со сталью. Поэтому он не только плавает в океане более восьми десятков лет, но и до сих пор выигрывает призы на парусных гонках вроде трансатлантической регаты «Tall Ship» в 2000 году, где он был признан лучшим среди больших парусных судов класса «А» и занял второе место среди судов всех классов.

Судьба третьего парусника – «Памир», оставшегося в ФРГ, сложилась более трагично. Он был после войны превращен в учебное судно и много лет плавал во всех океанах. В 1957 году, недалеко от Азорских островов, имея на борту экипаж – 96 гардемаринов и 20 офицеров, «Памир» был застигнут внезапным ураганом, неся в этот момент полное парусное вооружение. Тогда еще не было приема карт погоды по телетайпу, и штормовое предупреждение на судне вовремя получено не было. Когда

командир понял, что надвигается ураган, он приказал немедленно убрать паруса, но было уже поздно. Паруса, как говорят моряки, «обстенило», то есть прижало лобовым ветром к стеньгам. Небывалой силы шквал опрокинул парусник и перевернул его. Из всей команды чудом спаслись только два человека.

«Корабль к походу изготовить!» – рявкнул вдруг вслед за оглушительным звонком хриплый бас из висящего рядом со мной на переборке небольшого мышино-серого цвета динамика, и я от неожиданности дернул головой, как кот, которому внезапно подули в ухо. Над нашими головами глухо застучали по палубе тяжелые матросские ботинки. Вот уже неделю жили мы на корабле, а все никак не могли привыкнуть к принудительной трансляции – все казалось, что каждая команда, объявленная дежурным офицером, относится именно к тебе, и надо сломя голову мчаться куда-то и что-то немедленно исполнять.

Экипаж экспедиционного океанографического судна «Крузенштерн» (или «ЭОС» – по военно-морской аббревиатуре) состоял из 102 матросов и 18 офицеров, не считая нас – девяти прикомандированных. О нас, однако, разговор ниже. Судно, хоть и парусное (а возможно именно поэтому), было по военной табели определено как «корабль первого ранга». Должность командира занимал капитан I ранга, должности его заместителей – капитаны II ранга, а командиры «боевых частей» были капитанами III ранга – так же, как на современном крейсере.

Главными людьми на «Крузенштерне» были боцмана – палубная команда, управлявшаяся с парусами. Командовал ими второй помощник – капитан III ранга Владимир Тимофеевич Роев, невысокий плотный человек, с курносым носом и озорными глазами, немного напоминавший обликом Фернанделя. Был он мастером спорта по яхтам, парусное дело любил фанатично и знал досконально. «Вот поймают меня в плен американцы, – пошучивал он в кают-компании, раскуривая трубку, – и начнут меня бить, пытать и выспрашивать про ракеты или подводные лодки, а я им – шиш. И скажут они, не добившись от меня показаний, – а ведь совсем неплохо держался этот русский! А что я им могу сказать, когда, кроме парусов, ничего не знаю?»

Именно Роев подробно познакомил меня с названием и назначением каждого паруса и каждой детали рангоута. Оказалось, что барк – по-испански корабль, означает в современном флоте парусник с полным прямым и косым парусным вооружением. Из четырех мачт «Крузенштерна», к каждой из которых прикреплена своя команда во главе с боцманом – командиром мачты, три несут прямое вооружение

(фок и два грота), а третья – бизань – косое. Как музыка из детских сказок, звучали произносимые им названия носовых косых парусов «бом-кливер», «миддель-кливер», «кливер», «фор-стеньги-стаксель».

Вообще тайны звучных морских названий усваивались нами довольно просто: «Ударился? – Как называется?» Это относилось к высоким комингсам, о которые мы били ноги, спотыкаясь, к низким водонепроницаемым переборкам, о которые мы ударялись лбами, забывая вовремя пригибаться, к крутым и скользким трапам, где только оступись – и костей не соберешь, к фальшбортам и кнехтам, на которые не дай Бог сесть. Когда я впервые услышал по трансляции грозный приказ: «Городницкому – срочно прибыть на шкафут», – с ударением на «и» в слове «прибыть», то долго бегал по судну и спрашивал помещение, где стоит шкаф. Оказалось, что шкафут – это носовая палуба между баком и спардеком, и никакого шкафа там нет.

«Пить чай на клотик» нас не посылали и «принести ведро пару» из машинного отделения тоже не требовали, поскольку прикомандированных штатских вообще поначалу на военном паруснике считали возмутительным недоразумением. Что же касается морских названий, то мне они понравились своим глубинным историческим смыслом и лаконизмом, идущим от древних немецких и голландских корней, привезенных из обучения в еще закладывающийся только комариный и болотистый Санкт-Питерс-Бурх молодым корабельным мастером Петром Алексеевым. Много раз потом мне доводилось наблюдать, как чугунные кнехты упорно держат наброшенные на них швартовы, упорные и молчаливые, как солдаты, как быстро закрепляется фал на нагеле, напоминающем вбитый гвоздь. А грозное слово «полундра» – короткий и выразительный перевод на русский выражения «фалл ундер» – бойся предмета, падающего сверху!

Привыкнув к этим словам, вошедшим в привычный каждодневный обиход, забываешь об их первоначальном смысле и слышать перестаешь. Для непривычного уха даже самые, казалось бы, понятные из них звучат необычно. Вспоминаю, как много лет спустя, в 76-м году, на судне «Дмитрий Менделеев», штормовавшем в осеннем Охотском море, одна девица пожаловалась мне: «Объявляют по радио – не поймешь ни слова – задраить иллюминаторы на глухари! Сказали бы просто, по-русски, – закрыть круглые окошки на железяки!»

«Баковые – на бак, ютовые – на ют, – снова заклокотал над нашими головами бас в динамике. – По местам стоять, со швартов сниматься». Смысл этой команды, услышанной мною

впервые в декабре 61-го в Балтийске и много раз слышанной за последующую четверть века, всегда поражал меня своей значительностью. Действительно, что случится, если баковые, не дай бог, пойдут по ошибке не на бак, а на ют, а ютовые – наоборот – на бак, и все перепутается? Но тогда, в первый раз, нам было не до тонкостей командной лексики – мы накинули куртки и выскочили наружу.

На промерзших булыжниках заснеженного пирса стоял небольшой матросский оркестр, зябнувший в куцых шинелишках, и самоотверженно дул в трубы коченеющими губами. Рядом с оркестром, приложив руки к вискам, стояло несколько офицеров во главе с адмиралом, стараясь не реагировать на пронзительный ветер, залеплявший глаза снегом. Поодаль махали руками немногочисленные жены. На открытом мостике «Крузенштерна» так же торжественно, в полной парадной форме, стояли командир экспедиции Петр Сергеевич Митрофанов, командир «Крузенштерна» капитан I ранга Власов и другие офицеры. Таких торжественных и парадных проводов мне видеть раньше не приходилось, и сердце мое преисполнилось гордости – вот что значит настоящий флот, настоящее океанское плавание! Впечатление было такое, что мы на судне Колумба плывем открывать Америку.

Торжественность момента, однако, была несколько нарушена. Маленький буксир, отчаянно дымя, начал отводить корму нашего судна от пирса, но швартовая команда зазевалась и не успела сбросить с причального фала один из кормовых концов, который начал опасно натягиваться, угрожая лопнуть и зацепить крутящихся неподалеку накрашенных девиц, машущих матросам на борту. «Уберите детей от концов», – громко скомандовал по радио с мостика не разглядевший их старпом. «Раньше надо было, – весело и громогласно откликнулся в мегафон командир береговой команды, – теперь их от концов за уши не оттянешь». Наконец швартовы были отданы, и, подталкиваемые двумя пыхтящими буксирами вдоль неширокого фарватера во льду, мы медленно двинулись от пирса мимо старой немецкой офицерской гостиницы с единственным в Балтийске рестораном «Золотой якорь», мимо старинного кирпичного маяка, установленного в порту Пиллау еще в прошлом веке, вдоль волнолома, к выходу из гавани, над которым висели свинцовые балтийские облака.

Жить мне довелось вдвоем с Николаем Николаевичем Трубятчинским, в тесной каютке, расположенной в твиндеке, в самой центральной части судна. Преимущество расположения нашей каюты сразу же стало мне очевидно, как только мы вышли из гавани и нас стало немилосердно качать штормовой

балтийской волной. Иллюминатора в каюте не было, его заменял так называемый бычий глаз – маленькое подслеповатое и почти не дававшее света отверстие в потолке, именуемом «подволоком». На располагавшейся над нашими головами палубе, называемой «шканцами», все время что-то громыхало, стучало и скрежетало. Убранство каюты было нехитрым – две койки с рундуками, шкафчик и небольшой стол, привинченный к полу («палубе»). На стенах («переборках») красовались вентиляционная труба и уже упомянутый динамик принудительной трансляции. Небогатая обстановка этого помещения запомнилась мне хорошо, поскольку в этой первой своей каюте мне пришлось прожить более полугода. Однообразие ее серо-коричневого интерьера нарушалось только многочисленными и неистребимыми тараканами да нередкими визитами крыс.

Непрерывные шторма, которыми встретило нас Северное море, а потом и зимняя Северная Атлантика, где мы попали в «ревущие сороковые», были для нас суровым «морским крещением». По старому морскому закону, в штормовую погоду, чтобы команда не укачивалась, на палубу поднималась из трюма бочка с солеными огурцами и личному составу раздавалась настоящая «тарань» в жестяных запаянных банках. Гирлянды этой тарани висели у нас в каюте и в лаборатории. Небольшой перерыв в штормах наступил только тогда, когда мы вошли в Датские проливы.

Как сейчас вижу ясный декабрьский вечер, когда наш парусник медленно двигался Зундом, а вслед нам и навстречу – непрерывная, как автоколонна, вереница судов, украшенных флагами всех стран мира. Как тут не вспомнить героя «Баллады о трех котиколовах» Киплинга, героя, предсмертно плачущего о том, что не увидит огни «по Зунду летящие в ночь!» Мостик на «Крузенштерне» открытый – от ветра, дождя и снега не защищен. Прямо перед ним, на спардеке, расположен такой же открытый штурвал, у которого несут вахту три моряка во главе со старшиной первой статьи Овчуховым. На мостике стоит старший помощник, капитан III ранга Виктор Васильевич Шишин, умерший от инфаркта в одном из рейсов несколько лет спустя. Рядом с ним – замполит. На берегу, плавно скользящем вдоль правого борта, над заснеженными холмами, вдруг открываются башни старинного замка с островерхими зелеными крышами. Это замок Кронберг, знаменитый Эльсинор, где жил когда-то героический и несчастливый датский принц. Теперь в замке – наблюдательный пункт НАТО. «Овчухов, – слышу я с мостика голос замполита, – погляди-ка налево – видишь замок? Это Гамлета замок – ты Шекспира-то читал?» – «Так точно, товарищ

капитан II ранга, – четко откликается Овчухов. – Только, товарищ капитан II ранга, вопросик к Вам имеется, разрешите обратиться?» – «Обращайся», – снисходительно кивает замполит. «Почему замок в Дании стоит? Гамлет-то ведь вроде англичанин?» – «Эх, Овчухов, Овчухов, – сокрушенно качает головой замполит, – серый ты человек. Политграмоту надо знать. Англичане-то в Средние века, как и теперь, колонизаторы были, вот и наставили свои замки по всей Европе!»

Северная Атлантика встретила нас непрерывными зимними штормами. Почти две недели «Крузенштерн» и второй парусник – «Седов» с зарифленными парусами держались носом на волну. Укачались не только мы, но и большая часть экипажа, где было немало молодых моряков. Из-за сильной качки невозможно стало варить борщ на камбузе, и обед раздавали сухим пайком. Мне запомнился «военный совет», когда командование судна и экспедиции призвало «на ковер» нашего синоптика капитан-лейтенанта Гену Дегтярева, требуя от него рекомендаций, куда держать курс, чтобы уйти от циклонов. Убегать, однако, судя по представленной Дегтяревым карте, было некуда. В ответ на резкую брань со стороны начальника экспедиции он заявил: «Осмелюсь напомнить, товарищ капитан I ранга, что по статистике Ллойда от кораблекрушений ежегодно гибнет двадцать тысяч человек. Разрешите идти?»

Настоящий ураган прихватил нас уже у берегов Канады. Сила ветра превысила измеряемые пределы. На моих глазах в руках у матроса, измерявшего скорость ветра, оторвало от прибора крутящиеся «чашечки». Командир, не сходивший с мостика почти сутки, с лицом багровым, задубевшим от пронзительного ветра, уходил вниз, в медсанчасть, где была единственная ванная. Там, не раздеваясь, он спал в ней, поскольку спать в обычной койке не давала качка. Ударами волн смыло две шлюпки и порвало леера на правом борту. В вахтенном журнале от того времени сохранилась забавная запись, сделанная одним из молодых вахтенных офицеров: «02 часа 07 минут. Наблюдается резкое усиление ветра и высоты волны. Принимаю решение – разбудить командира экспедиции и спросить – что делать». Уже неподалеку от канадского берега стало ясно, что надо менять курс, чтобы парусник не вынесло на скалы. Для этого, однако, необходимо на какое-то время встать лагом к волне, что крайне рискованно, поскольку критический крен судна – около пятидесяти градусов. Все хорошо помнили историю с «Памиром». Другого выхода, между тем, не было. Всем было приказано надеть спасательные жилеты и покинуть внутренние помещения судна. Офицеры надели чистое белье и парадную форму. Только мы, штатские

идиоты, впервые попавшие в океан, радовались этой морской экзотике, напоминавшей рассказы Станюковича, наивно полагая, по своей глупости, что все идет как положено.

Самое интересное, что, когда хриплый голос командира приказал по «спикеру» надеть спасательные жилеты, все немедленно перестали укачиваться. Наконец начали опасный поворот. Судно легло на левый борт, и крен достиг пятидесяти градусов. Десяток показавшихся бесконечными секунд – и судно со стоном и скрежетом выпрямилось. Не прошло и двух часов, как все снова стали укачиваться. Пожалуй, за все последующие годы плаваний в океане мне ни разу не довелось попадать в такую критическую ситуацию, как в этом первом рейсе в январе 62-го года. Ураганный шторм прихватил нас в тот раз и на обратном пути, у самого входа в Английский канал, когда с левого борта уже был виден мерцающий маяк на мысе Лизард. Сильный, внезапно налетевший шквал не позволил убрать вовремя косые паруса в носовой части судна, и оно стало зарываться бушпритом в воду. Посылать туда людей было нельзя. Я видел, как все тот же Овчухов, широко расставив ноги и поддерживаемый двумя матросами за бока, расстреливал натянувшиеся фалы из автомата Калашникова, и паруса поочередно с пушечным громом улетали в ночь. Наконец, когда отстрелили последний парус – бом-кливер, – судно выпрямилось от носового дифферента и перестало черпать воду.

Значительно позднее, плавая на других, более современных судах, я понял высокую степень их безопасности по сравнению с парусником. На них, однако, никогда не возникало странного ощущения полета, которое охватывает только на палубе парусника, бесшумно движущегося в океане, чуть накренясь на один борт. Пароходы, толкаемые винтом, рассекают воду, как плуг пашню – парусник же, перемещаемый, как и волна, ветром, не режет воду, а скользит вместе с ней. И вместо постоянной неприятной вибрации палубы и стука машин – полная тишина, нарушаемая только негромким шелестом волны о борт и скрипом снастей рангоута.

Удивительной и романтичной казалась мне и специальная вахта, существовавшая на «Крузенштерне» и упраздненная за ненадобностью на современных судах с их прекрасным обзором из ходовой рубки и радиолокацией. На самой крайней верхней носовой палубе – полубаке, где висит медный корабельный колокол-рында, стоял вахтенный матрос-впередсмотрящий. Каждый час он должен был отбивать «склянки» – время до конца вахты и докладывать на мостик обо всех опасностях, которые он видит по курсу судна. «Горизонт чист, ходовые огни горят ясно», –

слышался время от времени над палубами его голос. Одна из первых песен, написанных в 1962 году на «Крузенштерне», так и называлась «Впередсмотрящий».

Маяк далекий в темноте погас.
Ползет туман, и близок шквал летящий.
Не отводи от горизонта глаз,
Впередсмотрящий, впередсмотрящий.

А чего стоили звучные команды, гремевшие по трансляции, когда судно выполняло какой-нибудь маневр: «Все наверх! На брассы, на правую, все реи бакштаг правого галса!» Ставя и убирая паруса, моряки палубной команды с удивительной легкостью взбирались по вантам на реи и салинги, ловко и уверенно перемещаясь на огромной высоте. Глядя на них, казалось, что дело это простое и легкое. Нам же, прикомандированным штатским, категорически запрещалось даже на метр отрываться от палубы. И все-таки проплавать полгода на паруснике и ни разу не подняться на мачту было выше моих сил. Плавали мы в это время в Карибском море, погода была тихая, и я решился попробовать свои силы. Командирский мостик на «Крузенштерне» расположен около первого грота. Поэтому для своих подвигов я выбрал второй грот, имея в виду, что вахтенные на мостике обычно смотрят вперед и назад не оглядываются.

Надев выпрошенный у боцманов страховой пояс с карабинчиком, я, оглядевшись по сторонам, начал понемногу подниматься по вантам и так довольно легко достиг марсовой площадки – метрах в двадцати пяти выше палубы. Этого, однако, мне показалось мало, и я решил добраться до салинга. От марсовой площадки вверх уже более узкие ванты, да и угол их был куда круче. Стараясь не смотреть вниз, я бодро двинулся вверх, но в какой-то момент, не удержавшись, все же бросил взгляд вниз и оцепенел. Где же судно? Подо мной расстилался необозримый синий океан, и только внизу у самого основания мачты желтела какая-то узкая полоска. Голова моя закружилась. Вдруг ощутивший себя в пустоте, как муха, висящая на зыбкой паутине, я дрожащими руками пристегнул карабин страхового пояса к вантине и ухватился за нее обеими руками. Дальше рассказывал старпом: «Когда тебя снимали, – похохатывая, объяснял он, – то снимали втроем. Два моряка тебя страховали, чтобы ты с перепугу не свалился, а третий пальцы твои от вантин отжимал». Третьим был все тот же старшина Овчухов, человек страшной физической силы. На пари он не просто гнул руками подкову, а разрывал ее на части. Это он пытался мои пальцы от

вантин оторвать! «Но ничего у него не вышло, – продолжал старпом, – ты только головой мотал и мычал, а пальцы от вантины так и не отпускал. Пришлось Овчухову дать тебе легкий подзатыльник, чтобы ты отключился. Тут ты враз пальцы разжал, и тебя забрали». От «легкого» овчуховского подзатыльника месяца два у меня все не заживал кровоподтек на шее.

По вечерам на шканцах, на открытой палубе, крутили кино. Натягивался экран, и прямо под густой темнотой тропической ночи вспыхивал луч кинопроектора. Зрители сидели на «банках», поставленных на палубе. А над нами мерно, в такт легкой судовой качке, раскачивались над черными реями яркие, непривычно близкие южные созвездия. Под свежим впечатлением от моего неудачного путешествия на салинг, сидя на банке и глядя на качающиеся созвездия, я начал придумывать ту самую пиратскую песню, к которой относится упомянутая выше реплика Визбора:

Пират, забудь о стороне родной,
Когда сигнал «к атаке!» донесется.
Поскрипывают мачты над волной,
На пенных гребнях вспыхивает солнце.
Земная неизвестна нам тоска
Под флагом со скрещенными костями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями!

Через пять лет, в 1967 году, когда готовилась к изданию в Ленинграде первая книжка моих стихов «Атланты», редактор справедливо указал мне на то, что строчка, использованная мной для рефрена «И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями», – синтаксически неверна. Песня, однако, уже пелась, и переделывать строчку было невозможно. Так она и осталась без изменений.

Помимо привыкания к трудностям морской жизни, много хлопот доставляло нам привыкание к жизни военно-морской, с ее жестким и часто тупым укладом, «боевой и политической подготовкой». Помню, в первые месяцы пребывания на судне я обратил внимание, как старательно матросы «драят медяшку». «Не проще ли было бы заменить все эти медные поручни хромированными или никелированными?» – спросил я у старпома Шишина. «Нет, – ответил он, – матрос в море должен всегда быть занят. Все пиратские бунты оттого и происходили, что у людей появлялось свободное время». Он был прав. Когда, уже подружившись с нашими офицерами, я вдруг спрашивал, для чего

нужно делать то или другое бессмысленное, на мой взгляд, дело, они с грустной улыбкой отвечали: «Чтобы служба медом не казалась». Они же объясняли мне, что если командир, отдав приказ, понимает, что приказал не то, что надо, он свой приказ все равно отменять не должен, иначе подорвет свой командирский авторитет.

Виктор Константинович Шишин, тогдашний старпом на «Крузенштерне» в звании капитана III ранга, был одним из первых моих морских наставников. Он терпеливо и доходчиво объяснял мне основные правила корабельной жизни и устройство судна. Невысокого роста, плотный с седоватым ежиком густых волос, узкой щеточкой усов и озорными глазами, он как будто одновременно успевал повсюду, кого-то распекал, чем-то командовал. «Старпом – это собака на корабле, – объяснял он мне, – он должен все делать и всем командовать. Командир только в самый ответственный момент появляется на мостике, и то в белых перчатках». Мы с ним подружились. После возвращения я неоднократно бывал в его тесной квартирке в Кронштадте, где ютилась его семья. После 1966 года я потерял его из виду. Позднее мне рассказали, что он стал командиром современного гидрографического судна и умер от неожиданного инфаркта в одном из рейсов.

Командиром «Крузенштерна» тогда был Павел Васильевич Власов, старый и, по-видимому, опытный моряк, но «высших женских курсов» явно не кончавший, но владевший, как говорили наши офицеры, «тремя языками: строевым, матерным и русским со словарем». Помню, уже при возвращении в Балтийск, еще на рейде, к нам на борт прибыли таможенники для досмотра. Закончив свою работу, они пришли в кают-компанию на обед. Как раз в тот момент началась швартовка судна, и швартующий нас буксир, неудачно потянув за буксирный конец, чуть не вырвал носовой кнехт на полубаке. При этом с мостика по всей судовой трансляции раздался такой чудовищный мат Власова, что обедавшая таможенница поперхнулась супом, и пришлось вызывать врача. Помню, он попросил меня заняться с ним английским языком, тем более что ночные вахты наши совпадали. Дело это оказалось трудным, поскольку английские слова отскакивали от его уха, как горох от стенки. Тем не менее одно слово «эбаут» он запомнил сразу. «В нем что-то родное звучит», – объяснял он мне. И во всех случаях при встречах с англичанами говорил «эбаут». Спросят его, бывало, например, какова длина вашего судна – метров сто? Он отвечает: «Эбаут». Гости довольны, кивают. «А сколько вы уже плаваете в океане, месяца четыре?» – «Эбаут», – отвечает он. И опять все в порядке. «Спасибо, Саня, –

такое нужное слово ты мне сообщил! Но главное, – в нем что-то родное звучит».

Примерно год спустя, во время второго похода на «Крузенштерне», мы зашли на английскую военно-морскую базу в Гибралтар, и командующий базой контр-адмирал сэр Томас Бест пригласил командира экспедиции и командиров судов, среди которых был и Власов, на званый обед, где роль переводчика пришлось играть мне. Когда подали черепаховый суп, и лакеи, стоявшие сзади, налили какую-то прозрачную жидкость из графина в плоские бокалы, поставленные перед нами рядом с обычными рюмками и фужерами, Павел Васильевич, схватив своей крепкой волосатой рукой бокал, сказал: «Переведи – за мир и дружбу», и, крякнув, выпил. Адмирал начал что-то смущенно говорить по-английски. Смысл его слов, которые я переводить командиру не стал, состоял в том, что это не вино, а виноградный соус, который доливают в черепаховый суп.

В другой раз, в Центральной Атлантике, где вокруг судна все время сновали акулы, какой-то умник объяснил Власову, что капитан, который съест сердце акулы, становится бесстрашным на всю жизнь. Сразу же после этого началась настоящая кампания по ловле акул, к которой активно подключились наши офицеры. Наконец у какой-то отборной акулы было вынуто сердце, его то ли сварили, то ли поджарили, и вестовой на специальном блюде на глазах у всей команды понес его в командирский салон, куда были приглашены помощники и где на столе ожидала закуски бутылка «Столичной». Не прошло, однако, и пяти минут, как из салона выскочил командир с багровым лицом и кинулся к фальшборту. Зная, что его никогда не укачивает, я был немало удивлен его бурной реакцией на акулье сердце. Так ему и не удалось стать бесстрашным капитаном.

Вместе с тем он пару раз выручал меня из довольно критических ситуаций. Дело в том, что у меня почему-то с первых дней пребывания на «Крузенштерне» сразу же не сложились отношения с нашим замполитом. У замполита были свои непреложные правила. Он считал, например, что рядовые моряки и старшины могут читать только балтийскую многотиражку «Страж Балтики», где все изложено специально для них. А вот центральные газеты – «Правду» или «Известия», они читать не должны, потому что могут кое-чего там и не понять. Поэтому центральные газеты должен им комментировать и объяснять он сам. Что касается офицеров, то они могут читать и центральные газеты самостоятельно. А вот вольнодумные издания вроде «Литературной газеты» не имеет права читать уже никто, поскольку от них можно ждать разных идеологических диверсий.

С самых первых дней, как только мы появились на «Крузенштерне», наш замполит почему-то начал подозревать во мне опасного вольнодумца. Поводом для этого послужило мое явное сопротивление его приказу не появляться на верхней палубе без головного убора, а также покидать ее всякий раз, когда мы встречаемся с военными судами – «чтобы не нарушать строгого облика военного судна своим распущенным видом». Кроме того, я возражал, хотя и безуспешно, против необходимости сидеть каждый понедельник на занятиях по марксистской философии, наивно ссылаясь на законченный институтский курс этой науки. Конфликт с замполитом, чреватый для меня потерей загранвизы, еще обострился после того, как по его приказу судовая трансляция с утра до ночи беспрерывно на полную громкость передавала одни и те же, безумно всем надоевшие за полгода плавания песни с нескольких затертых пластинок. В начале книги я уже упоминал о совпадении его мнения о главном назначении радио с мнением моего покойного деда. Среди прочих была там одна особенно опостылевшая мне лирическая песня на слова Михаила Танича:

Девушки сидят на подоконнике,
Обнявшись, вполголоса поют.
Где-то их, наверно, ждут поклонники,
Ну и пусть немного подождут.

В конце песни говорится, что девушки ее «оборвут, не кончив, и со смехом побегут с ребятами в кино, и уходит песня грустным эхом через запотевшее окно». Песня эта, крутившаяся много раз на дню, обрыдла нам особенно, но замполиту она нравилась, и просьбы ставить ее пореже успеха не имели.

В тот день, по случаю женского праздника 8 марта, обед в кают-компании, где мы, штатские, сидели в самом конце офицерского стола, был праздничным. Павел Васильевич, по случаю праздника, надел парадную тужурку с многочисленными орденами. Слева от него, как и положено, сидел замполит, справа – старпом. Подали борщ, и замполит налил себе полную тарелку. И тут, как назло, снова зазвучала эта несчастная песня. Я решил идти ва-банк. «Павел Васильевич, – громко спросил я через весь стол, – разрешите обратиться?» – «В чем дело?» – спросил он подозрительно. «Почему в День советских женщин у нас по радио поют такие идейно невыдержанные песни?» Офицеры, разговаривавшие за столом, отложили ложки и стали прислушиваться. Замполит, кося на меня недобрым глазом, тем не менее набрал в рот полную ложку борща. Это-то его и подвело.

«Ну, как же, – продолжал я, – вы послушайте, какие оскорбительные, пошлые слова про наших женщин звучат в той песне!» – «Какие?» – покосившись на набравшего в рот борщ замполита, снова спросил Власов. «А вот про них говорится, что они „оборвут, не кончив, и со смехом“». Тут замполит от неожиданности и возмущения поперхнулся и весь свой борщ выдал на ордена парадной тужурки командира. Над столом повисла мертвая тишина. «За борт», – брезгливо отряхивая салфеткой ошметки капусты с лацканов, коротко бросил командир. «Его?» – с надеждой спросил оклемавшийся замполит. «Пластинку», – рявкнул Власов и, поднявшись, вышел из кают-компании.

Замполит, однако, был человек опытный и злопамятный. До этого он служил в Клайпеде на базе подводных лодок, где любил разбирать персональные дела, связанные с супружескими изменами. «Что же это происходит, – заявил он как-то на партийном собрании. – Офицеры плавают в море, моряки с ихними женами спят, а политработники стоят в стороне? Так не пойдет. Мы должны к этому вопросу подключиться». В случае со мной он тоже ждал своего часа и дождался. Поход наш уже перевалил за половину, когда московское радио вдруг передало мою песню «Снег» в исполнении артиста Юрия Пузырева. Примерно через день после этого ко мне явилась делегация от боцманской команды с просьбой написать «такую же хорошую песню про море, про то, как мы здесь всякие трудности переносим вдали от жен и подруг, но все-таки море любим больше». «Только, если можно, – сказал Овчухов, возглавлявший делегацию, – напишите попросту, по-матроссски, без всяких интеллигентских выкрутасов». И я, на свою беду, попробовал, написав шуточную матросскую песенку:

Ах, не ревнуй меня к девке зеленой,
А ты ревнуй меня к воде соленой.
Ах, не ревнуй меня к вдове дебелой,
А ты ревнуй меня к пене белой.
Закачает вода, завертит,
Все изменит в моей судьбе.
Зацелует вода до смерти,
Не отпустит меня к тебе.

Морякам новая песня как будто понравилась. Во всяком случае, они ее тут же переписали и даже пару раз успели исполнить на баке вечерком под баян, на котором виртуозно играл старшина второй статьи, известный женский сердцеед

Слава Агуреев. На следующий день, однако, начались неприятности. Распевавшие песню неожиданно получили по два наряда вне очереди, а сам текст песни у них был конфискован. Ко мне явился замполит и сказал: «Ну, когда мы в базу вернемся, с вами Особый отдел будет разбираться за ваши идеологические диверсии. А я все-таки хочу спросить, как это так – я дней и ночей не сплю, личный состав неустанно воспитываю в духе постоянной преданности и идейной чистоты, а вы взяли и мне его весь в один день морально разложили?» Я не на шутку испугался: «Чем же это я разложил?» – «Вы что, и вправду не понимаете или ваньку валяете? Это ваши слова?» – И он сунул мне под нос отобранную у Агуреева тетрадку, где под мою диктовку был записан текст песни. – «Мои». – «Ну вот, а еще отпираетесь, – сказал он с торжествующей улыбкой. – Вы тут ясно пишете, что у женщины есть грудь!» – «Ну и что?» – не понял я. «А то, что вы таким образом на секс намекаете. А для советского человека у женщины грудь в любви – не главное, главное – это моральный облик!» Сразу стало ясно, что общего языка мы с ним не найдем…

Дело, однако, было не в «сексуальной строчке». Главной крамолой для замполита были вовсе не тексты моих песен, а сам факт появления их на судне, который не вписывался в установленный им жесткий регламент постоянного заполнения матросских ушей произведениями могучей советской песенной индустрии. Более всего его встревожило, что матросы эту песню (и другие мои песни) переписали, разучили и поют сами, даже не спросив у него на это разрешения. «Это что же, сегодня они ваши тексты переписывают, а завтра уже откровенно враждебные начнут петь!» За несколько дней перед этим он конфисковал у инженера из нашей группы Сергея Земскова большую бобину с песнями Булата Окуджавы и демонстративно кинул ее за борт. Судя по всему, он рад был бы то же самое немедленно сделать со мной. Так в масштабах нашего судна, как в капле воды, отобразилась ситуация с отношением бдительных партийных инстанций к авторской песне, в которой они сразу же уловили «чуждый голос».

В начале июня, когда «Крузенштерн» возвратился в Балтийск, замполит ухитрился внести историю со злополучной песней в свое политдонесение, которое попало на стол к тогдашнему начальнику политотдела дважды Краснознаменного Балтийского флота контр-адмиралу товарищу Почипайло. Туда же шустрый замполит принес и отобранную у матросов магнитофонную пленку с записью той песни с просьбой прослушать для определения меры пресечения для автора, «разложившего личный состав». Начальник политотдела, как рассказывали мне потом

случившиеся там офицеры, торопился в Калининград на футбол – команда балтийцев играла с каким-то сильным противником, но все-таки выслушать песню согласился. «Ну, что же – сказал он потом, надевая фуражку, – ничего особенного, правильная песня. Она показывает, что моряк должен любить море больше, чем бабу». И, уже выходя в дверь, обернулся и твердо закончил: «Разрешить!» Это мудрое решение определило не только судьбу песни, которая не стоила обсуждения в столь высоких инстанциях, но и судьбу автора, дав ему возможность плавать в океане и дальше.

За последующие тридцать пять лет плаваний в океане мне немало довелось иметь дел с замполитами или «первыми помощниками», как их называют в гражданском флоте. Бывали среди них и порядочные люди. Но уж сама природа этой совершенно ненужной на судне должности такова, что в лучшем случае обязывает человека к безделью, а в худшем – к соглядатайству и доносительству. Отдельные представители славной этой профессии ухитрялись успешно сочетать первое со вторым. Когда судно находится в рейсе несколько месяцев подряд, хуже всего на нем тому, кому делать нечего. Я помню, как мучился один из наших «перпомов» на судне «Академик Келдыш», изнывая от вынужденного безделья. Стосковавшись по земле и оставленному им на берегу садовому участку, он устроил на аварийном мостике над ходовой рубкой настоящую оранжерею, которой мог бы позавидовать самый взыскательный садовод.

Одним из самых порядочных первых помощников, встретившихся мне, был Николай Григорьевич Тур, долгие годы плававший на «Дмитрии Менделееве». О его щепетильности и деликатности ходили анекдоты. Помню, в одном из рейсов накануне дня 8 марта мы готовили стенгазету, чтобы вывесить ее наутро в кают-компании. Часов в двенадцать вечера выяснилось, что надо срочно что-то нарисовать. Беспокойный и настырный заместитель начальника рейса, бывший к тому же еще и представителем партбюро института, настропалил Тура пойти и срочно поднять второго электромеханика – штатного судового художника. Перпом отправился к нему в каюту, но тут же вернулся, несколько сконфуженный. «Понимаете, я постучался к нему, а у него, оказывается, женщина. Я не решился их беспокоить», – смущенно объяснил он.

В этом первом плавании на борту «Крузенштерна» появилась еще одна песня – «Прощание с городом»:

Мне разлука с тобой знакома.
Как у времени ни проси,

Он горит у подъезда дома —
Неуютный огонь такси,
Чемодан мой несут родные,
И зеленый огонь погас.
И плывут твои мостовые,
Может, нынче в последний раз.

Песню я эту по возвращении на берег пару раз где-то спел, а потом начисто про нее забыл. Прошло много лет. В 1999 году мне в руки попал недавно составленный сборник песен, которые пели наши солдаты в Афганистане во время несчастной Афганской войны, и я с удивлением обнаружил там эту песню с пометкой «автор неизвестен».

Второй поход «Крузенштерна» зимой 1962–1963-го годов был тоже нелегким. Новый 1963-й встречали в океане. Поскольку на военном судне был строгий сухой закон, то, укрывшись в одной из дальних кают, раскачиваемой ночным штормом, пили спирт, разведенный наскоро в химической колбе. Спирт попахивал резиной, как всегда – свежеразведенный, и дымился, растворяясь в опресненной воде. Прямо с мостика после вахты, сменившись в момент прихода Нового года, в «ноль» часов, к нам попал лейтенант Володя Георгиев, замерзший, с окоченевшими руками и красным от ледяного ветра лицом. Ему налили спирта, и он, расчувствовавшись, начал предлагать тост «за тех, кто на земле», за наших жен, «которым сейчас труднее, чем нам, потому что у нас тут соблазнов никаких нет, а у них – сплошные соблазны». Тост этот, однако, мужской поддержки не получил, и Георгиеву пригрозили, что ему больше не нальют, если он и далее будет нести чушь. В результате этого спора в первый день Нового года появилась песня «За тех, кто на земле».

Бушует ливень проливной,
Шумит волна во мгле.
Давайте выпьем в эту ночь
За тех, кто на земле.
Дымится разведенный спирт
В химическом стекле.
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.

В этом втором зимнем походе в отличие от первого, когда мы проплавали полгода «без берега», заходы в иностранные порты все-таки были. Первым из них, и вообще в моей жизни, стал заход

в порт Гамильтон, на Бермудские острова. Тогда мы еще мало что знали о зловещем Бермудском треугольнике и ничего особенно здесь не опасались. Наоборот, зеленые, залитые ласковым солнечным светом Бермудские острова, забитые респектабельными отдыхающими из всех стран мира, улыбающиеся женщины всех цветов и оттенков, после месячного плавания в зимней штормовой Атлантике показались нам призрачным раем. К судну тут же подогнали два автобуса с девицами, однако наш бдительный замполит на борт их не допустил. «Как вы так долго обходитесь без женщин?» – удивлялись журналисты местных газет. Вид нашего парусника настолько восхитил губернатора Бермуд, дядю английской королевы, что он специально вызвал из Лондона киносъемочную группу, чтобы запечатлеть «Крузенштерн».

Поскольку во втором походе район работ был поюжнее, то и погода была получше. Когда пересекли Северный тропик, началась такая жара, что в каюте спать стало практически невозможно. Пришлось устраиваться на палубе, на шканцах или ботдеке. За несколько месяцев я привык, пробуждаясь, видеть над собой напряженные паруса и слышать успокаивающее негромкое поскрипывание рангоута. Так появилась песня «Паруса „Крузенштерна“».

Песня эта первоначально была придумана на мой собственный мотив, но примерно через год композитор Владимир Струненко, живший в Мариуполе, в давние времена не слишком удачно переименованном в город Жданов, написал свою музыку на этот текст и послал песню на радиостанцию «Юность». За почти полстолетия песня «Паруса „Крузенштерна“», постоянно прописанная на судне, обошла вместе с ним немало морей и океанов. Теперь иногда вновь поднимаясь на борт «Крузенштерна» (сейчас знаменитый парусник – учебное судно Балтийской академии рыбопромыслового флота), я у неизменно убеждаюсь в том, что ее поет уже не первое поколение плавающих на нем курсантов. Из-за этой песни я навсегда зачислен в почетные члены экипажа «Крузенштерна», чем очень горжусь.

Я уже упоминал, что более трех месяцев во втором походе мы проработали в жарких тропических широтах Атлантики. Запасы пресной воды были скудными. Стопроцентная влажность и жара даже ночью не давали передышки. Горячий душ устраивался только раз в месяц (три человека под один рожок, не более чем на пять минут). Глаза, обожженные солнцем и разъеденные соленой водой, слезились от конъюнктивита. Постоянная солонина с томатной пастой и комбижиром корежила наши неопытные желудки. Все члены экипажа стосковались по твердой земле под

ногами вместо валкой и скользкой палубы, по освежающему холоду вместо изнурительной тропической жары, по деревьям и снегу. И вот в самом начале апреля мы пришли в канадский порт Галифакс в Новой Шотландии. На заснеженном холмистом берегу стояли столь милые нашим стосковавшимся глазам березовые рощи, сменявшиеся сосняком. Я тогда еще мало поездил по миру и наивно полагал, что березы растут только в России. Уже потом выяснилось, что растут они – по всему земному шару за редким исключением. Тогда же увиденный пейзаж настолько напомнил родное Подмосковье, что у всех защемило сердце. Тогда-то и появилась на судне грустная песенка «Над Канадой небо сине», начавшая сразу же существовать как бы отдельно:

Над Канадой, над Канадой
Солнце низкое садится.
Мне уснуть давно бы надо, —
Отчего же мне не спится?
Над Канадой небо сине,
Меж берез дожди косые…
Хоть похоже на Россию,
Только все же – не Россия.

Примерно через год канадское радио в передаче на русском языке сообщило: «Как нам стало известно, в Советском Союзе впервые написана песня о Канаде. По нашим сведениям, написал ее моряк с военного парусника „Крузенштерн“». После этого по радио прозвучал фрагмент записи этой песни. Уже значительно позднее, в 76-м году, во время 16-го рейса научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев», попав на заход в столицу Новой Зеландии Веллингтон, я услышал в гостях у новозеландского профессора Киблуайта песню на английском языке, записанную на пластинку, которая показалась мне странно знакомой. Она называлась «Заход солнца в Канаде» («Sunset in Canada») и представляла собой довольно точный английский перевод моей песни. Правда, исполняло ее женское трио под джаз так красиво, что опознать первоисточник было не просто. За минувшие десятилетия песня широко распространилась среди русской эмиграции в Канаде и пользуется там популярностью. Труднее было с публикацией этой песни у нас. В начале 70-х главный редактор одного из толстых журналов снял ее уже из набора как «явно эмигрантскую».

В 2000 году на авторском вечере в подмосковном городе Жуковский ко мне подошла женщина, в прошлом работавшая в горкоме комсомола, и рассказала, как в конце 70-х она, увлекаясь

авторской песней, пела песню про Канаду на каком-то конкурсе, за что получила грозную отповедь начальства. Не успокоившись на этом, она выяснила фамилию автора и пыталась узаконить эту песню в своем репертуаре. «Не морочьте нам голову, – сказали ей в горкоме, – Городницкий – известный советский ученый, а песня написана типичным эмигрантом».

На песню эту написано немало пародий в разное время. Самая первая из них связана с печальным событием, случившимся в Северной Атлантике. Неподалеку от нас 10 апреля 1963 года трагически погибла американская атомная подводная лодка «Трешер». Оказавшись вблизи от места, где это случилось, мы узнали об этом сначала по радио, а потом в районе появился целый американский флот, ведущий поиски. Из сообщений по радио наше начальство поняло также, что поскольку лодка атомная, то в результате бедствия могло раздавить атомный реактор, что создает радиоактивную угрозу. Надо было что-то срочно предпринимать. У нас на «Крузенштерне» где-то в боцманских кладовых гнили три положенные по штату старых и проржавевших от морского влажного воздуха радиометра, находившиеся на попечении одного из боцманов, числившегося «военным химиком». Попытка включить их и померить радиацию ничего не дала – дозиметры были неисправны. Вот тут-то командир Власов вспомнил обо мне. Дело в том, что я по военной специальности, приобретенной в институте, – инженер-радиометрист. Меня немедленно вызвали на мостик, где Власов, демонстрируя знание сразу всех трех языков, которыми владел, приказал: «Исправить, измерить и доложить».

Нельзя не отметить в связи с этим, что когда я впервые попал на военное судно, то четкость команд и докладов об исполнении, все охватывающий и предусматривающий корабельный распорядок, грозные кары за малейшее отклонение от указаний, создали у меня, новичка, обманчивую иллюзию, что уж на военном-то флоте в отличие от «гражданки» существует железный порядок. В 11 часов 15 минут, например, принудительная трансляция разносила по всем судовым помещениям такую команду: «Окончить корабельные работы – команде руки мыть», – чтобы никто не забыл вымыть руки, и только через десять минут после того: «Команде обедать».

Уже значительно позднее, отплавав на военных судах, я усвоил, что бардак там не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем на гражданских, поскольку правду начальству все докладывать, как правило, боятся, поэтому четко, по-военному приложив лапу к уху, рапортуют «есть», хотя и знают, что не только «нет», но даже и быть не может. Мне неоднократно приходилось быть

свидетелем того, как утяжеленное погонами и золотым шитьем начальство назначало сроки подготовки для выхода судов, зная наперед, что они нереальны, и подчиненные это отлично знали, но все молчали, опасаясь за свои «звездочки». Приходилось только удивляться, как все-таки при таких порядках мы ухитрились выиграть Великую Отечественную войну. Остается предполагать, что у противника, несмотря на его хваленую немецкую педантичность, порядка было еще меньше.

Вооружившись тестером и паяльником и призвав на помощь весь свой прошлый опыт по ремонту радиометров, почерпнутый в основном в студенческие годы и в экспедициях в горы, я к концу дня с трудом собрал из трех отсыревших и ржавых радиометров один. Командир на мостике явно волновался. Сначала он каждые полчаса посылал ко мне вестового (телефона у нас в лаборатории не было), нетерпеливо поторапливавшего меня, потом он врубил милую его сердцу судовую трансляцию и начал прямым текстом громко объяснять, что он думает обо мне и моих ближайших родственниках. Руки у меня тряслись. Нервозная обстановка, страх перед грозным начальством и боязнь не справиться привели к тому, что я второпях по ошибке неправильно припаял концы ампервольтметра. Поэтому, когда я включил прибор, чтобы опробовать его, индикатор сразу же зашкалил, сигнализируя о сильнейшей радиации (более 100 рентген/час). Холодный пот прошиб меня. Я хорошо помнил описанную выше недавнюю историю с испытанием атомной бомбы на Новой Земле, когда у нас под Игаркой вот так же точно зашкалило все радиометры. Сопевший за моей спиной вестовой испуганно охнул и помчался докладывать на мостик.

Не успел я опомниться, как по всему судну оглушительно загремели колокола громкого боя, возвещая боевую тревогу. Приказав наглухо задраить все водонепроницаемые переборки и почему-то раздать противогазы, которые в подобных ситуациях, как известно, не слишком эффективны, командир дал полный ход, уходя из опасного района атомного заражения. Через два часа был объявлен всеобщий аврал по дезактивации судна. Мыли и чистили все, безжалостно сжигая ветошь, которой тщательнейшим образом протиралось все оборудование и даже рангоут. Только к исходу суток аврал завершился, противогазы были сняты, и мне было предложено снова провести контрольные измерения. Вот тут-то я и обратил внимание на то, что стрелочный индикатор у меня включен наоборот. Когда я включил его правильно, перекинув минус и плюс, стало ясно, что тревога оказалась ложной. Я, однако, к этому времени уже хорошо усвоил военно-морские порядки и докладывать

начальству не стал.

По возвращении в Ленинград я рассказал об этой трагикомической истории Нонне Слепаковой, и она тут же выдала на песню «Над Канадой» такую пародию:

Месяц на небо подвешен
Иностранно и картинно.
Где-то рядом гибнет «Трешер»,
Гибнет радиоактивно.
И нельзя назвать причину,
От которой вся кручина, —
Хоть похож я на мужчину,
Только все же – не мужчина.

В 1969 году, когда начались трения с коммунистическим Китаем и произошли вооруженные пограничные столкновения на острове Даманский, замечательную пародию написал известный московский пародист Александр Борисович Раскин:

Над Пекином небо сине,
Меж трибун вожди косые.
Хоть похоже на Россию —
Слава богу – не Россия.

А самую короткую пародию недавно придумал бард Леонид Сергеев: «Надька, надо, Надька, надо».

В походе 63-го года я подружился с капитан-лейтенантом Володей Мигучкиным, оказавшимся поклонником моих песен. Нередко, выпив изготовленного им самим с большим искусством «шила» (так называется разведенный спирт, настаиваемый обычно на каких-нибудь ингредиентах), он начинал неостановимо петь свою любимую песню: «На материк, на материк идет последний караван». Это служило привычным сигналом для всех, что Володя уже «в норме» и пора расходиться. Я, однако, по молодости и авторскому тщеславию, был весьма польщен такой явной привязанностью к моей песне и решил испытать ее пределы. «Володя, вот ты все говоришь, что песня эта гениальная, и что ты только за эту песню – друг мне до самой смерти». – «Ну и что – друг, конечно», – зарычал Мигучкин, прервав на минуту пение. «А вот тебе завтра скажет начальство, что Городницкий – враг народа, и ты лично должен его шлепнуть вот из этого пистолета – что ты будешь делать?» – расслабившись от «шила», легкомысленно спросил я и тут же пожалел об этом. Вопрос

оказался жестоким. Мигучкин внезапно замолчал и, уставившись в угол, долго и мучительно морщил лоб, на котором выступил пот от непривычного напряжения. Потом, так же не глядя на меня, неожиданно трезвым голосом медленно и твердо сказал: «Если прикажут – конечно, шлепну, – и, виновато взглянув на меня и взмахнув отчаянно рукой, добавил: – Только запью потом!»

Уже по дороге из Атлантики домой «Крузенштерн» зашел в Гибралтар, и я впервые увидел знаменитые Геркулесовы столбы, отделявшие когда-то для древних греков Средиземное море от «истинного Понта» – Атлантики. Как раз в это время самый молодой из наших офицеров, уже упомянутый романтичный и наивный лейтенант Георгиев, получил радиограмму от жены, где она просила простить ее и объявляла, что уходит к другому. Среди офицеров «Крузенштерна» воцарился настоящий траур. На самого Володю было страшно смотреть. По совету судового врача Виталия Ласкавого за ним приглядывали друзья, «чтобы чего не случилось». Неожиданная эта беда касалась каждого. У любого из 126 мужчин, находившихся на судне, оставалась дома жена или подруга.

За почти полувековое пребывание в экспедициях, в замкнутых мужских коллективах, на долгие месяцы оторванных от дома, – на Крайнем Севере и потом в океане, – мне неоднократно приходилось быть свидетелем немалого числа сердечных драм, разыгрывавшихся в итоге «столь долгого отсутствия» мужчин дома. По молодому недомыслию, полностью разделяя общее мнение окружавшей меня мужской среды, я привык относить это к ужасной изменчивой сущности женского характера, не дающей возможность им сохранить верность одному «отдельно взятому» мужчине. Это привело, в частности, к тому, что, плавая в океане, я написал немало стихов и песен «женоненавистнического» толка (к сожалению, как правило, не без оснований). Лишь значительно позднее я понял, что дело вовсе не в женщинах, а в существе любовных отношений, которые не допускают долгих разлук. «С любимыми не расставайтесь» – вот единственный надежный рецепт против измен.

Тогда же, стоя под Гибралтарской скалой и переживая по поводу злополучной радиограммы, мы вдруг вспомнили, что за много лет до нас и даже до нашей эры где-то здесь плавал легендарный Одиссей, который никак не мог вернуться на родную Итаку из-под стен разрушенной Трои, возможно, потому что с навигацией у древних греков было еще хуже, чем у нас. И у него были все основания волноваться по поводу супружеской верности его подруги, дом которой осаждали многочисленные

женихи. Он, правда, судя по данным мифологии, нисколько не волновался, а по возвращении попросту перебил всех мужчин, которых застал на территории своего дома. Мы были лишены этой приятной возможности, поэтому нам оставалось только переживать. Одиссей, тем не менее, стал близким мне героем, и в результате появилась песня, названная так же, как Гибралтарский пролив назывался у древних греков «Геркулесовы столбы», заканчивавшаяся довольно наивным призывом:

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога,
У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей.
Меня оплакать не спеши, ты подожди немного,
И черных платьев не носи, и частых слез не сей.

Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы,
Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда.
У Геркулесовых столбов дельфины греют спины
И между двух материков огни несут суда.

Еще над черной глубиной морочит нас тревога
Вдали от царства твоего, от царства губ и рук.
Пускай пока моя родня тебя не судит строго,
Пускай на стенке повисит мой запыленный лук.

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога.
Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь.
Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, —
И вина сладкие не пей, и женихам не верь!

Здесь же, в Гибралтаре, была написана еще одна, на этот раз уже «лихая» матросская песенка «Моряк, покрепче вяжи узлы», вполне в духе нашего тогдашнего настроения:

Моряк, покрепче вяжи узлы —
Беда идет по пятам.
Вода и ветер сегодня злы,
И зол, как черт, капитан.
Пусть волны вслед разевают рты,
Пусть стонет парус тугой —
О них навек позабудешь ты,
Когда придем мы домой.

Не верь подруге, а верь в вино,
Не жди от женщин добра:

Сегодня помнить им не дано
О том, что было вчера.
За длинный стол посади друзей
И песню громко запой, —
Еще от зависти лопнуть ей,
Когда придем мы домой.

Не плачь, моряк, о чужой земле,
Скользящей мимо бортов.
Пускай ладони твои в смоле,
Без пятен сердце зато.
Лицо закутай в холодный дым,
Водой соленой умой,
И снова станешь ты молодым,
Когда придем мы домой.

Покрепче, парень, вяжи узлы —
Беда идет по пятам.
Вода и ветер сегодня злы,
И зол, как черт, капитан.
И нет отсюда пути назад,
Как нет следа за кормой.
Никто не сможет тебе сказать,
Когда придем мы домой!

Сам черт не сможет тебе сказать,
Когда придем мы домой!

Песню эту, как выяснилось уже через много лет, любил петь Высоцкий, и она существует на записи в его исполнении.

На берегу мне поведали, что неподалеку от Гибралтара, в Испании, есть небольшое, но ухоженное кладбище, где на серых плитах надгробий латинскими буквами выведены русские имена, и мне вспомнились наши летчики и танкисты, погибшие на войне за «республиканскую Испанию» в 36-м году. Несчастная эта война, закончившаяся полным поражением и последующим истреблением в сталинских лагерях и тюрьмах многих ее советских участников, была очень популярна в годы моего довоенного детства. Мне было неполных четыре года, когда я, как и все, с гордостью носил «испаньолку» – высокую пилотку с кисточкой спереди – точно такую же, как героические бойцы республиканской Испании. Возвратившись на судно, я написал песню «Испанская граница»:

У испанской границы пахнет боем быков —
Взбаламученной пылью и запекшейся кровью.
У испанской границы не найдешь земляков,
Кроме тех, что легли здесь, – серый крест в изголовье.

Каталонские лавры над бойцами шумят,
Где-то плачут над ними магаданские ели.
Спят комбриги полегших понапрасну бригад,
Трубачи озорные постареть не успели.

Эй, ребята, вставайте, – нынче время не спать!
На седые шинели пришивайте петлицы.
Вы бригаду под знамя соберите опять
У испанской границы, у испанской границы!

Но молчат комиссары в той земле ледяной,
Им в завьюженной тундре солнце жаркое снится.
И колымские ветры все поют надо мной
У испанской границы, у испанской границы.

Что делать, тогда, в начале 60-х, и я, как и другие, еще наивно верил в «комиссаров в пыльных шлемах»!

Весной следующего, 64-го года, в марте, я летел через Москву в Арктику для участия в экспедиции на Северный полюс, на станцию СП-17. Самолет Полярной авиации должен был доставить нас из подмосковного аэропорта Захарково, где тогда базировались самолеты УПА, в Косистый, откуда нас забрасывали на льдину. Поскольку летел я на полюс, то, несмотря на теплый московский май, одет был соответственно в унты, меховые брюки и выданный нам толстый водолазный свитер. Кроме того, нам в обязательном порядке выдавали револьвер, без которого нельзя было возить с собой секретные аэрофотоснимки, необходимые для работы, поэтому сзади у меня болтался офицерский «наган»-самовзвод в желтой кожаной кобуре. Сдать его в камеру хранения, положив в рюкзак, я побоялся – вдруг сопрут, а ездить с ним в Московском метро тоже было не слишком удобно – меня дважды забирали в милицию и требовали документы.

Деваться мне было некуда, и во второй половине дня я приехал в гости к переводчику-испанисту Овадию Герцевичу Савичу, жившему в большом писательском доме поблизости от метро «Аэропорт». Увидев мое экзотическое экспедиционное одеяние и кобуру, Савич вдруг припомнил, что когда их отправляли в Испанию в 36-м (а он был там вместе с Эренбургом

и работал переводчиком в советском посольстве), то им тоже выдавали такие же свитера и «наганы». Как раз в тот день в дом пришли несколько стариков из числа участников войны в Испании, выживших чудом после репрессий и ссылок сталинских лет. Незадолго перед этим, в связи с годовщиной гражданской войны в Испании, всем ветеранам ее была выдана памятная медаль на красной треугольной планке. Собралось их с такими медалями у Савича всего четверо или пятеро – больные измученные старики, чудом выжившие в потемках ГУЛАГа. Пили присланное Савичу Пабло Нерудой настоящее испанское вино – малагу, в непрозрачной густоте которой, дробясь, поглощается солнечный луч. Я рассказал о кладбище в Испании, и Савич попросил меня показать песню, которую я и спел неуверенным голосом, робея перед седыми ветеранами Испанской войны. Тем большими были мои смущения и растерянность, когда я увидел на их глазах слезы.

Уже в третьем походе «Крузенштерна» в Северную Атлантику, когда мы заходили в Касабланку и опять в Гибралтар, после долгого плавания в открытом океане без заходов, мне почему-то с особенной четкостью вспомнился вдруг Эрмитаж, куда любил меня водить отец. Я попробовал написать стихи об атлантах, тем более что мы совсем недавно отплыли от Геркулесовых столбов:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.

Держать его, махину —
Не мед со стороны.
Напряжены их спины,
Колени сведены.
Их тяжкая работа
Важней иных работ:
Из них ослабни кто-то —
И небо упадет.

Во тьме заплачут вдовы,
Повыгорят поля,
И встанет гриб лиловый,

И кончится Земля.
А небо год от года
Все давит тяжелей,
Дрожит оно от гуда
Ракетных кораблей.

Стоят они, ребята,
Точеные тела, —
Поставлены когда-то,
А смена не пришла.
Их свет дневной не радует,
Им ночью не до сна.
Их красоту снарядами
Уродует война.

Стоят они, навеки
Уперши лбы в беду,
Не боги – человеки,
Привычные к труду.
И жить еще надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках.

Написанные стихи, однако, мне не понравились – что-то мешало читать их как стихи. Я их отложил, а потом и вовсе забыл про них. Где-то примерно через месяц, перебирая старые бумажки у себя в каюте, я вдруг натолкнулся на них и собирался было выкинуть, как вдруг неожиданно для себя стал мурлыкать первую строчку на внезапно появившуюся нехитрую мелодию. Так получилась песня «Атланты».

Это неуловимое, но всегда ощущаемое различие между стихами, которые можно только читать, и стихами, которые обязательно надо петь, а читать с листа нельзя, до сих пор является предметом спора о стиховой правомочности авторской песни. Мне и самому многое здесь неясно – можно ли считать стихами те, что обязательно надо петь, или нельзя? Яростные дискуссии вокруг песен Высоцкого, Галича и даже Окуджавы, которым ревнители «чистого стихосложения» решительно отказывают в литературной принадлежности, с течением времени не стихают. Мне же представляется, что главное все-таки не в форме записи, а в том, чтобы строчки эти хотелось бы потом читать или слушать, а что именно – читать с листа или слушать с

голоса или компакт-диска – не так уж важно…

Что же касается «Атлантов», то песня эта, получившая широкое распространение, в 1967 году, без моего участия и неожиданно для меня, заняла первое место во Всесоюзном конкурсе, на лучшую песню для советской молодежи стала чем-то вроде моей визитной карточки, объектом многочисленных пародий. Много лет ее поют на самых разных слетах и фестивалях авторской песни, как правило, в заключение, и при этом нередко еще встают. Последнее не слишком радовало меня, поскольку в памяти моей живы еще партийные гимны, под которые все вставали. Но в августе 1991 года, в дни неудавшегося путча, когда у Белого дома мы, безоружные, хором пели эту песню под дождем, ожидая танковой атаки, я понял, что она еще не состарилась и не ушла в «официоз». В последние годы эта песня стала неофициальным гимном моего родного Питера.

В 65-м году, после возвращения из третьего похода на «Крузенштерне», молодежная редакция ленинградского телевидения, которой руководила тогда талантливая радиожурналистка Галина Позднякова, пригласила меня с морскими песнями для участия в передаче. По этому случаю с «Крузенштерна», стоявшего тогда в Кронштадте, были откомандированы в Ленинград для участия в передаче трое моряков – с гитарой и аккордеоном. Поселились они в квартире Нины Королевой, уезжавшей куда-то в это время, и по флотской привычке навели в квартире такую чистоту, что Нина после возвращения не узнала свой дом. «Нельзя ли их еще раз пригласить? – спрашивала она у меня. – Они мне вычистили до блеска все старые кастрюли и даже окна помыли!»

На телевидении же я впервые столкнулся с новыми для меня проблемами. «Вы – автор музыки? – строго спросила у меня дама – музыкальный редактор, прослушав запись песни «Над Канадой небо сине». – У вас там на шестом такте доминанта наступает на субдоминанту». Я очень испугался, поскольку не понял ни одного слова.

Миновало более трех десятков лет. Летом 1996 года, когда отмечалось трехсотлетие Российского флота, мне вдруг позвонили из «Всероссийской молодежной лиги» и пригласили в Питер на торжественную встречу парусника «Крузенштерн», возвращавшегося с калининградскими курсантами на борту из кругосветного плавания. Трудно описать словами мои чувства и ностальгические эмоции, когда солнечным августовским утром я стоял в толпе встречающих на Английской набережной на Неве, куда (именно на то же место, где он стоял в мои школьные годы!) должен был пришвартоваться «Крузенштерн». Наконец над

корпусами судоремонтного завода показались верхушки мачт, а сразу после этого из-за поворота показался знакомый бушприт с наядой на форштевне. Оркестр, ослепительно блестя медными трубами, грянул встречный марш. Почетный караул покачнул свои игрушечные карабины и сделал «равнение налево». Адмиралы, а их на этот раз набралось немало, неспешно потянули руки к золоту своих козырьков. Яростно защелкали затворы фотоаппаратов. Телеоператоры припали к видоискателям своих камер. Женщины вынули надушенные платки. На паруснике, корпус которого был теперь выкрашен в черный цвет с белыми полосами на бортах, были подняты праздничные флаги расцвечивания. На реях мачт, широко расставив ноги, застыли курсанты в парадной черно-белой форме.

Сердце мое защемило, и в носу подозрительно защекотало. Я вспомнил наш первый зимний отход из Балтийска во вьюжном и морозном декабре 1961 года. На минуту показалось, что это не они, а я сам, моя глупая и наивная салажная юность, упрямо верящая в чудеса и приключения, возвращается из океана, открыв свою Америку. Господи, мы уже состарились, прежние мои командиры, тогда еще молодые и веселые, давно уже отправились в бессрочный поход.

Командиров моих не услышу родной матерок, —
Бессловесны теперь, они в пятом плывут океане.

Давно нет в живых ни командира экспедиции Петра Сергеевича Митрофанова, ни грозного старпома Виктора Степановича Шишина, ни судового врача Виталия Ивановича Ласкавого. А это сверкающее свежей краской и манящее изяществом своих обводов судно так же молодо, как его нынешний экипаж, который тоже состарится быстрее, чем оно.

Протокол торжественной встречи судна завершался моим выступлением, которое было устроено на верхней палубе, где разместились и экипаж, и встречающие. Кроме того, громкоговорители («колокольчики») были выведены на набережную, куда собралось довольно много народа поглазеть на диковинный парусник. Мы вместе с Мишей Кане, аккомпанировавшим мне на гитаре, стояли на краю спардека, спиной к фок-мачте. Перед нами, прямо на палубе, сидели загорелые мальчишки с синими «гюйсами». А за нашими спинами, над Николаевским мостом и Василеостровской набережной, ярко вспыхивали в косых лучах солнца белоснежные невские чайки.

Не знаю, как они мне, а я им в этот момент завидовал.

Вечером в офицерской кают-компании был учинен банкет для питерского и морского начальства. Много говорилось и еще больше пилось, и я с грустью смотрел на незнакомые лица и поневоле отметил, что из первого поколения «крузенштерновцев» не осталось уже никого. Помню, уже поздно вечером я возвращался с борта «Крузенштерна» пешком через Николаевский мост на Васильевский и много раз оборачивался на его ярко иллюминованные мачты, горевшие на темном фоне ночных домов. Если перед смертью мне доведется вспоминать счастливые моменты в минувшей жизни, то этот я вспомню одним из первых.

Летом 1998 года я неожиданно снова попал на «Крузенштерн». В Лиссабоне состоялась всемирная выставка «ЭКСПО-98» под девизом «Океан – достояние будущего». Мои друзья, связанные с Министерством рыбного хозяйства, пригласили меня вместе с женой в Лиссабон на выставку. К этой выставке была приурочена всемирная регата парусных судов, в которой принимал участие и «Крузенштерн», выигравший первое место. По приглашению капитана Олега Константиновича Седова мы, в качестве почетных гостей, прошли на судне три дня от Лиссабона до испанского порта Виго.

Нынешний полностью переоборудованный «Крузенштерн» мало напоминает то старое и запущенное судно с малосильным двигателем и без рефрижераторных установок, на котором когда-то ходил я. Он полностью перестроен, снабжен современным двигателем, новой навигационной техникой, учебными классами. Теперь на нем постоянно плавают даже «коммерческие пассажиры» – иностранные туристы (их называют «тренизы»), с удовольствием изучающие парусное дело и с энтузиазмом взбирающиеся на ванты и латающие старые паруса. За каждый день пребывания на судне и возможность нести флотскую службу они платят звонкой валютой, что позволило переоснастить судно и обеспечить его всем необходимым, не ожидая нищенских бюджетных подачек.

В сентябре 2000 года судьба подарила мне еще одну встречу с «Крузенштерном». По приглашению оргкомитета Грушинского фестиваля я вместе с группой бардов попал в Германию в Бремерхафен, где состоялся всемирный фестиваль парусных судов. Более захватывающего зрелища я в жизни не видел, – сотни сияющих свежей краской по-праздничному нарядных парусников под флагами всех стран мира, атакуемые толпами туристов, теснились вдоль длинных причалов, вывесив разноцветные флаги расцвечивания. Только на второй день нам удалось разыскать «Крузенштерн», стоявший на отдаленном причале. Он только что вернулся, одержав очередную победу в

парусной регате, где разыгралась неожиданная драма. Когда судно уже приближалось к финишу, намного опережая своих соперников, радист принял сообщение «SOS», – на польской баркентине с тридцатиметровой мачты упала на палубу двадцатилетняя девушка. Состояние ее было очень тяжелым – многочисленные переломы, большая потеря крови, а на польском судне не было ни врача, ни лекарств. Капитан-наставник Геннадий Коломенский без колебаний сошел с дистанции для спасения девушки, после чего «Крузенштерн» вернулся на дистанцию и выиграл гонки! Следует заметить, что сигнал бедствия был принят не только русским парусником. Шедший за ним польский барк «Дар молодежи» также услышал сигнал «SOS», однако никак на него не прореагировал, боясь упустить призовое место.

Вечером следующего дня мы устроили на «Крузенштерне» праздничный концерт для экипажа, состоящего в основном из курсантов. При этом не обошлось без курьезов. В битком набитом курсантами кубрике любимый публикой бард Леонид Сергеев, автор весьма популярных шуточных песен, пел известную песню о двух тараканах. Когда он дошел до строчки: «Один таракан, что зовется Геннадий», в кубрике раздался взрыв смеха и аплодисментов, весьма озадачивший автора. Когда же он спел «Второй таракан, что зовется Серега», аудитория устроила ему такие овации, что песню пришлось прервать. Я в то же время обратил внимание на то, что сидевшие рядом со мной капитан-наставник и старпом покраснели и отвернулись. Оказалось, что первого зовут Геннадий Васильевич, а второго – Сергей Петрович.

Возвращаясь к давним временам первых походов на «Крузенштерне», нельзя не вспомнить еще одну колоритную фигуру – полковника Михаила Михайловича Казанского. Старый моряк, боевой офицер, командовавший ледовой службой на Балтике в годы блокады и разжалованный в качестве «стрелочника» после гибели вице-адмирала В. П. Дрозда, одаренный океанолог, человек неистребимого жизнелюбия и мальчишеского азарта – это он, будучи начальником гидрографической экспедиции, первым рискнул поддержать в 1961 году наше новое и во многом сомнительное начинание. Плотная борцовская фигура в черной морской тужурке с четырьмя рядами боевых, а не за выслугу, орденов. Непокорный, не редеющий, а лишь поседевший, короткий ежик-вихор «под бокс». Не по возрасту озорные светлые глаза дворового хулигана. Он всегда был источником веселой и непобедимой энергии для окружающих. Мне довелось плавать с ним в 67-м году на Балтике, на учебном военном гидрографическом судне «Компас», и потом

на Черном море, на судне «Горизонт». Каждое утро, пока мы стояли в Севастополе (Казанскому уже тогда было за пятьдесят), он переплывал Корабельную бухту, вызывая зависть у молодых офицеров. Он в ту пору уже преподавал в Высшей военно-морской академии, где и я, с его подачи, одно время вел курс морской магнитометрии.

Помню, после первого занятия он и его друг капитан I ранга Николай Иванович Егоров, доктор географических наук, тоже немало сил отдавший океанологии, подошли ко мне и сказали: «Надо бы отметить – все-таки первое занятие». – «А где?» – спросил я. «Ну как – где, мы люди флотские – привычные. Пойдем возьмем коньячку, лимончик и зайдем куда-нибудь в садик или в парадное». Мы отправились в ближайший гастроном у Черной речки и купили коньяк. «Тут в садике холодно, – сказал Егоров, – пойдем лучше на проспект Смирнова, тут неподалеку, зайдем в кафе, возьмем кофе и с ним вместе выпьем». Кафе на проспекте Смирнова оказалось закрытым. «Ну, тогда зайдем вот хоть в это парадное, – сказал на этот раз уже Казанский, – не на улице же пить». Мы зашли в парадное. «Да как-то неудобно здесь, – произнес Егоров, – прямо внизу у двери. Поднимемся хоть на второй этаж, что ли». Мы поднялись на второй этаж. «Ну, теперь можно, – сказал Казанский, – только вот из горла как-то пить нехорошо. Что мы, алкаши, что ли? Давайте в любую квартиру позвоним – хоть стаканчик попросим». – «А удобно?» – засомневался я. «Чего ж неудобного – два полковника, люди солидные – не может быть, чтобы стаканчик не дали», – с этими словами Казанский позвонил в дверь, она распахнулась… и мы очутились в квартире Егорова, где ожидал специально по этому случаю накрытый стол.

Жена Михаила Михайловича Казанского Александра Александровна в самом начале нашего знакомства сказала мне как-то: «Я хотела бы, чтобы вы и другие ученики Михаила Михайловича приходили к нему не только, когда он вам нужен, но и потом». Не знаю, как другие, но всякий раз, бывая в Питере, я звонил ему и приходил в старый дом близ Среднего проспекта на Съездовской линии моего родного Васильевского, где в запущенной коммунальной квартире, в узкой комнате, напоминающей щель, с высоким окном, выходящим на шумную проезжую часть, жили, не желая замечать нищеты и невзгод, два гордых и несгибаемых пожилых и заслуженных человека, всю свою жизнь отдавших другим. На высоком пыльном шкафу среди убогой комнатной обстановки красовался, растопырив шипы, атлантический «морской еж» – диадон. Теперь Михаила Михайловича не стало.

В 2009 году скоропостижно ушел из жизни другой замечательный капитан «Крузенштерна», одиннадцатый по счету, Олег Константинович Седов. Он умер от сердечной недостаточности, прожив всего пятидесят два года.

…Выпьем стоя за капитанов
Позабытых сегодня лет,
Что ушли, в неизвестность канув, —
Те далече, а этих нет.
Над эскадрою капитанской
Сине-белый распустит флаг
Михаил Михалыч Казанский,
Что волне не подставит лаг.
Будет снова в моей каюте
Колыхаться зеленый мрак,
Встанут ютовые на юте,
Встанут баковые на бак.
И опять через шквал и темень
К проблесковым огням таверн
Поплывет обрусевший немец,
Нестареющий «Крузенштерн».
Я и он – инородцы оба,
Но хотя и на разный лад,
Мы России верны до гроба,
«До бушлата», – как говорят.
От колючих ветров ослепнув,
Начинивший пространством кровь,
Объявляю своей последней
Эту юношескую любовь.
Мы увидимся снова скоро.
Ничего, что на этот раз
От моста Николы Морского
Это судно уйдет без нас.
В гуде ветра и птичьем писке,
Свой земной завершая путь,
Мы в последнем порту приписки
Соберемся когда-нибудь,
Чтобы вместе из этой гавани,
По монетке зажав во рту,
Выйти вновь в бессрочное плаванье
На высоком его борту.

С чувством острой ностальгии перебираю я в памяти забытые дни моих первых океанских плаваний на «Крузенштерне»,

которые переменили мою жизнь. Уже в 63-м году я «завязал» с сухопутными экспедициями и твердо связал свою работу с океаном. Этому немало способствовало и то, что сам Научно-исследовательский Институт геологии Арктики тоже понемногу изживал свою сухопутную специфику и все больше переходил на шельфовые моря. Не случайно теперь старый тот институт свое существование прекратил, а на его месте возникла новая организация – Севморгеология, начало которой, по существу, положили наши первые плавания.

На письменном столе в моей московской никуда не плывущей квартире, окна которой выходят на шумный Ленинский проспект, пылится крашенный шаровой краской большой автономный компас со спиртовой картушкой, подаренный мне в базе подводных лодок Линахамааре на Кольском военными моряками и вселяющий обманчивую надежду, что плавание еще продолжается. В дальнем ящике стола много лет бережно хранятся вместе со значками участника экспедиций на Северный полюс военно-морской значок «За дальний поход», врученный мне, как и всем членам экипажа, еще в 62-м году, и особо ценимый мною бронзовый жетон «За походы на „Крузенштерне“». На жетоне, слегка накренясь, летит вперед парусник, напрягая паруса. И я вспоминаю ласковое прикосновение горячей пахнущей сосновой смолой палубы к босым ступням, созвездие Южного Креста, немного наклоненное над ночным океаном как бы для благословения, негромкие звуки баяна на юте, где курят отдыхающие после вахты матросы, мерцающие светила, раскачивающиеся над головой в черной сетке снастей, и соленые офицерские байки. И мне на память приходят предостерегающие слова старого римлянина: «Если парус теряет ветер, он становится обыкновенной тканью».

Жена французского посла

Мне не Тани снятся и не Гали,
Не поля родные, не леса, —
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы
Плеск волны, мерцание весла,
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.

Хоть французский я не понимаю
И она по-русски – ни фига,
Но как высока грудь ее нагая,
Как нага высокая нога!
Не нужны теперь другие бабы —
Всю мне душу Африка свела:
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.

Дорогие братья и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Все мне сон один и тот же снится,
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Все сжигает он меня дотла, —
В нем постель, распахнутая настежь,
И жена французского посла!

Летом 1966 года я отправился с геофизической группой из порта Находка на работы в Охотское море и Пенжинскую губу на борту старого гидрографического судна «Охотск», переоборудованного из бывшего минного заградителя. Это был старый угольный пароход, донельзя грязный, населенный полчищами крыс и тараканов, к которым приходилось привыкать так же, как когда-то в тундре к комарам.

Двухмесячные работы в осеннем Охотском море, с его неожиданными ветрами и туманами, с сильными – более пяти узлов – приливно-отливными течениями в Пенжинской губе оказались нелегкими. Зато навсегда запомнились неповторимые по красоте скалистые охотоморские берега с их причудливыми очертаниями, живописные острова, привлекавшие некогда

мореплавателей, путина в поселке Усть-Пенжина, где икру свежего посола ели из кастрюли столовыми ложками, нерпы и тюлени, высовывавшие любопытные морды у самого судна, особенно на стоянках, когда с палубы раздавались звуки музыки, огромные крабы, которых ловили прямо на рейде Магадана в Нагаевской бухте. Не зря это море когда-то назвали Охотским. Не меньшее впечатление произвели на нас, новичков, попавших сюда впервые, и местные нравы.

Меня вместе с геофизиком Мишей Серяковым поселили в узкую, как щель, каюту, где были две койки, располагавшиеся одна над другой. Миша, как более молодой, влез на верхнюю койку, а мне досталась нижняя, чему я, однако, радовался недолго. Соседнюю каюту занимал третий механик, койка которого крепилась на одном кронштейне с моей. Поскольку переборки на судне были старые и расшатанные, любое движение койки соседа вызывало соответственное, как на качелях, движение моей. Первую неделю, пока мы следовали из Находки в Охотское море, все было относительно спокойно. Но в Охотском море третий механик, на мою беду, завел неожиданно бурный роман с судовой врачихой, разбитной шатенкой, изнывавшей от полного безделья. С вахты он сменялся в полночь, и где-то, начиная с половины первого, едва я успевал заснуть, меня будил ритмичный и громкий скрип и такое же ритмичное хождение вверх-вниз моего ветхого ложа. Я пытался предложить Михаилу поменяться, но он наотрез отказался, так что я вынужден был переместиться с тюфячком прямо на палубу.

Вторую половину экспедиции мне довелось проплавать на другом судне – «Румб», поменьше размерами, но более современном. В конце августа мы зашли заправиться водой и топливом на остров Спафарьева, где располагался крабзавод, на котором работало несколько сот вербованных женщин. Было раннее утро, когда мы подошли к безлюдному пирсу. Двое заспанных работяг приняли наши швартовые. Я стоял на правом крыле мостика, неподалеку от командира, капитана III ранга Мишкина, когда мы заметили три странные, одинаковые с виду, но разной величины, как матрешки, фигуры, медленно двигавшиеся вдоль пирса к борту судна. Когда они приблизились, оказалось, что это женщины, одетые совершенно одинаково – в резиновые сапоги, ватники и теплые, серого цвета, головные платки. «Эй, командир, – неожиданно сильным и низким голосом крикнула самая высокая из них. – Я предзавкома местного. Девочки у нас тут целый месяц света белого не видят, на путине вкалывают, а мужиков нет. Так что я тебе предлагаю всех своих морячков уволить прямо сейчас до завтра, а мы по такому случаю

выходной объявим».

Командир Мишкин был человеком решительным и настоящим боевым офицером, способным быстро принимать решения в критической обстановке. «Отдать носовой», – скомандовал он упавшим голосом. И мы пошли обратно в море без воды и топлива. «Да, Саня, – делился он со мной, – вовремя спохватились. Ты что, у меня весь экипаж двадцать два человека – на части же разорвут!» Я в ту пору плохо знал местные порядки и не сразу понял его тревогу. Уже позднее, на рейде Шикотана, я видел, как на старый пароход «Азия» сеткой с плашкоута грузили вдрабадан пьяных вербованных женщин, матерящихся и орущих пьяные песни, и понял озабоченность командира Мишкина.

В последующие годы мне приходилось несколько раз попадать на Сахалин и Курилы в путину, на плавучие и наземные рыбозаводы, где я насмотрелся на каторжную работу по обработке рыбы, работу, которой мужчины не выдерживают, поэтому на нее берут только женщин. С красными, закоченевшими от ледяной воды руками, по двенадцать часов в день (такая смена) они должны отделять большим ножом голову рыбы от тушки, рискуя отрубить себе пальцы. А ночью – короткий сон в своей грязной казарме, не дающий отдыха. Культуры и развлечений – никаких: работа, работа, работа. Смертельно усталые от постылого однообразного труда и дикого быта, за пару месяцев они способны потерять не только женский, но вообще человеческий облик.

Что же касается пребывания женщин на судах, то сам факт их присутствия на судне, да еще под хоть и гидрографическим, «вспомогательным», но все же военно-морским флагом, с позиций военного начальства, был постоянным ЧП. За ними круглосуточно велось негласное наблюдение, жили они в отдельном отсеке (назывался он «змеюшник») и общаться с ними можно было только на людях. Согласно бдительным указаниям замполита, зайдя к женщине в каюту (или если она вошла к тебе в каюту), закрывать дверь ни в коем случае было нельзя – не на ключ, конечно, упаси боже, а просто плотно прикрывать. В противном случае замполит отсчитывал пять минут и записывал нарушителю «аморалку».

Несмотря на эти «антисанитарные» условия, корабельные романы все-таки случались. На судах экспедиции шепотом рассказывали легенду про одну настырную пару, которую, заподозрив в «аморалке», усиленно опекал замполит, не давая им уединиться. Они его все же перехитрили – достав у мотористов «мастер» (дежурный ключ, открывающий замок в любой корабельной каюте), дожидались, когда замполит отправится в

кино, и устраивались в его каюте.

Нельзя не признать, что присутствие женщин на кораблях, долгое время находящихся в плавании, представляет собой известную проблему. Мне за почти три десятилетия плавания на самых различных судах довелось быть свидетелем многочисленных драматических ситуаций, возникающих в длительных океанских рейсах, когда на сотню и более мужчин приходится всего несколько женщин, а «моральный кодекс строителей коммунизма» перестает срабатывать уже на третий день после выхода из родного порта. Помню, как, сокрушаясь, матерился старый боцман на «Охотске», глядя на живописные курточки наших сотрудниц: «До чего флот довели, это же подумать только. Вот в старое-то время – императрица в Севастополе свой флот посетила и на флагманский корабль к Ушакову изволила лично ступить. Так потом боцман с целой командой все за ней мыли и чистили, поскольку хоть и императрица, а все ж таки баба. Так то царица была, а это что? Тьфу да и только…»

Иначе реагировали на появление женщин вербованные работяги, в основном из бывших зэков, которых везли в Пенжинскую губу на какую-то стройку. Жили они на «Охотске» в огромном трюме в районе носовой палубы, куда вел большой люк, плохо различимый в темноте. Поскольку женщин разместили в носовых каютах, хитроумные умельцы из вербованных сняли крышку люка и закрыли его брезентом, рассчитывая, что в вечерних сумерках какая-нибудь красотка ступит на этот обманчивый брезент и провалится прямо к ним в трюм, как в медвежью яму. Каково же было их разочарование, когда вместо женской добычи в один прекрасный вечер к ним провалился большой рыжий и толстый техник Лева Фишман!

Что касается офицеров, и корабельных, и гидрографов, то появление стайки молодых женщин на судах означало для них просвет в унылой и безрадостной службе, сплошь заполненной «боевой и политической подготовкой». Начались яростные ухаживания, несколько сдерживаемые внешне необходимостью конспирации от всеведущих замполитов. Романы эти часто приводили к трагикомическим конфликтам. Так, на втором нашем судне «Румб» старпом – высокий и красивый капитан-лейтенант, оставивший во Владивостоке жену с двумя детьми, а на судне «официально» живший с судовой врачихой, вдруг увлекся одной из наших дам, хорошенькой и пухленькой чертежницей Ирочкой, обладательницей прекрасных наивных серых глаз и кукольных ресниц. Кипящая ревностью докторша однажды ночью, застав своего изменчивого старпома на месте

преступления как раз в тот момент, когда он украдкой выводил Ирочку из своей каюты, кинулась на него и, явно использовав профессиональные хирургические навыки, так исполосовала ему лицо своими острыми наманикюренными ногтями, что старпом был уложен в лазарет и через несколько дней сдан в Магадан в больницу, откуда на судно уже не вернулся.

Позднее, плавая на гражданских академических судах, где женщин было уже гораздо больше, да и условия были более вольные, я насмотрелся на множество авантюрных ситуаций, которые, как правило, кончались «бескровно». Так, один из самых талантливых наших и молодых капитанов, человек вполне интеллигентный и начитанный, прекрасный штурман, в каждом очередном рейсе заводил новую возлюбленную, как правило, из числа буфетчиц. Кончилось это тем, что жена его, живущая в Калининграде, которой доброжелатели все донесли, устроила скандал, да еще вполне по-советски – с помощью парткома. Припертый к стенке партией, женой и предприимчивой любовницей, несчастный капитан, спасая свою загранвизу и должность, вынужден был развестись и жениться на буфетчице, которую, конечно, тут же уволили с судна. В результате, став официальной женой, она потеряла возможность плавать с ним вместе и осталась, как все жены, на берегу, а он через полгода завел себе новую буфетчицу.

Обычно же, по неписаному закону, на академических судах на период рейсов, длящихся в среднем около четырех месяцев, романы возникали между экипажем – с одной стороны и «наукой» – с другой. Это в равной степени относилось к недолговечным любовным связям офицеров с дамами из науки и каютных номерных или буфетчиц с научными сотрудниками, то есть с «чужими». Романы эти, расцветая пышным цветом где-то к исходу первого месяца («Имей в виду, – поучал меня мой приятель – второй штурман на «Дмитрии Менделееве», – у нас женщин разбирают прямо на трапе»), заканчивались обычно в последнем порту захода, где надлежало тратить накопленную за рейс валюту, и приходила пора вспоминать о покупках, заказанных семьями, ожидающими на суше. Не все женщины, однако, мирились с этим – некоторые довольно ощутимо мстили своим коварным избранникам, обещавшим по возвращении «жениться». Так, в 77-м году на нашем судне «Академик Курчатов», вернувшемся из длинного океанского рейса, произошел конфликт между каютной номерной и вторым штурманом, добившимся ее благосклонности обещанием жениться и, как выяснилось, оказавшимся женатым. Месть оскорбленной подруги была чисто женской. В Калининграде к штурману на судно приехала

встречавшая его жена. Не успела она еще толком обнять долгожданного мужа и взглянуть на привезенные зарубежные подарки, как в дверь каюты постучали. «Извините, – сказала вошедшая номерная, – я забыла здесь свои вещи». С этими словами она достала из-под подушки у штурмана свою комбинацию и ушла…

Помню, впервые столкнувшись с системой «корабельных романов» в третьем рейсе академического судна «Дмитрий Менделеев», в Северной Атлантике, я даже настрочил по этому поводу душещипательные стишки, которые переписывались в тетрадки нашими сентиментальными судовыми дамами:

Тускнеет море голубое.
Недолго петь теперь гитарам.
Все корабельные любови
Кончаются за Гибралтаром.

Женщины «из науки» в океанских рейсах, как правило, расцветали. С одной стороны, они оказывались свободными от каждодневного унылого быта, порабощающего их на суше, – необходимости кормить и ублажать мужей, лечить и воспитывать детей, таскать огромные авоськи с продуктами, стоять во всевозможных очередях. С другой – будучи всегда в меньшинстве, они становились предметом поклонения и ухаживания почти всего мужского состава экспедиции, причем ухаживания эти, как правило, мало зависели от степени женской красоты.

Интересную эволюцию довелось мне наблюдать за много лет плаваний. Почти всегда скромные и робкие девицы, впервые ступая на палубу судна, сильно страдали от качки. Но постепенно, обвыкнув в новой обстановке, приучаясь мало-помалу пить вино или курить, а также теряя понемногу первоначальную неприступность, они, как правило, укачиваться переставали. Вместе с тем, по окончании рейса, вынужденные снова вернуться на берег в свои семьи и убогий советский быт, они были особенно несчастны, не понимая, почему вот только что они были в центре мужского внимания – и вдруг все неожиданно кончилось. Так, девочка, взятая прихотливым режиссером из своего родного девятого «А» в кино чуть ли не на главную роль, плачет горькими слезами, потому что картина уже отснята и ей, уже привыкшей быть героиней, надо снова возвращаться в свою постылую прежнюю жизнь.

Суровым испытанием для несчастных наших женщин, привыкших к клиническому отсутствию в отечественных магазинах хороших товаров, в первую очередь одежды,

галантереи и парфюмерии, и впервые попавших за рубеж, становилась первая встреча с западными (или восточными) магазинами с их фантастическим для советского человека изобилием. В 1976 году в экспедиции на судне «Дмитрий Менделеев» впервые принимала участие молодая аспирантка Вера Бань, ранее почти никуда не выезжавшая из своего родного Геленджика и за границей, конечно, не бывавшая. Была она натурой довольно эмоциональной, легко переходящей от веселости к печали. У нас даже частушку про нее сочинили: «Если плачет Вера Бань, это значит: дело – дрянь».

В этом рейсе мы зашли в Токио, и Вера впервые в жизни, в составе моей «тройки», попала в один из самых крупных в мире универсальных магазинов «Мицукоши» в самом центре Токио – в Гинзе. Когда мы вошли в огромный зал первого этажа, откуда бесшумные эскалаторы подняли нас на второй, и перед Вериными глазами открылись галереи с сотнями ярко высвеченных разнообразных женских вещей – шуб, купальников, сверкающих всеми огнями радуги украшений, мерцающего нежными будуарными цветами белья, искрящихся от искусной подсветки флаконов с всевозможными духами – она вдруг замерла на месте с застывшей на лице улыбкой и потеряла дар речи. Минут пять она простояла, не отвечая на мои оклики, а когда я тронул ее за плечо – «пошли» – она оказалась не в состоянии двинуться. С большим трудом мы усадили ее в ближнее кресло. Еще несколько минут она молча продолжала улыбаться. Потом молчание сменилось вдруг бурными слезами и рыданием – у Веры случился нервный шок. Думаю, что большинству советских женщин понять Верино потрясение нетрудно…

Что же касается «корабельных» женщин – каютных номерных, поваров, буфетчиц, – то их контингент, как правило, формировался из сельских или провинциальных девчонок, соблазнившихся на «заграницу» и морскую экзотику. Большинство из них собиралось поплавать «пару годиков», а потом, накопив деньжат, вернуться домой, выйти замуж, найти себе какую-нибудь «земную» профессию. Да и работа на судне представлялась им поначалу несложной: действительно, чего там – полы мыть да пыль вытирать два раза в день. Однако проходили год за годом, и втянувшись в свою неблагодарную и совсем не легкую работу, накупив на валютные гроши тряпок в заграничном порту и мечтая о новых, отвыкнув от сурового земного быта, на готовых корабельных харчах, спаиваемые и соблазняемые моряками, мало-помалу превращаясь из робких и застенчивых девушек в развращенных и циничных «морских волчиц», несчастные эти женщины уже не находили в себе сил вернуться

назад на сушу. Тяжелая и грязная работа, многодневная качка, вино и мужчины, отсутствие реальных перспектив в завтрашнем дне преждевременно старили их, и они возвращались на сушу больными, разбитыми и одинокими.

Ни на одном из судов мира, кроме советских, нельзя было встретить женщин в штате команды. Помню, как удивлялись иностранцы, попавшие на наши суда, присутствию на них женщин. Одно время мы по наивности даже гордились этим явным доказательством их равноправия в стране «развитого социализма». Только после долгих лет плаваний я понял, что это «равноправие» ничуть не лучше того, которое дает им право на тяжелую неженскую работу по рытью канав или укладке железнодорожных шпал, работу, от которой отказываются мужчины.

В охотоморском рейсе 1966 года главным портом захода был Магадан, печально известная «столица колымского края», еще носивший следы гулаговской империи и полный словоохотливых старожилов. На самом входе в бухту Нагаево нам встретился маленький островок, название которого меня поразило – остров Недоразумения. Не последняя ли надежда невинно приговоренных, что все выяснится и их оправдают, дала горестное название этому острову? Как сообщил мне журналист Александр Михайлович Бирюков, много лет занимавшийся историей Магадана, название это на самом деле к событиям горестных лет отношения не имеет. Оно появилось в лоции, составленной Б. В. Давыдовым, еще в 1923 году и связано было с тем, что раньше эта часть суши считалась полуостровом. А первые заключенные прибыли сюда только в 1932 году.

Своеобразным памятником эпохи «Дальстроя» осталось каменное здание школы № 1, где учился сын осужденной Е. С. Гинзбург Василий Аксенов. Напротив школы, на другой стороне площади, возвышается старое здание магаданского оперного театра, спасшего, по свидетельству А. М. Бирюкова, немало талантливых людей, на портике которого возвышаются четыре фигуры – «четыре непьющих человека в Магадане».

Гордостью Магадана в те поры было знаменитое магаданское пиво, к созданию которого приложил руку сам мудрый вождь мирового пролетариата. Дело в том, что в Магадан в первые же годы войны были высланы из Поволжья несколько семейств потомственных немецких пивоваров. А местная вода оказалась на удивление чистой и вкусной, что также немаловажно для настоящего пива. Пиво это пользовалось настолько большой популярностью, что, как говорили, вывозилось на экспорт. Впрочем, и здесь мнения были разные. Все тот же А. М. Бирюков,

например, считает, что заслуга в изготовлении прекрасного пива принадлежала вовсе не немцам, а тогдашней директрисе завода Асе Брускиной, и что после отъезда семейства Брускиных «на материк» хорошего пива в Магадане не стало.

Другой гордостью этого города был тогда легендарный певец и автор песен эпохи 30-х годов Вадим Козин, осужденный в 1944 году «за антисоветскую агитацию и мужеложство» на восемь лет, а после отбытия срока осевший здесь насовсем. Он стал солистом упомянутого выше театра, хотя в спектаклях занят не был, а пел отдельно свои песни. По свидетельству очевидцев, голос у него отлично сохранился. В середине 50-х годов он объездил с концертной бригадой весь Дальний Восток. Бывал в Крыму и на Кавказе. Его крымский концерт был записан для пластинки, вышедшей в США в середине 70-х годов. Однако продолжалось это недолго. В 1959 году он снова был арестован – на этот раз за растление несовершеннолетних. И второй срок отбывал в Магадане.

Мой давний знакомый, один из старейших дальневосточных морских капитанов, Виталий Витольдович Радынский, навещавший его в Магадане, рассказывал, что Козин живет там в маленькой однокомнатной «секции», заставленной стеллажами с книгами, пианино с двумя старинными магнитофонами «Днепр» по сторонам и висящими над инструментом микрофонами. По всей комнате – фигурки кошек из самого разного материала. Кошка с клубком ниток и на его экслибрисе.

А. М. Бирюков, многократно общавшийся с ним в те годы, вспоминает, что, отбыв второй срок, в 1963 году Козин, чтобы прожить, продал большинство книг из своей библиотеки. По свидетельству Бирюкова, Вадим Козин был «умница и книгочей невероятный». Тщательно собирал самые разные периодические издания, вплоть до провинциальных газет, пишущие об эстраде. Современных певцов не любил и называл хрипунами. Писал песни Козин лет до семидесяти пяти и, согласно составленному им списку, написал их около двухсот. Многие из них к концу жизни, уже в 80 лет, он вспомнить не мог, а записи их утеряны. Умер Козин в Магадане в декабре 1994 года.

Уже в перестроечные годы вышли наконец пластинки Козина со знаменитыми в пору моего детстве песнями, возвращающими нас во времена странного сочетания всеобщего произвола и страха и подлинно сентиментальных чувств и эмоций, как бы независимых от жестокой среды обитания. Не эта ли независимость, полностью противостоящая всевозможным «маршам энтузиастов» и другим бодреньким и весьма талантливо написанным Дунаевским и другими советскими композиторами и

поэтами песням, под которые надлежало маршировать, строить и любить (вспомним хотя бы «Сердце, как хорошо на свете жить!»), справедливо, хотя, возможно, и подсознательно воспринималась властями как неявная психологическая оппозиция, подлежавшая уничтожению?..

В октябре 1966 года, вернувшись из Магадана в Ленинград, я попал в состав группы «творческой молодежи Ленинграда», направленной от Ленинградского обкома ВЛКСМ на три недели в Польшу – Варшаву, Лодзь, Краков и Вроцлав. В группу нашу входило человек пятнадцать, в том числе несколько актеров ленинградских театров, молодые литераторы, весьма популярный и еще молодой в те годы эстрадный композитор Александр Колкер со своей женой, тоже известной эстрадной певицей Марией Пахоменко, Феликс Нафтульев и мой близкий в то время приятель, режиссер ленинградского театра им. Ленинского комсомола Анатолий Силин. Для меня эта поездка была первым открытием Польши, которую в ту пору я знал только по знаменитым фильмам Вайды, Мунка и Кавалеровича и стихам польских поэтов в переводах Слуцкого. С поездкой нам повезло: в Варшаве мы попали в «Повшехный театр» Адама Ханушкевича и другие современные и поэтому непривычные для нас театры. Во Вроцлаве познакомились и успели выпить вина со Збигневом Цибульским, буквально за неделю до его безвременной и трагической гибели, в Лодзи – посмотреть на киностудии более десятка недоступных для нас в Союзе фильмов, в том числе «Восемь с половиной» Феллини, «Дрожь» и «Птицы» Хичкока и многие другие, в Кракове – познакомиться с сокровищами Вавельского королевского замка.

Польша не разочаровала моих «книжных» ожиданий – она оказалась именно такой, какой ее можно было себе представить – «самой маленькой из великих наций» – нищей, гордой до чванливости и непорабощенной страной. Я познакомился в Варшаве с прекрасным поэтом Витеславом Дабровским и его женой Иреной Левандовской, которые показали мне Варшаву. У Витеслава на левой руке не хватало двух пальцев, потерянных во время Варшавского восстания в 44-м году, когда ему было четырнадцать лет. Он пробирался по узким люкам из канализационных труб наверх там, где взрослый пролезть не мог, и кидал гранаты в немецкие танки. «Мы вас, советских, ненавидим, – говорил он мне, – но немцев мы ненавидим еще больше. Такова уж печальная участь нашей малой страны, зажатой между двумя этими хищными гигантами».

Помню, тогда он перевел на польский понравившуюся ему песню «Испанская граница», тут же, кстати, запрещенную для

публикации и исполнения польской цензурой. В начале восьмидесятых, уже в пору «Солидарности», Витеслав Дабровский неожиданно погиб при странных обстоятельствах. Именно Витек показал мне осенью 66-го года страшную тюрьму Павиак, где немцы уничтожали польских патриотов, памятник Мордухаю Анилевичу на месте безнадежного и героического восстания в Варшавском гетто, поднятого не из надежды спастись, а только для того, чтобы подороже продать свою жизнь, умереть с оружием в руках. С горечью рассказывал Витек о том, что прежде чем вступить в бой с немцами, еврейские повстанцы должны были перебить внутреннюю охрану юденрата, состоявшую тоже из евреев, продавшихся немцам только за то, что их убьют в последнюю очередь. О том, как подпольная польская организация Армия крайова, готовившая свое восстание против немцев, отказала «жидам» в помощи оружием; как, когда полыхало с четырех сторон подожженное немцами гетто, поляки с усмешкой говорили: «Клопы горят».

Усмехаться варшавянам было недолго. Через несколько месяцев генерал Бур-Комаровский поднял свое восстание Армии крайовой против немцев, надеясь на помощь советских войск, уже стоявших на правом берегу Вислы в ожидании приказа Сталина штурмовать. Приказа, однако, не последовало. Великий полководец дал немцам подавить варшавское восстание, как его участники дали тем же немцам уничтожить восставших евреев, и только после того Варшава была взята советскими войсками.

Поляки, живя в нужде и недостатке, первым делом восстановили древнюю часть разрушенной Варшавы – Старо Място, а социалистическое правительство установило памятник сражающейся Варшаве – летящая полуповерженная женщина, отбивающаяся мечом. «У нас в каждом монументе свой смысл, – говорил мне Витек. – Если стоит – значит, король или полководец, вот как Сигизмунд в Старом Мясте. Если сидит – значит, мудрец или ученый, – видел памятник Копернику? Ну, а если лежит – махнул он рукой в сторону монумента Варшавы, – значит, блядь».

И все-таки самое тяжелое и незабываемое впечатление на меня произвели лагеря уничтожения – Треблинка и Освенцим. Не берусь описывать увиденное, тем более что в Освенцим мы попали в День поминовения, когда повсюду горели поминальные свечи, – у входов в бараки, у ворот газовых камер, у каждой железной тележки, на которых вывозили когда-то трупы в крематорий. А эти горы детских туфелек или кисточек для бритья, или женских волос, предназначенных для набивания тюфяков! «Арбайт махт фрай», – прочел я на железных воротах

лагеря и невольно вспомнил о наших лагерях, на воротах которых красовались сталинские слова, что труд в нашей стране «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Там, в Польше, я написал песни про Освенцим и Треблинку.

По Освенциму ветер гуляет,
И ромашки растут меж печей,
И экскурсия нас ожидает,
Москвичей, москвичей, москвичей.
Вам покажут сожженные кости, —
Сколько хочешь на пепел глазей.
Приезжайте, пожалуйста, в гости
В тот музей, в тот музей, в тот музей.

В Треблинке, где немцы убили и сожгли в печах более восьмисот тысяч евреев, я узнал, что уже в конце войны, когда в Треблинке вспыхнуло восстание и евреи, перебив охрану, разбежались, большая часть их была выдана немцам поляками, у которых они пытались найти убежище. Уходя, немцы все взорвали – печи, бараки, газовые камеры. И эти обломки вместе с сотнями местных валунов были поставлены на попа на склоне горы, образовав коллективный памятник почти миллиону замученных людей.

…Порою ночною
Все снится мне сон:
Дрожит подо мною
Товарный вагон,
И тонко, как дети,
Кричат поезда,
И желтая светит
На небе звезда.

Еврейские погромы в Польше учинялись и после войны, уже в 1947 году. А через несколько лет, уже после смерти Сталина, правительство Гомулки насильно выдворило из страны всех евреев. Неслучайно пришедший ему на смену Эдвард Герек заявил как-то на заседании политбюро ПОРП: «Мы напрасно выдворили из страны евреев. Теперь, в трудное время, не с кем посоветоваться и не на кого свалить вину». Кстати сказать, почти поголовное изгнание из Польши всех евреев ничуть не помешало уже в наши дни лидерам страны именно их обвинить в экономических трудностях, переживаемых сегодня.

Что же до написанных мною песен «Освенцим» и «Треблинка», то они для исполнения были запрещены. Тем не менее актер театра «Современник» Валентин Никулин, с которым я в те годы подружился, героически исполнял «Освенцим» на своих вечерах, чем вызвал нарекания начальства.

Уже в конце ноября, после возвращения из Польши, я попал в «не сезон» на две недели в Репино, в Дом творчества композиторов. Мне нужно было закончить работу над рукописью первой книжки стихов «Атланты», принятой к печати ленинградским отделением издательства «Советский писатель». Помню, как поразила меня поначалу «роскошь» просторных композиторских апартаментов – каждый занимал отдельный коттедж из трех комнат, с роялем в центральной. «А почему кровати сдвоенные?» – наивно спросил я у сестры-хозяйки, отпиравшей мой домик. «Это на случай, если к вам захочет приехать жена или соавтор», – ответила она. Действительно, в столовой я увидел объявление: «Желающие поставить на питание своих жен (или соавторов) должны внести заранее деньги из расчетов пять рублей за сутки». Пожилая официантка жаловалась: «Наши композиторы музыки не любят. Они, как в столовую войдут, так сразу музыку по радио выключают. Да и как ее любить, когда они ее сами пишут?»

Соседний со мною домик занимал режиссер кинохроники Адольф Иосифович Минкин, симпатичный седой и грузный человек. Он страдал стенокардией и поэтому имел привычку заедать коньяк валидолом. Однажды ночью его прихватило всерьез, и я вызвал «Скорую». Врач «Скорой помощи», старая еврейка явно пенсионного возраста, сделала ему какие-то уколы и, вернув к жизни, села заполнять карточку. «Фамилия», – строго спросила она. «Минкин», – ответил мой сосед слабым голосом. «Имя и отчество?» – «Адольф Иосифович». Докторша отложила ручку и долго с удивлением рассматривала больного, которого только что обследовала. «Молодой человек, – сказала она наконец. – Вам что, мало чего-нибудь одного?!!»

Первая книжка моих стихов «Атланты» вышла весной 1967 года в издательстве «Советский писатель». Вошли туда стихи, написанные в основном в экспедициях, и песни, значительная часть которых уже была к тому времени известна. Мне пришлось изрядно повоевать с редактором Александром Рубашкиным, показавшимся мне тогда придирчивым и недоброжелательным. Только через несколько лет, перечитав опубликованные в книжке стихи, я понял, что он был снисходительным и крайне доброжелательным ко мне, поскольку стихи-то по большей части были слабенькие и печатать их не

следовало. Сейчас вид этой книги вызывает у меня чувство стыда, слава Богу, что тираж был маленький. Что же касается Рубашкина, то много лет спустя, в 1999 году именно он, как член правления питерской писательской организации, одним из первых выступил с предложением выдвинуть мою кандидатуру на соискание только что учрежденной литературной премии имени Булата Окуджавы.

Помню, когда книжка была уже в работе, меня неожиданно пригласили выступать с песнями на ленинградское телевидение. Рубашкин, которому я не замедлил радостно похвастаться, к большому моему удивлению, крайне отрицательно прореагировал на это и стал уговаривать меня отказаться. «Понимаете, – начнутся звонки, письма в редакцию, – кому-то не понравится, а у вас – книжка в печати. Как бы чего не вышло. Подождите, пока книга выйдет, а там уж выступайте где хотите». И в этом он оказался прав.

Оформил книжку молодой талантливый художник Лев Авидон. Цензура несколько порезвилась над стихами, так что все слова типа «водка», «бог» и тому подобные из книжки были изъяты. Будучи в те поры человеком тщеславным и, пожалуй, маломысленным, я сильно радовался выходу первой «книги стихов». Лишь значительно позднее понял, что радоваться было особенно нечему, поскольку, опубликовав посредственные стихи, я на много лет сильно испортил себе литературную репутацию.

В конце 1967 года я закончил кандидатскую диссертацию на тему «Магниторазведка и электроразведка при изучении морского дна», а поскольку в моем родном НИИ геологии Арктики ученого совета по защите не было, то диссертация моя весной 1968 года была принята к защите на кафедре геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ, которой тогда руководил один из создателей отечественной разведочной геофизики Всеволод Владимирович Федынский. Кафедра эта была в то время ведущей в области геофизических методов, так что я сильно побаивался ее маститых сотрудников. Надо сказать, что дурную службу здесь сослужила моя песенная «популярность». Так, один из тогдашних профессоров кафедры Роман Филиппович Володарский, поинтересовавшись, зачем я появился на кафедре, сказал: «Это который песенки пишет? И вы что, думаете, у него может быть хорошая работа? Наверняка барахло какое-нибудь».

Оппонировать диссертацию согласился известный геофизик профессор Огильви, представитель старинного ирландского рода, заброшенный в Россию прихотливой судьбой. Согласно легенде, какой-то предок профессора, еще в XVII веке бывший известным

военачальником, совершил тяжкое злодеяние, за что был изгнан из Ирландии, а род его обречен на скитания по чужбине. С той поры уже триста лет потомки злосчастного фельдмаршала живут во всех странах мира, в том числе и у нас, но в Ирландии – нет никого. Александр Александрович Огильви, автор фундаментальной книги «Разведочная геофизика», внимательно прочитал мою диссертацию, и она ему понравилась. «Ваша диссертация весьма экзотична, – заявил он мне, – я берусь ее оппонировать». В тот же день на кафедре его молодые сотрудницы рассказали ему, что Городницкий – «еще пишет песни и стихи». Он расстроился и сказал: «Не может быть, ведь я читал его работу – видно, что человек серьезный!»

Диссертация моя была по тем временам закрытой (и даже поначалу должна была защищаться в Ленинграде, в Военно-морской академии, но там очередь была большая), поэтому народу на заседании ученого совета, кроме его «допущенных» членов, было мало. Тем не менее я заметил довольно большую группу студентов «закрытой» радиоактивной специальности, никакого отношения к теме диссертации не имевших. По окончании защиты я спросил их, почему они пришли, и староста группы, очень красивая девушка, смутившись, ответила: «Мы надеялись, что в конце вы все-таки что-нибудь споете».

Защита диссертации первоначально планировалась на февраль 1968 года. Но как раз перед этим моя песня «Атланты» заняла первое место на Всесоюзном конкурсе, и мне неожиданно предложили принять участие в поездке во Францию на Зимние Олимпийские игры 68-го года в Гренобле. Я решил, что если Париж стоил мессы, то уж диссертации и подавно, и, не задумываясь, отложил защиту на май.

Кроме поездки во Францию 1968 год запомнился мне еще одним весьма знаменательным событием. За несколько дней до отъезда во Францию, 30 января, в ленинградском Доме писателей состоялся литературный вечер, посвященный незадолго перед этим вышедшему из печати очередному литературному альманаху «Молодой Ленинград». На этом вечере выступали молодые поэты и прозаики, чьи стихи и рассказы были напечатаны в альманахе, среди которых были Татьяна Галушко, Сергей Довлатов, Елена Кумпан, Иосиф Бродский, Владимир Марамзин, Валерий Попов и я. Оказалось, пока я разгуливал по Гренобле, орал «шайбу, шайбу!» нашим славным хоккеистам, проигрывавшим чехам, и любовался утренним Парижем с Монмартрского холма, в моем родном Питере разыгрался грандиозный скандал, связанный с упомянутым вечером.

Группка воинствующих черносотенцев из литобъединения

«Россия» при Ленинградском обкоме ВЛКСМ в составе председателя этого «патриотического объединения» некоего В. Щербакова и членов В. Смирнова и Н. Утехина, присутствовавшая на вечере, написала довольно обширный донос в три весьма солидных организации сразу: в обком ВЛКСМ, Ленинградский обком партии и ЦК КПСС. В доносе выражалось «законное возмущение» услышанными на вечере идейно-чуждыми стихами и «попустительством руководства ленинградской писательской организации антисоветской и сионистской пропаганде», которую пытались вести выступавшие. По мнению авторов этого мерзкого документа, «30 января в Ленинградском Доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг».

Выше я уже цитировал отрывки из доноса, касавшиеся Татьяны Галушко и Елены Кумпан. Про меня там было написано следующее: «А. Городницкий сделал „открытие“, что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да суеверной экзотики, ничего не было».

Больше всего досталось Иосифу Бродскому: «Заключил выступление известный по газетным фельетонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы – русские люди, которых он иносказательно называет „собаками“. Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.

Подведя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих.

Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями. Поэтому мы требуем:

1) Ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга.

2) Полного пересмотра состава руководства Комиссии по работе с молодежью ЛО СП РСФСР.

3) Пересмотра состава редколлегии альманаха „Молодой Ленинград“, который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для

сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними „молодых литераторов“».

Почти все эти требования были неукоснительно выполнены. Два небольших стихотворения Иосифа Бродского, напечатанных в злополучном номере «Молодого Ленинграда», на долгие годы так и остались его единственной публикацией на Родине. В июне 1972 года он был насильственно отправлен во вторую, на этот раз уже бессрочную ссылку – не в деревню Норинское болотистого Копошского района Архангельской области, а за рубеж.

Татьяне Галушко было отказано в публикации уже сданной в издательство книги и возвращены подборки стихов из альманахов и журналов. Мне также была возвращена из издательства рукопись второй книжки стихотворений и отказано в приеме в Союз писателей. Кроме того, наши имена были внесены в «черный список» ленинградского радио и телевидения, а как выяснилось позднее, и в «черные списки» московских издательств и журналов…

Сразу же по возвращении из Франции меня вызвали в Ленинградский обком комсомола к тогдашнему первому секретарю А. П. Тупикину. Поскольку именно Ленинградский обком комсомола санкционировал мою поездку, то им, по всей видимости, изрядно досталось за то, что послали «не того». От меня потребовали предъявления «крамольных» стихов и песен – видимо, для представления в «компетентные инстанции», и я был подвергнут грозной проработке. В числе стихов, прочитанных мною на вечере, были опубликованные позднее стихи «Петровские войны» и песня «Монолог маршала».

Надо сказать, что в конце 60-х годов идеологический нажим на молодых ленинградских авторов вообще заметно усилился. Короткая хрущевская оттепель сменилась устойчивыми брежневскими холодами. Мы, молодые ленинградские авторы, были зарегистрированы в Комиссии по работе с молодыми литераторами при ЛО ССП, функции которой были далеко не однозначны. Достаточно сказать, что секретарь этой комиссии в 60-е годы Е. В. Воеводин, который по своему положению практически осуществлял ее решения, предъявил во время инспирированного судилища над Бродским бездоказательные и клеветнические обвинения против него, что сыграло не последнюю роль в жестокой расправе над поэтом. Еще тогда, в 64-м, большая группа молодых ленинградских литераторов, и я в том числе, обратилась в эту комиссию с коллективным письмом, справедливо обвиняя Воеводина в подлоге и лжесвидетельстве.

Стихи мои после скандального вечера в Доме писателей в Питере сразу же перестали печатать. Попадая наездами в Москву,

я несколько раз, по совету друзей, пытался пристроить свои стихи и песни в редакции московских литературных журналов, но и здесь эффект был нулевой. В августе 1968 года журнал «Юность» опубликовал зубодробительную рецензию на моих «Атлантов», которую написал шустрый ленинградский критик Владимир Соловьев. Статья называлась «Всадник, скачущий позади». Самое забавное, что редакцию после этого, как выяснилось позднее, завалили возмущенными письмами мои доброжелатели, и «Юность» неожиданно для меня напечатала подборку моих стихов. Это, однако, было исключением из общего правила. Я же, еще ничего не зная о «черном списке», о котором мне только в 1972 году по-дружески поведал заведующий отделом поэзии журнала «Москва» Анатолий Парпара, продолжал наивно посещать редакции.

Поворотную роль в моей судьбе сыграл 1970 год, когда, после четырехлетнего перерыва, я снова попал в большую зарубежную океанологическую экспедицию в Северную Атлантику, на этот раз уже не на военном судне, а на научно-исследовательском судне Института Океанологии им. П. П. Ширшова Академии Наук СССР «Дмитрий Менделеев», и познакомился в этой экспедиции с Игорем Михайловичем Белоусовым, руководившим там геофизическим отрядом.

Попал я в этот рейс случайно, в состав магнитной группы, с подачи моего приятеля – магнитчика из Института Океанологии Толи Шрейдера. Вместе с ним и другим геофизиком, Жорой Валяшко, мы довольно дружно проплавали все четыре месяца. Наш начальник, Игорь Михайлович, своей опекой нам особенно не досаждал и в магнитные дела не вникал, предоставляя полную свободу действий. Не по годам грузный, любитель вкусно поесть и выпить, бывший, как выяснилось, морской офицер, переквалифицировавшийся в геоморфолога и защитивший кандидатскую диссертацию, Белоусов обладал совершенно уникальной доброжелательностью, сочетавшейся с не менее редким оптимизмом. Память у него была удивительная, особенно на диковинные экзотические географические названия, которых он знал множество. «Это что, – заявил он, когда я как-то раз выразил ему свое восхищение диапазоном его географических и литературных познаний. – Я тебя познакомлю с моей московской бандой, особенно с Эйдельманом и Смилгой – вот это люди!» Именно от него я услышал впервые историю о нестандартной «лицейской» дружбе, связывающей уже долгие годы выпускников их класса сто десятой арбатской школы, и восторженные рассказы о его друзьях, из которых выделял он троих – историка Натана Эйдельмана, физика-теоретика Валентина Смилгу и хирурга и

писателя Юлия Крелина…

После долгих лет плаваний на «Крузенштерне» и других судах военной гидрографии с их суровой мужской обстановкой и системой постоянных запретов, попав на комфортабельное академическое судно, которым командовал весьма колоритный и интеллигентный капитан Михаил Васильевич Соболевский, где официально выдавалось в тропиках сухое вино и регулярно устраивались разного рода вечера – от вечеров филармонической музыки в салоне начальника рейса, академика Бреховских, до еженедельных танцев на верхней палубе с участием многочисленных женщин, я несколько растерялся.

Вообще быт на академических судах поначалу показался мне довольно своеобразным. На день рождения, например, по выданной замполитом записке можно было приобрести в судовом ларьке вино, водку или коньяк. Помню, как торжественно и вполне открыто отмечали в марте 1971 года посреди океана мой день рождения. Приглашенная в числе гостей буфетчица Галя, сразу же с дня рождения отправившаяся мыть посуду, перебила довольно много тарелок. Празднование продолжалось почти сутки, так как на смену одним гостям, уходившим на вахту, немедленно являлись другие, сменившиеся с вахты.

В те годы дело с выпивкой на гражданских академических судах, где на борту часто находились и иностранные ученые, обстояло довольно вольно. Помню, уже позднее, в 1982 году в первом рейсе нового «Витязя» замполит, пришедший сюда с нефтеналивного флота, где строго-настрого запрещалось употребление спиртных напитков, никак не мог привыкнуть к тому, что пьянки с участием иностранцев на борту проводятся вполне официально и называются «научными контактами». Другой, сменивший его на этой должности, пришел на флот из МВД. В конце танцевальных вечеров он объявлял по трансляции: «Товарищи, танцы кончились, – все по камерам!»

Наиболее серьезные выпивки, как правило, были приурочены к выходу в рейс и возвращению в родной порт. Вспоминается в связи с этим один весьма характерный случай, когда судно «Академик Курчатов» вернулось в Калининград из очередного рейса. Руководитель одного из научных отрядов, видный специалист по гидрооптике океана, известный своей приверженностью к Бахусу не меньше, чем научными работами, крепко отметив накануне возвращение домой, мертвецки пьяный мирно почивал в своей каюте. Атмосфера и порядок в каюте, куда ни свежий воздух, ни дневной свет не попадали, так как даже иллюминатор был задраен на броняшку, были соответственными. Неожиданно распахнулась входная дверь, и в каюту вместе с

дежурным по кораблю вошла группа калининградских пионеров во главе с роскошной пионервожатой, которых привели на экскурсию знакомиться с «флагманом советского научного флота». Дежурный повернул выключатель, и задохнувшиеся пионеры с ужасом уставились на объедки на столе и пустые бутылки, валявшиеся на полу вперемежку с предметами мужского туалета. «Михаил Николаевич, – отчаянно затряс дежурный за плечо полумертвого хозяина, – проснитесь. Пионеры очень хотят узнать, как распространяется свет в водной толще океана. Михаил Николаевич, Вы слышите меня? Как распространяется свет в океане?» Михаил Николаевич с усилием оторвал от подушки больную голову со спутанными волосами и, мученически приоткрыв глаза, пробормотал: «Очень фуево».

Через несколько дней наш «Дмитрий Менделеев» встретился в Атлантике с другим судном института океанологии «Академик Курчатов». В нашем рейсе участвовала синоптик Нина Романова, муж которой Юра, тоже синоптик, находился в это время на «Курчатове» в составе аналогичного отряда. Плавать жене и мужу на одном судне категорически запрещалось, видимо, из опасения, что они могут вместе сбежать в каком-нибудь иностранном порту. Пока суда лежали в дрейфе, Нину на глазах всей любопытствующей экспедиции возили на пару часов на шлюпке «на побывку» к мужу. Когда шлюпка возвращалась обратно, бедная путешественница сидела, опустив глаза и краснея. «Ну, как?» – кричали ей с борта подвыпившие моряки. Вечером того же дня в кают-компании были устроены танцы, и Нина, когда партнер пытался обнять ее потеснее, возмущенно отстраняясь, говорила: «Что вы, что вы, – я только что от мужа».

Поскольку женщин на научных судах всегда было значительно меньше, чем мужчин, то почти каждая из них с самого начала рейса становилась предметом ухаживаний. «Женщин разбирают уже на трапе», – шутил наш третий штурман. Помню, одна тихая и скромная научная сотрудница Ира по вечерам, когда спадала жара, как и многие, отправлялась на верхнюю палубу делать гимнастику. Выходила она, как правило, позднее всех и усердно делала множество разных упражнений. Наблюдавший ее упорные занятия вахтенный матрос Михаил Ночневный, видя, как она изнуряет себя упражнениями, жалостливо глядя на нее, спросил: «Что, еще не пристроилась?»

Серьезным испытанием для наших закрепощенных домашним бытом и закомплексованных советских женщин в портах заходов явилось знакомство с западным сексом на экранах зарубежного кино. Оно, как правило, производило на них оглушительное впечатление. Помню, одна из наших миловидных научных

сотрудниц Наташа, видный геоморфолог, впервые посмотрев в Антверпене секс-фильм «Глубокое горло», от волнения потеряла голос и целый месяц после этого говорила шепотом. Другая молоденькая двадцатилетняя девица, работавшая до этого в Геленджике секретаршей у директора Южного отделения нашего института и впервые попавшая за рубеж, в греческом порту Пирей всю свою небольшую валюту потратила не на тряпки и косметику, как все остальные женщины, а на билеты в секс-кинотеатры. Ее большие серые глаза были полны восторженного ужаса.

Справедливости ради следует сказать, что и на многих советских мужчин зрелище это производило с непривычки сильное впечатление. Помню, в порту Реджо-ди-Калабрия в Италии один из наших «технарей», уже пожилой человек, в прошлом командир подводной лодки и, конечно, партиец, которого на борту все уважительно звали «Палыч», вернувшись из увольнения, заявился ко мне с початой поллитрой и, разлив ее по стаканам, сказал с обидой: «Вот, Саня, – всю жизнь, оказывается, зря прожил: ничего такого никогда не видел и не знал. А жалко!»

Конечно, формально посещение кинотеатров с секс-фильмами запрещалось, но запреты эти, как правило, нарушались. Помню, в 1974 году, в 11-м рейсе «Дмитрия Менделеева», во время стоянки в Сиднее, часов в десять вечера, когда увольнение в город, разрешенное обычно только на «светлое время суток», уже закончилось, заместитель начальника рейса, бывший одновременно представителем институтского партбюро на судне, и первый помощник потащили меня в качестве переводчика на берег смотреть секс-фильм «Австралия после полуночи». Около двух часов, усадив меня в середине, они мучили меня постоянными требованиями синхронного перевода, хотя события, происходившие на экране, ни в каком решительно переводе не нуждались. «А что он ей сейчас сказал?» – ежеминутно интересовались мои наэлектризованные соседи. «А она ему?» Когда свет наконец зажегся, выяснилось, что в зале находится еще одна тройка с нашего судна: две буфетчицы из кают-компании в сопровождении судового механика. Увидев помполита, они тут же растворились в толпе.

Уже поздно вечером, когда мы возвратились на судно, в дверь моей каюты постучали. Вошли обе девицы, Таня и Галя, встретившиеся нам в кино, и поставили на столик бутылку «Столичной», которая сама по себе была на судне крайним дефицитом. Судя по румянцу на их лицах, перед этим они уже успели выпить. «Александр Михайлович, – заявила Галя, – мы вот с вами вместе в кино были. Но мы английского не знаем, поэтому не все поняли. Вы не могли бы нам кое-что перевести и

объяснить?» – «А почему же вы вдвоем пришли?» – неловко попытался пошутить я. «Как почему? – совершенно серьезно ответили они. – Там же все время – две женщины с мужчиной».

Несколько позднее, в 1977 году, в 24-м рейсе судна «Академик Курчатов», работавшего в Атлантике и заходившего на Канарские острова, в моем отряде произошло ЧП – двое моих сотрудников сильно выпили во время увольнения в Лас-Пальмасе, за что и они, и я получили изрядный нагоняй. Уже на пути в Калининград мы зашли в шведский порт Гетеборг. Накануне, когда решался вопрос об увольнениях, меня вызвал к себе в каюту замполит. Время было позднее. Судно раскачивалось и скрипело от внезапно налетевшего североморского шторма. «Мы вот тут посоветовались с партбюро и решили этих двоих, что в Лас-Пальмасе напились, дать тебе в «тройку». Вот ты сам теперь с ними ходи и за них отвечай, поскольку ты у них начальник отряда». – «Да что мне с ними делать? – возразил я. – Они же все свои деньги пропили». – «Ну, и что?» – «Как что – мы ведь в Швецию заходим и хотели на какой-нибудь секс-фильм сходить». – «Это ты мне, первому помощнику, такое говоришь? Ты что, разве не знаешь, что ходить на секс-фильмы запрещено?» – «Запрещено! Сам-то небось ходил?» – «Я – другое дело, я – политработник! Мне потом с людьми надо беседовать, разоблачать там и все такое. Мне положено по работе». – «Ну, и мне положено. Я ведь, как ты знаешь, член Союза писателей. Это ведь самый что ни есть идеологический фронт. Мне потом дома тоже выступать придется и на всякие вопросы отвечать. Ты что думаешь, мне поверит кто-нибудь, что я секс-фильмов не видел?» Замполит задумался. «Пожалуй, ты прав, – вздохнул он, – тебе можно. Только всем подряд не рассказывай».

На следующий день четыре боевых «тройки» отправились в Гётеборге на поиски главного секс-кинотеатра. Нашим Сусаниным был добрейший и милейший геофизик Саша Гольмшток, который не испытывал ни малейшего желания тратить деньги на секс-шоу, но, на беду свою, уже бывавший ранее в Гётеборге и знавший, где находится кино. Павший жертвой собственной доброты, он, так же, как и другие, покорно заплатил 15 крон (деньги весьма в нашем положении немалые) за входной билет. Уже минут через сорок, однако, он сильно затосковал от скуки и опрометчиво покинул зал, шепнув, что покурит пока на улице у выхода. Когда мы примерно через час вышли, Саша находился в состоянии полной ярости, что для него, человека спокойного и доброжелательного, обычно было не свойственно. Оказывается, за то время, которое он нас ждал, почти все наши советские «тройки» подходили к кинотеатру, с

большим вниманием изучая картинки у входа, поскольку денег на билеты у них не было. И каждый раз они натыкались на Гольмштока, который совершенно очевидно грубо нарушал инструкцию по поведению советских граждан в иностранном порту: во-первых, трется возле секс-кинотеатра и ни на шаг от него не отходит, а во-вторых – один, без своей «тройки». Попытка Саши, осознавшего свою ошибку, вернуться в зрительный зал оказалась бесплодной: надо было снова платить 15 крон, а уйти он не мог, так как действительно боялся отстать от своей «тройки».

Бывали и другие случаи. Так в 1983 году в Копенгагене, в одном из аналогичных кинотеатров, когда наша «тройка» собиралась уже уходить, прямо рядом со мной, перегородив нам дорогу к выходу, плюхнулась на сиденье вместе со своим спутником только что заскочившая в зал здоровенная деваха, обдавшая нас густым духом спиртного. На второй минуте из их оживленного диалога с ее кавалером (а чего стесняться, – ведь кругом чурки нерусские, все равно ни черта не понимают), выяснилось, что они – члены экипажа теплохода «Абхазия», который пришел в порт с немецкими туристами на борту. Едва усевшись, соседка моя, используя все доступные ей богатства родного языка, начала энергично комментировать все, происходящее на экране. «Вася, да разве ж это французская любовь, – загудела она прямо над моим ухом, – она ж его держит неправильно! Подожди, вернемся на судно вечером, я тебе покажу, как это надо делать!» Поддавший Вася блаженно зажмурился в предвкушении обещанного. Мои спутники справа от меня тоже беспокойно заерзали. «Вася, глянь, – не унималась моя соседка. – Да разве ж это любовь втроем? Они же на него не так садятся! Нет уж, погоди. Я вот Люську из нижнего буфета к тебе в каюту приведу, мы тебе с ней устроим!» Это уже было слишком. Вася, кажется, уже был в полной отключке. Кивнув моим коллегам, мол, пора двигаться, я тихо сказал ей: «Простите, можно пройти?» Пьяная ухмылка на ее лице мгновенно сменилась выражением внезапного ужаса. Схватив в свои могучие объятия несчастного Васю, она моментально испарилась, оставив только легкий запах спиртного. Путь к выходу был свободен.

Все эти истории, однако, происходили позднее. Тогда же, в 1970 году, в первом рейсе на академическом судне мой трусливый, хорошо отлаженный стереотип поведения забитого и запуганного советского гражданина за рубежом претерпевал острый кризис. Этому немало способствовал Игорь Белоусов, бывший, кстати сказать, в ту пору секретарем парткома Института Океанологии. Именно он выступал инициатором

многочисленных культурно-массовых мероприятий самого разного рода – от шахматного турнира (он был страстным шахматистом) до конкурса на лучшую песню об Атлантиде, о котором речь пойдет ниже.

В шахматном турнире Игорь, претендовавший на первое место, потерпел сокрушительное поражение от второго механика. Тогда он придумал неожиданный розыгрыш. Центром возникшего «заговора» стала синоптик Клара Войтова, самая красивая женщина на судне, похожая на таитянку, за которой весь рейс весьма активно и элегантно и, кажется, совершенно безуспешно ухаживал наш блестящий капитан. Помню, во всяком случае, что в день 8 марта я, по заданию все того же Белоусова, придумывал персональные стихотворные поздравления всем женщинам экспедиции – для стенгазеты. Красавице Кларе были посвящены такие вирши:

Ах, у Клары, ну и чары,
Кто от них не умирал?
Говорят, что Карл у Клары
От любви украл коралл.

Не успели вывесить стенгазету, как в конце второй строки, после вопроса «кто от них не умирал», кто-то написал карандашом – «капитан». Справедливости ради следует сказать, что и сам Игорь весьма симпатизировал Кларе. По вечерам она выходила на верхний мостик, названный «сачкодромом», и делала там гимнастику, включая «мостик». С завистью смотревший на ее акробатические этюды Игорь как-то спросил Клару: «Ну, хоть в конце рейса вы поцелуете меня на прощанье?» – «Конечно, – ответила она, – если вы сумеете „мостик“ сделать». Для толстяка Игоря это была задача непосильная. Я тут же, помнится, написал на него эпиграмму на мотив песни «Мой костер в тумане светит»:

В знак симпатий наших личных,
Пред разлукою в порту,
Вместо способов обычных
Мы простимся «на мосту».

Одним из главных украшений Клары были густые и длинные черные волосы, сыгравшие не последнюю роль в описываемой истории. Дело в том, что Клара немного играла в шахматы. Коварный план Белоусова состоял в том, чтобы заставить

проиграть своего удачливого противника не кому-нибудь, а именно женщине, что особенно обидно для мужчины, да еще и моряка. С этой целью против второго механика выставили Клару, неожиданно пожелавшую принять участие в турнире. Клара явилась на игру в открытом ярком платье, глубоко обнажавшем полные обольстительные плечи и шоколадного цвета спину. Кажется, одного этого было достаточно для любого мужчины, чтобы сдаться немедленно. Ее роскошные волосы были собраны в большой тугой узел сзади. Никто из окружающих не мог и подозревать, что под этой пышной прической скрывается портативное корабельное переговорное устройство, которое обычно используется при швартовке или для связи со шлюпкой у борта. В соседней каюте, за такой же шахматной доской, точно дублирующей положение фигур, сидел целый шахматный совет во главе с Белоусовым, обсуждавший каждый ход и дававший команду Кларе.

Поначалу все шло блестяще. Второй механик, высокий и серьезный мужчина, признанный лидер шахматного чемпионата, первокатегорник по шахматам, после нескольких же ходов вдруг начал понемногу проигрывать. И кому, какой-то смазливой девчонке. Чемпион начал нервничать и «зевнул» ладью. Огромное число болельщиков набилось в кают-компанию на этот неслыханный поединок. Это-то и погубило весь замысел. Увидев такое большое количество мужчин, Клара по инстинктивной женской привычке стала поправлять прическу и нечаянно нажала на кнопку приемника. Связь прервалась, и покрасневший от напряжения второй механик сумел свести партию к ничьей.

Меня Игорь уговорил провести серию вечеров-концертов, посвященных авторской песне. После военных судов, на которых песни Окуджавы, Галича, Высоцкого и Кима были намертво запрещены, это казалось удивительным. Помогали мне в этих вечерах второй штурман Володя Черкасс, прекрасный гитарист, и химик Галина Сычкова – исполнительница авторских песен. Песни мои, которые он прежде не слышал, ему понравились, и он стал постоянно интересоваться, не написал ли я чего-нибудь нового. Мы в это время, отработав в центральной части Атлантики, шли на заход на Малые Антилы, на остров Гваделупа…

Помню, в холодной и голодной мужской послевоенной школе – в пятом и шестом классах мы все поголовно занимались собиранием марок. Теперь мальчишки марками так не увлекаются. Почему мы с такой страстью их тогда собирали? Не потому ли, что нас подсознательно манили, притягивали к себе сказочные, недоступные для нас края, изображенные на этих

маленьких бумажных квадратиках? Ниагарский водопад, дирижабль, летящий над полюсом. Стройные и величественные африканские жирафы, антарктические пингвины и розовые фламинго. Наши неискушенные мальчишеские сердца переполнялись многокрасочным разнообразием и полнотой недоступного для нас мира. Помню, что по наиболее высокой таксе обмена среди опытных филателистов в то время шли марки серии «Французские доминионы», из которых самыми ценными были марки «страны Гваделупа» (я тогда еще и не подозревал, что это остров в Западной Атлантике).

В рейсе в мои основные обязанности, помимо прочего, входило нести вахту на магнитометре, работавшем круглосуточно. Вахта моя ночью была с нуля до четырех часов утра. Примерно минут за пятнадцать до конца вахты мне в кормовую лабораторию, где стояла наша аппаратура (а оттуда ничего не видно – даже иллюминаторы задраены наглухо, поскольку работает аппаратура, охлаждаемая от перегрева кондиционерами), позвонили с мостика и голос вахтенного штурмана Володи Черкасса произнес: «Саня, хочешь на Гваделупу взглянуть? Выходи на палубу – остров на горизонте». Я поднялся на мокрую от утренней росы кормовую палубу и заглянул вперед за надстройку. Плотные утренние сумерки одевали все пространство вокруг серым сырым фоном, не позволяя отличить воду от неба. И только далеко впереди с левого борта, на скорее угадываемой, чем различимой глазом границе двух этих необъятных стихий, едва заметно мерцала цепочка зыбких огней – остров на горизонте. Мне вспомнились нетопленая послевоенная школа на Мойке, крики балтийских чаек, круживших за высокими пыльными окнами нашего класса, над старыми кирпичными воротами Новой Голландии, и бережно заложенные в тетрадку марки с трудно различимыми французскими названиями. Смешанное чувство радости и грусти охватило меня – радости от реального осуществления наивной школьной мечты и грусти от невозвратной утраты того головокружительного мальчишеского ожидания непременного чуда наутро. На следующий день я показал Игорю новую песню «Остров Гваделупа»:

Такие, брат, дела… Такие, брат, дела —
Давно уже вокруг смеются над тобою.
Горька и весела, пора твоя прошла,
И партию сдавать пора уже без боя.
На палубе ночной постой и помолчи.
Мечтать под сорок лет – по меньшей мере, глупо.

Над темною водой огни горят в ночи —
Там встретит поутру нас остров Гваделупа.

Пусть годы с головы дерут за прядью прядь,
Пусть грустно от того, что без толку влюбляться, —
Не страшно потерять уменье удивлять,
Страшнее – потерять уменье удивляться.
И, возвратясь в края обыденной земли,
Обыденной любви, обыденного супа,
Страшнее – позабыть, что где-то есть вдали
Наветренный пролив и остров Гваделупа.

Так пусть же даст нам бог, за все грехи грозя,
До самой смерти быть солидными не слишком,
Чтоб взрослым было нам завидовать нельзя,
Чтоб можно было нам завидовать мальчишкам.
И будут сниться сны нам в комнатной пыли
Последние года, отмеренные скупо,
И будут миновать ночные корабли
Наветренный пролив и остров Гваделупа.

Поскольку песня Игорю понравилась, я тут же ее ему посвятил. К вечеру следующего дня мы уже разгуливали по крутым улочкам города Пуант-а-Питр. Шли мы вчетвером, впереди более подвижные и шустрые мы с Валяшко и Шрейдером, а сзади, тяжело отдуваясь, Игорь Белоусов в парусиновом костюме и широкополой шляпе. Путь наш в городок пролегал через «веселые кварталы». У гостеприимно открытых дверей «домиков для любви» стояли или сидели в соблазнительных позах живописно раздетые мулатки и креолки всех мастей – от черного кофе до молока. Надо сказать, что на нас троих, глянув в нашу сторону опытным оценивающим глазом, они никакого внимания не обратили. Зато появление Игоря произвело на них самое внушительное впечатление, – клиент на вид солидный. «Эй, босс, – оживились они, – кам хиа». – «Потом, потом», – смущенно промямлил Игорь и бросился догонять нас.

К середине второго дня неожиданно выяснилось, что на остров Гваделупа мы зашли незаконно, поскольку на нем находится французская военно-морская база. Местные власти прибыли на борт с требованием в течение двух часов покинуть порт. В противном случае судну грозил арест. Что было делать? Весь экипаж и научный состав, кроме вахтенных, был уволен в город до семи часов вечера, а на часах была половина первого

дня. Вот тут кто-то подсказал капитану Соболевскому, что в городке Пуант-а-Питр – всего один кинотеатр, и в кинотеатре этом идет один-единственный фильм «Я – лесбиянка», смотреть который замполит категорически запретил. Посыльный с судна, с трудом договорившись с контролерами, проник в зал. Примерно через полчаса все уволенные в город были уже на борту, и судно покинуло негостеприимную гавань.

Закончив второй этап работ, уже в апреле 1970 года, наше судно зашло в порт Дакар, столицу Республики Сенегал. В первый же день захода мы вдвоем со Шрейдером отправились бродить по шумному африканскому городу, где за нами немедленно увязался черный мальчишка – чистильщик сапог. Сколько мы от него ни отбивались, он упрямо продолжал нас преследовать. Пока мы лакомились мороженым в кафе, он, незаметно подкравшись под столом, ухитрился начистить одну белую кремовую туфлю Анатолия черной ваксой и тут же стал требовать плату, угрожая позвать полицейского. С большим трудом мы от него отвязались. К концу дня мы купили по дешевке у какого-то подозрительного черного старика два тамтама, а вернувшись на борт, узнали, что купили мы его в районе, где живут прокаженные. Выбросить купленные тамтамы нам было жалко, поэтому мы ограничились тем, что помыли их горячей водой с раствором марганцовки. Судовой врач окончательно успокоил нас, заявив, что инкубационный период у проказы – около двадцати лет. Сейчас один из этих барабанов висит на стенке у меня дома уже сорок лет, так что можно считать, что пронесло.

На следующий день на судно прибыл советский посол в Сенегале, от которого мы узнали, что на третий день нашей стоянки в Дакаре приходится национальный праздник республики – День независимости, в честь которого должны состояться военно-морской парад и спортивные празднества, включающие гонку пирог и другие соревнования.

В день праздника капитан приказал спустить судовой катер, на который в число избранных, за широкой спиной Белоусова, попал и я. Подняв красный государственный флаг, катер смело двинулся в самый центр гавани, где проходил парад военного флота Республики Сенегал, состоявшего из нескольких списанных во Франции старых тральщиков и одного эсминца. На океанском берегу были установлены трибуны, на которых разместились – правительство во главе с тогдашним президентом Сенегала Леопольдом Седаром Сенгором (кстати, известным французским поэтом и членом Французской академии), дипкорпус и множество приглашенных гостей. В честь праздника состоялась показательная высадка десанта на воду. Черные парашютисты

бодро выпрыгивали из двух больших транспортных самолетов, неспешно пролетавших вдоль берега. Упав на воду, они ловко раскрывали свои надувные плотики и ожидали подбирающий их катер. Пара парашютистов, видно, плохо рассчитав, вместо моря засквозила в сторону суши, и главный распорядитель махнул рукой – этих можно не подбирать. Вот как раз в этот момент я и увидел жену французского посла.

Она стояла на центральной трибуне, неподалеку от президента Сенгора, рядом со своим мужем – Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Сенегале, под небольшим французским триколором. Увидел я ее в подзорную трубу, данную мне капитаном, с расстояния – минимум три кабельтова. Все, что я успел разглядеть – это белое длинное платье и широкую белую шляпу, за которой развевался тонкий газовый шарф. Что касается нашего посла, стоявшего на той же трибуне, то он, увидев, что мы затесались почти в строй сенегальских военных кораблей, довольно выразительно погрозил нам кулаком. Лежа на животе, я с трудом выбрал руками маленький катерный якорь, и мы отправились восвояси.

Настроение, однако, было праздничным, и, вернувшись на судно, мы решили отметить День независимости Сенегала. Надо сказать, что на всех советских судах, попавших в тропическую зону океана, тогда выдавали сухое вино, которое называлось «тропическое довольствие». Еще Колумб по пути в Америку заметил, что в тропиках пресная вода в деревянных бочонках начинает гнить. И только смешанное с водой бактерицидное сухое вино возвращает ей питьевые свойства. Вернувшись из Голландии, Петр I издал специальный указ, который предписывал выдачу всем членам экипажа судна, попавшего в тропическую зону океана, по стакану сухого вина в день. Указ этот, дошедший до наших дней, пытались, правда, отменить при Горбачеве, но ненадолго. И каждый раз, когда судно пересекало Северный тропик, чего все члены экипажа ожидали с явным нетерпением, по сто раз спрашивая штурманов, скоро ли, звучала по «спикеру» долгожданная команда, и все судовое население бежало в продуктовый ларек, где каждому совершенно бесплатно выдавалась бутылка вина на три дня. При этом на доску приказов и объявлений вывешивался приказ капитана, где было сказано следующее: «Категорически запрещается накапливать сухое вино с целью опьянения».

По случаю национального праздника Сенегала мы решили больше ничего не накапливать, тем более что кроме сухого вина у меня был спирт, а у Белоусова – коньяк. Вечером того же дня, прикончив вместе с Игорем Белоусовым и другими коллегами

бутылку терпкого непрозрачно-красного сенегальского вина, я придумал на свою голову озорную песню о жене французского посла, чей светлый образ некоторое время витал в моем нетрезвом воображении.

Песня немедленно распространилась по судну, а капитан со старпомом даже заключили пари на ящик коньяка, дойдет ли эта песня за месяц через всю страну от Калининграда, куда мы возвращались, до Владивостока, куда оба они после возвращения должны были вылететь к себе домой (судно было владивостокской приписки). Действительно, через месяц после прихода я получил от капитана Соболевского телеграмму из Владивостока с приглашением участвовать в распитии выигранного им коньяка, поскольку песня дошла.

Не могу не отметить, что все свои песни я до этого писал в связи с конкретными событиями, поскольку начисто лишен творческого воображения, и песни мои всегда были формой дневниковой записи. Так песня «Снег» написана после экспедиции на Крайний Север, а песня «Над Канадой небо сине…» после захода в порт Галифакс. Песня про жену французского посла, пожалуй, единственное исключение, которое принесло мне немало неприятностей.

Неприятности эти начались не сразу, а примерно через год, но продолжались много лет. Из их длинного ряда вспомню только два эпизода. Один из них датируется концом 1982 года, когда я уже жил в Москве и выступал накануне Нового года на вечере московских студентов в Концертном зале Библиотеки им. Ленина напротив Кремля. В числе многочисленных заявок на песни в записках чаще всего фигурировала песня «про жену французского посла». «Все равно мы ее знаем наизусть», – писали авторы записок. Обычно я эту песню на концертах не пел. Тут же, под влиянием многократных заявок, притупив обычную бдительность и расслабившись, я ее спел под бурные овации всего зала, и как немедленно выяснилось, – совершенно напрасно, поскольку, как известно, в нашей стране скорость стука значительно превышает скорость звука. Уже третьего января мне домой последовал звонок из Бюро пропаганды художественной литературы при МО СП СССР со строгой просьбой немедленно явиться к ним. Оказалось, что туда уже пришел донос на меня, составленный «группой сотрудников библиотеки».

В доносе отмечалось, что я в «правительственном зале» (почему он правительственный? Потому что напротив Кремля?) разлагал студенческую молодежь тем, что пел «откровенно сексуальную» песню, в которой «высмеивались и представлялись в неправильном свете жены советских дипломатических

работников за рубежом». Услышав это обвинение, я не на шутку загрустил. «Так что вы там пели? – спросила меня строгим голосом старой девы самая пожилая дама – старший референт. – Про жену советского посла?» – «Не советского, а французского», – робко возразил я. «Ах, французского? Ну это уже полегче. Ну-ка, спойте нам, пожалуйста». И я без всякого аккомпанемента и без особого удовольствия, осипшим от новогодних застолий голосом спел им эту песню. Народ за столами заметно оживился. «Ну ладно, – сказала пожилая дама, и в ее металлическом голосе зазвучали смягчающие нотки. – Идите. Только больше этого, пожалуйста, не пойте».

Вторая, вернее, первая история, связанная с этой песней, произошла в моем родном Ленинграде в 1971 году на следующий год после ее написания, когда мне понадобилось снова оформлять визу за рубеж для следующего плавания. Самым главным документом, представляемым для оформления визы, как хорошо известно людям моего поколения, была характеристика, подписанная так называемым «треугольником», который значительно страшнее Бермудского (дирекция института, партком и местком). Инструкция эта составлялась по строго канонической форме. Чтобы проверяющий ее чиновник не тратил зря время на ее изучение, в правый верхний угол выносились главные сведения о представляемом.

Про меня, например, было написано так: «Характеристика. Составлена на: Городницкого Александра Моисеевича, беспартийного еврея 1933 года рождения». Ясно, что при таких беспросветных исходных данных дальше можно не читать, а сразу надо откладывать личное дело в сторону. Кстати, после моего развода в 1971 году много лет, уже в Москве, из одной моей характеристики в другую неизменно перекочевывала фраза: «В 1971 году А. М. Городницкий разведен. Обстоятельства развода партбюро известны (! – ***А. Г.***) и не могут являться препятствием для оформления за границу». Вот как – все должно быть известно до самых личных деталей! Кроме того, в каждой характеристике обязательно должна была содержаться стандартная фраза: «Морально устойчив, политически грамотен, в быту скромен. Семья дружная». Если хоть что-нибудь из вышеперечисленного не указано или указано не строго в соответствии с упомянутыми выражениями, то характеристику можно было не подавать – все равно не пропустят.

Документы на каждого проходили четыре строжайшие инстанции – сначала институт, потом характеристику утверждают на выездной комиссии райкома партии. Мне неоднократно приходилось бывать на этих комиссиях и робко отвечать на

дурацкие вопросы тупых «теток в исполкомовской одежде», упоенных своей неограниченной властью. Помню, как-то в нашем Октябрьском районе во время очередного оформления в загранрейс меня представлял комиссии секретарь нашего парткома, мой приятель Володя Мельницкий. Когда я уже ответил довольно успешно на все вопросы о текущей политике и тому подобных вещах (знание которых было мне совершенно необходимо для магнитных измерений в море), Володя на вопрос, увлекается ли чем-нибудь его подзащитный, кроме науки, видимо, решив мне польстить, заявил, что Городницкий пишет стихи и песни.

Лица членов высокой комиссии, явно склонявшейся к положительному решению, омрачились. Мне предложено было выйти за дверь, а секретарю парткома остаться. Как он рассказал мне потом, его начали подробно расспрашивать, что именно я пишу, нет ли у меня помимо «общеизвестных» песен каких-нибудь песен «для себя», которые я пою в кругу близких друзей и которые «не соответствуют». «Да зачем он вообще эти самые песни пишет? – с сожалением спросил доброжелательный старичок с двумя колодками орденов. – Ведь вроде положительный человек, научный работник, и все вроде бы в порядке». Остальные также сокрушенно закрутили головами. Характеристику мне все-таки утвердили. «Они меня спросили, какие я твои песни знаю, – улыбнулся Мельницкий, – а я, как назло, только одну и помню – „От злой тоски не матерись“ – так что я уж ничего им цитировать не стал».

После райкомовского утверждения, изрядно отлежавшись, характеристики и все документы шли на тщательную проверку в КГБ и только после этого передавались в специальную выездную комиссию обкома партии. Вся эта процедура обычно занимала минимум четыре месяца. Интересно, что все многочисленные и, как правило, высокооплачиваемые чиновники, явные и тайные, стоявшие (вернее сидевшие) у этого длинного конвейера, обычно были более склонны не пропустить, чем пропустить. Дело в том, что ответственность они несли только в том случае, если вдруг ненароком пропускали не того, кого надо, и возникали какие-нибудь ЧП. За срыв же важных научных командировок, чрезвычайно дорогостоящих океанографических экспедиций и других работ за рубежом все эти инстанции никакой решительно ответственности не несли.

Я прекрасно помню, например, как в 1974 году наше судно «Дмитрий Менделеев», уже полностью снаряженное для выхода в экспедицию, около месяца простояло в порту, ожидая из Москвы «шифровку» с фамилиями участников экспедиции, «допущенных к

рейсу». Сведения эти, видимо, были настолько секретными, что о том, чтобы передать их по телефону или телеграфу, не могло быть и речи. Убытки, понесенные в результате этого простоя, исчислялись сотнями тысяч рублей, не считая валюты, но это решительно никого не волновало: карман ведь не свой – государственный.

Так вот, на следующий год после появления злополучной песни про жену французского посла, когда мне снова понадобилось оформлять документы в очередной рейс, меня вызвал к себе тогдашний секретарь партбюро Борис Христофорович Егиазаров, известный геолог, профессор и доктор наук, седой и красивый невысокий армянин с орлиным носом и густыми бровями, обликом своим напоминавший графа Калиостро. Когда я прибыл к нему в комнату партбюро, где он был в одиночестве, он запер дверь на ключ, предварительно почему-то выглянув в коридор. «У нас с тобой будет суровый мужской разговор, – объявил он мне. – У меня тут на подписи лежит твоя характеристика в рейс, так вот, ты мне прямо скажи, что у тебя с ней было». Удивленный и встревоженный этим неожиданным вопросом, я сел на стул и стал морщить лоб. «Да нет, ты не том думаешь, – облегчил мои мучительные экскурсы в недавнее прошлое секретарь, – я тебя не про всех твоих баб спрашиваю, – партию это совершенно не интересует. Я спрашиваю конкретно про жену французского посла». Я облегченно вздохнул, и с улыбкой, хотя, как оказалось, радоваться было рано, хорошо заученным тоном первого ученика сказал: «Борис Христофорович, ну что может быть у простого советского человека с женой буржуазного посла?»

«Ты мне лапшу на уши не вешай, – строго обрезал меня секретарь, – и политграмоту мне не читай – я ее сам кому хочешь прочитаю, – мне за это деньги платят. Ты мне прямо говори – было или нет!» – «Да с чего вы взяли, что у меня с ней что-то было?» – возмутился я. «Как это с чего? Мне тут твою песню принесли, и я ее внимательно изучил. И понял, что такую песню просто так не напишешь, там такие есть строчки, что явно с натуры написано. Так что не крути мне голову и признавайся. Давай договоримся по-мужски: ты сознаешься и рассказываешь мне некоторые детали, а я тебе сразу же подписываю характеристику. Зря упираешься, зря, – ведь ты уже в песне и так все рассказал, остается только чистосердечно подтвердить, тебе же легче будет. Имей в виду: если ты честно обо всем расскажешь, дальше меня это не пойдет, и характеристику я тебе подпишу, даю тебе честное слово. Пойми, Саня, я же тебе добра желаю. Скажу тебе честно, я бы и сам не устоял, – французская женщина,

жена посла… Такой случай может только раз в жизни выпасть. Всякое бывает. Но советский человек, даже если раз оступился, должен стразу же покаяться. Потому что, раз ты сознался, значит, ты перед нами полностью разоружился и тебе опять можно доверять». – «Перед кем это – перед вами?» – не понял я. «Как это перед кем? Перед партией, конечно!» Тут я понял, что дело принимает вполне серьезный оборот, и не ошибся.

Целый час, не жалея сил, он пытался не мытьем, так катаньем вынуть из меня признание в любострастных действиях с женой французского посла. Я держался с мужеством обреченного. Собеседник мой измучил меня и изрядно измучился сам. Лоб у него взмок от возбуждения. Он снял пиджак и повесил его на спинку своего секретарского стула. «Ну, хорошо, – сказал он, – в конце концов есть и другая сторона вопроса. Я ведь не только партийный секретарь, но еще и мужчина. Мне просто интересно знать – правда ли, что у французских женщин все не так, как у наших, а на порядок лучше? Да ты не сомневайся, я никому ничего не скажу!» Я уныло стоял на своем.

«Послушай, – потеряв терпение, закричал он, – мало того, что я просто мужчина, – я еще и армянин. Ты думаешь, если ты еврей, то ты мужчина? Армянин как мужчина – это еврей со знаком качества, понял? Ну какое же качество, если я не знаю, как устроены французские женщины? Да мне просто профессионально необходимо знать, правда ли, что во Франции женщины не такие, как наши табуретки, ну?» Я упорно молчал. «Хорошо, – сказал он (по мере того, как волнение его нарастало, в его голосе все явственнее проступал кавказский акцент), – никому не веришь, да? Партии родной не веришь, мне как мужчине не веришь. Хорошо, смотри, раз ты такой недоверчивый». С этими словами он протянул руку к телефонной трубке и снял ее с рычагов. «Видишь, я снял трубку с телефона, – в таком положении она уже ничего не записывает. Сознавайся!» Я так испугался, что замолк, кажется, навеки.

Поняв, что толку от меня не добиться, он снова одел пиджак, повязал галстук, и, глядя мимо меня куда-то в пространство, называя меня почему-то в третьем лице и явно подражая интонациям великого вождя, произнес: «Неоткровенен Городницкий перед партией, скрывает факты. Уходи. Ничего я тебе не подпишу!» Расстроенный, вышел я из партбюро и побрел по коридору. В конце коридора он неожиданно догнал меня, нагнулся к моему уху и прошептал: «Молодец, я бы тоже не сознался!» И подписал характеристику.

История со злополучной песней на этом, однако, не закончилась. Мой приятель Юрий Карякин, в 1973 году побывав

во Вьетнаме, услышал, как там ее поют наши подвыпившие монтажники. Песню, как оказалось, быстро перевели на английский. В 1974 году в Новой Зеландии, в Веллингтоне, к нам на борт сел новозеландский ученый профессор Киблуайт (его тут же прозвали на судне «Белый Кибель»). На первом же дружеском застолье он спел эту песню по-английски и очень удивился, что я автор.

Одноклассник и приятель Игоря Белоусова профессор физики Владимир Семенович Фридкин написал целый рассказ «Новые подробности о жене французского посла», к которому мы вернемся несколько позднее. Другой наш общий приятель, известный писатель и врач, к сожалению, несколько лет назад ушедший из жизни, Юлий Крелин, в свое время опубликовал в литературном еженедельнике «Алфавит» целую статью, где подробно обсуждается, как следует правильно петь: «Как нага высокая нога» или «Как нога высокая нага».

В 1999 году мои коллеги в лаборатории принесли мне показать переводную американскую книжонку из числа многих продающихся сейчас на лотках в метро детективных и эротических повестей типа Эрики Янг. Автора я так и не запомнил. На протяжении всего повествования подробно живописуются любовные утехи героя и героини, которые в короткие промежутки отдыха ходят в гости. И вот в гостях ее бойфренд (его зовут Стив) неожиданно ее удивляет. Он садится к фортепиано и начинает играть и петь какую-то песню на неизвестном языке. На недоуменные вопросы он отвечает примерно следующее: «У меня был друг – русский летчик. Его сбили во Вьетнаме, и с тех пор он остался жить в свободном мире и много ездил по всему свету. В этой песне, которую он сам придумал, описана история его бурного романа с женой французского посла в Сенегале. У них был с ней такой секс, после которого все женщины стали ему безразличны». Так, спустя много лет, через американскую бульварную литературу, ко мне неожиданно вернулась моя старая песня.

Одноклассник Натана Эйдельмана, упомянутый выше Владимир Фридкин, будучи при этом весьма одаренным литератором, так же, как и его прославленный однокашник, много лет занимался Пушкиным и даже написал книжки «Ненайденный дневник Пушкина», «Дорога на Черную речку», «Из зарубежной пушкинианы». В отличие от Натана он был «выездным» и много раз выезжал с лекциями в разные европейские страны. Однажды он должен был в очередной раз поехать в Италию в Рим, и Тоник попросил его снять на видео комнаты в особняке, принадлежавшем прежде подруге Пушкина

Зинаиде Волконской. Оказалось, что в этом особняке сейчас располагается английское посольство и нужно специальное разрешение для съемки. Выяснилось, что жена у посла – русская, и Володя получил не только разрешение на съемку, но и приглашение на ужин. Ужинали втроем: английский посол с супругой и Володя. Посол, высокий и белокурый мужчина, настоящий лорд, по-русски не понимал, поэтому беседу поддерживала его жена. Из беседы выяснилось, что в Италии они недавно, а перед этим много лет жили в Сенегале, где ее супруг также возглавлял британскую дипломатическую миссию. «Что вы говорите! – воскликнул Фридкин, – а у меня есть приятель, который написал песню о Сенегале!» «Ну-ка, спойте», – попросила жена посла. И Володя Фридкин, который поет еще хуже меня, прямо за посольским столом спел им эту песню (видимо, они ему там не только чай наливали). Жена посла перевела своему супругу песню на английский, и величественный и молчаливый до этого английский лорд начал вдруг что-то быстро и взволнованно говорить своей жене. «Мой муж очень интересуется, – перевела она, – в каком году ваш приятель был в Сенегале». Услышав ответ, она сказала: «Ну, конечно, это, видимо, Женевьева Легран. Правда, ей тогда было уже за сорок, но она была еще очень хороша». Этот рассказ Володя Фридкин опубликовал в 99-м году в своей книге «Дорога на Черную речку» под названием «Жена английского посла».

Песня эта тоже послужила предметом многочисленных пародий. Первая из них, написанная на мотив другой моей песни «Атлантида», появилась в том же рейсе и принадлежит «безымянному автору» (подозреваю Клару):

Атлантических волн паутина,
И страницы несчитаных лент.
Кто мне скажет, что я не мужчина,
Кто мне скажет, что я импотент?
Протянув умоляюще руки,
Отдавались мне тут же без слов
Бабы с судна, и бабы с науки,
И жена одного из послов.

Известный московский автор Владимир Туриянский также прошелся по мне пародией:

В баобабах мало древесины,
Много дыма, минимум тепла.
Мне милей родимые осины,

Чем жена французского посла.

Где-то в конце 80-х мне довелось возвращаться с лыж из Подмосковья на электричке, набитой студентами-лыжниками, бодро распевавшими разные песни. Спели они в числе прочих и «Жену французского посла», но в довольно странной редакции. То ли они рифму мою не поняли, то ли молодежь у нас пошла такая, но последний куплет песни они поют так:

Дорогие братья и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Все мне сон один и тот же снится,
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье,
Все сжигает он меня дотла.
В нем постель распахнутая, Настя,
И жена французского посла.

В 2005 году на моем авторском вечере в театре «Школа современной пьесы» на Трубной площади в Москве, в конце первого отделения на сцену неожиданно поднялся чернокожий красавец, держа в руках огромный тамтам, и на хорошем русском языке произнес: «По поручению Его Превосходительства, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сенегал в России я имею честь вручить господину Городницкому этот тамтам в знак уважения за то, что в России впервые за всю ее историю была написана песню о Сенегале».

Что же касается Игоря Белоусова, то, несмотря на внешнюю мягкость характера и доброжелательность, порой он бывал непреклонен. Помню, в самом конце рейса, уже по пути домой, мы зашли в Гибралтар, бывший в то время портом беспошлинной торговли, где все участники рейса обычно «отоваривали» свою убогую валюту, выдаваемую формально для «культурного отдыха на берегу». Надо сказать, что нигде мне не было так стыдно за свою великую державу, как в жалких третьесортных лавчонках Гибралтара и Лас-Пальмаса, Сингапура и Токио, где пронырливые торговцы, по большей части индусы или поляки, ловко ориентируясь на советский спрос, держат специальные «русские» магазины, в которых по более дешевым ценам продают самую разнообразную третьесортицу – от джинсов из подгнившей ткани, зонтиков и презервативов до магнитофонов и видеосистем, через месяц или раньше выходящих из строя. Моряков и рыбаков наших это, однако, нисколько не волнует, так как все барахло

приобретается здесь для немедленной перепродажи дома.

До сих пор помню чувство жгучего стыда, испытанного мною в 1968 году в Париже в каком-то «польском» магазине, куда нас привел гид и где «золотые чемпионки» Олимпийских игр на глазах у откровенно потешавшихся над нами продавцов жадно вырывали друг у друга из рук какие-то нейлоновые шубы и более интимные предметы женского туалета. А похмельные оравы матерящихся рыбаков с продубленными соленым ветром лицами и алчными глазами, торопливо волокущие к причалу огромные узлы и свертки с коврами и пальто-болоньями! Игорь в такие лавочки, как правило, не ходил, несмотря на откровенное неудовольствие его жены, и приобретал в основном памятные раритеты – маски, раковины и другую местную экзотику.

На этот раз мы собрались с ним на экскурсию в знаменитую карстовую пещеру Святого Михаила в Гибралтарской скале, где во время Второй мировой войны размещался британский госпиталь, а затем, ввиду уникальной внутренней акустики, устроен всемирно известный филармонический зал. Игорь зашел за мной, и мы совсем уже было собрались идти, как вдруг ему на глаза попался листочек с первой строфой песни «Донской монастырь». Я начал набрасывать ее накануне, но конец все никак не получался. Игорь взял листок со стола и прочел вслух:

А в Донском монастыре зимнее убранство.
Спит в Донском монастыре русское дворянство.

«А где продолжение?» – спросил Игорь. «Да вот, вечером попробую что-нибудь придумать», – ответил я. «Зачем же вечером, лучше прямо сейчас», – с улыбкой заявил Игорь и с неожиданной для его грузного тела быстротой выскочил из каюты. Не успел я опомниться, как в замочной скважине щелкнул ключ, запирающий дверь снаружи. «Ты что, с ума сошел? – возмутился я. – Время увольнения пропадает!» – «А ты его зря и не трать! Садись и быстренько пиши. Как докончишь, сразу звонишь мне, и мы немедленно идем на берег». Ни брань, ни увещевания мои на него никакого действия не оказали. В увольнение, однако, хотелось, и я скрепя сердце сел за стол. Не знаю уж как по части художественного уровня, но, во всяком случае, формально, примерно через полчаса, песня была дописана, и Игорь, ознакомившись с текстом, милостиво взял меня на берег.

Во время этого захода в Гибралтар руководитель наших гравиметристов Владимир Александрович Тулин, в те поры еще изрядно выпивавший, за немалые деньги купил в какой-то лавке древностей большой старинный и тяжелый двуручный рыцарский

меч (как его уверил продавец – меч Дон Кихота). Довольный и раскрасневшийся, он приволок его на судно, но Игорь тут же сильно охладил его восторги по поводу этой замечательной покупки, напомнив счастливому владельцу «меча Дон Кихота», что ввоз холодного оружия в нашу страну таможенными властями категорически запрещен. «Да ты что, это же музейная вещь», – слабо сопротивлялся Тулин. «Ничего себе музейная, – смеялся Белоусов, – по башке стукнешь – и все. Холодное оружие это, вот что».

На бедного Тулина было жалко смотреть. Вернуть меч обратно он, конечно, не мог. Поэтому, когда «Дмитрий Менделеев» подходил к родному Калининграду, он попытался спрятать его под диван в своей каюте. «Ну уж это последнее дело, – донимал его Игорь. – Первое, что делает любой таможенник, войдя в каюту, – он немедленно заглядывает под диван». (Это, кстати, общеизвестная истина. Аналогичная история несколько лет спустя произошла с Булатом Окуджавой, но уже в поезде). Затравленный Тулин, цепляясь огромным мечом за комингсы и узкие ступеньки крутых трапов, потащил его прятать в свою гравиметрическую лабораторию, в один из длинных аппаратурных ящиков. «Молодец, это ты талантливо придумал, – похвалил его Игорь. – Это же намеренное укрытие контрабанды. Минимум пять лет без взаимности!» Убитый Тулин, гремя ржавым куском железа на все судно, обреченно поволок его обратно в каюту. Нет необходимости упоминать, что таможенники, озабоченные «товарными вещами», порнографией и «антисоветской» литературой, на злосчастный меч даже и не взглянули…

Третий рейс «Дмитрия Менделеева» и дружба с Игорем Белоусовым определили перемену в моей дальнейшей жизни. Втянувшись мало-помалу в строгий уклад корабельной жизни с ее четко расписанным временным режимом, непререкаемой иерархией, столь отличной от суши, полным отсутствием бытовых проблем, постоянным знанием того, где находишься и куда плывешь (недаром каждое утро вахтенный штурман объявлял по судовой трансляции координаты судна и погоду, как ни странно, это очень успокаивает нервы), я полюбил ее и начал болезненно переживать долгие перерывы между плаваниями с неустройством и неопределенностью сухопутной жизни с ее неожиданными невзгодами, которым в отличие от морских всегда приходится противостоять в одиночку.

Более всего я не любил (и до сих пор не люблю) неприглядный вид корабельных помещений на другой день после долгожданного возвращения в родной порт, – покинутые

замусоренные каюты, торопливо убегающие на берег люди, безвозвратное разрушение еще совсем недавно спаянного общей жизнью недолгого братства. Каждый раз при этом ощутимо кончался какой-то кусочек жизни, уже неповторимый. Зато каким знакомым праздником казалось начало любого рейса, сулившего каждый раз новые открытия в окружающем мире и в себе самом. Проплавав сорок лет в океане, я не помню ни одного неудачного рейса. Как мудро сказал известный морской геолог академик Александр Петрович Лисицын: «Каждая экспедиция обречена на успех».

Бросался в глаза первые дни после возвращения в Калининград или Владивосток и разительный контраст родной страны с заграницей, нищий и дикий уклад нашей жизни с пустыми магазинами, лживыми лозунгами, полуголодным и озлобленным населением. Правда, через некоторое время, привыкнув, перестаешь это замечать. Помню, в учебнике химии написано, кажется, про сероводород, что, если ты перестаешь ощущать его запах, значит, ты уже отравлен. То же всякий раз происходило и с нами. И все-таки интересно, образовали бы декабристы тайные общества, если бы не попали перед этим вместе с армией в Европу и не увидели, что можно жить иначе?

Вернемся, однако, к Игорю Белоусову. Именно он подкинул мне идею перебраться на работу в Москву, в Институт Океанологии им. П. П. Ширшова, тем более что для переезда в Москву к тому времени у меня были и весьма серьезные личные причины. Игорь в ту пору был секретарем парткома института, фигурой в административной иерархии весьма значительной, и без особого труда договорился с директором института Андреем Сергеевичем Мониным. Справедливости ради следует отметить, что согласие Монина на мой перевод в Институт Океанологии было связано вовсе не с моими научными заслугами, а прежде всего с песенной популярностью, так как сам Монин любил и прекрасно знал поэзию, очень неплохо рисовал.

После «менделеевского» рейса случались, однако, события и менее радостные. Осенью 71-го года у меня на работе в Ленинграде раздался телефонный звонок. «С вами говорит сотрудник Комитета государственной безопасности Сергеев, – сказал голос в трубке. – Прошу вас зайти в удобное для вас время в районный отдел, в комнату номер пять, для беседы». Радости от этого звонка, будучи достойным сыном своей страны, я не испытал никакой и в назначенное время явился в пыльную комнату в бесконечных коридорах Октябрьского райисполкома на углу Садовой и Майорова, где двое неприметной наружности людей в штатском со скучающим видом играли в шахматы. Один

из них, по-видимому, Сергеев, уединился со мной в одной из комнат и, явно получая удовлетворение от моего плохо скрытого волнения, начал длинную серию многочисленных опросов, обнаруживая довольно большие познания в моей скромной биографии. Понять, что ему нужно, было совершенно невозможно. Потом он, как бы вскользь, спросил меня, что я думаю о своем коллеге по институту Никите Стожарове, с которым в предыдущем рейсе мы жили в одной каюте и у которого были какие-то трудности при оформлении визы из-за тетки в Финляндии. Минут через тридцать он очень вежливо попрощался и отпустил меня. Я наивно обрадовался, что на этом все и кончилось.

Однако примерно через неделю тот же Сергеев (если это была его действительная фамилия) позвонил и снова предложил встретиться. «У нас в помещении неудобно, – сказал он, – давайте встретимся неподалеку, на Садовой, у ворот Юсуповского сада». В условленное время у ворот вместе с Сергеевым меня ждал еще один человек, назвавшийся Владимиром Николаевичем. Вопросы, заданные мне на этот раз, касались уже моих литературных дел, где я печатаюсь, не жалуюсь ли, что меня притесняют и не принимают в Союз писателей. «Имейте в виду, мы можем вам оказать весьма эффективную помощь, – сказал Владимир Николаевич, – нам нужны талантливые литераторы. Вы ведь небось считаете, что мы люди неначитанные. Так вот, смею вас уверить, что у нас в Комитете такая библиотека современной литературы, которой может позавидовать даже Публичка. И все ваши книги современных поэтов и прозаиков у нас тоже есть, и читаем мы их довольно внимательно».

После этого он неожиданно спросил, знаком ли я с поэтом Николаем Брауном. Я не сразу понял вопрос и вспомнил, что года два назад звонил Николаю Леопольдовичу Брауну по его домашнему телефону. Он тогда взялся рецензировать для издательства «Советский писатель» рукопись моей книжки стихов и действительно дал весьма положительную рецензию, хотя знакомы мы с ним почти не были. Моих собеседников, как выяснилось, интересовал не сам Николай Браун, а его сын, входивший, судя по их словам, в какой-то «антисоветский кружок». Закончив разговор о Брауне, Владимир Николаевич, который, очевидно, был главным чином, сказал, мельком глянув на меня: «Вы должны помочь нашим органам знать как можно больше о той среде литераторов и научных работников, в которой вы живете и работаете. Поэтому в условленное время и в условленных местах вы будете впредь рассказывать мне и другим нашим сотрудникам обо всех разговорах, свидетелем которых вы

окажетесь. Нас интересует конкретно – кто и что сказал, понятно?»

Ужас охватил меня. Я понял наконец – что меня попросту вербуют в стукачи. «Но почему же именно я? У меня много своей работы, я не могу», – робко промямлил я. «Партия учит нас опираться в получении информации только на достойных, заслуживающих доверия людей, – сурово отрезал Владимир Николаевич. – Вы что, себя таковым не считаете? Значит, у вас есть что скрывать? И потом, что значит „не могу“? Вы что же, отказываетесь помогать нашим славным органам в борьбе против шпионажа и идеологических диверсий?» «Да нет, что вы! – испугался я. – Если бы я узнал о каком-то шпионском замысле или диверсии, я сам бы немедленно пришел к вам, я счел бы своим гражданским долгом…» «Вот и считайте своим гражданским долгом и приходите к нам, – усмехнулся моим детским трепыханиям Владимир Николаевич. – И потом, почему обязательно надо сообщать о людях только плохое? Можно ведь и хорошее – нас интересует все!» «Нет, нет, я не могу, я не справлюсь», – трясущимися губами лепетал я. «Превосходно справитесь, – подхватил Сергеев. – Значит так, вот вам мой телефон, через пару дней позвоните. Если сами не позвоните, я вам позвоню». И не слушая больше моего трусливого отнекивания, они покинули меня.

Я остался сидеть на садовой скамейке. Вокруг меня с веселыми криками бегали дети. Неподалеку раздавались звуки оркестра. На солнечных вечерних дорожках ярко вспыхивали первые осенние кленовые листья. Я же сидел убитый. Жизнь кончилась. Не ранее, чем минут через двадцать я справился с внезапным сердцебиением и уныло поплелся домой. Несколько ночей подряд я не мог уснуть, а, забывшись беспокойной дремотой, просыпался от страшных видений. То мне снилось, что я стал осведомителем, а все вокруг смотрят на меня с презрением и показывают пальцем. То, наоборот, за мной приезжал «воронок», и три дюжих охранника волокли меня по каменному полу, ударяя лицом о ступеньки. Сергееву я звонить не стал. Примерно через неделю он позвонил сам и елейным голосом передал привет от Владимира Николаевича. Еще через два дня он позвонил снова и осведомился, не пора ли нам встретиться. «Нет, – дрожащим голосом сказал я ему, – если вы в чем-то обвиняете меня, то арестуйте, а так мы больше встречаться не будем». – «Ну что вы, Александр Моисеевич, – рассмеялся он в трубку. – За что же вас арестовывать? А вот если вы все-таки не хотите с нами встречаться больше, то пеняйте потом на себя».

Через неделю он звонил еще и спрашивал, что передать

Владимиру Николаевичу. Я снова отказался встретиться. «Дело ваше, – спокойно сказал Сергеев, – но мы с вами еще встретимся». На этом звонки прекратились, но я еще примерно полгода шарахался от телефонной трубки. Самое удивительное, что спустя несколько дней после нашей последней встречи из моей головы начисто выветрилась память о внешнем облике и Сергеева, и Владимира Николаевича: как они выглядели, во что были одеты. Хотя во время самой этой встречи мне казалось, что я их запомню навсегда. Обтекаемость их внешности, полное отсутствие каких-то особых примет, за что бы зацепиться глазу, по прошествии времени стали внушать мысль как бы о некоей нереальности этого события или принадлежности их к потустороннему миру. И еще одно – разговаривая со мной, они почти никогда не смотрели в глаза, всегда куда-то в сторону. Может быть, именно поэтому и лица их мне совершенно не запомнились. Память же об этой истории осталась как дурной сон на всю жизнь. Помню, когда я прочитал рассказ Фазиля Искандера, в котором от лица героя излагалось, как его вербовали в стукачи, меня поразило удивительное сходство с моей собственной историей. Видимо, стереотипы вербовки, рекомендованные в этом ведомстве, были примерно одинаковыми…

Визу в загранрейсы в 1971 году мне все-таки закрыли и снова открыли только после переезда в Москву, спустя три года. Формально причину лишения визы в отделе кадров объясняли недавним разводом. Приятель же мой, попавший как-то в компанию с подвыпившими гэбэшниками, «курировавшими» наш институт, на вопрос обо мне в ответ услышал: «За ним много чего есть».

Нельзя не вспомнить, кстати, что Игорь Белоусов в это время, еще до моего перехода в его институт, приложил поистине героические усилия, чтобы помочь мне получить отобранную визу и взять с собой в 6-й рейс «Дмитрия Менделеева» к берегам далекой Океании. С его подачи директор института Монин написал специальное письмо в выездную комиссию Ленинградского обкома партии, на которое высокая комиссия даже не сочла нужным ответить. Игорь, однако, на этом не успокоился и отправился к всемогущему Ивану Дмитриевичу Папанину, всемирно прославленному полярнику, дважды Герою Советского Союза, доктору географических наук и прочая, и прочая, и прочая, руководившему тогда Отделом морских экспедиционных исследований Академии Наук. Папанин был многолетним другом отца Игоря, известного полярного капитана Михаила Прокопьевича Белоусова, командовавшего в 30-е годы

ледоколом «Иосиф Сталин». Пробившись к Папанину на прием, Игорь подробно живописал все мои достоинства, рассказал историю с неудачей монинского письма и попросил Ивана Дмитриевича позвонить по «вертушке» в Ленинград и договориться с обкомом. Надо отдать должное Ивану Дмитриевичу Папанину. Несмотря на свою наигранную за многие годы простоватость и нарочитый «матросский матерок» (хотя в молодости на флоте он в основном не плавал, а работал в ЧК), человек он был в высшей степени умный и непростой, величайший политик и дипломат. За дела, заведомо безнадежные, не брался никогда. Поэтому, дав Игорю полностью выговориться, он широко улыбнулся, топорща маленькую щеточку седых усов над верхней губой, и заявил: «Игорь, я отца твоего любил и тебя люблю. Пошел на…» – «Да нет, вы не поняли», – продолжал горячиться Игорь. «Ты что, плохо меня слышишь? – удивился Иван Дмитриевич. – Так я тебе еще раз повторяю: я отца твоего – покойника, любил и тебя люблю. Пошел на…» И Игорь пошел, куда его послали, а «Дмитрий Менделеев» пошел в свой шестой рейс без меня.

Немало стараний приложил по возвращении в Москву Игорь и к тому, чтобы подружить меня со своей «бандой». С самого начала он чуть не испортил все дело, так как пытался с восторженными комментариями напевать своим язвительным друзьям Смилге и Крелину мои песни, не имея ни голоса, ни слуха. Как они сами признавались позднее, песни эти вызвали у них откровенное отвращение. Судьбе же было угодно, чтобы мы по-настоящему познакомились уже у Игорева гроба.

Игорь Михайлович Белоусов, моряк и ученый, фантазер и мечтатель, сибарит и добряк, любивший вкусную еду и шахматы, но более всего на свете – своих друзей, один из немногих на земле людей, умевший по-детски радоваться их успехам, в июне 72-го года умер от внезапного разрыва сердца. Скончался он в больнице у своего друга Юлия Крелина, у него на руках, в возрасте сорока двух лет, всего за две недели до начала организованной им полярной экспедиции в Северный Ледовитый океан на перегонных судах, куда мы все с ним вместе собирались.

Последнее время он усиленно занимался гимнастикой, бегал по утрам, стараясь сбросить вес. Помню, примерно за пару недель до смерти, когда я уже работал в его институте, он подошел ко мне и показал свою только что сделанную для обмена партийных билетов фотографию, заявив: «Смотри, какой должна быть партийная харя!» Мой приятель Леша Сузюмов, работавший с Игорем раньше, узнав, что он согласился стать секретарем парткома института, спросил у него: «Игорь Михайлович, зачем

вам это надо?» Игорь ответил: «Кто-то ведь должен защищать институт от этой райкомовской сволочи».

Игорь умер, как выяснилось, от врожденного фамильного заболевания – сужения аорты. Примерно в таком же возрасте и так же ушли из жизни его отец Михаил Прокопьевич и брат отца – подполковник.

Мы везли гроб с телом Игоря из Люблино, где в здании института, помещавшегося тогда в Дурасовском дворце, состоялась гражданская панихида, в крематорий Донского монастыря. Длинная вереница автомашин, возглавляемая «гаишной» машиной с сиреной и мигалкой, которую специально выделил Люблинский райком, тянулась по ухабистой дороге через Текстильщики. От тряски погребального автобуса крышка гроба все время съезжала, открывая ноги Игоря в огромных штиблетах на толстой микропористой подошве. Сидевшие вокруг гроба друзья не скрывали слез. Урну с прахом Игоря захоронили на Новодевичьем, в могиле отца. Его квартира в Доме полярника на Суворовском, ныне Никитском бульваре, еще недавно шумная и многолюдная, опустела. Вдове Игоря пришлось переезжать в другую, меньшую квартиру, а в эту вселился популярный писатель, автор легендарного Штирлица, Юлиан Семенов. Докторская диссертация Игоря, о которой было немало разговоров, так и осталась незащищенной.

Более десяти лет спустя, уже в 31-м рейсе все того же судна «Дмитрий Менделеев», мы открыли по данным геомагнитной съемки в Центральной котловине Индийского океана, между разломами Индира и Индрани, новый разлом. Я предложил назвать его разломом Игоря Белоусова и именно так и поименовал в своих статьях. Дальше, однако, дело не пошло. Высокие инстанции это предложение не поддержали: с какой стати? – не академик, не герой – простой кандидат наук. Так и не оставил Игорь своего имени на любимой им географической карте, о чем мечтал когда-то в юности. Остались только память в сердцах его пока живущих друзей, да еще, пожалуй, любимые им строчки из песни, написанной в том незабываемом рейсе и ему посвященной:

Пусть годы с головы дерут за прядью прядь
Пусть грустно оттого, что без толку влюбляться:
Не страшно потерять уменье удивлять —
Страшнее потерять уменье удивляться.

Песни нашего века

Песни нашего века
Припоминаю вдруг.
Старой гитары дека,
Сердце щемящий звук.
Громко рокочут струны
Времени вопреки.
В зале немного юных, —
Больше же – старики.

Песни нашего века
Мы не услышим впредь.
Скоро их будет некому
С нами уже запеть.
Многое это даст ли
В будущие века?
Звезды уже погасли,
Свет их идет пока.

С ними, не зная фальши,
Мы свою жизнь прошли.
Вот они чуть подальше,
Вот уж они вдали.
В будущем неуместны,
В небе они парят,
Словно ушли оркестры
И завершен парад.

Песни нашего века.
Гаснет закат в дыму.
Барды нашего века
Смолкли по одному.
Пусть молодые встанут
В их поредевший строй.
Выпавшую гитару
Пусть подберет другой.

«Авторская песня, самодеятельная песня. Поющие поэты, барды и менестрели» – какие только названия не находили для того странного на первый взгляд творческого направления, которое, возникнув в конце 50-х годов, на исходе короткой и

ненадежной хрущевской оттепели, начало набирать неожиданно силу в 60-е. Раньше в советском обществе все было просто и понятно: композитор писал музыку для песни, поэт придумывал на эту музыку стихи. Так создавалась песня, которая потом в исполнении профессионального певца (или певицы, или, что еще лучше, хора) звучала с эстрады, кино– или телеэкрана, по радио или с пластинки, а народ радостно эту песню подхватывал. При этом официальное песенное искусство, превратившееся к этому времени в могучую социалистическую индустрию, предусматривало для потребляющей массы довольно широкий ассортимент – от «В буднях великих строек» или «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин» до «Ясной ночкою весенней при луне» или «Мишка, Мишка, где твоя улыбка».

Партия и правительство всегда зорко следили, чтобы в голодной и бесправной стране все время звучали бодрые песни. Кропотливым трудом нескольких поколений большого отряда композиторов и поэтов был создан своего рода огромный цитатник на все случаи жизни. В стране, еще не дожившей до «развитого социализма», в песенной области уже настойчиво осуществлялся «коммунистический» принцип распределения – «каждому по потребностям». И все это – при обязательном преобладании в музыкальной и словесной доминанте маршевого ритма. Вся страна должна была неуклонно маршировать, как единая колонна. «Шаг влево и шаг вправо» расценивались как попытка к бегству. Помню, в конце 70-х худсовет ленинградского телевидения «зарубил» мою песню «Наводнение», написанную для телефильма. Основанием для запрета послужила каноническая резолюция: «Вызывает неконтролируемые ассоциации». Понятно? Любые, порой самые, казалось бы, невинные отступления от этого вызывали немедленную грозную реакцию. Так еще с начала 30-х годов были объявлены «буржуазно-мещанскими» и практически запрещены лирические песни Оскара Строка в исполнении Лещенко, по которым сейчас вспоминают эту эпоху; в 40–50-е осуждению подвергся Марк Бернес – за «излишне» задушевную интонацию.

В середине 60-х официальное «песенное пространство» было занято, с одной стороны, псевдонародной «русской песней», наиболее ярко представленной любимицей Политбюро Людмилой Зыкиной, с другой – «советской лирической песней», где успешно подвизался обаятельный Иосиф Кобзон. Настоящее предприятие организовали Александра Пахмутова со своими соавторами Гребенниковым и Добронравовым, буквально оккупировав всю конъюнктурную тематику – от целины до космоса. И вдруг весь этот гигантский государственный, отлаженный десятилетиями

песенный конвейер, где все роли были четко расписаны и закреплены, начал давать сбои, а потом и вовсе затормозился где-то к середине 60-х.

Вместо предусмотренных Музгизом, худсоветами и Главлитом песен, тиражирование которых не только не сократилось, но даже возросло, на тесных московских и ленинградских кухнях блочных «хрущевских» домов, у дымных костров геологических экспедиций и в только что возникших тогда студенческих строительных отрядах «технари», студенты, рабочие, интеллигенция стали распевать какие-то странные песни под гитару: «Неистов и упрям, гори, огонь, гори», «Из окон корочкой несет поджаристой», а альпинисты – «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой». При этом все смешалось – запели вчерашние слушатели, не обращая внимания на свои вокальные данные. И совсем не то, что пели вчера. Так неожиданно песня стала средством общения людей. Исчезло «цеховое» разделение. Авторами новых песен неожиданно стали литераторы, геологи, актеры, учителя. Например, выпускники МГПИ им. Ленина Юрий Визбор, Ада Якушева, Юлий Ким, литератор Булат Окуджава, драматург и киносценарист Александр Галич, актер Владимир Высоцкий, поэтесса Новелла Матвеева и другие. Так, в противовес официозному песенному искусству, возникло второе песенное направление, основанное на несложном гитарном сопровождении. Главным в авторской песне была не музыка, которая, как правило, достаточно проста, а стихи.

Само слово «авторская песня», кажется, придумал Владимир Высоцкий, чтобы подчеркнуть, что в этой песне все делает один и тот же человек: сам придумывает стихи и мелодию, сам поет. В 1963 году Алла Гербер опубликовала в «Юности» статью, в которой авторы этих песен назывались «бардами и менестрелями», и слово «барды» осталось, хотя оно и не очень точно. Что же касается официальной прессы, и прежде всего комсомольской печати, которая приняла новое направление в штыки, то она сразу же присвоила этой песне снисходительное название «самодеятельная», решительно отказав этим унижающим термином авторам в какой бы то ни было профессиональности. Как будто можно назвать Булата Окуджаву или Новеллу Матвееву «самодеятельными поэтами», а Владимира Высоцкого или Юлия Кима «самодеятельными исполнителями».

Основоположником авторской песни обычно считают Булата Окуджаву, и для 60-х годов это, пожалуй, верно. Но если мы заглянем подальше, в нашу раннюю историю и даже в античные времена, то немедленно убедимся, что авторская песня существовала всегда. Задолго до появления печатных станков и

даже письменности. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. Возможно, самым древним автором, упомянутым в литературе, а значит и первым основоположником авторской песни, был библейский царь Давид. При этом изустное творчество неизменно было связано со струнным инструментом – арфа, гусли, саз, гитара. Музыкальное сопровождение древних авторов было, видимо, несложным. Нехитрое струнное звучание не претендовало на оригинальную мелодию, а скорее создавало музыкальный фон для повествования, силовое поле, заставляющее слушателей быть внимательными.

Что касается нашей отечественной истории, то одним из прародителей авторской песни можно считать легендарного Баяна или не менее легендарного Садко. Вот уж этот-то, по-видимому, был и впрямь самодеятельным автором, так как по основной своей профессии работал в системе Внешторга Древнего Новгорода, а песни сочинял явно «идейно невыдержанные», что и привело, если верить былинам, однажды к тому, что реакционная боярская администрация вытолкала его с пира взашей.

В последнее время появилось немало работ, авторы которых связывают литературные истоки авторской песни с русским романсом, с именами Михаила Кузмина, Александра Вертинского, Аполлона Григорьева, Дениса Давыдова и других русских поэтов. В воспоминаниях знаменитой подруги Пушкина Анны Петровны Керн есть фраза: «Пушкин, прогуливаясь со мной по окрестностям Тригорского, напевал мне свои стихи на собственные мелодии своим сильным и звучным голосом».

Если все это так, если авторская песня возникла еще в ранней истории человечества, возможно, еще до существования письменности, как же получилось, что она вновь появилась в нашей стране в середине XX века? Ну, Средние века – это понятно: из-за низкого уровня письменности, отсутствия радио, телевидения, печати, единственной формой песенного общения было изустное. Но теперь-то все это есть! В том то и дело, что в 60-е и 70-е годы, которые теперь называют «Эпохой застоя», все эти могучие средства, находящиеся под строгим контролем государства и партийной бюрократии, для настоящего искусства оказались наглухо закрыты. И народ, со свойственной ему изобретательностью, снова вернулся к средневековым формам общения. Правда, не совсем. С появлением и развитием магнитофонной техники в нашей стране наряду с «самиздатом» появился «магнитофониздат». Так что сам факт появления авторской песни в затхлые брежневские времена, после того как «наш дорогой Никита Сергеевич» успел напоследок изрядно погромить изобразительное искусство и печатную поэзию, уже

был крамольным. Он свидетельствовал о большом непорядке в «датском королевстве». И это было сразу же правильно понято ревнивыми хранителями идейной чистоты нашего искусства, исходившими из принципа, метко сформулированного в одной из сатирических песен Юлия Кима:

А как у нас по курсу искусства?
Рады стараться, Боже, ЦК храни!

Действительно, с самого момента своего появления авторская песня постоянно запрещалась и многократно предавалась анафеме с высоких трибун и в печати. Следует отметить, однако, что и в наше время жанр этот возник не на пустом месте, а во многом унаследовал традиции романса, как классического, так и городского. Уже упоминалось, что предтечей авторской песни в кино стал Марк Бернес, а на эстраде – Оскар Строк, Вадим Козин и Петр Лещенко.

Что же касается конца 50-х, то важным событием для Москвы, послужившим стимулом для появления авторской песни в СССР, явился приезд в 1956 году знаменитого французского киноактера и шансонье Ива Монтана. Исполнявшиеся им песни сразу же буквально облетели всю страну и вызвали массу подражаний. Булат Окуджава не раз говорил, что именно приезд Монтана в Москву побудил его взяться за гитару.

И все-таки главную роль в возникновении авторской песни в наши дни сыграла знаменитая российская песенная ментальность. Помню, еще в годы войны я видел фильм «Военная тайна», посвященный изобретению знаменитой «Катюши». Там старый и опытный немецкий разведчик, наставляя молодого шпиона, которого должны под видом русского закинуть в наш тыл, говорит ему: «Русские – натура хитрая и ленивая, – любят пить и петь». Не знаю, как по части питья, но уж пение на Руси всегда было в моде. Рассказывают, что кто-то из друзей Сергея Есенина, возможно Анатолий Мариенгоф, как-то сказал ему за столом: «Сережа, зачем ты песни пишешь? Пиши лучше стихи. Стихи у тебя замечательные, а песни – пошлые». На что Есенин, поставив на стол стакан с недопитой водкой, заявил: «В России, чтобы тебя знали, надо песни писать. А то так Пастернаком и помрешь».

Возникновение в 60-е годы нового песенного жанра на границе литературы и музыки, начало эпохи авторской песни, как правило, связывают прежде всего с именем Булата Окуджавы, наиболее значительного поэта из авторов «первого поколения». Его творчество произвело подлинную революцию в песне и

стихах, уничтожив «железный занавес» между ними, что не раз приводило в ярость ревнителей «чистой поэзии» и «чистой песни». Дело, однако, не только в этом. А еще и в том, что его песни привили молодежи, и не только молодежи, новый (или утраченный задолго до нас старый) тип самосознания – любовь и уважение к личности.

Не менее важным событием в 60-е явилось рождение такого крупного мастера авторской песни, как Александр Галич. В отличие от лирических песенных монологов Булата Окуджавы песни Александра Галича, почти всегда персонифицированные, имели острый драматургический театральный сюжет. Сочный язык улиц противостоял в них с издевательски подчеркнутой канцелярской, безжизненной речью тупой аппаратной олигархии. Именно поэтому многие считают Галича предтечей Владимира Высоцкого. Наконец, горькие, патетические, высокие в своем трагизме песни: «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Уходят друзья», «Памяти Пастернака», «Облака». Именно это «второе искусство» сделало Александра Галича уникальным, неповторимым поэтом и как результат этого привело к необратимому крушению его житейского благополучия, исключению из Союза советских писателей, изгнанию из страны и трагической смерти на чужбине в 1977 году. Только после перестройки песни его, долгие годы уничтожавшиеся как крамольные, вернулись на родину, но вернулись, увы, с большим запозданием.

Несколько позднее, примерно с середины 60-х, в «интеллигентскую» авторскую песню бурно ворвался хриплый и громкий голос Владимира Высоцкого. На первых порах нарочито надрывная манера его исполнения, «блатная» тематика ранних песен, полуцыганская нарочитая аффектация и примитивные мелодии создавали впечатление чего-то вторичного, узнаваемого. Но стихи… Я помню, как поразили меня неожиданно своей удивительной поэтической точностью строки одной из его «блатных» песен: «Казалось мне, кругом – сплошная ночь, тем более что так оно и было».

Когда думаешь о характерных особенностях того странного жанра, от которого много лет весьма старательно и успешно отпихивались как поэты, так и композиторы «в законе», и который получил не слишком точное название «авторской песни» (как будто бывают песни без авторов), и вспоминаешь о наследии безвременно ушедших из жизни ведущих его художников – Окуджавы, Галича и, конечно, Высоцкого, можно попытаться сформулировать, в чем же неповторимая индивидуальность каждого из них, столь непохожих один на другого. Мне

представляется, что она, прежде всего, в личности автора, в его особенной интонации, подделать которую невозможно.

Высоцкий был истинно народным поэтом, свободно, как воздухом, дышавшим всем многообразием безграничных богатств российской словесности – от сказочного фольклора и высокого штиля до мусорного и сочного языка улицы. В его песенных стихах нет ни одной натужной искусственной строки. Все поется, как говорится, – легко и естественно, сложнейшие диалоги персонажей с их яркой сленговой речью, изысканные дактилические и четырехсложные рифмы, свидетельствующие о высоком поэтическом мастерстве автора:

Я сказал, – я вот он весь,
Ты же меня спас в порту,
Но, говорю, загвоздка есть,
Русский я по паспорту…

или:

Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я,
А из эвакуации
Толпой валили штатские.

Или:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались привередливые —
И дожить не успел, мне допеть не успеть.

Становление поэта происходило стремительно, как будто он догадывался о своем раннем уходе. В коротких песенных текстах (а песня длинной быть не может) он с мастерством истинного художника ухитрялся отобразить целую эпоху: от трагичных и героических лет войны («Штрафные батальоны», «Звезды», «В госпитале») до современных ему дней («История болезни», «Мишка Шифман», «Разговор у телевизора»).

Впервые я встретился с Владимиром Высоцким в январе 1965 года за сценой Центрального лектория в Политехническом музее в Москве, где мы вместе выступали в каком-то альманахе. Когда я подошел к нему, он, как мне показалось, хмуро взглянул

на меня и неожиданно спросил: «Вы что, еврей, что ли?» – «Да, ну и что?» – ощетинился я, неприятно пораженный таким приемом. Тут он вдруг улыбнулся и, протянув мне руку, произнес: «Очень приятно, я имею прямое отношение к этой нации».

Несколько лет назад мне позвонили из культурного центра-музея Высоцкого на Таганке: «Мы отыскали магнитофонную запись вашей встречи с Владимиром Семеновичем в 1965 году в Ленинграде на квартире у Евгения Клячкина. К сожалению, на записи есть только песни, а от разговора только обрывки. Не можете ли вы вспомнить, о чем с ним беседовали?» Действительно, в те далекие времена, в век громоздких и старых катушечных магнитофонов системы «Яуза», магнитофонная пленка была большим дефицитом. Ее бережно экономили и включали магнитофон в застольях и компаниях только на песни, а когда начинался «треп», выключали. Нельзя не вспомнить в связи с этим, что в те поры в Москве, попав в дом к одному из известнейших тогда собирателей авторских песен («магнитофонщику»), я обратил внимание, что пленку он не экономит. Магнитофон у него не выключался весь вечер и записывал не только песни, но и все застольные разговоры. Это послужило поводом к подозрению, что хозяин дома стукач и работает на КГБ. Оказалось – правда. «Да нет, не помню, конечно, – столько лет прошло», – ответил я. «Как же так, вы с самим Высоцким разговаривали и не помните о чем?»

Кое-что на самом деле запомнилось. Весной 65-го года, несмотря на яростное сопротивление ленинградского обкома партии и его тогдашнего босса Василия Сергеевича Толстикова, Театр на Таганке приехал на гастроли в Ленинград. Спектакли игрались на сцене Дома культуры им. Первой пятилетки на углу улицы Декабристов и Крюкова канала. Привезли они свои уже знаменитые постановки «Добрый человек из Сезуана», «Живые и павшие» и премьеру «Жизнь Галилея», где главную роль играл Высоцкий. Мне его исполнение не понравилось. Я представлял себе Галилея маститым средневековым ученым с благородной сединой, величественным европейским обликом и неторопливыми движениями, а увидел на сцене совершенно непохожего курносого молодого парня, не очень даже загримированного, который хриплым полублатным голосом «прихватывал» инквизиторов.

Обо всем этом я и заявил беззастенчиво Володе, с которым встретился на следующий день в доме у Жени Клячкина. Значительно позднее я понял, что актер Высоцкий тем-то и отличался от большинства других актеров, что черты своей неповторимой личности вкладывал в сценические образы.

Поэтому-то Галилей-Высоцкий, Гамлет-Высоцкий и Жеглов-Высоцкий это – Высоцкий-Галилей, Высоцкий-Гамлет и Высоцкий-Жеглов. Но уже тогда я это подсознательно почувствовал, поскольку через несколько дней написал две песни, посвященные Высоцкому в роли Галилея, – «Галилей» и «Антигалилей».

…Ах, поэты и мудрецы,
Мы моральный несем убыток
В час, когда святые отцы
Волокут нас к станкам для пыток.
Отрекись глупцам вопреки, —
Кто из умных тебя осудит?
Отрекись, Галилей, отрекись,
Нам от этого легче будет.

Разговор за столом коснулся также и блатного уклона песен Высоцкого в то время («Рецидивист», «Я был душой дурного общества», «Уголовный кодекс» и других). Я разделял (и сейчас разделяю) позицию почитаемого мною Шаламова, что вся так называемая романтика блатного мира – вещь дутая и фальшивая, что блатари на самом деле – нелюди, и попенял Володе, что он во всю силу своего таланта умножает романтику блатарей своими песнями. Он, смеясь, вяло отшучивался. Это было время, когда люди, набившие оскомину на приторно сладкой лживой лирике советских песенников, охотно распевали блатные и полублатные песни, в которых им слышался хоть какой-нибудь воздух свободы, пусть и воровской. «Интеллигенция поет блатные песни», – сказал об этой поре один из поэтов. Время показало, однако, что Высоцкий был прав, интуитивно, сразу же найдя верный тон и имидж для своих ранних песен в стране, где несколько миллионов прошли лагеря, а гимном народа стала его знаменитая «Банька».

Блатные аксессуары разговора, блатная надрывная канва его первых песен сразу сделали их автора народным героем, хулиганом, бунтарем. Если хулиган Маяковского, покрасовавшись перед девушкой, довольно быстро стал правофланговым запевалой, ассенизатором и водовозом властей, то Высоцкий остался независимым до самой смерти, не соблазнившись ни на «ласку» первых лиц страны, ни на «сладкую» зарубежную жизнь с Мариной Влади.

Как поэт он фактически создал новый язык, смело введя в литературу все многообразие диалектов и сленгов улицы и подворотен. Ввел просто и грубо, не сюсюкая, как некоторые псевдоноваторы над каждым словечком, а естественно

разговаривая на нем о сложнейших вещах. Неслучайно поэтому его сразу же записали «в свои» и окопные фронтовики, и лагерные зэки, что столько легенд возникло вокруг его имени и биографии. Голос и облик Владимира Высоцкого вошли в плоть и кровь народа, стали его неотъемлемой частью раз и навсегда.

Обращает при этом внимание, что в галерее песенных персонажей Высоцкого главную роль играют вовсе не воры и бандиты как таковые, а скорее герои, бесстрашно принимающие бой и выигрывающие в сложных обстоятельствах. Здесь и летчики, и пехотинцы, и альпинисты, и подводники, и спортсмены, и золотоискатели, и даже милиционеры (знаменитый Жеглов). И все это – точное психологическое воплощение русского народного сознания.

Помню, на той же встрече у Жени мы договорились снова встретиться назавтра, чтобы посидеть и попеть друг другу новые песни (в театре в тот день был выходной), однако минут через пятнадцать Володе позвонила какая-то «Нинка», и он назначил ей свидание на то же самое время. «Ребята, извините, – смущенно пояснил он нам, – никак не могу такой случай упустить». И, махнув рукой, сокрушенно добавил: «Ну и дела же с этой Нинкою!»

В ту пору мне пришлось выступать вместе с Володей в Ленинграде в помещении какого-то Дома пионеров. Я выступал в первом отделении, Высоцкий – во втором. Зал был переполнен. В конце вечера Володю много раз вызывали петь на бис. Он несколько раз вышел, но зал не успокаивался. Минут пять упорно и ритмично хлопали, топали ногами. Мы стояли за занавесом у края сцены. Зал продолжал шуметь. «Ну, выйди, спой», – сказал я Володе. Он неожиданно круто обернулся ко мне, и меня испугало его лицо, вдруг осунувшееся, постаревшее, с желтой кожей и запавшими глазами. «Ну, ладно, эти не понимают, – яростно прохрипел он мне, – но ты-то свой, ты должен понять. Да я сдохну, если еще одну спою!» Как же выкладывался он уже тогда, сжигая свои силы без остатка!

Осенью 68-го года, во время служебной командировки в Москву, я позвонил ему домой. «Хорошо, что дозвонился, – обрадовался он. – У нас как раз сегодня премьера в театре – «Десять дней, которые потрясли мир». Билет, правда, я тебе дать не могу, потому что все билеты отдали для делегатов XXI съезда, но это неважно, я тебя все равно проведу. Значит, слушай. Мы стоим, одетые матросами, с винтовками, как перед Смольным, у входа в театр – вместо контролеров, и все входящие накалывают свои билеты нам на штыки. Понял? Возьми любую бумажку и наколи мне на штык. Я стою у самых левых дверей. Только не

перепутай, – там у нас сегодня все стоят мордатые». Когда я накалывал пустую бумажку на штык его «трехлинейки», он подмигнул мне и шепнул: «После спектакля не убегай – поедем ко мне». Это был, по существу, единственный раз, когда мы просидели с ним у него дома всю ночь. Жил он тогда со своей первой женой Людмилой в районе Черемушек, недалеко от Ленинского проспекта. Пели песни, разговаривали. Помню, уже тогда он отказывался от налитой рюмки, а когда я начал подначивать его, чтобы он все-таки выпил, грустно сказал: «Погоди, Саня, и ты еще доживешь до того, что будешь отказываться».

Каким только гонениям не подвергался Владимир Высоцкий при жизни! В июне 68-го года, когда официальная пресса начала активно атаковать авторскую песню, газета «Советская Россия», бывшая верным оплотом реакции, опубликовала статью «О чем поет Высоцкий». Надо заметить, что Володя мужественно переносил все издевательства и травлю, хотя именно это во многом подточило его сердце и приблизило безвременную гибель. На потоки клеветы он ответил гордыми строчками:

Не волнуйтесь – я не уехал,
И не надейтесь – я не уеду.

О внезапной смерти Высоцкого я узнал в Литве, в Друскининкае, из передачи Би-би-би. Признаться, поначалу я не поверил, – слишком много ходило о Высоцком самых фантастических слухов – наутро пошел звонить в Москву. Оказалось – правда. В конце сентября, после возвращения в столицу, я отправился на Ваганьковское кладбище, на могилу Володи. Был сухой и ясный сентябрьский день. На дорожках кладбища жгли сухие листья. Ослепительно блестел купол кладбищенской часовни. У могилы, заваленной цветами, теснилась неизменная толпа. Я впервые в жизни попал на Ваганьково, и, может быть, именно поэтому мне показалось удивительным, что неподалеку от могилы Высоцкого оказалась могила другого русского поэта, так же, как и он, безвременно и трагически ушедшего из жизни, совершенно, казалось бы, непохожего на Володю и чем-то неуловимо похожего – Сергея Есенина. Теперь рядом с ними лежит и Булат Окуджава.

Говорить о наследии Высоцкого сложно. Огромный масштаб его поэтического таланта и личности, неповторимая органика слияния его хриплого голоса с жестким существом песен обрекают на заведомую неудачу все бесплодные попытки подражателей. Такой голос подделать невозможно. Он был и

остается единственным. Теперь, спустя десятилетия со дня смерти Высоцкого, его, можно сказать, канонизировали. Все, что он написал, без разбора превратили в ширпотреб. Поставили ему безвкусные памятники. В музее его имени проводятся научные конференции, материалы которых издаются (это, не в пример прочему, отрадное явление, – Высоцкого надо изучать). На этот раз его противники атакуют поэта с другой стороны, пытаясь опошлить его творчество и облик в глазах потомков через беспредельную канонизацию. Хочется надеяться, что после своей безвременной смерти Владимир Высоцкий вынесет и это испытание, как мужественно выносил при жизни запреты и непризнание. Его яростные песни, по которым историки будут опознавать нашу эпоху, будут жить и в наступившем тысячелетии. Неслучайно именно ему принадлежат слова: «Без народа, для которого я пишу, меня нет».

Юлий Ким. Упоминание этого имени сразу же вызывает улыбку. Действительно, в авторской песне, стремительно взлетевшей в 60-е годы, Юлий Ким – явление уникальное и исключительное. Его недостаточно «читать с листа» или слышать голос на магнитофонной кассете или пластинке – его обязательно надо видеть. Этот удивительный человек один воплотил в себе целый театр – с автором, музыкантом, режиссером и многочисленным и талантливым актерским коллективом. В его яркой разнообразной труппе есть Пьеро и Арлекины, герои и героини, карикатурные и отвратительные персонажи – бюрократы, «аппаратчики», пьяницы, подхалимы, уже знакомые нам по сказкам и старинным книгам герои классических произведений, получивших в песнях Кима вторую жизнь. Рыболовы и пираты, гусары и кавалергарды, школяры и комедианты, неунывающий и непримиримый Тиль и грустный Петрушка, романтичный мошенник Остап Бендер и хамоватый гегемон Присыпкин – все они теснятся на сцене, перевоплощаясь в этого небольшого, заряженного гремучей песенной ртутью человека с гитарой в руках. Несмотря на все их многообразие, в каждом из героев виден неповторимый почерк, яркая индивидуальность создавшего их автора – Юлия Кима.

В далекие 60-е, когда я еще не был знаком с Кимом, я услышал его ранние песни в исполнении Юрия Визбора на одном из концертов в Ленинграде. Представляя песни Кима со сцены, Визбор сказал: «Юлий Ким окончил МГПИ им. Ленина в Москве. Работает школьным учителем на Камчатке. И чем хуже ему приходится, тем более веселые песни он пишет. Так что веселых песен у него много».

Вслед за короткой и ненадежной хрущевской оттепелью

началась длительная пора брежневских заморозков. Волею обстоятельств, а также в силу прямоты души и непримиримости ко лжи, после возвращения в Москву Юлий Ким оказался близок к узкому кругу тех самоотверженных интеллигентов, которых раньше называли диссидентами, а сейчас – предтечами перестройки. Его выгнали с работы, запретили преподавать. Оставшийся практически без средств существования, с так же лишенной работы женой и маленькой дочерью на руках, он пытался писать песни для театральных постановок, но само имя его, попавшее в «черные списки», отпугивало режиссеров. Тогда-то и появился «автор песен Ю. Михайлов». Имя это быстро прижилось на экранах кино и телевидения. Чего стоят, например, тут же подхваченные зрителями песни из кинофильма «Бумбараш» или телевизионного фильма «Обыкновенное чудо»? Немногие, однако, знают, что сценический псевдоним «Ю. Михайлов» был взят Юлием Кимом не просто «для пущей важности» (как написано на конверте его первой пластинки), а не от хорошей жизни.

До сих пор, услышав неожиданно хорошую песню в телефильме или в радиоспектакле, особенно стилизованную под другие времена, я думаю: «Наверное, Ким». Он обладает удивительным музыкальным слухом к звучанию слов в их родном контексте, чутким ухом пересмешника. В «эпоху застоя», которой, казалось, не будет конца, Юлий Ким писал не только за «Ю. Михайлова», но и за себя. Это были едкие, горькие, обличительные песни, где улыбчивые театральные маски были сброшены. Такие, например, как песня «Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму», посвященная его тестю Петру Якиру, или беспощадная по своей точности песня, где отражена попытка брежневско-сусловской администрации незаметно, шаг за шагом, снова втащить на опустевший пьедестал статую «величайшего гения всех времен и народов»:

> А как у нас по линии марксизма? —
> Ленин – гений, Сталин покамест нет.

Именно колючие песни Кима в те времена, вместе с песнями Галича, легли в основу «магнитофониздата», крамольного не менее, чем «самиздат». Прошли годы, а число веселых песен у Юлия Кима не уменьшилось. Хотя на смену официальным гонениям пришло как будто достойное признание. (Хорошо, что при жизни, это у нас бывает редко – достаточно вспомнить Высоцкого или Галича.) Вышли многочисленные диски с его песнями и книги со стихами, прозой и пьесами. Пьесу «Ной и его

сыновья» поставил Московский драматический театр им. К. С. Станиславского. Ставятся и другие спектакли по его пьесам. Пьесу «Бумбараш» поставил театр Олега Табакова. Елена Камбурова сделала превосходный моноспектакль по его песням. В 2002 году Ким перевел на русский язык мюзикл «Нотр-Дам де Пари» и стал автором русской версии сценария этого популярного представления.

Кима, однако, не купишь. Острота и непримиримость его сатиры остаются прежними. Когда-то, много лет назад, от имени одного из своих литературных героев Юлий Ким написал песню с таким припевом: «Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Пожелаем этому парусу попутного ветра в наши грозящие штормовыми прогнозами дни, – он указывает нам верный курс.

Нельзя себе представить эпоху «поющих шестидесятых» и без Михаила Анчарова, о котором в последнее время незаслуженно забыли. С Анчаровым и с его песнями я впервые познакомился в 63-м году во время очередной командировки в Москву. Через каких-то знакомых я случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Г. И. Петровского, председателя большевистской фракции Государственной Думы, в печально известный «Дом на набережной», населенный зловещими тенями убивавших и убиенных. «Ну, где этот ваш мальчик из Ленинграда?» – услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженный мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.

Из всех его песен тогда я знал только приписываемую ему, ставшую уже народной «От Москвы до Шанси», а в этот вечер я впервые услышал другие, сразу же полюбившиеся мне песни «МАЗы», «Органист», «Тихо капает вода – кап, кап» и многие другие. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает часто оттого, что глаза были раньше обожжены), и его рассказов о парашютно-десантных войсках, где он вроде бы служил в конце войны, произвели на меня сильнейшее впечатление.

Сам Анчаров только начинал тогда свое литературное поприще, считал себя прежде всего художником, жил в писательском доме в Лаврушинском переулке, в квартире своей тогдашней жены Джои Афиногеновой, был, как выяснилось, скор на выпивку и кулак и писал песни, с которыми довольно часто выступал. У него была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне, «цыганская» темпераментная манера исполнения. В

сочетании с сильным низким, «подлинно мужским» голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века.

В последующие годы Анчаров стал модным писателем. Ему начали наперебой заказывать сценарии телефильмов. Инсценировки по его произведениям охотно ставили московские театры. Песни были заброшены – он полностью ушел в прозу и драматургию. Но прошли годы, и вспыхнувший на какое-то время интерес к писателю Анчарову утих, и о нем мало-помалу забыли, взошли на литературном небосводе другие имена. И стало ясно, что, может быть, именно песни, написанные Михаилом Анчаровым в 50–60-е годы, в самом начале его, казалось бы, такой успешной литературной карьеры, одни только и воплотили в полной мере творческий и личностный талант художника, еще не зависевший в то время от железных тисков худсоветов и издательств.

Песни Михаила Анчарова не умозрительны, не «книжны», они написаны не «человеком со стороны». Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще несчастной нашей городской жизни, внутри ее радостей и страданий, любви и ненависти. Все это обеспечивает незаслуженно забытым песням Михаила Анчарова долгое существование. В одной из его старых песен есть такие слова: «Мы бескровной войны чемпионы». Если знаменитый «гамбургский счет» Виктора Шкловского применить к авторской песне, то можно с уверенностью сказать, что одним из чемпионов этой бескровной борьбы за людские души и сердца, борьбы, которая все еще продолжается, был и остается Михаил Анчаров.

В те же 60-е годы песни неожиданно начали писать и поэты, ранее писавшие только стихи. Возникновение этого, видимо, было следствием потребности более полного самовыражения, непосредственного авторского контакта с аудиторией. Наиболее ярко это выразилось в песнях Новеллы Матвеевой, создавшей в них удивительный акварельный гриновский мир добрых и грустных сказок («Страна Дельфиния», «Капитаны») или нежной и глубокой лирики («Окраины», «Любви моей ты боялся зря»). Негромкая, завораживающая задушевная интонация ее песен – полная противоположность громовому звучанию Высоцкого или Галича – была как кислород в безвоздушном пространстве той эпохи, порождала в поющих надежду на алые паруса на хмуром и пасмурном горизонте.

Помнится, в 1974 году, впервые попав на борту научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» в Австралию, в Мельбурн, и сойдя на берег, я обратил внимание на небольшой

остров, темневший на горизонте напротив порта. Я спросил у своего спутника, как он называется. «Остров Кенгуру», – ответил он. Я вздрогнул от неожиданности, поскольку всерьез полагал, что имя это, как и «Страна Дельфиния», – сказочная выдумка из любимой мною песни Новеллы Матвеевой. Так удивился бы человек, которому вдруг показали реальный Лисс или Зурбаган.

Оглядываясь назад, не могу не признаться, что именно подобные сине-зеленым акварелям, пахнущие морской солью и солнцем, нагревшим палубные доски, песни Новеллы Матвеевой заставили меня в свое время навсегда связать свою судьбу с океаном. Мне нестерпимо захотелось увидеть и ощутить наяву так ярко нарисованный ею шумный и многокрасочный мир, где:

Двумя клинками сшиблись два теченья, —
Пустился в пляску ящик от сигар,
И, как король в пурпурном облаченье,
При свете топки красен кочегар.

те неизвестные страны, где:

… по прибрежью дружною парою
Ходят рядком какаду с кукабаррою,
А за утесами там носом к носу мы
Можем столкнуться порой с утконосами.

Я неслучайно вспомнил о Лиссе и Зурбагане, потому что когда я перечитываю стихи и слушаю песни Новеллы Матвеевой, то мне на память прежде всего приходит Александр Грин, всемогущий и беспомощный сказочник, так же, как и Новелла Матвеева, не избалованный реальной жизнью. Помню, в начале 60-х годов, когда я впервые услышал ее солнечные сказочные песни, я почему-то решил, что такие песни может писать только очень счастливый человек, некое зеленоглазое подобие Фрези Грант. Попав в первый раз в дом к Новелле Матвеевой и увидев чудовищный быт ее огромной неприютной коммуналки на Беговой улице с окнами, выходящими на железнодорожное полотно и Ваганьковское кладбище, я был потрясен. Каким могучим воображением художника, каким человеческим мужеством и оптимизмом должен обладать автор, придумавший свой сказочный мир в такой обстановке!

Важным самостоятельным направлением в авторской песне 60-х стало туристско-альпинистское. Это не случайно. Техническая и гуманитарная интеллигенция, нынешние и

недавние студенты рвались в трудные походы на неприступные вершины и в тайгу, чтобы хотя бы на время уйти от сложных проблем и фальши городской жизни, почувствовать себя настоящими мужчинами, прикоснуться к истинным неискаженным ценностям человеческих отношений – любви, дружбы, испытанным трудными условиями и опасностями. Возможно, поэтому крупным песенным центром в Москве в те времена стал Московский государственный педагогический институт им. Ленина, где учились тогда Ада Якушева, Юрий Визбор, Юлий Ким, Юрий Ряшенцев и другие широко известные позднее поэты и авторы песен.

Именно там еще с конца 50-х годов зазвучали сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по всей стране песни Юрия Визбора, рождая снежную лавину подражаний. Популярность этого человека при жизни, оборвавшейся в 1984 году, когда Юрию едва исполнилось пятьдесят, поистине была фантастической, и вовсе не потому только, что Визбор был еще и талантливым киноактером, сыгравшим, в частности, роль Бормана в «Семнадцати мгновениях весны». Его песни «Лыжи у печки стоят», «По судну «Кострома» стучит вода», «Серега Санин», «На плато Расвумчорр не приходит весна», «Мы стояли с пилотом ледовой проводки», «Волейбол на Сретенке» и многие другие создали подлинную романтику этой совсем не романтичной эпохи.

Визбор – певец мужества в трудных условиях, истинной доблести, несмотря ни на что, столь не модного в наш прагматичный век мужского рыцарства. Атрибуты его героя – скала над ледяной пропастью – «вот это для мужчин – рюкзак и ледоруб», кабина взлетающего самолета – «пошел на взлет наш самолет», отсек подводной лодки – «наша серая подлодка в себя вобрала якоря», завьюженный перевал, где «бульдозеру нужно мужское плечо». Когда слушаешь эти песни сейчас, в начале нового века, сердцем овладевает острая ностальгия по собственной юности.

Я был знаком и дружил с Юрой более двадцати лет, с 1961 года. До сих пор помню распахнутые по-летнему окна в доме на Неглинной улице – угол Кузнецкого Моста, где в огромной коммунальной квартире, на одной лестничной площадке с управлением культуры, жили такие молодые тогда Юра и Ада, сразу одарившие меня счастливым игом своих песен. Начинались 60-е годы – время надежд, горячих споров, стихов и песен. И, пожалуй, комната Юры и Ады, где кипели яростные дискуссии, беспрерывно звенела гитара, собирались друзья и друзья друзей, была одним из песенных центров столицы и всей нашей страны.

Во всяком случае, такой она казалась тогда мне – ленинградцу.

С первой же встречи Визбор поразил меня богатством и многогранностью своей натуры. Автор песен, журналист, литератор, спортсмен, художник, обаятельнейший и талантливый собеседник, он повсюду сразу же становился центром компании, ее энергетическим источником. Как всем по-настоящему талантливым людям, ему была свойственна творческая щедрость и нечастая способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням. Именно от него я услышал впервые песни Юлия Кима, Геннадия Шпаликова и многих других, в ту пору еще не известных мне авторов. До сих пор многие песни, и не только Юрины, я слышу как бы его голосом. В том числе и свои ранние.

Мне кажется, что феномен личности и песенного творчества Юрия Визбора достоин самого серьезного изучения. Многообразие талантов буквально разрывало его на части. Блестящий журналист, впервые придумавший «репортажи с гитарой в руках», одаренный прозаик, незаурядный художник, талантливый и обаятельный артист во всех своих проявлениях – от киноэкрана до застольной беседы, альпинист и горнолыжник, всю полноту своей не умещавшейся в рамках одного жанра натуры он более всего реализовал в своих песнях.

Он не был диссидентом, хотя некоторые его песни вроде «Технолога Петухова» или «Что ж вы ботик потопили?» и запрещались. Он был членом КПСС, но именно партийные власти, когда он умер, отказали ему в официальной панихиде. Он не писал политизированной сатиры. Темы его песен вечны: любовь, разлука, измена, трудности настоящей «мужской жизни», горы, лыжи, стоящие у печки, ледоколы во льду, север, океан. Песни его «для всех». Они не вызывают сложных «неконтролируемых ассоциаций», не требуют высокой интеллектуальной подготовки. Но именно эти, казалось бы, нехитрые и тривиальные ценности оказались наиболее долговечными и привлекательными, перешагнув через рубеж тысячелетий из 60-х годов в наше сумрачное время с разгулом стяжательства, насилия и наркоты.

Я хорошо помню Грушинские фестивали самодеятельной песни на Волге, под Самарой, собиравшие тогда более ста тысяч человек. Стотысячная толпа сидела на горе, у подножия которой на волжской протоке была оборудована сцена-плот в форме гитары. Грифом гитары был трап, по которому на сцену поднимались выступающие. Паруса яхт с другой стороны плота образовывали задник этой плавучей сцены. Конкурсные концерты длились, как правило, до глубокой ночи. А после этого – еще концерт членов жюри, в которое входили, конечно, тоже авторы песен: Сергей и Татьяна Никитины, Виктор Берковский, Дмитрий

Сухарев, Александр Дулов и другие. Восхождение каждого из них по трапу на плот-гитару сопровождалось дружными аплодисментами. Но когда на сцену поднимался Юрий Визбор, вся гора, погруженная в темноту, вспыхивала тысячами фонариков и взрывалась ураганом аплодисментов. И ураган этот долго не стихал. Таких оваций стотысячной аудитории, самой большой в нашей стране, а может быть, и на всей планете, не знал никто.

На этих фестивалях, где мы с Юрой попеременно возглавляли жюри, не обходилось порой без курьезных историй. Как раз в то время вышел телефильм «Семнадцать мгновений весны», где Визбор сыграл роль Бормана и немало гордился, когда его опознавали на улице. Я помню по-июльски жаркий день фестиваля. Мы с Юрой в одних плавках идем по тропке к берегу, а вслед нам и навстречу в таких же купальных нарядах друг за другом гуськом движутся сотни молодых людей. Прямо за нами идет стайка молоденьких девушек, и вдруг одна из них, самая хорошенькая, на которую Визбор скосил глаза, говорит подруге: «Смотри, Маша, как мужик на Бормана похож». – «Да что ты, Нина, – отвечает вторая, – ну нисколечко не похож!» Юра расстроился, покраснел и буркнул сердито: «Саня, ну что за идиотка! Это я-то не похож на Бормана!»

Выйдя на берег и искупавшись, мы сели в тенек, и Юра взял в руки гитару. Вокруг сразу же образовался молчаливый кружок слушателей. А надо сказать, что как раз в это самое время на поляне фестиваля вовсю работало «предварительное жюри», проводя отбор авторов и исполнителей на заключительный конкурсный концерт. Мы с Юрой, как почетные гости и руководители Большого жюри, от этой изнурительной работы были освобождены. Послушав пару Юриных песен, один из слушателей произнес: «Слушай, парень, чего ты здесь просто так поешь? Ты иди покажись в жюри – тебя обязательно на конкурс пропустят».

Кажется, тогда на берегу Волги мы с Юрой и сочинили вместе шуточную песню с придуманным им припевом: «Омск, Томск, Москва, Чита, Челябинск». В другой раз нам была выдана байдарка, на которой мы вдвоем катались по живописным волжским протокам. День был воскресный, и все островки были усеяны загорающими телами. Мы никак не могли наладиться вместе грести, и Юра, старый «ас» гребного спорта (каковым он себя считал), все время угнетал меня едкими замечаниями. Вдруг мы заметили, что с соседнего уединенного островочка усиленно машут две загорающие там девицы. «Меня опознали, – самодовольно улыбнулся Визбор, – давай подгребем». Подплыв

поближе, мы обнаружили двух совершенно незнакомых, весьма привлекательных, но уже сильно навеселе бабенок, одна из которых громко заявила: «Зинка, себе я оставлю этого толстого. А ты с чернявым забирай вторую поллитру и греби вон на тот островок». Услышав это, мы с Юрой, не сговариваясь, «рванули» в два весла от берега. Уже почти на середине Волги Визбор сказал: «А ведь неплохо гребем. Чего я к тебе придирался?»

На каждом Грушинском фестивале традиционно устраивались футбольные матчи: «Сборная Куйбышева» против «Сборной гостей». В этих матчах Юра принимал обязательное участие, играя, как правило, в нападении. «Смотри, сам Визбор играет». Но однажды, получив удачный пас, Юра стремительно помчался по правому краю и, легко миновав защиту, напрямую вышел к воротам. Тут уж было не до почтения. «Лысого держи, лысого», – заревела толпа.

Характер Юрия не был простым. Он любил первенствовать и никакого соперничества решительно не признавал. Когда на общем концерте кому-то другому (как ему казалось) хлопали больше, он краснел и сердился, хотя старался не подавать вида. Правда, случалось это нечасто.

В те годы, когда сам я еще редко выступал со своими песнями, он в своих концертах довольно часто их пел. Один из его биографов – Ролан Шипов – отмечал, что по частоте исполнения у него на втором месте были песни Ады Якушевой, а на третьем – мои. По этой причине некоторые из моих старых песен – «Кожаные куртки», «Деревянные города» да и некоторые другие – часто приписывали Визбору.

В связи с этим вспоминается история, произошедшая со мной в начале 77-го года на борту научно-исследовательского судна «Академик Курчатов», пересекавшего Атлантический океан. Мне в каюту неожиданно позвонил начальник радиостанции и сказал: «Ну-ка иди скорей в радиорубку, тут тебя Би-би-си передает…» Не слишком обрадовавшись этой новости, я все же пошел в радиорубку. Когда я туда вошел, то увидел, что там уже сидят капитан, первый помощник и еще один член экспедиции «в штатском», которого в команде называли Федя-Лохматое Ухо. Из динамика несся мой голос, поющий песню. Все присутствующие обратили на меня свои безучастные взоры – так смотрят на дорогого покойника. Сесть никто не предложил. Наконец песня кончилась, и диктор произнес: «Радиостанция Би-би-си закончила очередную передачу из цикла «Русский магнитофониздат»: поэты-певцы, преследуемые Советским правительством…» Взгляд первого помощника, устремленный на меня, приобрел большевистскую жесткость и непримиримость к врагам рейха.

«Вы только что прослушали, – продолжал диктор, – песню Юрия Визбора «Чистые пруды» в исполнении автора…» Я сказал: «Слышали? До свиданья». И ушел.

Помню, году в 67-м Юрий Визбор приехал в Ленинград в командировку от журнала «Кругозор» вместе со своим талантливым приятелем – фоторепортером Виктором Сакком. Появился первый очерк о ленинградских бардах, в том числе и обо мне. Сохранилась гибкая пластиночка, где Визбор сам исполняет мою «Канаду», сообщив перед этим слушателям, что делает это вместо автора потому, что «Городницкий, как всегда, между двумя экспедициями, и его огрубевшие руки плохо справляются с гитарой». Справедливости ради надо отметить, что мои «огрубевшие руки» до сих пор с гитарой справляются плохо…

Радиограмму о смерти Юры в сентябре 1984 года я получил на борту «Витязя», который в это время стоял в порту греческого города Пирей, и наша бортовая радиостанция работала только на прием. Это неожиданное трагическое известие было ударом не только для меня, но и почти для всех участников экспедиции. Вечером того же дня мы собрались, тесно набившись в моей довольно-таки просторной каюте – научные сотрудники, моряки, водолазы, механики. Всю ночь пели Юрины песни – их знали все. За переборкой мерно поскрипывали швартовые концы, гудели суда в ночном порту. В распахнутом окне над темными Афинами тускло светила одинокая звезда Парфенона. Только на третий день, когда вышли в море, заработал передатчик. Мы послали радиограммы соболезнования и отдали Юре последние почести, имитировав обряд морских похорон, – в море бросают венок, и пароход делает прощальный круг вокруг него с протяжным гудком. Наблюдая эту невеселую картину, я подумал: «Ему бы это понравилось».

Юра любил море. И не только море: суровую и непокорную Арктику, неприступные и постоянно манящие горы, необъятные просторы Пятого океана. Его привлекала не только экзотика, хотя и это было. В первую очередь его привлекали люди, вступающие в единоборство со стихией и с собой, проявления их душевных качеств на границе человеческих возможностей.

Прошло почти тридцать лет со времени его безвременного ухода, а песни Юрия Визбора, не в пример песням других ушедших в прошлое авторов, все поют и поют, и интерес к ним не ослабевает. И не только на вечерах в киноконцертных залах «Россия» или «Крокус Сити» в день его рождения 20 июня, которые стали традиционными, но и просто по стране, – в туристских походах, в экспедициях, на фестивалях. Визбор был и остается самым «поющимся» автором из всех

«шестидесятников», – в этом его удивительный феномен.

В одной из его давних песен, написанной еще в молодые годы, есть такие строчки:

Спокойно, дружище, спокойно!
У нас еще все впереди.

Они поистине оказались пророческими. Песням Юрия Визбора, у которых все еще впереди, суждена долгая и славная жизнь. Они никогда не состарятся, пока существуют горы и океан, пока девчонка, заслонившись рукой от вечернего света, с любопытством смотрит на встречный ледокол, пока остаются на земле бескорыстная дружба и светлая любовь, мужская доблесть и радостное чувство удивления красотой окружающего мира.

На мой пятидесятилетний юбилей в давнем 1983 году Юра принес мне в подарок сине-белый военно-морской флаг, на котором было написано «Старшему матросу А. Городницкому от матроса Ю. Визбора». Я спросил у него: «А почему же старшему?» «А я тебя моложе, – ответил он, – на полгода. Дольше проживу». И засмеялся. Таким вечно молодым он и остается…

Какие только песенные открытия не совершались нами в 60-е годы! Казалось иногда, что, придя в гости, на день рождения или просто так, люди только для того и собирались, чтобы не поговорить, не потанцевать, а именно – попеть. Каждая новая песня, «авторская», была радостью. Здесь и тонкие лирические песни Ады Якушевой («Синие сугробы» или «В речке Каменной»), и полные мужской силы песни столь много обещавшего тогда Михаила Анчарова, и знаменитое «Бабье лето» Игоря Кохановского, об авторстве которого я узнал только через много лет, когда мы с ним оказались соседями по дому.

Что касается моего родного Питера, то там в это время инженеры и учителя дружно распевали лихие куплеты песни «Когда качаются фонарики ночные», сочиненной уже упомянутым выше поэтом Глебом Горбовским и долгие годы считавшейся «народной». Несколько позднее начали придумывать песни на свои стихи и прочие ленинградские поэты и прозаики: Виктор Соснора, Сергей Вольф, Ирена Сергеева и другие. О лирических песнях Нонны Слепаковой, появившихся примерно в то же время, мы уже вспоминали. Сейчас, по прошествии полувека, когда все это стало историей, хотелось бы хотя бы отчасти восстановить справедливость, напомнив, в частности, что авторские песни рождались в ту пору не только на московских кухнях, но и на ленинградских, и заметный вклад в это внесли питерские поэты.

В это же самое время ленинградские студенты и туристы

пели в турпоходах и просто дома песни механика Валентина Вихорева («Лето уходит на юг»), молодого физика Бориса Полоскина («Ты идешь то тайгой, то болотами»), инженера-строителя Евгения Клячкина («Ни страны, ни погоста» на стихи Бродского), тренера по фигурному катанию Юрия Кукина («Париж», «Город») и многие другие.

Я вспоминаю, как 25 мая 1965 года в переполненном зале Дворца культуры им. С. М. Кирова на Васильевском острове, где проходил заключительный концерт I Ленинградского конкурса самодеятельной песни, на сцену вышел молодой человек с пышноволосой курчавой головой и, смущенно улыбаясь, представился как «тренер по фигурному катанию». Потом он взял гитару и запел:

А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

Так сразу, одним махом, вошел в авторскую песню Юрий Кукин, без которого нельзя теперь представить ни авторскую песню незабвенных 60-х, ни нашу тогдашнюю ленинградскую жизнь. Песни его с удивительной быстротой стали распространяться по всей стране. Эта популярность не была сродни шумной эстрадной популярности некоторых современных бардов, покоряющих многотысячные дворцы спорта. Песни Кукина негромко пелись у дымных костров геологических экспедиций, в тайге и среди болот, где он кормил комаров наравне со всеми. Так они обрели свою подлинность, доверительность разговора, задушевную интонацию, мягкий, едва ощутимый юмор. Юрий Кукин обладал несомненной поэтической одаренностью, хотя стихи в его песнях не всегда равноценны, они часто поражают своей удивительной точностью и образностью.

Юры не стало 7 июля 2011 года. В последние годы он кабально много выступал и мало писал. Как он сам признавался, он не мог писать не от души, а «по заказу». Но пока существуют люди, молодые и старые, видящие мир «закутанным в цветной туман» и готовые ехать за этим туманом, песни Юрия Кукина будут жить.

В этот период, где-то в середине 60-х, у авторской песни стало закладываться и другое направление – появилась целая плеяда молодых самодеятельных композиторов, как правило, начисто лишенных музыкального образования, которые стали придумывать под гитару мелодии на полюбившиеся им стихи. Так в рамках «авторской песни» возникло еще одно альтернативное направление – «второе искусство» в песенной

музыке. Неслучайно самое, пожалуй, точное определение авторской песни, данное В. Альтшуллером, формулируется как «музыкальное интонирование русской поэтической речи». Наиболее яркими представителями этого направления стали доцент Московского института стали и сплавов Виктор Берковский, автор знаменитой в те годы песни «Гренада» на стихи Михаила Светлова, «поющие физики» Сергей и Татьяна Никитины, создавшие целую песенную антологию русской советской и мировой поэзии, доктор химических наук Александр Дулов, автор прекрасных песен на стихи Николая Гумилева, Мориса Карема, Александра Кушнера и других поэтов и некоторые другие авторы.

Несмотря на жестокую (и, как правило, необъективную) критику со стороны «композиторов в законе» песни, созданные этими представителями технической интеллигенции, быстро запоминались, подхватывались и в короткое время становились известными по всей стране, хотя никаких записей ни на радио, ни на фирме «Мелодия» в те поры не было и даже быть не могло.

В Питере признанным лидером среди самодеятельных композиторов стал инженер-строитель Евгений Клячкин. Композитор Альфред Шнитке, один из крупнейших композиторов XX века, когда говорил об авторской песне, всегда выделял Клячкина и говорил, что из всех авторов он обладает самыми высокими музыкальными талантами. Действительно, мелодии Евгения Клячкина ни на что не похожи и совершенно оригинальны. Его песни всегда можно узнать по композиторскому почерку. Судьба Евгения Клячкина, к сожалению, сложилась трагически. В 1990 году он покинул Ленинград и уехал в Израиль, где в июле 94-го года погиб при купании в Средиземном море.

В целом в моем родном Ленинграде авторская песня в конце 50-х – начале 60-х годов появилась и развивалась как бы отдельно от Москвы. Одним из основных ее истоков, кроме уже перечисленных, были «геологические» (именно геологические, а не туристские) песни, изустно переносившиеся в многочисленных экспедициях ленинградских геологических организаций – таких, как Всесоюзный геологический институт, мой родной Горный институт, Институт геологии Арктики и других.

Общественный интерес к авторской песне в Питере стал заметно проявляться уже в начале 60-х. Мало-помалу появился круг активных любителей этого жанра, который весной 1965 года провел 1-й городской конкурс авторов и исполнителей. Мне вместе с Окуджавой довелось участвовать в работе жюри этого конкурса. Именно на этом конкурсе впервые и заявил о себе

совершенно неизвестный до того Юрий Кукин, вызвавший бурные аплодисменты всего зала.

Рождение авторской песни в Ленинграде связано с клубом «Восток», который нашел себе пристанище в Доме культуры работников пищевой промышленности, разместившемся в старинном дворянском особняке, неподалеку от «Пяти углов» на улице Правды, 10. Запущенный этот особняк, выстроенный в ложноклассическом стиле, с флигелями, украшенными лепными карнизами, охватывавшими с двух сторон небольшой дворик, в центре которого чернела тяжеловесная и чужеродная здесь статуя Ильича в широких мешковатых брюках (сейчас статую убрали), на долгие годы и даже десятилетия стал крупнейшим центром авторской песни в стране. Иногда я думаю, почему это началось именно в ДК работников пищевой промышленности? Не потому ли, что духовная пища в брежневскую удушливую эпоху была не менее нужна, чем хлеб?

Основу клуба составила группа молодых ленинградских авторов, в число которых вошли Евгений Клячкин, Борис Полоскин, Валентин Вихорев, Валерий Сачковский, Юрий Кукин, Валентин Глазанов, исполнители авторских песен Виталий Сейнов и Михаил Кане и некоторые другие. К ним примкнули первые активисты клуба – Наталья Смирнова, Ирина Кострец, Вера Бордюк и другие. Назван был клуб – «Восток» – по имени первого космического корабля, на котором Юрий Гагарин поднялся с Земли в космос.

Интересно, что этот первый песенный клуб, родившийся в кафе «Восток» в декабре 1961 года, вовсе не был «клубом самодеятельной песни» в общепринятом его понимании – он объединял прежде всего авторов и исполнителей, а не только любителей этого жанра. И не только ленинградцев – участие в концертах и в работе клуба принимали приезжавший часто сюда из Москвы вместе с Театром на Таганке и отдельно от него Владимир Высоцкий, быстро подружившиеся с клубом Михаил Анчаров, Ада Якушева и Юрий Визбор. Так что можно считать, что в середине 60-х ленинградский клуб «Восток» стал основным центром авторской и самодеятельной песни.

Поначалу встречи устраивались в молодежном кафе «Восток», на первом этаже дворца, в первый понедельник каждого месяца, но число желающих сразу же оказалось во много раз больше числа посадочных мест, а эпизодические концерты в Малом зале Дома культуры также не спасали положения. Тогда, с осени 1965 года, под яростным натиском любителей песни и совета кафе «Восток» администрация ДК начала проведение цикла абонементных концертов под общим названием «Молодость,

песня, гитара» в Большом зале ДК, вмещавшем около 900 человек, хотя и этого вскоре стало мало. Так начались знаменитые абонементные концерты клуба «Восток», которому в 2011 году испольнилось пятьдесят лет.

Вечера эти не были обычными концертами. Скорее это были дискуссионные клубы, где яростно обсуждались и сами исполнявшиеся песни, и все многочисленные, в том числе и острейшие проблемы, с ними связанные. Наряду с авторами и исполнителями песен, из которых сразу же выделился своим мощным голосом Виталий Сейнов, здесь многократно выступали ведущие питерские поэты – Леонид Агеев, Олег Тарутин, Глеб Горбовский, Майя Борисова, Нонна Слепакова, Вячеслав Лейкин и другие. Часто гостями клуба становились и артисты, приехавшие в Ленинград на гастроли. Так по инициативе одного из авторов, Валентина Глазанова, на сцене «Востока» не раз выступали артисты театра «Современник» и в первую очередь Валентин Никулин, ставший одним из первых среди актеров исполнителем авторской песни, и Людмила Иванова, широко известная и как автор песен. Часто бывали здесь и ленинградские артисты, прежде всего из ТЮЗа (Виктор Федоров, Александр Хочинский) и театра Ленинского комсомола (Юрий Хохликов, Владимир Тыкке). Выступали здесь и именитые московские поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова.

Параллельно с клубом «Восток» в Питере в те годы был создан клуб бардов на Петроградской в ДК «Ленсовета». Долгие годы его бессменным руководителем была Анна Ильинична Яшунская. В этом клубе занимались многие известные питерские поэты и авторы песен. В их числе известный поэт, уехавший в Израиль и недавно умерший, Михаил Генделев, популярный эстрадный бард Александр Розенбаум. На занятиях клуба неоднократно бывал Иосиф Бродский. Сама Анна Ильинична, по профессии врач-травматолог, всю свою недолгую жизнь беззаветно отдала авторской песне, постоянно участвуя в жюри разнообразных фестивалей, поддерживая и пестуя молодых авторов. В 2004 году она умерла от неожиданного рака.

В 1967 году студия «Леннаучпоп» решила снять фильм об авторской песне. Режиссером фильма был Слава Чаплин, живущий ныне в Израиле. Съемки шли прямо на концертах клуба «Восток». Снимали выступающих, реакцию зала, реплики. Фильм был назван «Срочно требуется песня». На экране были показаны баталии между «профессионалами» и самодеятельными авторами, резкая критика в адрес самодеятельной песни, с которой выступали композиторы и музыковеды. Так, известный

музыковед Энтелис сравнивал эти песни с модным в то время шлягером «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и утверждал, что не пройдет и года, как песни эти будут полностью забыты. В этом, поистине историческом фильме можно увидеть и услышать молоденького Владимира Высоцкого, поющего свою знаменитую песню «Но парус – порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь» и комментирующего уровень текстов «профессиональной» эстрадной песни: «Есть, например, песня, которая начинается так: „На тебе сошелся клином белый свет“. Строчка эта повторяется три раза. И два автора текста!» Булат Окуджава поет «Надежды маленький оркестрик» и тут же заявляет, что песен больше писать не намерен.

В 1968 году официальная пресса начала массированное наступление на авторскую песню. Сигналом для нее, своеобразным «залпом Авроры», послужила упомянутая выше статья в газете «Советская Россия», направленная против Высоцкого. Вслед за ней последовали другие статьи и заметки. Сурен Кочарян выступил в газете «Правда» с целым «подвалом», где писал об авторах самодеятельных песен: «Музыка здесь и не ночевала, – писал он. – Бренчанье, иного слова и не подберешь, на гитаре – на двух, трех аккордах. Почти полное отсутствие голоса». И далее: «Песни эти, до удивления похожие друг на друга, отличаются между собой лишь степенью убожества мысли, вариациями махрово-блатных выражений. Характерно полное отсутствие воображения, фантазии. Если же они и присутствуют, то весьма дурного тона».

Привычно восприняв выступления печати как команду, клубы и дворцы культуры отказались предоставлять свои помещения для «бардов и менестрелей». Пошли запреты на конкурсы и фестивали. Наконец, чтобы поставить последнюю точку в безоговорочном разгроме «самодеятельной песни» и окончательно решить этот вопрос, газета «Известия» заказала большую разгромную статью одному из ведущих советских композиторов – многократному лауреату Ленинских и Государственных премий, депутату Верховного Совета СССР, автору популярнейших в народе песен Василию Павловичу Соловьеву-Седому, жившему тогда на своей даче в Комарове.

Активисты клуба «Восток» прознали об этом и решили обязательно встретиться с Соловьевым-Седым и постараться отговорить его писать эту статью. Всеобщим решением отговаривать должен был я. Встреча состоялась в жаркий июльский день в Комарове, на литфондовской даче, где раньше жила Ахматова, а в тот год – ленинградский поэт Лев Друзкин с женой, позднее выехавшие в ФРГ. Василия Павловича, дача

которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора о самодеятельной песне. Помимо хозяев и меня, в кабинете было еще несколько человек, в том числе ведущий вечеров в клубе «Восток» кандидат искусствоведения, музыковед Владимир Фрумкин и ленинградский историк и драматург Натан Аль. По случаю предстоящего разговора на стол было выставлено сухое вино. Все ждали именитого гостя. Наконец, тяжело отдуваясь, появился покрасневший от жары Соловьев-Седой, в летнем полотняном костюме и тюбетейке. На присутствующих он даже не взглянул, а, бросив взгляд на стол, произнес: «Водки нет – разговора не будет» и, вытирая платком со лба обильный пот, развернулся на выход. Его с трудом уговорили обождать. Побежали за водкой.

Так или иначе, разговор все-таки состоялся. Вели его в основном Фрумкин, Соловьев-Седой и я. В течение без малого трех часов я рассказывал Соловьеву-Седому об авторской песне, пел, как мог, фрагменты из песен Анчарова, Кима, Визбора, Высоцкого, Горбовского, Новеллы Матвеевой и других, рассказывал о клубе «Восток», пытался объяснить, что именем композитора хотят воспользоваться для удушения движения самодеятельной песни. Он внимательно слушал и проявил даже неожиданный для меня интерес, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо знает об этом направлении. Когда же я упомянул имя Александра Галича, он неожиданно сказал: «Ну, про Сашу ты мне ничего не говори – это мой автор. Мы с ним работаем». – «Как?» – удивился теперь я. «Да ты что, разве не знаешь?» – спросил Василий Павлович. Оказалось, что песня Соловьева-Седого «Протрубили трубачи тревогу», которую еще в институте мы распевали по команде старшины на строевой подготовке, написана на слова Александра Галича.

Встреча наша оказалась бесполезной. Несмотря на заверения Соловьева-Седого в поддержке авторской песни 15 ноября 1968 года все в той же газете «Советская Россия» появилась его статья «Модно – не значит современно», направленная против нее. Однако «закрыть» авторскую песню не удалось.

Что же касается ленинградского клуба «Восток», то он с годами стал превращаться в концертный зал авторской песни. Уехал навсегда в США Владимир Фрумкин. Разбрелись кто куда авторы первого поколения. Одни «завязали» с песнями, другие, наоборот, стали эстрадными выступальщиками. Отбыл в Израиль Евгений Клячкин. Но осталась память о недолгом ренессансе 60-х годов и собственной наивной молодости.

Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что именно вторая половина 60-х и 70-е годы, прежде всего в Москве, были временем

максимального взлета авторской песни, подхваченной мощной волной движения самодеятельной песни, быстро распространившегося по всей огромной стране. Именно в это время резко усилившаяся бездуховность и фальшь «эпохи застоя», отразившаяся прежде всего в стремительной деградации песенного искусства и доморощенной и убогой нашей эстрады, заставила молодежь, особенно чуткую ко всякой неправде и двоедушию, искать для самовыражения собственные слова и мелодии.

Именно тогда, в 68-м году на берегу Волги, неподалеку от Самары, зажглись первые костры ежегодного фестиваля самодеятельной песни, посвященного памяти Валерия Грушина, куйбышевского студента, погибшего при спасении детей на таежной реке, зазвенели гитары, зазвучали голоса молодых авторов. Лето за летом в первые субботу и воскресенье июля за одну ночь, как в сказке, возникал шумный палаточный город, вмещавший иногда более ста тысяч жителей, и снова исчезал до следующего года. Но исчезал не бесследно: оставались в памяти песни, услышанные здесь, оставалась память в душе каждого, кто посидел у одного из этих бесчисленных костров, хлебнул пахнущего дымом чая из закопченной кружки, увидел десятки микрофонов, привязанных к удилищам, протянутым над головами поближе к поющему. Именно этот, никем особо не афишируемый, а потом и попросту запрещенный песенный праздник стягивал сюда, в самое сердце России, десятки тысяч юношей и девушек из разных областей страны – от Бреста до Петропавловска-Камчатского.

После распада Советского Союза, в эпоху «лихих девяностых», авторская песня потеряла свое былое значение. Из некогда крамольного направления она стала как бы искусством ретро. Несмотря на продолжающийся интерес, фестивали самодеятельной песни, теперь вполне разрешенные, как правило, не открывают ничего интересного по части новых авторов и превращаются в песенные «тусовки». На радио и телевидение под маркой «авторской песни» хлынул поток откровенной пошлости и бездарщины.

В конце прошлого века в своих интервью Булат Окуджава неоднократно подчеркивал, что авторская песня 60-х годов умерла раз и навсегда, что родилась она «на московских кухнях» и была своеобразным творческим протестом московской пишущей интеллигенции, сродни тогда же возникшему и раздавленному позднее Андроповым диссидентскому движению. Это можно считать справедливым только в том случае, если свести все движение авторской и самодеятельной песни лишь к творчеству

ведущей «московской группы» – Окуджавы, Галича, Кима, Анчарова и в известной степени Высоцкого. Несмотря на их определяющий вклад в развитие авторской песни в 60-е, одно их творчество не в состоянии исчерпать все многообразие массового песенного движения, вдруг родившегося на рубеже 50–60-х годов. Булат Окуджава прав, если брать в расчет всего-то неширокий круг московской интеллигенции, однако, кроме интеллигенции, был еще многомиллионный обманутый и угнетенный народ, который начал обретать свой собственный голос. Не только на московских кухнях родилась авторская песня, а в «чистом поле» на тяжелом подневольном труде и в дальнем изнурительном походе, на Воркуте и Колыме, в свинцовых потемках ГУЛАГа, где остались безымянными песни сгинувших авторов – «Идут на север срока огромные» или «Черные сухари». Так что не на кухнях ей и кончаться.

Вспоминаю, что около семи вечера 20 августа 1991 года, когда я стоял в цепи защитников Белого дома у Горбатого моста и передавал из рук в руки камни для баррикады, а по радио в очередной раз объявили об опасности штурма, ко мне подошел какой-то паренек и, внимательно посмотрев на меня, сказал: «Александр Моисеевич, это вы? Можно я встану рядом с вами?» Большего комплимента как автор я в жизни не получал.

Тот странный литературно-песенный жанр, возникший в советском обществе в период недолгой оттепели, многократно запрещавшийся властями и наряду с «самиздатом» породивший «магнитофониздат», предаваемый анафеме виднейшими поэтами и композиторами «в законе» за непрофессиональность, который получил не слишком точное название «авторской песни», невозвратно уходит из сегодняшней жизни и становится историей. Казалось бы, на первый взгляд все как раз наоборот, массовыми тиражами выпущены посмертно диски и книги столь одиозных некогда песен Галича, Высоцкого, Окуджавы и других авторов первого поколения. Вышедшая из подполья многотысячная армия «каэспэшников», уже не боясь строгих партийных и гэбэшных запретов, регулярно собирает свои шумные фестивали по всей стране – от Курска до Челябинска и Норильска. Снова полны концертные залы в Москве, Петербурге и других городах. Вышло даже учебное пособие по авторской песне для средней школы, написанное профессором Владимиром Новиковым. И все же что-то неуловимо изменилось. Главный в нашей стране фестиваль авторской песни памяти Валерия Грушина, также запрещавшийся ранее, который еще недавно собирал на берегу Волги под Самарой более 250 тысяч участников, сейчас распался на два противоборствующих

фестиваля, разделившего их участников из-за финансовых споров между «хозяйствующими субъектами». Смотреть на это грустно.

Как писали когда-то Ильф и Петров, автомобиль вначале изобрел пешеход, но про это быстро забыли. Рождение авторской песни связано было прежде всего с исполнением стихов под гитарный аккомпанемент, ее главными характерными чертами были поэтическая строка и доверительная задушевная интонация, сразу отличавшие ее от лживой и пошловатой официальной эстрады. Вот этого-то теперь почти и не осталось. С перемещением «авторской песни» от кухонных застолий и таежных костров на концертные эстрады на смену тихоголосым авторам, не слишком умело владеющим гитарой, быстро пришли солисты, дуэты и ансамбли, с профессиональными голосами и инструментами. То, что по инерции и недомыслию сегодня еще называют «авторской песней», давно уже, по существу, срастилось с эстрадой, отличаясь от нее, пожалуй, только более низким исполнительским уровнем, и интегрируется в беспощадную рыночную систему шоу-бизнеса.

В течение ряда лет мне довелось постоянно принимать участие в работе жюри самых разных конкурсов и фестивалей самодеятельной песни, и я не мог не обратить внимание, как необратимо меняется состав их участников. Все больше исполнителей и ансамблей, часто очень хороших. Все меньше поэтов, придумывающих мелодии на свои стихи, а уж хороших и того меньше. Не из кого выбирать. И дело не только и не столько в их физическом отсутствии, – вряд ли Россия оскудела талантами, сколько в невостребованности. Прежде всего изменилась сама эпоха, невозвратно уйдя вперед от наивных 60-х. Страна стала другой. Исчезла столь привлекательная запретность яростных обличительных песен Галича и Высоцкого, да и сами герои и антигерои этих песен переместились во вчера и стали предметом истории. Не потому ли так быстро забыли Галича?

Однако в глубочайшем кризисе не только бардовская, но и вся песенная культура в целом. Когда-то, в советское время, у нас была неплохая школа композиторов и поэтов-песенников, действительно понимавших, что такое лирика. Разве можно забыть, например, гениальную песню на стихи Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату»? Сейчас ничего подобного не существует. Зато появился так называемый русский шансон, который по сути своей – и не русский, и не шансон. Как правило, это псевдоблатная агрессивная пошлятина на грани фола. Мой друг поэт Игорь Губерман, знающий о колючей проволоке не с чужих слов, называет ее кратко: «Фальшак!» Такое впечатление, что кому-то хочется приучить слушателей к

романтике грабежей и воровства. Это – очень опасно.

Не так давно я предлагал руководству одного из федеральных телеканалов сделать программу, посвященную авторской песне. Мое предложение было отклонено с очень интересным обоснованием: «Авторская песня – это же духовняк! Духовняк не берем. Неформат».

То, что раздается сегодня с многочисленных эстрад под громкие звуки гитар под эгидой «авторской песни», тоже уже другая культура. Можно спорить, лучше она или хуже, но она другая и к литературе никакого отношения не имеет. Поэзия – дело тихое и интимное. Она так же отличается от эстрады, как любовь от секса. Можно прекрасно петь и оркестровать песни, но никакие децибелы, никакая аранжировка и режиссура не искупят убогости текста, как поэтической, так и смысловой. Совсем не гитарный аккомпанемент, а именно поэтическая строка является, по моему мнению, главной отличительной особенностью авторской песни. Она может звучать и под фортепиано (Вертинский, Кузмин), и под другие инструменты. Да и ведущие авторы поколения, положившего начало этому жанру – Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Юрий Визбор, Ада Якушева, Михаил Анчаров, Юрий Кукин и другие, прежде всего талантливые поэты.

Справедливости ради следует заметить, что в последние годы отмечается все же появление среди молодых авторов одаренных профессиональных поэтов, что внушает некоторую надежду на будущее. Можно назвать Александра Левина, Александра Щербину, Григория Данского, Ольгу Чикину и некоторых других. Так что не следует преувеличивать нынешний кризис авторской песни – время покажет. Лично я думаю, что, как не раз было в многовековой истории народной песни, за падением последует новый взлет.

В 2001 году в Москве при активном участии ведущих авторов Георгия Васильева, Алексея Иващенко, Сергея Никитина, Виктора Берковского и других был создан песенный проект «Песни нашего века». Хор из ведущих авторов под художественным руководством сначала Сергея Никитина, а позднее Виктора Берковского исполнял классику авторской песни – Окуджаву, Высоцкого, Кима, Берковского, Клячкина и других. За минувшие десять лет этот ансамбль приобрел огромную популярность, выступая как в России, так и за рубежом и вернув во многом утраченный интерес к авторской песне. За эти годы менялся состав поющих, но высокий художественный уровень, как самих отбираемых песен, так и исполнительского мастерства, всегда оставался неизменным. Мне неоднократно довелось выступать с ними и в

России, и за рубежом.

В последние годы ансамбль «Песни нашего века» выпустил несколько дисков, персонально посвященных творчеству уже ушедших из жизни бардов – Окуджавы, Визбора, Высоцкого, Берковского. Пару месяцев назад я случайно узнал, что они начали записывать диск с моими песнями. «Ребята, – сказал я братьям Мищукам, – я же еще живой!» На это они мне ответили: «Не волнуйтесь, – мы его еще не записали».

За линией рампы

По контракту, а чаще приватно,
Над холодной водою Невы,
Много лет я писал для театра,
Но писал понапрасну, увы.
В ту эпоху расцвета Союза,
Подгоняя к мелодии стих,
Для Ленкома писал, и для ТЮЗа,
И для многих театров иных.
Молодой, потому и не зоркий,
Режиссерский блюдя интерес,
То романсы, то песни, то зонги
Сочинял я для будущих пьес.
Худсовет и Горком Комсомола
В стародавние эти года,
В этих песнях искали крамолу
И ее находили всегда.
Никогда я тех песен не слышал,
Потому что опять и опять
Переклеивали афиши,
Чтобы автора песен убрать.
Все травой покрывается буйной,
И захлопнута в прошлое дверь.
Этих песенок чертова уйма
У меня накопилась теперь.
Нынче ставятся пьесы другие.
Но когда раскисаю совсем,
Донимает меня ностальгия
По спектаклям беспесенным тем.

На все заготовлены штампы,
Их выучит школьник любой.
И только за линией рампы
Еще существует любовь.

1966

«Театр» – неизменный трепет охватывает меня при этом

слове, возвращая в довоенные детские времена. Где-то году в 36-м родители впервые взяли меня, трехлетнего, в Мариинский театр на оперу «Сказка о царе Салтане». До сих пор помню свой восторженный страх и ощущение причастности к таинству, когда в полутемном еще зале, где опущен тяжелый занавес перед недоступной глазу сценой, раздаются негромкие и поэтому тоже таинственные звуки настраиваемых инструментов. И хотя я наизусть, конечно, знал к тому времени пушкинскую сказку, сердце сладко сжималось в предощущении грядущего чуда и праздничных и в то же время пугающих неожиданностей. Да и сам театр бывшей «Императорской оперы» с зеленым бархатом и тускло мерцающей позолотой лож, величественными, как гофмейстеры, капельдинерами, мягкими ковровыми дорожками, по которым не идешь, а неслышно и медленно, словно во сне, летишь, ослепительно зеркальным паркетом и высокими дверями фойе, раз и навсегда запечатлелся в моем воображении как храм всемогущего Бога, дворец самого высокого правителя на Земле – искусства.

До этого я бывал уже с отцом в Эрмитаже, Зимнем дворце и в Царском, но те дворцы были пустые, никем, кроме музейных экспонатов, не населенные, сами как бы из прошлого и нежилые, в чьих огромных зеркалах отражаются только испуганные лица случайных посетителей. Этот же дворец был живой, до отказа набитый праздничной публикой (тогда еще в театры старались одеться понаряднее), наполненный музыкой и светом, с огнистым пыланием электрических свечей в тяжелых старинных люстрах. Я ощущал себя Золушкой на балу. Помню свои долгие и безутешные слезы, когда в первую же блокадную зиму Мариинский был разрушен прямым попаданием бомбы. Глядя на черные руины под снегом, я навсегда, как мне казалось, прощался с этим сказочным миром.

В 45-м году, уже после возвращения из сибирской эвакуации, я снова попал с отцом в только что восстановленный Мариинский на оперу «Князь Игорь». И то же восторженно-религиозное чувство охватило меня. Так же незыблемо, как и перед войной, висели тяжелые портьеры занавеса, невозмутимо мерцало золото, таинственно звучали приглушенные скрипки. И я понял, что все спасено, что жизнь вернулась. До сих пор более всех других опер люблю «Князя Игоря». И не столько за половецкие пляски, сколько за то незабываемое ощущение возвращения к настоящей жизни после голода и неистребимого холода блокады, бесконечных болезней и унизительных тягот омской эвакуации и главного страха – не вернуться в Ленинград. Вероятно, именно с этого времени мне больше всего в театре нравится недолгий и

таинственный момент перед началом спектакля.

В классе шестом-седьмом, начав посещать абонементные концерты в Ленинградской филармонии и привязавшись к симфонической музыке, я несколько охладел к «прикладной» музыке оперы с ее вычурными и замедленными страстями, тем более что к этому времени сильно увлекся драматическим театром, чему немало способствовало мое открытие Большого Драматического на Фонтанке с еще молодой тогда труппой. Однако понятие «театр» неизменно вызывает у меня зрительный образ Мариинского оперного. Тогда он назывался «театром оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова». Потому вероятно, что злодейски убиенный ленинградский наместник весьма благоволил к балеринам.

Мое нищее мальчишеское воображение поражал в те годы и другой «академический» театр – театр драмы имени А. С. Пушкина, или Александринский, как называли его по старинке. Здание театра было возведено специально для Императорской драмы еще в середине прошлого века знаменитым Карло Джакомо Росси (в годы борьбы с космополитизмом и иностранщиной его именовали Карлом Ивановичем). Здесь, в отличие от Мариинского зеленого бархата, царил пурпур с золотом. При взгляде с балкона галерки дух захватывало от высоты. Да и труппу возглавляли артисты, чьим фамилиям предшествовали длинные перечни титулов и званий – «заслуженный, народный, орденоносец, лауреат Сталинской премии», и прочая, и прочая, и прочая. Но и без всяких титулов публика бурными овациями встречала появление на сцене «живьем» известных всей стране актеров, лица которых до мельчайшей черточки изучили мы на экранах нетопленых кинотеатров, в сотый раз с неизменным волнением пересматривая «Александра Невского», «Петра Первого» или «Ивана Грозного».

Оглядываясь назад и ностальгически вспоминая эти первые свои мальчишеские фильмы, с удивлением и горечью обнаруживаю, что именно они в гораздо большей степени, чем все остальное, подсознательно заложили в податливые души моего поколения цепкие семена имперского сознания, чьи живучие корни нелегко вырвать и теперь. Да и как не заложить! Такие замечательные художники, как Эйзенштейн и Пудовкин, такие замечательные актеры, как Черкасов и Симонов! Да и кроме них на сцене «Александринки» блистали в те поры такие звезды, как Толубеев, Скоробогатов, Корчагина-Александровская, Меркурьев, Александр Борисов и многие другие. Странно, но факт: в те времена – начало и середина 50-х годов, – вспоминаемые

большинством из нас чаще всего с неприязнью и страхом, в условиях, казалось бы, полнейшей несвободы и гонений существовали и в Москве, и в Ленинграде прекрасные, в высшей степени профессиональные театры старой школы, о которых люди моего возраста вспоминают теперь, вздыхая.

В Театре Комедии, например, располагавшемся прямо напротив Александринского, на другой стороне Невского, сразу за Елисеевским магазином, царствовал неподражаемый режиссер и художник Николай Павлович Акимов.

Покойный отец моей второй жены Анатолий Миронович Наль был в Москве известным театральным режиссером. Приехав в Москву в девятнадцатом году из Ташкента, из известной театральной студии А. А. Рустайкиса, он поступил в Третью студию МХАТ, где учился у Евгения Багратионовича Вахтангова и Михаила Чехова. Одновременно он успешно дебютировал как поэт. Его первая книга стихов «Стансы» вышла в Москве в 1924 году с предисловием Михаила Кузмина. Позднее он стал актером и режиссером только что образованного Вахтанговского театра. Первой женой Анатолия Мироновича была известная в тридцатые годы актриса Лариса Орочка, которая была значительно старше его, что, однако, не помешало ей оставить мужа и выйти снова замуж за еще более молодого человека. После этого Анатолий Миронович женился вторично на актрисе Нине Ивановне Сундаревой, которая была моложе него на шестнадцать лет.

Моя жена Анна родилась в сентябре 1942 года в Омске, куда тогда переехал в эвакуацию из Москвы Вахтанговский театр. У нас дома в Москве на стене красуются молодые портреты моего покойного тестя и тещи работы Николая Павловича Акимова, с которым они когда-то дружили. С ними соседствуют рисунки Михаила Чехова, карандашные наброски задников к вахтанговской постановке «Сирано де Бержерака» работы знаменитого театрального художника Рындина, акварельные рисунки Юрия Александровича Завадского и еще какие-то театральные картинки.

Вернемся, однако, в послевоенный Питер. В те годы в акимовском театре ставили Ибсена, Пристли и Ануя. До шварцевской «Тени» было еще не близко. Труппу украшали такие замечательные мастера старого поколения, как Вениаминов и Колесов, Панков и Юнгер, Дмитриев, Зарубина и молодой Олег Борисов. Однако главной любовью моих школьных и студенческих лет неизменно оставался Большой драматический театр имени Горького на Фонтанке, знаменитый БДТ. Его незабвенная старая гвардия во главе с еще молодым тогда

Г. А. Товстоноговым: Полицеймако, Казико, Лариков, Ольхина, Шарко, Стржельчик, Копелян, Трофимов, Луспекаев, Лебедев, Гай, позднее Басилашвили, Юрский, Лавров и многие другие.

Пьесы, конечно, ставились тогда всякие – от вполне конъюнктурных пьес типа «Русский вопрос» и «Четвертый» Константина Симонова или лавреневского «Разлома» до «Цены» или «Воспоминания о четырех понедельниках» Артура Миллера и, наконец, любимого мною «Эзопа» Фидегейро. Но какие неизменно блестящие сценические образы, какая мертвая тишина в переполненном зале! До сих пор с замиранием сердца вспоминаю неподражаемые рокочущие нотки великолепного баса Полицеймако в роли Годуна или Эзопа. С тех пор минуло много лет, однако и сегодня я не могу преодолеть мистического чувства зрительского преклонения перед актером, стоящим на подмостках. Приятельские и даже дружеские отношения здесь нисколько не помогают. Сколько ни пей вместе водки и ни хлопай друг друга по плечу, как снисходительно ни взирай на жалкое похмельное состояние своего приятеля, стоит ему выйти на сцену и, борясь с мучительной головной болью, приготовиться к первой реплике, и тонкая линия рампы непреодолимой границей тут же разделяет вас. Она оставляет тебя внизу, в темном переполненном зале, где все лица неразличимо одинаковы, а лик твоего недавнего собутыльника и друга, который только что сетовал тебе на измену жены и безденежье, выхватывается вдруг из мрака лучом прожектора, пущенным нетвердой рукой осветителя, и причисляется к лику святых.

И голос, прекрасный громовой его голос, безвозвратно утратив хнычущие застольные нотки, неспешно разворачивается где-то в ночном поднебесье балконов, чтобы через минуту грянуть выстрелом прямо тебе в сердце. Олег Даль и Владимир Высоцкий, Валентин Никулин и Михаил Козаков, Ефим Копелян и Владимир Рецептер, да мало ли кто еще. Дело не в их именах и даже не в них самих, а в Боге, одарившем их уникальным даром и подобно осветителю выхватившему их лица из житейской темноты.

Нет, не зря бытует старый театральный анекдот, связанный, как и множество других, с именем замечательной актрисы ушедшей эпохи Александры Александровны Яблочкиной. «Александра Александровна, Вы слышали? – наша молодая актриса Леночка замуж выходит». – «Какое счастье! За кого же, за актера?» – «Нет, не за актера». – «Тогда за режиссера?» – «Нет, и не за режиссера». – «Ну, тогда хотя бы за рабочего сцены или осветителя?» – «Нет, Александра Александровна» – «Какой ужас! Неужели из публики?!»

В незыблемости этой старой театральной иерархии я

убедился на собственном примере. В 1980 году в Москве, где я уже к тому времени прочно обосновался, торжественно отмечалось 80-летие старого вахтанговца, замечательного актера и педагога, заслуженного артиста СССР Дмитрия Николаевича Журавлева, особо прославившегося своим уникальным чтением пушкинских стихов. У каждого талантливого чтеца – свой Пушкин. Пушкин Журавлева – восторженный, влюбчивый, солнечный романтический юноша, постоянно поражающийся и радующийся праздничности и многообразию окружающего мира. Дмитрий Николаевич много лет дружил с отцом моей жены, соседствуя с его семьей в старом доме на улице Вахтангова, где размещается Щукинское театральное училище. Унаследовав эту дружбу, мы также подружились с его дочерьми – Машей и Натальей.

Юбилейный вечер, на который нас с женой, конечно, пригласили, проходил в мемориальном музее А. С. Пушкина на Хрущевском переулке. Узнав, что меня включили в список выступающих, я заблаговременно написал подобающую этому торжественному событию поздравительную оду, которую и зачитал со сцены под одобрительные аплодисменты небольшого переполненного зала. По окончании официальных поздравлений и концерта нас пригласили за сцену на небольшое застолье, где присутствовали старые и именитые вахтанговские актеры. Мы примостились в конце стола, и я был немало польщен этим приглашением в «круг избранных», наивно приписывая это своей поэтической известности. Длилось это, однако, недолго. «А кто этот молодой человек?» – неожиданно и громко спросил, указав на меня пальцем, возглавлявший стол Владимир Этуш. «Это зять Анатолия Мироновича», – ответили ему. «А, ну тогда ничего, – милостиво улыбнулся Этуш, – пусть сидит».

Знакомство мое с актерской жизнью началось где-то, кажется, в конце 50-х годов, когда я подружился с молодыми актерами ленинградского ТЮЗа, руководимого тогда Зиновием Яковлевичем Корогодским, – Виктором Федоровым и Александром Хочинским. Виктор прекрасно владел гитарой, и они вместе с Сашей делали концертную программу из «бардовских» песен, куда включили несколько моих. Я, пожалуй, впервые тогда услышал свои песни со стороны в профессиональном исполнении. Надо сказать, что за долгие годы у меня сложилось твердое предубеждение против исполнения авторской песни профессиональными солистами эстрады или певцами. Даже при их искреннем желании спеть как можно лучше и ближе к авторскому варианту из этого, как правило, ничего решительно не получается. Мешают либо безвкусная и трескучая

«профессиональная» инструментальная и вокальная аранжировка, либо совершенно неуместная мимика и жестикуляция, либо, наконец, желание «оттенить» голосом наиболее «эмоциональные» места в песне. Слов, которые они поют, солисты эти как бы не слышат (о рифмах и ритме уже и говорить не приходится). Слышат они только свой собственный любимый голос. Им ничего не стоит поэтому пропустить слово или переставить его. «Какая разница? – искренне удивляются они. – Это ведь не так уж важно». И главное даже не в текстовых ошибках и неряшливости, а в неистребимой интонационной фальши эстрадного исполнения, генетически укоренившейся в нашей советской эстраде за десятилетия лжи и притворства.

Мне, например, неоднократно довелось быть свидетелем, как вполне незаурядный и неглупый артист Ленконцерта Альфред Тальковский, с сильным и красивым голосом, всей душой любящий Высоцкого, Галича и Окуджаву, сидя за столом или у костра, пел их песни хорошо и точно, безо всякой аффектации. Стоило ему, однако, надеть концертные туфли и костюм и выйти на сцену, как он преображался. Грудь у него выгибалась колесом, руки сами расходились в стороны вверх на «патетических» строчках, а лицо и голос неостановимо начинали «изображать». Сколько он с собой ни воевал, этого «синдрома сцены» преодолеть не мог. Что же говорить о других? Справедливости ради следует заметить, что в последние годы, после того как он сам начал писать песни и стал постоянным участником разного рода песенных фестивалей, он и чужие песни поет более естественно.

Помню, как при первом нашем знакомстве в начале 60-х буквально плакала Новелла Матвеева, жалуясь на то, что не в состоянии запретить петь свои песни вполне одаренной эстрадной артистке Кире Смирновой. Мне самому, кстати сказать, песни Новеллы Матвеевой в исполнении Киры Смирновой поначалу нравились, а авторское исполнение – не очень. Но уже буквально на второй раз, прослушав песни в исполнении Новеллы, я уже не мог их воспринимать ни в чьем другом исполнении. Да и сам я, услышав впервые в 62-м году в Северной Атлантике во время плавания на «Крузенштерне» по радио свой «Снег» в прекрасном профессиональном исполнении Иосифа Кобзона, поначалу расстроился, хотя и был, видимо, неправ. Во всяком случае, по прошествии полувека я снова услышал эту песню в его записи, и она мне понравилась.

Другое дело – драматические актеры. Воспитанные на звучащей литературе, они генетически способны понимать и чувствовать каждую строку поющихся стихов. Отсюда их

бережное отношение к слову и его звучанию. Кроме того, они приучены петь под гитару, что тоже немаловажно. Наконец, драма, в отличие от эстрады с ее ширпотребом на случайную и невзыскательную публику, учит мере скупого, но точного сценического рисунка без фальшивой аффектации и перебора. Артисты драмы, в отличие от эстрадных, приученных петь что попало, как правило, обладают литературным вкусом и поют только то, что им самим нравится. Поэтому я люблю, когда поют драматические актеры.

В свете этого представляется неслучайным тот факт, что многие профессиональные драматические артисты сами стали литераторами и авторами песен. Не говоря уже о Владимире Высоцком, в их число вошли такие известные актеры, как Леонид Филатов, Владимир Рецептер, Вениамин Смехов, Людмила Иванова, Михаил Козаков и многие другие. Это «перетекание» из одной смежной области искусства в другую еще раз показало, что многие, подчас неожиданные открытия совершаются в наши дни на стыке не только смежных наук, но и творческих профессий. Еще в Ленинграде в конце 60-х, подружившись с Владимиром Рецептером, я отчетливо замечал, как его знаменитый в те поры моноспектакль по «Гамлету» буквально подталкивал его к собственным стихам:

И кончился Шекспир, который классика,
И начался Шекспир, который жизнь.

Помню, в начале 70-х Володя пригласил меня на свою премьеру пушкинского «Разговора книгопродавца и поэта». Усадив меня на заранее указанное место в десятом ряду, он весь спектакль с текстами от книгопродавца к поэту обращался ко мне. Я краснел и вздрагивал. Мне казалось, что на меня оборачиваются.

Помню, поздним летним вечером, спускаясь по ступенькам в подземный переход на станции метро «Невский проспект», я неожиданно встретил поднимавшихся мне навстречу двух знакомых актрис Ленинградского драматического театра – Женю Власову и Аллу Михайлову. Одна из них несла в правой руке тяжелый мужской портфель, а другая в левой мужскую шляпу. А между ними, крепко подхваченный под мышки, волочился носками ботинок по ступеням, уронив вниз лысую голову с редкими прямыми волосами, какой-то маленький человечек. Увидев меня, мои приятельницы радостно развели руками, отчего отпущенный ими спутник упал, негромко и глухо ударившись лысиной о ступеньку. «Что вы делаете?» – испуганно заорал я. –

«Как что? – широко улыбнувшись и дохнув на меня коньячным перегаром, ответили они. – Роланчика в Москву провожаем». Они перевернули вверх лицом неподвижно лежавшего на ступеньках человека, и я с ужасом узнал в нем Ролана Быкова.

В середине 60-х из Москвы в Ленинград приехал близкий приятель Елены Кумпан молодой режиссер Анатолий Силин, поначалу, как и мы, получивший геологическое образование, а затем бросивший геологию и пошедший осветителем к Б. И. Равенских в Московский театр драмы имени А. С. Пушкина (он его называл театром имени Дантеса). Высокого роста, шумный и контактный, с живыми насмешливыми глазами и огромной черной бородой, заглушающий всех своим громовым голосом, он сразу же стал душой литературных и театральных компаний. Надо признать, что с его прямотой и веселым сквернословием он внес струю свежего мусорного московского ветра в наши «петербургские» сборища с их филармоническими беседами и церемонными «ахами» об утраченном Серебряном веке. Взятый на договора режиссером в Ленинградский театр Ленинского комсомола, Анатолий довольно быстро стал своим не только в самых разнообразных театральных и околотеатральных кругах, но и в обкоме комсомола.

В то время в Ленинграде Г. А Товстоногов на сцене театра им. Ленинского комсомола блестяще поставил спектакль «Зримая песня», куда наряду с несколькими песнями Булата Окуджавы вошла и одна моя песня «Под стенами Бреста», которую исполняли актеры Юрий Хохликов и Виктор Костецкий. Несколько позже они вдвоем сделали целую концертную программу по моим песням. Юра Хохликов и сам писал песни, в том числе и довольно интересные. Я до сих пор, например, помню его прекрасную песню «Там по утрам грачиные базары». Уже позднее, в 1972 году, он придумал мелодию к моему стихотворению «Тени тундры», и получилась песня, которая так теперь и существует с его мелодией.

Толя Силин, окрыленный успехом товстоноговской постановки и модой на авторскую песню, решил поставить в конце 1967 года на сцене Дворца культуры им. Ленсовета на Петроградской спектакль по моим песням силами актеров театра Ленинского комсомола. В спектакле были заняты многие ведущие артисты театра. «Меня» играл Виктор Костецкий. Автором и режиссером-постановщиком спектакля конечно же был сам Силин. Полностью доверившись ему, я не был ни на одной репетиции, вполне удовлетворенный его насмешливыми громовыми заявлениями: «Да что ты в этом смыслишь? Только испортишь мне все».

В день спектакля огромный зрительный зал Дворца был набит битком. Меня Силин запихнул в директорскую ложу, дав распорядителям строгий наказ, – до конца действа на сцену не выпускать. А на сцене творилось что-то невообразимое. Спектакль состоял из трех актов. В начале первого акта на вращающемся кругу перед задниками, изображавшими Крайний Север, тундру и тайгу, выезжала, сидя за столом с непрерывно звонящим телефоном, здоровенная деваха Люня Елисеева, игравшая мою секретаршу, отвечающую на постоянные телефонные звонки. Звонили исключительно мужчины: «Срочно по делу», «Старый друг из Игарки», «Летчик Полярной авиации, мы с ним летали вместе и даже падали», «Геологи из Норильска». «Нет его, нет, – отвечала всем секретарша. – Как где? В очередной экспедиции, в Арктике». Так начинался каждый акт.

В начале второго акта декорациями служили разного рода западные рекламы с обнаженными женщинами и объявления, мигающие разноцветными лампочками, а по телефону звонили уже не мужские, а женские голоса: «Как кто спрашивает? Старая знакомая», «Давняя подруга», «Я по работе, вы ничего такого не думайте», «Я только на один день приехала, мне надо обязательно с ним встретиться». «Нет его, нет, – по-прежнему терпеливо отвечала Елисеева. – Как где? В очередном плавании, конечно».

В третьем акте раздавались бесчисленные звонки от представителей организаций и клубов с приглашением выступить, а усталая секретарша раздраженно отвечала: «Да нет же его, нет, не звоните! Нет, не в экспедиции, нет, не в плавании. Как где? На каком-нибудь концерте поет, конечно, что он еще теперь делает?»

Мои многочисленные экспедиционные «байки», рассказанные в дружеском застолье, Силин безжалостно вынес на сцену. В истории с песней «Ах, не ревнуй меня к девке зеленой» угнетавший меня перед этим замполит, которого играл прекрасный актер Сергей Иванов, после получения от адмирала разрешения на эту песню, сам выстраивал матросов и лично дирижировал ее исполнением. На фоне колючей проволоки и сторожевых вышек Юрий Хохликов отлично пел запрещенную тогда «Испанскую границу». Исполнение лихой песни «Моряк, покрепче вяжи узлы» сопровождалось умопомрачительным твистом, который откалывали четыре тщательно отобранных Силиным девицы в черных колготках и туго обтягивающих тельняшках. Уж этот-то номер Толя поставил с большим знанием дела. Недаром он любил цитировать фразу, сказанную как-то его наставником Б. И. Равенских: «Если я не пересплю с актрисой,

играющей Джульетту, откуда я знаю, как должен вести себя Ромео?»

В целом же весь спектакль великолепно провалился. Исполнение артистами каждой очередной песни зал встречал дружным свистом и топотом и требовал «самого». Меня, однако, держали крепко. Надо отдать должное профессиональному мужеству актеров, которые в такой «антисанитарной» обстановке ухитрились доиграть спектакль до конца. По окончании спектакля я на ватных подгибающихся ногах, держась то за сердце, то за опущенный занавес, выбрался на сцену и чужим дрожащим голосом заявил, что ко всему увиденному никакого отношения не имею. Я испытывал жгучий непреодолимый стыд и перед зрителями, вынужденными два с половиной часа смотреть этот лихой и беспардонный винегрет, и перед усталыми актерами, репетировавшими по вечерам в недолгое свое свободное время, и перед собратьями по перу, не слишком, видимо, поверившими моим горячим заверениям в непричастности. Так или иначе, история эта на всю жизнь отбила мне охоту делаться героем театральных постановок.

Что же касается Толи Силина, то за годы его работы в Ленинграде, несмотря на грандиозные замыслы и интересные заявки, ему так ничего серьезного поставить и не удалось. Вернувшись в Москву, он руководил молодежными студиями, преподавал в Щукинском. Ученики его обожали. Именно для его антивоенных спектаклей, поставленных в конце 60-х в ДК Московского авиационного института, я написал песни «Американских подводников» и «Американских летчиков», позднее взятые на вооружение нашими подводниками и летчиками. Толя вступил в партию и вместо театральных спектаклей начал ставить разного рода комсомольские и партийные фестивали, парады и съезды. Уже в 80-е годы за постановку то ли Всемирного фестиваля молодежи, то ли Олимпийских игр в Москве он стал лауреатом Государственной премии. Одно время он увлекался идеей уличных театров и даже писал об этом.

Переехав в 1972 году в Москву, я практически перестал постоянно общаться с питерской актерской компанией, вызывающей теперь острые ностальгические воспоминания. Теперь она распалась, – люди состарились, разъехались, стали понемногу умирать. Ушел из жизни Сергей Иванов. В 1993 году на моем юбилейном вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала выступал Саша Хочинский, ставший одним из ведущих актеров Питера. Да и не только Питера. Чего стоит, например, его замечательная актерская работа в любимом мною фильме

«Бумбараш» с песнями Юлия Кима и Владимира Дашкевича, где он прекрасно играет цыгана и замечательно поет в дуэте с Валерием Золотухиным! На юбилейном вечере Саша пел песню собственного сочинения, написанную на мои стихи, – «Не разбирай баррикады у Белого дома». В марте 1998 года мы должны были с ним вместе выступать в том же зале на вечере, посвященном юбилею Александра Володина, но он на вечер не пришел. Несколько часов спустя выяснилось, что он внезапно умер, упав на улице, от неожиданного сердечного приступа. В 1999 году после тяжелой болезни скончался Юрий Хохликов.

Где-то с середины 60-х я впервые начал писать песни для театра. Начало этому положил молодой в те поры ленинградский режиссер Владимир Воробьев, поставивший в театре Ленинского комсомола спектакль по повести Онджея Брихта «Дансинг в ставке Гитлера», опубликованной незадолго перед этим в журнале «Иностранная литература». Сложность моей задачи в этом спектакле состояла в том, что я должен был писать «рыбу» на заданные довольно сложные ритмические мотивы современных западных песен, в основном в стиле «рок». С большим трудом и напряжением я слепил какие-то тексты, по десятку раз прокручивая на магнитофоне записи мелодий, и понял, что занятие это мне не по силам. Песни, однако, были написаны, и спектакль с большим успехом шел целый сезон, собирая аншлаг, пока в один прекрасный день не выяснилось, что «социалистический» писатель Онджей Брихт стал невозвращенцем и живет теперь на «враждебном Западе». Спектакль, конечно, тут же сняли.

Вообще с авторами пьес мне стало не везти с самого начала. Ранним летом 1968 года весьма популярный когда-то Андрей Петрович Тутышкин (кто не помнит «Соломенную шляпку»?), незадолго перед этим назначенный главным режиссером театра Ленинского комсомола, решил поставить спектакль по повести молодого писателя Владимира Войновича «Два товарища», напечатанной в «Новом мире», еще сохранявшем свою «твардовскую» независимость. Мне были заказаны песни к спектаклю. Помню жаркий июльский день и огромный, но душный кабинет главного режиссера, куда я явился показать Андрею Петровичу только что написанную для будущего спектакля песню «Друзья и враги». В это время знаменитая и недолгая «Пражская весна», разбудоражившая весь «соцлагерь», уже не давала покоя Суслову и другим высокопоставленным идеологам.

Выслушав мою песню, Тутышкин, бывший, как выяснилось, хроническим сердечником, немедленно проглотил таблетку

нитроглицерина, вытер вспотевшую лысину большим фуляровым платком, и, с неожиданной для своего большого и грузного тела быстротой выскочив из-за старинного еще «департаментского» стола с резными дубовыми украшениями, начал махать на меня платком и выкрикивать тонким женским голосом: «Вы что, совсем рехнулись? Что вы мне тут понаписали? Хотите, чтобы у нас было как в Чехословакии? Не позволю!» Песня, естественно, была тут же забракована, я как автор – тоже. До вторжения наших танков в Чехословакию оставалось чуть более месяца.

Наших пыльных дворов мечтатели,
Вспоминаю вас я,
По игре в футбол – неприятели
И по партам – друзья.
Но не знаю я тем не менее,
От каких же шагов
Начинается разделение
На друзей и врагов.

Где-то примерно в то же время Владимир Воробьев, ставший впоследствии главным режиссером Ленинградского театра Музкомедии, предложил мне написать песню к планировавшейся им тогда постановке спектакля «Бег» по обожаемому мною Булгакову. Я тут же с большой радостью написал песню «Романс Чарноты», которая, однако, в спектакль тоже не попала. И не только в спектакль. Даже будучи уже через много лет в 1984 году опубликована в моей третьей книге стихов «Берег», вышедшей в Москве в издательстве «Советский писатель», песня эта была «исправлена» не дремлющей цензурой. Тоскующий по утраченной России Чарнота поет:

Не лучше ли с «Чекой»
Мне было бы спознаться, —
К родной земле щекой
В последний раз прижаться?

Бдительный редактор переделал «крамольные» строки так:

Не лучше ли с чекой
Гранатною спознаться?

Тогда же, в конце 60-х, я написал пару песен для спектакля по

пьесе Алексея Толстого «Заговор императрицы» о Распутине, которую должен был ставить главный режиссер Ленинградского драматического театра Я. Хамармер. Надо ли повторяться, что песни мои в спектакль не вошли?

В 1972 году на студии «Ленфильм» был запланирован кинофильм о Петре I, приуроченный к трехсотлетию со дня его рождения. Поначалу предполагалось отмечать это событие как всенародный праздник. Еще бы – великий преобразователь Земли Русской, основатель города! Мне была заказана песня для исторического кинофильма, которую, по замыслу режиссера, поют строители петровского флота – крепостные мужики. Прочитав сценарий, я тут же написал песню, однако режиссеру она не понравилась. «Унылая песня, упаднические, – заявил он. – Такая песня не годится, придется написать другую. Чтобы попусту время не тратить и бумагу не изводить, послушай внимательно, что мне надо, а еще лучше – запиши. Значит, так, – первые титры фильма идут на фоне мачт. За кадром – стук топора. Устье Невы. Начало восемнадцатого века. Ты должен написать песню строителей Российского флота, то есть, как ты сам должен понять, русскую народную песню начала восемнадцатого века. Песня эта у меня главная, идет через весь фильм, поэтому в ней надо точно отобразить все, что мне нужно. Вот это обязательно запиши, а то забудешь.

Во-первых, в песне надо отразить технологию строительства парусного флота. Как – это уже твои проблемы. Во-вторых, – заявил режиссер, критически оглядев меня, – флот строили православные мужики, а не басурманы вроде тебя. Значит, что-то надо сказать и про это: мягко, но положительно. В-третьих, строили-то ведь крепостные. Значит, надо показать тяжкий гнет крепостничества во всей его неприглядности. А в-четвертых – самое главное. Я вот тут твой первый вариант послушал – он унылый, да и другие твои песни какие-то минорные. Честно говоря, я не уверен, что ты вообще с этой задачей справишься. Так вот, песня должна быть не минорная, а лихая, озорная, хулиганская, чтобы каждому сразу стало ясно, что придумали ее настоящие живые мужики в восемнадцатом веке, а не дохлый интеллигент в двадцатом, понял? Но это еще не все. Через озорство и разухабистость песни на полном серьезе должны просматриваться национальное самосознание и гордость народа, впервые выходящего на морской простор. Да, чуть не забыл! Ведь была война со Швецией, – тоже не забудь отобразить!»

Я ушел от требовательного режиссера в унылом настроении, будучи совершенно уверен, что такого числа поставленных им условий в одной короткой песне мне никак не выполнить. Песня

ведь должна быть короткой, а, чтобы набить ее таким количеством информации, никаких мегабайт нехватит. Мало-помалу, однако, сам увлекшись собственной стилизацией, я все-таки слепил «Русскую народную песню начала XVIII века» с лихим припевом:

Православный глянь-ка
С берега народ,
Погляди, как Ванька
По морю плывет.

Но тут, как назло, документы о всенародном праздновании трехсотлетия со дня рождения Петра Великого попали на утверждение к «самому» товарищу Л. И. Брежневу. «Поставили меня в неловкое положение, – прошепелявил генсек, удивленно подняв кустистые брови. – Не доложили, что Петр, оказывается, был царь. Ну, а раз царь, значит тиран, эксплуататор». И всенародный праздник отменили, а заодно – и фильм. Вместо него к славной годовщине была экранизирована известная оперетта «Табачный капитан». А песня так и осталась с той поры на долгие годы как беспризорная и невостребованная «русская народная песня начала XVIII века».

Прошли годы и даже десятилетия. Поменялась власть. И весной 1996 года меня неожиданно срочно вызвали из Москвы в мой родной Питер в связи с празднованием трехсотлетия основания Российского флота. Как раз к этому времени питерская фирма «Мелодия» выпустила приуроченную к этой торжественной дате аудиокассету моих морских песен под названием «Моряк, покрепче вяжи узлы», где была записана и эта песня. И не просто записана под гитару. Творческой фантазией и стараниями талантливого звукорежиссера Виктора Динова и моего друга и неизменного питерского аккомпаниатора Михаила Кане песня эта превратилась в настоящий музыкальный спектакль. В ней лихо звучали и балалайки, и флейта, и барабан, и русские народные темы «Ах, вы, сени мои сени». Стреляла настоящая пушка. Явственно слышался звук открываемой бутылки. А в конце песни, где речь шла уже о «национальной гордости народа, впервые выходящего на морской простор», грозно и победно громыхали медные трубы.

Главное торжественное заседание и праздничный концерт после военно-морского парада на Неве происходили в самом большом в Питере киноконцертном зале «Октябрьский» на Лиговке, неподалеку от Московского вокзала. Зал, вмещавший около четырех тысяч человек, был набит битком. Первым с

приветственным словом выступил тогдашний премьер Черномырдин. Вторым – главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Громов. Третьим – петербургский губернатор Яковлев. Четвертым на сцену выпихнули меня. Выяснилось, что за триста лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвященной строительству русского флота. А дальше было вот что. Стоя на огромной сцене, мы с Михаилом Кане, державшим в руках гитару, старательно пели в отключенные микрофоны. А в десятках мощных динамиков оглушительно гремела на весь зал фонограмма записи с описанным выше многочисленным музыкальным и пушечным сопровождением. Кроме того, по указанию главного режиссера всего праздничного действа, во время исполнения песни за нашими спинами на гигантском белом заднике сцены, как на экране, демонстрировались с выключенным звуком кадры из старого кинофильма «Петр Первый», где русские берут на абордаж шведский фрегат при Гангуте. Эффект был потрясающий.

В целом же, оглядываясь назад, я с удивлением замечаю, что на протяжении многих лет, сколько раз ни пытался я писать песни для театра и кино, никогда из этого ничего не получалось. Как правило, все песни безоговорочно отвергались заказчиками, тем более что я, не в пример опытным авторам, не заботясь о предварительном заключении договора, писал обычно песни, полагаясь на достаточность устной договоренности с режиссером и радуясь самой возможности работать для театра.

Кроме того, в отличие от таких блестящих авторов, работающих для театра и кино, как, например, Юлий Ким, с его чутким музыкальным ухом пересмешника и завидным талантом буквально перевоплощаться в сценического героя, я всегда писал песни, сколько ни старался этого избежать, как бы от себя, но поставленного в ситуацию героя. А это совсем не одно и то же. В результате у меня набралось за эти годы столько песен, не вошедших в разные спектакли, что из них можно составить целый концерт. И все-таки я благодарен всем режиссерам, заказавшим когда-то мне песни и отказавшимся от них, за саму возможность прикоснуться к волшебному миру театра, ощутить свою причастность к нему.

Кажется, единственным театром, действительно использовавшим написанные мною песни для спектакля, не считая Владивостокского ТЮЗа, режиссер которого Александр Белинский взял в свое время несколько моих песен для своей постановки, стал Ленинградский молодежный театр на Фонтанке. Возник он в 1980 году на основе театральной студии, существовавшей при Ленинградском институте инженеров

железнодорожного транспорта. Возглавил его руководитель студии, весьма талантливый режиссер со сложным и неуживчивым характером Владимир Малыщицкий. Знакомство мое с этим театром началось в 1980 году, когда я случайно, благодаря моей тогдашней знакомой Алле Михайловне Решкиной, попал на спектакль по повести Александра Кондратьева «Отпуск по ранению», поставленный Малыщицким. Мне понравились и сам спектакль, и скупая строгая обстановка театрального зала с подмостками посередине наподобие шекспировского «Глобуса», и нищенский реквизит, и молодые вдохновенные актеры, среди которых выделялась яркой индивидуальностью Нина Усатова. Наконец, сам Малыщицкий, вечно воюющий с кем-то и чем-то молодой режиссер с фанатичным блеском глаз, запавших на желтом от постоянного недосыпания лице. Поэтому, когда я получил от Малыщицкого предложение написать песни для его нового спектакля по повести любимого мною исторического писателя Юрия Давыдова «На скаковом поле возле бойни», посвященной трагической судьбе народовольцев, казненных в Одессе в конце XIX века, то немедленно согласился.

Инсценировку по повести, получившую название «Если иначе нельзя», сделал мой давний приятель по литобъединению Глеба Семенова, талантливый ленинградский литератор Яков Гордин. Главный герой пьесы, вполне реальная личность, Дмитрий Лизогуб, знатный потомственный украинский дворянин, погибает на виселице вместе с другими членами партии «Народная воля» за то, что отдает им свое огромное состояние. Вешает его палач Иван Фролов, тот самый, который незадолго перед этим повесил Софью Перовскую и Андрея Желябова. А утверждает («конфирмует») смертный приговор старый друг родителей Лизогуба, герой Севастополя и Плевны, генерал-губернатор Одессы – Э. И. Тотлебен.

Мне довелось написать семь песен для этого спектакля, три из которых поются от лица Лизогуба. Только через год, когда спектакль уже был поставлен, я узнал, прочитав биографию Дмитрия Лизогуба, что он и в самом деле писал песни. Среди песен, написанных мною от лица Лизогуба, была песня «О губернаторской власти», весьма актуальная в 1981 году для Ленинграда, где самовластно правил тогда печально известный Григорий Васильевич Романов – вдохновитель и организатор бездарного и преступного строительства ленинградской дамбы. Во время спектакля Малыщицкий посадил группы актеров в разные места зрительного зала, и когда на сцене звучал припев:

Губернаторская власть – хуже царской,
Губернаторская власть – хуже царской,
Губернаторская власть – хуже царской, —
До царя далеко, до Бога высоко, —

он как бы подхватывался в зале. Эффект был большой – и зрители, и актеры прекрасно понимали, о чем идет речь. Еще живой тогда Г. С. Семенов, придя на спектакль, недовольно заметил, что не следует дразнить власти и провоцировать их на репрессии. Времена действительно были суровые: охотники за ведьмами в каждой, даже самой невинной строке старались найти потаенный смысл. Помню, за год перед этим я написал песню «Наводнение» для ленинградского телефильма «Ночь в сентябре», где излагается какая-то вполне заурядная детективная история на фоне ленинградского наводнения. Песню должен был петь Саша Хочинский, игравший в этом фильме главную роль. Худсовет объединения «Экран», однако, песню «зарубил» с такой формулой обвинения: «Вызывает неконтролируемые ассоциации».

Что мы только за век свой не видели,
Городские привычные жители:
И чужие в ночи истребители,
И разрушенный бомбою дом.
Но в ненастную пору осеннюю
Может в город прийти наводнение,
И суровое это явление
Переносим мы всё же с трудом.

Так или иначе, спектакль «Если иначе нельзя» с моими зонгами вполне благополучно просуществовал два театральных сезона. Песня же о губернаторской власти получила довольно большой резонанс в некоторых советских «губерниях», возможно, из-за «неконтролируемых ассоциаций».

Поздно ночью мы возвращались из театра в одном такси с драматургом Борисом Голлером. «Вот для кого попало песни пишешь, – с неожиданной обидой заявил он, – а вот нет чтобы для моих гениальных пьес что-нибудь написать!» – «Да нет, что ты, – смутился я, – давай попробуем». – «Старик, – оживился он, – у меня сейчас как раз Корогодский пьесу о декабристах ставит. Только не о них самих, а о братьях, кадетах там, гардемаринах разных, которые на Сенатскую выйти не смогли, а были рядом. Я и пьесу так назвал «Вокруг площади». Ты меня понял?» Вдохновленный этим ночным разговором, я на следующий же

день придумал песню «Около площади», которую Корогодский «на дух» не принял, возможно также из-за «неконтролируемых ассоциаций».

Мысли горячие, мысли отважные,
Мысли преступные.
Вот она – рядом, доступная каждому
И – недоступная.
Днями-неделями выйти не смели мы, —
Время нас не щадит.
Вот и остались мы, вот и состарились
Около площади.

В связи с этим вспоминается другая история, связанная с Корогодским, относящаяся уже к году 84-м, когда, оказавшись в Питере вместе с моим другом известным историком Натаном Эйдельманом, я попал за компанию с ним в ТЮЗ на премьеру пьесы Семена Злотникова «Два пуделя». Сюжет пьесы я не упомню, так как собачки, выведенные на сцену, были самые настоящие, живые, и публику более всего волновало, задерут они ногу или нет. По завершении премьеры за широкой спиной Эйдельмана я попал в кабинет главного режиссера, где Зиновий Яковлевич Корогодский в честь именитого московского историка широким жестом извлек из шкафа бутылку армянского коньяка. «Не хочет Городницкий с нами работать, – разливая коньяк по рюмкам, с деланой обидой пожаловался он Эйдельману, – ни разу для нас ничего не написал». – «А что вы сейчас ставите?» – поинтересовался я. «Как что? Новый спектакль о народовольцах и убийстве Александра Второго». – «Послушайте, – вскинулся вдруг Эйдельман, – да ведь у него же есть превосходная песня специально для вас. Ну-ка, Саня, спой». И я сдуру прямо в кабинете спел незадолго перед этим написанную песню «Ах, зачем вы убили Александра Второго?». Корогодский преобразился. Улыбка на его лице сменилась выражением сильнейшей тревоги. «Это провокация, – неожиданно закричал он, заламывая руки. – У меня вот тут, – стал он тыкать острым пальцем в угол, – и тут, и сверху, всюду подслушивающие устройства! Меня подсиживают все время, меня снять хотят, и ты туда же?» Коньяк со стола немедленно исчез, и недовольный Эйдельман заявил мне: «Больше тебя с собой в приличное общество брать не буду». Вскоре после этого Корогодского действительно «подсидели», но уже не из-за песен.

Как пошло, так и вышло:

неустройства и войны,
Пулеметные вышки
и крики конвойных,
Туча черная пыли
над колонной суровой…
Ах, зачем вы убили
Александра Второго?

Что же касается Молодежного театра, то взбодренные успехом спектакля «Если иначе нельзя» Владимир Малыщицкий и его тогдашний завлит Саша Ласкин решили сделать спектакль с «зонгами» по нашумевшему в то еще вполне застойное время роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Я в ту пору этим романом был очень увлечен и тут же принялся писать песни для нового спектакля. Всего были написаны три – песня о Буранном полустанке, песня манкурта и песня о дороге, которая, по режиссерской идее, должна была стать заглавной. Все как будто шло хорошо. Песни, одобренные режиссером и завлитом, уже были записаны на фонограмму для звучания в спектакле, определен был день премьеры, и по всему городу были расклеены афиши нового спектакля с указанием «Песни Александра Городницкого». Однако буквально за неделю до премьеры Малыщицкий и Ласкин начали прятаться от меня, афиши в городе были спешно заменены другими уже без моей фамилии, а песни из спектакля были выброшены без каких бы то ни было внятных объяснений. Театр кивал на цензуру, цензура – на театр. Поскольку были сняты все песни, а не только «Песня о дороге», которую можно было упрекнуть в «идейной невыдержанности», причины этого так и остались для меня загадкой. Саму же «Песню о дороге» действительно долгое время нигде не публиковали. Начиналась она такими строчками:

Небеса ли виной или местная власть, —
От какой, непонятно, причины,
Мы – куда бы ни шли – нам туда не попасть
Ни при жизни, ни после кончины.

Услышав ее как-то случайно в застолье, тогдашний замдиректора по режиму нашего Института Океанологии, Виктор Иванович Волокитин, полковник КГБ, дружески похлопав меня по плечу, сказал с улыбкой: «Правильно, Саня, песню твою запретили, – она с душком». Вообще, с замами по режиму мне везло почти так же, как и с авторами пьес. Буквально через год

новый наш «режимник», тоже, конечно, полковник, – коренастый и плотный, с густыми вьющимися волосами, низким лбом римлянина и густым румянцем постоянно пьющего человека, вызвал меня к себе в кабинет. Закрыв за мной тяжелую бронированную дверь, он достал из такого же бронированного сейфа толстую папку с какой-то перепиской. На одной из бумаг в правом верхнем углу красовался гриф «совершенно секретно». Рядом с папкой он неожиданно положил извлеченный из того же сейфа уже знакомый мне номер красочного журнала «Наука в СССР», печатавшегося на четырех языках и рассчитанного на заграницу. Как раз в этом номере были опубликованы две мои научно-популярные статьи и стихи. В числе опубликованных было стихотворение «След в океане». «Вот, полюбуйтесь, это ведь ваши стихи?» – сунул он мне под нос раскрытый журнал. На открытой странице жирным красным карандашом были подчеркнуты несколько строк из этого стихотворения:

Ученые немало лет
Гадают за закрытой дверью,
Как обнаружить этот след,
Чтоб лодку выследить, как зверя.
Среди безбрежной синевы
Их ожидают неудачи,
Поскольку нет следа, увы,
И нет решения задачи.

«Так вот, – внушительно произнес мой собеседник, налюбовавшись моим недоумением и похлопав короткопалой рукой по папке с документами. – Из-за этой вашей публикации уже полгода ведется специальная переписка между ВПК, КГБ и Академией Наук. Поскольку вы являетесь сотрудником Института Океанологии, то прочитавший ваши стихи по этим строчкам может догадаться, что в нашем институте ведутся закрытые работы по обнаружению подводных лодок по их турбулентному следу. А это уже – разглашение государственной тайны. Понимаете, какие последствия это должно иметь для вас?»

Я побледнел. «Однако, – продолжал полковник, – тщательная проверка вашего досье показала, что вы к таким работам никогда доступа не имели и ознакомиться с этими строгорежимными материалами не могли. Как же вы ухитрились так точно сформулировать задачу, да еще в стихах?» – «Это просто случайное совпадение, – залепетал я. – Вот ведь Жюль Верн еще в XIX веке сколько всего разного напридумывал наперед и очень точно». – «Ну что же, – без тени улыбки произнес мой

собеседник, – мы и товарища Жюля Верна привлекли бы к ответу, попади он к нам. В общем, так. Решено в отношении вас ограничиться пока профилактической беседой. А вы идите, но впредь на скользкие и опасные темы стихи не пишите».

Что же касается Владимира Малыщицкого, то он был все же из театра изгнан и долгие годы перебивался работой с полусамодеятельными театральными коллективами в Ленинградской области. Я встретился с ним снова в 2008 году, когда тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко милостиво предоставила его театральному коллективу помещение для студии – бывший кинотеатр «Луч» на улице Восстания, неподалеку от станции метро «Чернышевская». Володя сильно постарел, осунулся и сгорбился, но характер его остался, как прежде, несгибаемым. В своем крошечном театрике с деревянными лавками на три ряда он успешно ставил «Вишневый сад», «Плач по Грибоедову» и другие спектакли. Я и понятия не имел, что он в это время уже был смертельно болен. Встрече со мной он обрадовался и тут же заказал мне песни для своей будущей новой постановки по пьесе А. Н. Островского. Я написал для спектакля четыре заказанные Володей песни, но уже назначенная премьера не состоялась. В день премьеры на сцене стоял открытый гроб с главным режиссером. Владимира Малыщицкого не стало.

Неудачи с песнями к спектаклям продолжали преследовать меня до самого последнего времени. Уже в «перестроечную пору» в 87-м меня изловил в Ленинграде мой старый знакомый артист театра Ленинского комсомола Владимир Тыкке, ставший впоследствии руководителем этого театра, переименованного теперь в «Балтийский Дом». «Как здорово, что я тебя нашел, – обрадовался он. – Ты можешь завтра приехать к нам в театр? Очень срочное дело. Мы тут одну пьесу ставим современную, прямо по факту. Пьеса уже готова, ставить должен я. Ты можешь срочно написать песню для нее?» Я пожал плечами. «Да нет, говорю тебе, это уже верняк, нынче не старые времена. Я сам ставлю, понял? Да и дело-то благородное. Действительно, засудили невинного человека, – он партийную мафию в своем городе разоблачил во главе с самим секретарем горкома. Его, конечно, посадили, из партии исключили, жена от него ушла. Об этом Юрий Щекочихин в «Литературке» вот такую статью написал! А в пьесе действие происходит в вагоне поезда, идущего в Москву, в котором едет выпущенный из лагеря герой. И оказывается, что в этом же вагоне едет все городское начальство, а главное, засудивший его прокурор, которых вызывают в Москву на разбирательство. Возьмешься? Только вот очень срочно надо,

буквально на той неделе. Послезавтра обязательно позвоню». Через день для спектакля «Следствие» была написана песня «Что снится ночью прокурору»:

Что снится ночью прокурору?
Что снится ночью прокурору,
Когда полуночную штору
Качает слабым ветерком?
Не выносить из дома сору,
Не выносить из дома сору,
Не выносить из дома сору
Ему советует горком.

До Тыкке, однако, я так и не дозвонился, – он исчез бесследно. Не лучше обстояли дела и с песнями, которые я пытался писать для радиоспектаклей. Помню, в 1983 году меня попросили написать песню для радиоспектакля по любимому мною роману Стивенсона «Черная стрела». Действие там, если помните, происходит в XVI веке в Англии, – знаменитая война Алой и Белой розы за английский престол. Я принес песню на радио. Они ее послушали и говорят: «Значит так, для вашего же блага: вы нам эту песню не приносили, и мы ее не слышали». «Почему?» – удивился я. «Вы что, сами не понимаете? Тут же прямой намек на Леонида Ильича, который уже в преклонном возрасте и болен. Забирайте вашу песню и уходите».

Прошло пятнадцать лет. Строй поменялся – демократия и все такое. Снова ставят радиоспектакль по Стивенсону, уже другие совершенно люди на другой студии. «Мы слышали, что у вас есть песня к спектаклю. Не дадите нам?» – «Могу дать. Только ее уже однажды запрещали как „идеологически невыдержанную“. – «Ну, что вы, сейчас другие времена, – свобода слова и все можно. Приносите». Принес. Они ее послушали и говорят: «Вы что, с ума сошли? Что вы нам принесли? Действительно, Борис Николаевич уже немолод и со здоровьем проблемы. Но мало того, у вас в песне еще и прямой намек на Чеченскую войну, и выборы в Думу». – «Да ведь это Англия, шестнадцатый век! При чем тут Борис Николаевич?» – «Вы нас, видимо, за дураков принимаете, – обиделись они, – забирайте вашу песню и уходите». Так эта песня и не вошла никуда, хотя речь там действительно идет только о войне Алой и Белой розы:

Окрестности в пожаре
Пылают за окном.
Король наш старый Гарри

Подвинулся умом.
На нивах опаленных
Зерна не соберешь —
Летят отряды конных,
Вытаптывая рожь.
К чему страдать – трудиться, —
Все пущено на слом.
Не дай вам бог родиться
При Генрихе Шестом!

В 1967 в Ленинграде начались впервые гастроли знаменитого тогда театра «Современник». К этому времени относится мое первое знакомство с актерами театра «Современник», переживавшего тогда пору своего расцвета, прежде всего с Валентином Никулиным и Людмилой Ивановой. Иванова, прекрасная характерная актриса, писала сама песни, пользовавшиеся в конце 60-х годов довольно широкой популярностью. Некоторые из них, например «Ты живешь в другом городе» и «Ниточка», вошли в эстрадные программы. Их пели Гелена Великанова и другие популярные эстрадные артистки. Муж ее Валентин Миляев, физик и доктор наук, тоже писал песни, часто весьма недурные, например, песню о Дон-Кихоте, где были такие понравившиеся мне строчки:

Он тихо едет мимо стен
И кровель, слабо освещенных.
Как много есть неотомщенных,
А отомщенных нет совсем.

Одна из его песен «Весеннее танго» теперь вошла в первый диск проекта «Песни нашего века».

Во время гастролей «Современника» в Ленинграде мы часто собирались после спектаклей в доме нашего общего приятеля, тоже физика и доктора наук, известного ленинградского автора песен Валентина Глазанова, жившего тогда на Выборгской стороне неподалеку от кинотеатра «Гигант» и площади Калинина, где в 45-м году вешали пленных немцев. Дом его, несмотря на многочисленную семью, был открыт всем входящим в любое время дня и ночи. В нем все время спали, пили или пели заблудшие московские артисты или питерские барды. Немалая заслуга в этом жены Валентина, Натальи, отличавшейся редким гостеприимством и сердобольностью. Валентин Никулин, Олег Даль, Людмила Иванова и многие другие актеры часто по

нескольку дней жили здесь как дома, особенно в периоды психологического или финансового кризиса. Сам Валентин, фанатично влюбленный в театр, написал немало песен, посвященных Олегу Далю, Валентину Никулину и другим своим тогдашним друзьям. Кстати, именно ему я и обязан своим знакомством с ними. Было это незадолго перед трагической гибелью Даля, уже и тогда пившего безудержно.

Из актеров «Современника» более других еще с конца 60-х я подружился с Валентином Никулиным, запомнившимся мне по страшной роли Смердякова в фильме «Братья Карамазовы». Его вечно худое и часто небритое лицо хронического язвенника буквально преображалось, когда он читал стихи. А знал он их великое множество – от Вильяма Шекспира и Бориса Пастернака до Антонио Мачадо в прекрасных переводах Эренбурга. Пел он тоже своеобразно, под фортепьяно, немного под Вертинского, с большими иногда затянутыми паузами и порой с излишней аффектацией, но всегда – превосходно. Именно он впервые спел со сцены «запретную» песню, написанную мною в 1966 году в Польше в Освенциме:

Над проселками листья – как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб недожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи – так вовсе нигде не лежат.

Как-то он несколько дней прожил у меня в Ленинграде, снимаясь на Ленфильме в кинокартине «Баллада о Беринге и его братьях». Играл он ученого-ботаника, участвующего в многострадальной беринговской экспедиции, и поэтому более месяца не должен был бриться. В результате Валентин оброс весьма неопрятной худой и рыжей бородой, что вместе с редкими торчащими изо рта зубами и седоватой шевелюрой вид ему придавало весьма страхолюдный. Как раз в это время он узнал, что мать моего тогдашнего аккомпаниатора Олега Шмойлова работает районным прокурором, и воспылал чисто актерской идеей поехать вместе с ней на очередной допрос в «Кресты», чтобы взглянуть на эту печально известную тюрьму. Посидев какое-то время в показанной ему камере, он соскучился и решил выйти покурить в коридор. Однако, как только вышел из камеры, где находились его спутники, тут же начисто забыл ее номер. Некоторое время он безуспешно пытался стучать в совершенно одинаковые железные двери с «намордниками», пока появившийся откуда-то тюремный надзиратель, увидев его типично уголовный облик, не цыкнул на него: «Ну, ты, курва, я

тебе еще вчера сказал парашу вынести, марш в камеру!» И влепил увесистую оплеуху. Мать Олега около двух часов искала пропавшего Никулина по всем «Крестам». Выйдя наконец из тюремных ворот, он, втянув голову, без оглядки бежал до самого метро.

В 1987 году в Доме творчества писателей в Пицунде я познакомился со сценаристом Симоном Лунгиным, широко известным по сценарию к знаменитому фильму Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд», и его женой – переводчицей Лилей Лунгиной, учившейся когда-то в одном классе с Давидом Самойловым. Незадолго до этого в Москве вышла из печати повесть замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони – дочь разбойника» в переводе Лилии Лунгиной, и Симон решил сделать на основе повести либретто музыкального спектакля для Центрального детского театра в Москве. Мне, по договору с театром, с подачи Симона Лунгина, были заказаны тексты песен для спектакля. Для создания музыки к песням была приглашена специальная дама-композитор. Я прочел детскую повесть в превосходном переводе Лунгиной и она мне чрезвычайно понравилась. В феврале 1988 года, сидя в Малеевке и внимательно изучив книжку Астрид Линдгрен и сценарий Симона Лунгина, я тут же написал пять песен к этому спектаклю. Увы, и им не суждено было прозвучать со сцены. Спектакль этот, уже включенный в годовой план театра, так и не состоялся, а песни пополнили и без того уже объемистый список моих невостребованных театральных песен, став для меня теперь своеобразной памятью о замечательной супружеской паре Лунгиных.

Впрочем, одна из написанных тогда песен «Марш серых гномов» приобрела самостоятельно некоторую популярность. Дело в том, что действие сказочной повести происходит в сказочном скандинавском лесу. Ну, а раз лес сказочный, то там обитают разного рода неприятные и даже страшные существа, например, хищные птицы друды со стальными клювами, которые охотятся на людей. Но самый опасный вид нечисти – это так называемые серые гномы. Они не имеют ничего общего с добрыми и мудрыми толкиновскими гномами. Это совсем другая популяция. Днем они незаметно прячутся где-то в кустах и оживают только ночью, когда они собираются в большие стаи и подкарауливают одиноких путников в самых глухих участках леса, чтобы напасть на них всем скопом. А дальше происходит вот что. Если ты их не боишься, они остаются маленькими, серыми и безвредными. Но если ты их начинаешь бояться (а они это чувствуют на расстоянии), то сразу вырастают пропорционально

твоему страху и становятся агрессивными, – могут зацарапать, закусать, выпить кровь. И, с одной стороны, надо как бы их не бояться, и тогда все обойдется, а с другой – как же их не бояться, если ты один, их много, а лес глухой и безлюдный? В их мрачном марше нечаянным образом отразились некоторые нотки, созвучные нашим «национал-патриотам». В этом я окончательно убедился, когда на каком-то вечере получил записку такого содержания: «Погоди, жидовская морда, мы к власти придем – тебя первого за ноги повесим». И подпись: «Серые гномы».

Мы – борцы-энтузиасты.
Человек – наш враг, и – баста!
Словно волки мы зубасты,
Ядовиты, как оса.
За отечество радея,
Изведем его, злодея.
Наша главная идея:
Бей людей – спасай леса!

В середине 90-х годов Михаил Столяр познакомил меня с замечательным артистом Юрием Никулиным. Оказалось, что песня про жену французского посла очень ему нравится, и он пригласил меня к себе на Цветной бульвар, в старое здание Московского цирка, директором которого он тогда был. По этому поводу была организована съемка телеканалом РЕН-ТВ, и мы вдвоем с Никулиным, прямо в его кабинете, под гитару Столяра лихо исполнили эту песню перед телекамерами, предварительно подкрепив свои силы рюмкой коньяка. Не успели мы допеть песню, как в кабинете раздался резкий телефонный звонок. Никулин снял трубку со стоящего на столе аппарата в форме собаки, и, по мере того как он слушал, лицо его все больше мрачнело. «Как из посольства?» – переспросил он. «Какие неприятности? Ну вот, – обратился он ко мне, – уже настучали. Сейчас забирать приедут». Я не сразу догадался, что это розыгрыш. Он подарил мне на память свою знаменитую книжку анекдотов, из которой тут же рассказал мне один: «Саня, знаешь, какая разница между киллером и еврейской мамой? С киллером можно договориться». Через пару лет и его не стало.

В 2000 году я приехал в Питер на вечер, посвященный шестидесятилетнему юбилею моего давнего друга Владимира Рецептера, на котором он попросил меня быть ведущим. Вечер проходил на Фонтанке, неподалеку от Аничкова дворца, в старинном особняке, где теперь размещается так называемый Пушкинский центр. Присутствовал весь состав БДТ. Было по-

праздничному шумно, зачитывались правительственные телеграммы, был разыгран капустник. Сам Володя читал смешной отрывок из своей прозы «Прощай, БДТ!», где описывались приключения труппы на первых гастролях в Японии, связанные с приобретением японских ковров. Уже на фуршете, за столом рядом со мной оказалась шумная и энергичная худощавая женщина со следами былой красоты на потраченном гримом лице. Когда она заговорила, попросив налить ей водки, я тут же понял, что это Нина Ольхина, немедленно опознав ее неповторимый серебряный голос, запомнившийся мне на долгие года. Моя любимая актриса из старого БДТ, в которую я был по-мальчишески влюблен много лет, еще с седьмого класса. Господи, как она была хороша в 47-м году в тунике Клеи в пьесе Фидегейро «Лиса и виноград», когда закидывала назад голову с тяжелой кладкой золотых волос, демонстрируя онемевшему залу свою беломраморную шею, и, педалируя низкие ноты страстной любовницы, говорила: «Ксанф, ступай и выпей море!»

Я никогда прежде не видел ее вблизи, только с галерки, доступной на скудную студенческую стипендию, жадно прижав к глазам взятый в гардеробе жалкий театральный бинокль, никогда не дававший нужной резкости. Нина Ольхина, снившаяся мне по ночам в неожиданных юношеских снах. Нина Ольхина, чей голос озвучивал для меня мои первые стихи, и они обманчиво казались лучше, чем были на самом деле. Нина Ольхина, к которой я за все годы, даже в горняцкой форме с золочеными вензелями контрпогон, так и не осмелился подойти с букетиком бледных ленинградских цветочков, справедливо полагая, что она – небожительница, а я – «из публики»… И сладкая ностальгия по первой школьной театральной любви и утраченной жизни влажной и теплой болью охватила мое сердце.

Сколько миль до Атлантиды

Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида —
Голубого огня материк.
А над ней – пароходы и ветер,
Стаи рыб проплывают над ней…
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Не найти и за тысячу лет нам —
Объясняют ученые мне —
Ту страну, что пропала бесследно
В океанской ночной глубине.
Мы напрасно прожектором светим
В этом царстве подводных теней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Век двадцатый, войною палимый,
Смерть прикинется теплым дождем…
Кто нам скажет, откуда пришли мы?
Кто нам скажет, куда мы уйдем?
Кто сегодня нам сможет ответить,
Сколько жить нам столетий и дней?..
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда»,
Если спросят: «Была Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да!»
Пусть поверят историям этим.
Атлантида – ведь дело не в ней…
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Никто не знает флага той страны…

Все началось с песни, написанной в далеком 1970 году. Наше научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», завершавшее свой третий экспедиционный рейс, неторопливо покачивалось на солнечной плоской зыби Северной Атлантики примерно в трехстах милях к западу от Гибралтара. В связи с успешным ходом научных работ было решено торжественно отметить Международный женский праздник – день 8 марта 1970 года, тем более что на судне было немало женщин – и в экипаже, и в научном составе. К празднику готовились заблаговременно. В числе прочих мероприятий по инициативе все того же неугомонного выдумщика и мечтателя Игоря Михайловича Белоусова ко Дню женского праздника должны были подводиться итоги объявленного им примерно за месяц перед этим конкурса на лучшую песню об Атлантиде. Почему именно об Атлантиде? Потому ли, что она женского рода, или оттого, что плавали мы как раз в тех местах, где Платон когда-то поместил свою легендарную страну? Конкурс этот приобрел неожиданную популярность – недостатка в пишущих людях на судне не оказалось. А когда капитан Михаил Васильевич Соболевский, сам писавший стихи и лично принимавший участие в конкурсе, заявил, что в качестве первого приза победителю будет вручена бутылка коньяка, за перо взялись поголовно все.

Я, как «профессиональный литератор», к конкурсу допущен не был и стал председателем авторитетного жюри. Однако общий вирус графомании, овладевший судном, не миновал и меня, и я тоже попытался сочинить песню об Атлантиде, естественно, «вне конкурса». Правда, были у меня поползновения тайно предложить эту песню в качестве безвозмездного дара уже упомянутой выше смуглой красавице Кларе, главной «секс-бомбе» на судне, писавшей стихи и тоже принимавшей участие в конкурсе, но она эту идею с негодованием отвергла. Слишком сильные были у меня соперники, среди которых был и капитан Соболевский, открыто, хотя, кажется, и безрезультатно ухаживавший за Кларой. Так эта песня и осталась невостребованной.

В результате конкурса первое место с вожделенной бутылкой не было присуждено никому. Второе разделили капитан и Игорь Белоусов. По итогам конкурса был устроен большой праздничный вечер на вертолетной палубе, расцвеченной разноцветными фонариками. После концерта претендентов и торжественного вручения призов начались танцы. Судя по навигационной карте, судно в это время лежало в дрейфе в районе подковообразно изогнутой системы больших подводных гор, цепочкой

протянувшихся между Гибралтаром и Азорскими островами. Она так и называлась – «Подкова» («Хосшу» по-английски). Где-то неподалеку под ночной водой таилась самая большая гора этой системы, названная «Ампер» – в честь выдающегося французского физика.

Мы с Игорем отошли на корму с фужерами вина в руках. Прямо перед нами, под кормовыми подзорами, над невидимой в черных глубинах подводной горой, дробилась на волне желтая лунная дорожка. «А что ты думаешь, – вдруг спросил Игорь, махнув рукой в сторону лунной ряби за кормой, – может быть, она где-нибудь здесь?»

В июле 1972 года Игорь Белоусов, как я упоминал выше, неожиданно умер от разрыва сердца, едва перевалив за возраст 42 года.

А еще через год советское научное судно «Академик Петровский» проводило в районе горы Ампер пробное подводное фотографирование дна при испытании новой аппаратуры. Сотрудником нашего института В. И. Маракуевым была сделана серия подводных снимков вершины горы, отстоящей от уровня океана всего на 100 метров. На некоторых снимках под слоем светлого песка неожиданно обнаружились странного вида вертикальные гряды, напоминавшие стены древнего города. Самое удивительное состояло в том, что гряды эти располагались под прямым углом друг к другу. Ведь, как известно, природа прямых углов не любит. Снимки попали в журналы. Страницы испанских, голландских и французских газет запестрели захватывающими заголовками: «Русские нашли Атлантиду», «Новое открытие древней тайны».

Писатель Глеб Голубев даже написал увлекательный рассказ о поисках Атлантиды на горе Ампер. В этом рассказе отважные французские акванавты, «поверив русским», опускаются на вершину горы в обитаемом подводном аппарате, но терпят бедствие – аппарат запутывается в электрических кабелях, проложенных здесь жадными до сенсаций телекомпаниями.

Так снова ожила древняя легенда об Атлантиде в Атлантическом океане. «Знаешь, Саня, если ты найдешь Атлантиду, не проси там политического убежища», – напутствовал меня замечательный наш историк и писатель Натан Яковлевич Эйдельман. Было это в Герценовском музее в мае 1984 года на одном из литературных вечеров, которые он вел. Я как раз собирался в океанографическую экспедицию в Северную Атлантику на борту нашего научного судна «Академик Мстислав Келдыш». В задачи экспедиции входило, в частности, обследование вершины подводной горы Ампер, где незадолго до

этого были обнаружены упомянутые выше странные сооружения. Самого Эйдельмана, приглашенного в эту экспедицию, за рубеж в очередной раз не пустили. «Мы с Пушкиным – оба невыездные», – грустно говаривал он.

«В окрестностях Атлантиды» – так называется последняя книга стихов Иосифа Бродского, вышедшая из печати уже после его неожиданного и безвременного ухода. «Никто не знает флага той страны», – пишет Александр Кушнер в стихотворении, посвященном Атлантиде. На протяжении более чем двух тысячелетий миф о бесследно исчезнувшей в волнах океана легендарной стране продолжает волновать воображение поэтов, писателей, журналистов, ученых и фантазеров. Ей посвящено огромное количество (более пяти тысяч) научных или псевдонаучных работ и художественных произведений. Бальмонт создал поэму «Город Золотых Ворот», посвященную Атлантиде. «Наутилус» в знаменитом романе Жюль Верна проходит над развалинами Атлантиды. Конан-Дойль упоминает о ней в своей фантастической повести «Маракотова бездна». Гибель Атлантиды описана Алексеем Толстым в «Аэлите» и Александром Беляевым в повести «Последний человек из Атлантиды». Французский писатель Пьер Бенуа написал роман «Атлантида», в котором помещает ее в Сахаре. Роман этот был в свое время весьма популярен на Западе. Атлантиде посвящены десятки кинофильмов, опер и драматических произведений. В чем же секрет бессмертия этого мифа?

С океаном связано множество легенд. И чем дальше люди проникают в океан, тем более убеждаются в том, что даже у самых невероятных мифов и легенд имелись вполне реальные основания. Так гигантские морские драконы, удивительно похоже описываемые в сказках разных народов, некогда действительно существовали. Одного из таких огромных змеев около четверти века назад выловило японское рыболовное судно в Тихом океане неподалеку от Японии. К сожалению, капитан, более всего озабоченный уловом рыбы, приказал выбросить его за борт – и бесценная находка навсегда пропала для науки. Всемирный потоп на Земле происходил неоднократно. Страшная Сцилла, безжалостно губившая мореходов, не что иное, как остров Сицилия. Мне несколько раз пришлось побывать в Сицилийском проливе, где даже на современных судах трудно устоять против внезапных и сильных течений, влекущих корабли на скалы. А каково было небольшим парусно-весельным суденышкам древних греков? Есть основания считать, что легендарный остров Буян, воспетый Пушкиным, – это Кипр. Здесь действительно правил в Средние века венецианский герцог Гвидо, считавшийся побочным

сыном турецкого султана (царя Салтана). Можно только гадать, как эта средиземноморская легенда попала на заметенную снегом Псковщину к Арине Родионовне.

Одни из легенд, связанных с океаном, возникли в глубокой древности и давно развеялись. Другие – порождение нашего времени. Чего стоит, например, леденящий сердце миф о зловещем «Бермудском треугольнике», который до сих пор будоражит воображение доверчивых читателей! Но есть, пожалуй, только одна легенда, которая, возникнув в глубокой древности, не только сохранилась до наших дней, но интерес к ней по-прежнему не ослабевает, – это легенда об Атлантиде.

Впервые об Атлантиде поведал древнегреческий философ Платон (428 (7) –348 (7) гг. до н. э.), ученик знаменитого Сократа. Предание о ней он изложил в двух диалогах – «Тимей» и «Критий». При этом он утверждал, что воспользовался сведениями об Атлантиде, взятыми у афинского законодателя и государственного деятеля Солона, его прадеда по материнской линии. Солон почитался в Древней Греции как «мудрейший из семи мудрых».

Около десяти лет Солон путешествовал по странам Средиземноморья и побывал в Египте, где был с почетом принят в древней столице Саисе. При посещении храма богини Нейт жрецы сообщили ему, что девять тысяч лет назад в Афинах существовало могучее государство, и в то же время в Атлантическом океане, за Геркулесовыми столбами располагался большой остров. «С него, – писал Платон, – открывался плавателям доступ к прочим островам, а с тех островов ко всему противолежащему материку, которым ограничивался тот истинный понт». На острове Атлантида, как рассказывали жрецы Солону, существовало некогда грозное государство, представляющее союз царей, им принадлежала власть над многими островами и странами. В те времена атланты владели всей Ливией вплоть до Египта и Европой до Апеннинского полуострова.

Этот союз, собрав все свои силы, напал на древнеегипетское государство. Началась длительная война, имевшая, по-видимому, характер древней мировой войны. В этой войне между народами, живущими по ту и эту сторону Геркулесовых столбов, Афины то воевали во главе эллинов, то противостояли врагам в одиночку, и наконец добились победы. Впоследствии, как рассказано в «Тимее», происходили страшные землетрясения и потопы, в результате которых «в один день и бедственную ночь» древний город – Праафины – «разом провалился в землю», и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Поэтому и тамошнее море оказывается теперь несудоходным и неисследуемым; плаванию

препятствует множество окаменелой грязи, которую оставил за собой осевший остров».

В другом диалоге, «Критий», в роли рассказчика выступает Критий-младший, которому Платон приходился внучатым племянником. Здесь подробно описывается мифологическая история создания государства Алантиды богом морей Посейдоном и дается детальная картина главного города. Судя по описанию, это был крупнейший порт древнего мира, снабженный сложной системой каналов. В его огромной гавани размещалось более 1200 кораблей. Акрополь города, где располагался храм Посейдона и царский дворец, был окружен тремя концентрическими рвами, наполненными водой и представлявшими собой внутренние гавани. Центральный остров с царским акрополем был обведен каменными стенами. Соединявшие их мосты имели башни и ворота. Сам Критий в диалоге «Критий» заявляет: «Записи эти (Солона) находились у моего деда и до сей поры находятся у меня…»

Обращает на себя внимание важная деталь: камень для стен был трех цветов – белого, черного и красного – и добывался на месте. Как отмечал ученый и писатель Н. Ф. Жиров в своей книге «Атлантида», вышедшей в 1961 году, подобный камень встречается на Азорских островах – это вулканические туфы, хорошо поддающиеся обработке.

Замечательная особенность главного города Атлантиды – его геометрически правильная круговая планировка. Улицы города были расположены радиально по направлению стран света и имели закругленные углы перекрестков, а стены и каналы образовывали концентрические окружности. Жиров считал, что традиция строительства городов по кольцевой системе была скорее всего связана в древности с культом Солнца.

Но ведь древние, как правило, использовали при возведении городов естественные черты природного ландшафта. План столицы Атлантиды очень напоминает форму древнего кратера. Об этом говорит и наличие на острове трехцветного вулканического туфа и источников с холодной и горячей водой, то есть термальных источников, характерных для вулканов.

Интересно приведенное в «Критии» описание природы Атлантиды, где, в частности, рассказывается о таинственном дереве, которое давало «и питье, и пищу, и мазь». Многие комментаторы Платона считают, что это дерево более всего соответствует кокосовой пальме, дающей кокосовое молоко, пищу, (сам орех) и масло (мазь). Значит, некоторые острова этого огромного архипелага должны были располагаться южнее 25° с. ш., где растет кокосовая пальма, то есть в Атлантике.

Особое удивление в описании Платона вызывает обработка металлов. Ведь в эпоху гибели Атлантиды большая часть человечества находилась еще в мезолите. Человек владел каменными орудиями труда и был знаком всего лишь с луком и стрелами, занимался охотой и собирательством, прибрежным рыболовством. Лишь через несколько тысячелетий он познакомится с природными металлами и методами их холодной обработки! А в Атлантиде, если верить Платону, уже знали секрет выплавки «орихалка» – медного сплава. (Заметим, что это вовсе не выдумка Платона, есть упоминания о нем у Гомера и других античных авторов. По-видимому, это сплав, близкий к латуни.)

И все же какое место занимала культура атлантов в общем развитии человеческой цивилизации? Первым критиком Платона выступал его ученик – знаменитый философ Аристотель. Дело в том, что общественное и государственное устройство, описанное в «Тимее», уж слишком напоминает идеальное государство, проповедуемое Платоном. Аристотель считал, что описание Праафинского государства и Атлантиды, а также история их войны попросту выдуманы Платоном для того, чтобы обосновать свои философские взгляды и превознести афинян, якобы победивших атлантов. Последователи Платона не раз отмечали, что он не стремился точно передавать чужие слова и мысли. Многие его современники вообще считали, что этому философу вообще нельзя ни в чем доверять: его диалоги полны мифами, им же самим выдуманными. Как же быть? Верить Платону или не верить? В конце повествования «Критий» Сократ говорит: «… важно, что мы имеем дело не с вымышленным мифом, но с правдивым сказанием». Сам Платон в своих диалогах не менее четырех раз прямо заявляет, что история эта – подлинный исторический факт. По свидетельству Прокла (410–485 гг. н. э.), комментатор Прокла Крантор, живший на три века позднее, сам видел панели с иероглифами, где излагалась история Атлантиды. Он также утверждал, что надписи эти сделали жрецы богини Нейт, основавшей город Саис.

Судя по сведениям, приведенным в «Тимее», Атлантида состояла по крайней мере из двух островов, из которых один, на котором располагалась древняя метрополия, был небольшим и круглым с диаметром около 12 миль, а второй, на котором стоял «Царский город», был прямоугольным и большим по размеру. Около 9600 лет до н. э. Атлантида погибла «за один день и одну ночь», погрузившись в морскую пучину. Дата эта (так же, впрочем, как и описанные Платоном большие размеры второго острова) скорее всего нереальна. Известно, например, что первая крупная земледельческая цивилизация, шумерская, возникла

значительно позднее – в 4-м тысячелетии до н. э. Письменность в ней была изобретена только между 2700 и 2300 г. до н. э., а в Египте – ненамного раньше. Обитатели же Атлантиды умеют читать и писать, да еще записывают свои законы на колонне из описанного выше сплава – орихалка. По имеющимся сведениям, в богатых медью странах Двуречья и Ближнего Востока бронзовый век начался не ранее начала, а скорее, середины 3-го тысячелетия до н. э. Невероятно, чтобы за 7 тысяч лет до этого бронза или латунь были известны в Атлантиде, тем более что распространение бронзы в Греции относится к минойскому и элладскому периодам между 2100 и 1200 гг. до н. э. Такие же анахронизмы отмечаются и в описании архитектуры. Вместе с тем нет никакой прямой достоверной информации о местоположении Атлантиды, а также о времени ее гибели. Несмотря на это, многие александрийские ученые, по свидетельству Аммиана Марцеллина (330–400 гг. н. э.), считали гибель Атлантиды историческим фактом. Такого же мнения придерживались Плиний Старший и Диодор Сицилийский, а также философ и писатель Посидоний (135–51 гг. до н. э.). Противниками этой гипотезы были ученик Платона Аристотель и крупнейший географ древности Страбон.

С одной стороны, никаких источников, послуживших основанием для легенды об Атлантиде, так до сих пор и не нашли – ни записей, которые цитирует Платон, ни следов самой Атлантиды. Это более чем странно, учитывая, что в течение долгого времени Атлантида якобы граничила с древним Египтом и Афинами. Ведь даже недалеко от Перми в раскопках нашли египетские скарабеи, служившие разменной монетой в древности. Впрочем, может быть, эти следы будут обнаружены, ведь лишь сравнительно недавно археологи узнали об огромном Хеттском государстве, о котором ничего не было известно.

Некоторые находки, впрочем, как будто были, хотя достоверность их требует подтверждений. Так, по свидетельству Пауля Шлимана, внука знаменитого Генриха Шлимана, открывшего Трою, он своими глазами видел в Париже в сохраняемой в тайне частной коллекции деда вазу древнего происхождения, найденную Генрихом Шлиманом в Трое, на которой имелась надпись финикийскими буквами: «От царя Хроноса из Атлантиды». Ваза эта, как уверял Пауль, была завещана ему дедом. Если верить Паулю, то он, повинуясь завещанию деда, разбил эту вазу и обнаружил на ее дне четырехугольную бело-серебряную металлическую пластину, очевидно монету, с замысловатыми фигурками, письменами и знаками, непохожими на обычно встречающиеся иероглифы и

письмена. Они были на одной стороне. С обратной стороны была сделана надпись древнефиникийским шрифтом: «Выдан в храме Прозрачных стен». Из чего же сделана эта монета – из легендарного орихалка?

Пауль Шлиман пишет: «Каким образом этот металлический предмет попал в вазу? Ее горлышко слишком узко, чтобы можно было вложить его сверху. Если ваза сделана в Атлантиде, то монета должна происходить оттуда же. В результате исследований я установил, что надпись нанесли после чеканки фигурок на передней стороны пластинки. Каким образом – остается для меня загадкой.

Кроме того, я нашел в коллекции другие предметы, которые, судя по данным моего дедушки, тоже должны были происходить из Атлантиды. Среди них был перстень из того же удивительного металла и монеты. Были там также необыкновенный слон из окаменелой кости, древняя ваза и др. В вазе был план, с помощью которого египетский капитан вел поиски Атлантиды. Об остальных предметах я ничего не скажу, выполняя пожелание моего дедушки.

Ваза с головой совы, древняя ваза, ваза из бронзы и перстень имели финикийские надписи, но на слоне и монетах их не было.

Я выехал в Египет и начал раскопки в саисских развалинах. Долгое время они были безрезультатными. Но вот однажды я познакомился с египетским стрелком, который показал мне коллекцию монет, найденную в усыпальнице жреца времен первой династии. Кто сумел бы описать мое изумление, когда в этой коллекции я узнал две монеты, почти не отличающиеся от монет в троянской вазе? Разве это не успех? Таким образом я имел монету из троянской вазы, которая, если мой дедушка был прав, происходила из Атлантиды, а также две другие подобные монеты из саркофага жреца саисского храма, в котором хранились сведения об Атлантиде, переданные жрецами Солону. Для проверки я обратился к двум известным французским специалистам-геологам, с которыми мы изучили западное побережье Африки. Мы уточнили, что все побережье покрыто породами вулканического происхождения. На протяжении многих миль возникало впечатление, что какой-то материк был словно оторван от побережья в результате вулканической деятельности. Здесь я нашел скульптурное изображение головы ребенка из того же металла, что и перстень и монеты, которое было вдавлено в твердый слой старого вулканического пепла.

Я выехал в Париж, чтобы отыскать владельца коллекции из Центральной Америки, о которой упоминал мой дедушка. Он согласился разбить свою вазу для моих исследований. Внутри я

нашел монету такой же величины и формы и из того же самого металла, что и предыдущие, которые я уже имел. Они различались лишь расположением иероглифов!»

Пауль Шлиман заявил также, что дед завещал ему ряд важных документов, указывающих на реальность существования Атлантиды. В частности, выкопанная в Трое таблица содержала якобы трактат египетских жрецов в области медицины, посвященный хирургическому удалению катаракты и опухоли внутренностей. Подобный способ лечения, согласно испанской рукописи, найденной в Берлине, был известен только древним ацтекам в Мексике. Пауль Шлиман пишет: «Там были и другие записи и важные доказательства, однако оставалось в силе недвусмысленное требование сохранить все это в тайне, пока я полностью не выполню инструкции своего дедушки и не закончу исследований».

Даже если все это мистификация и прямых следов Атлантиды все таки нет, существуют некоторые интересные косвенные соображения. К их числу прежде всего относится загадка древнего населения Канарских островов – гуанчей. Когда к началу XV века испанцы впервые прибыли на Канарские острова, они обнаружили там многочисленное местное население. Почти столетие продолжалась яростная и непримиримая борьба аборигенов с безжалостными испанскими захватчиками. Она была неравной: гуанчи не знали ни металлического, ни огнестрельного оружия, однако для захвата маленьких Канарских островов испанцам пришлось потратить не меньше времени, чем для покорения огромного южноамериканского материка. В результате через 150 лет после начала завоевания островов на них не осталось ни одного чистокровного гуанча.

На острове Гран-Канария, где мне удалось побывать дважды, еще можно увидеть те немногие следы, которые остались от этого удивительного народа. Сохранились захоронения в форме пирамид, сложенных из больших необработанных камней, или каменных насыпей, напоминающих невысокие терриконы.

Как попали на Канарские острова люди, до сих пор загадка. Дело в том, что гуанчи не были знакомы с мореплаванием, не имели лодок и плотов и даже не умели плавать. Аборигены, которых называли берберским словом «гуанчи» (то есть уроженцы), состояли из нескольких этнических групп. Основное население – высокие сильные люди ростом более двух метров с голубыми глазами и светлыми волосами. Этот тип очень сходен с древнейшим типом разумного человека в Европе – кроманьонцами, которые появились в Европе и Северной Африке около 30 тыс. лет назад. Меньшую часть населения составляли

черноволосые люди низкого роста, близкие к средиземноморским народам. Были также представители монголоидной и негроидной рас. По мнению многих атлантологов, гуанчи, возможно, являются потомками атлантов, а Канарские острова – последними остатками Атлантиды.

Ну а как же все-таки быть с Платоном? Мог ли он выдумать «Атлантиду»? Натан Эйдельман считал, что психология древних греков, видимо, сильно отличалась от психологии людей нашего времени, и легенды могли во многом основываться на реальных вещах. Немецкий археолог-любитель Г. Шлиман, например, поверил Гомеру и нашел Трою. Родовые отношения у древних греков считались священными, и вряд ли Платон мог позволить себе приписать явные небылицы такому уважаемому предку, как Солон.

Что же касается хронологической точности греческой истории, то Геродот нередко путал хронологию событий, отдаленных от него всего на сто лет. Сейчас благодаря работам наших историков, археологов, лингвистов, мы знаем историю древнего мира гораздо лучше, чем древние греки или римляне. И все же историки пока не могут дать исчерпывающего ответа на вопрос об Атлантиде. Но, может быть, его способна дать геология? Нужно выяснить, был ли в историческое послеледниковое время в Северной Атлантике микроконтинент или большой архипелаг, который опустился затем в океан. И тогда следы Атлантиды могут быть обнаружены на подводных горах.

В конце XX столетия получила распространение гипотеза, будто Атлантида находилась не в Атлантике, а в Восточном Средиземноморье, на одном из островов неподалеку от Крита. Этому посвящена изданная в 1983 году книга А. Галанопулоса и Э. Бекона «Атлантида. За легендой – истина». Действительно, в Эгейском море, неподалеку от Крита, существовал в древности остров, остатки которого известны под названием Тира. Подводные исследования, проведенные здесь совсем недавно акванавтами под руководством знаменитого Жака-Ива Кусто, обнаружили под водой обломки затонувших внезапно судов и целые залежи старинных амфор и других предметов. По данным археологов и морских геологов, древний город на острове мог погибнуть в результате чудовищного извержения вулкана Санторин около 1500 года до нашей эры. Именно с этим извержением связывается в греческой мифологии так называемый Девкалионов потоп. Галанопулос считает, что Атлантида – это Крито-Минойская держава и что катастрофа случилась не за 9000 лет до посещения Солоном Египта, а всего за 900 лет. В

итоге извержения остров Санторин раскололся на части и погрузился в море.

Греческий археолог Спиридон Маринатос еще в 1939 году связал гибель крито-минойской культуры с извержением Санторина. Он и его ученики провели раскопки и нашли на юге острова Тира, около городка Акротири, поселение бронзового века, оказавшееся ровесником известного дворца в Кноссе на острове Крит, и так же, как и дворец, засыпанного вулканическим пеплом. Английский геохимик Стерт Меннинг в Кембридже определил методом изотопного анализа возраст полуистлевших веточек, листьев и семян, найденных при раскопках в Акротири. Он оказался равным примерно 1639–1603 годам до нашей эры. В свою очередь, археомагнитная датировка вулканических отложений на Санторине показала, что были два извержения вулкана, разделенные друг от друга интервалом 10–30 лет.

Как же быть в этом случае со знаменитыми Геркулесовыми столбами? Ведь у Платона ясно сказано, что Атлантида располагалась по ту сторону Геркулесовых столбов, то есть в Атлантическом океане! Может быть, на Санторине погибла не Атлантида, а противостоящее ей Праафинское государство, а Атлантиду нужно искать все-таки в Атлантике в районе горы Ампер?

Первая попытка проникнуть в тайны горы Ампер и загадочных подводных фотоснимков была предпринята в 1982 году – в первый испытательный рейс нового «Витязя», где мне довелось руководить геологическими работами. Тогда нам не повезло с погодой: Атлантический океан встретил нас затяжными мартовскими штормами. Волна в районе горы Ампер была не ниже шести-семи баллов. И прогноз ничего хорошего не сулил. Прямо на вершину горы, на тот участок, где, судя по подводным фотографиям, располагаются таинственные стены, был опущен на стальном тросе водолазный колокол с тремя акванавтами.

Группой акванавтов руководил Николай Ризенков. Операция была рискованная, шторм на поверхности гулял вовсю. Когда колокол достиг вершины горы, его начало трясти и бить о выступы скал. Выбрав подходящий момент, Николай вышел на платформу и решительно прыгнул прямо на скалу. От сильного очередного удара оборвался свинцовый балластный груз и ударился о скалу, чудом не прихлопнув Николая. Зато от стенки рядом с акванавтом откололось несколько кусков породы. Не растерявшись, он схватил один из них и устремился обратно в колокол.

Когда, закончив рейс, «Витязь» возвратился в Новороссийск, судно осадили многочисленные журналисты. По указанию

Новороссийского горсовета в день нашего возвращения во всех кинотеатрах города шел один и тот же фильм «Вожди Атлантиды». И, конечно, в центре внимания был уникальный камень, извлеченный из глубин. Еще бы, кусок Атлантиды! Его многократно снимали фото– и телекамеры, просили разрешения «подержать». Все наши скромные попытки охладить энтузиазм журналистов успеха не имели. Наиболее шустрые представители газет и телевидения, немедленно объединившись в коллектив, предложили мне обменять этот образец на ящик коньяку, после чего распилить камень, чтобы каждой редакции досталось бы «по кусочку Атлантиды». Я, конечно, с негодованием отверг это недостойное предложение и, гордясь своей неподкупностью, с возмущением сообщил об этом начальнику рейса. «Ну и дурень, – недовольно сказал он, – ты что, не мог им любой другой камень подсунуть? Им-то ведь все равно».

Решить вопрос, рукотворные ли это стены на вершине горы Ампер, или это природа так искусно их возвела, мы пока не могли. Гораздо важнее другое – геологическое и особенно петрохимическое исследование образца с вершины горы показало, что базальт такого типа мог образоваться только при застывании лавы на воздухе, а не под водой, то есть на поверхности океана. Значит, гора Ампер в начале своего существования была вулканическим островом! Весь вопрос в том, когда и почему этот остров утонул. В августе того же года по пути в экспедицию к берегам Кубы над горой Ампер появилось другое наше судно «Рифт» с тем же подводным аппаратом «Аргус» на борту. Задачи «Аргуса» были далеки от поисков Атлантиды, ему нужно было только сделать пробное погружение на каком-нибудь мелком месте, чтобы провести проверку технических систем, а на пути как раз подводная гора Ампер.

«На вершине подводной горы… видимость достигала 40 метров. Здесь начали встречаться первые стены с ярко выраженной кладкой. Когда мы подвсплыли над грунтом на 25–35 метров, то нам открылась панорама развалин города, так как стены уж очень похоже имитировали остатки комнат, улиц, площадей». Это отрывок из письма командира подводного аппарата «Аргус» Виталия Булыги, присланного им в Институт Океанологии после его погружения на горе Ампер.

Наш «Витязь» снова вернулся на Ампер уже летом 1984 года. На этот раз в задачи работ входило детальное изучение геолого-геоморфологического строения горы, ее происхождения и развития, в том числе исследование стен на ее вершине. На этот раз погода была получше. Мы вышли по эхолоту на вершину горы и, выбрав плоское место, поставили буй. Вокруг нас крутится

множество рыболовецких судов – здесь на мелководье много рыбы. Нам они изрядно мешают. Дело не только в том, что эти суда все время ходят взад и вперед, волоча за собой рыболовецкие тралы и мешая съемке, – обрывки рыбацких сетей и переметов создают нешуточную угрозу для подводного аппарата. Решено было ночью сделать съемку рельефа дна и подводное фотографирование, а дневное время использовать для погружений подводного обитаемого аппарата «Аргус» и водолазного колокола. Прежде всего надо было найти участок со «стенами». С помощью буксируемого аппарата «Звук» была сделана детальная фотопанорама вершины горы, на которой снова отчетливо проявились узкие вертикальные гряды, как бы сложенные из отдельных блоков. Может быть, это все-таки не гряды, а стены? Чтобы ответить на этот вопрос, надо погрузиться в воду. Никакие телевизионные осмотры и фотографии сверху ничего толком об этом не скажут – смотреть надо не сверху, а сбоку.

Составили списки подводных наблюдателей. В них, кроме геологов, вошли и оба корреспондента, присутствовавшие на борту – Леонид Почивалов, представлявший «Литературную газету», и Александр Игошин из «Известий». Поскольку подводная фотокамера может проводить фотографирование только очень близких объектов, а человеческий глаз видит дальше, то наблюдателей просили зарисовывать все, что они увидят. Ведь в прошлые века именно рисунки ученых и натуралистов служили главными документами! Ни у Крашенинникова на Камчатке, ни у Миклухо-Маклая в Океании фотоаппаратов не было, зато как они рисовали! Решено было каждый день после погружений собирать научно-технический совет для обсуждения результатов.

В первый же день я погружался в качестве наблюдателя вместе с тем самым Виталием Булыгой, который написал процитированное выше письмо. На участок со «стенами», однако, выйти не удалось. Сильное течение сносило аппарат под водой, не давая удержаться на курсе. Дно оказалось испещренным ущельями и трещинами. Повсюду обрывки сетей и переметов, опасных для нас, так что экипаж в постоянном напряжении, – только раз попадись – и привет. Перед иллюминаторами скользят целые косяки рыб, однако нам не до них. Огромная акула решила нас атаковать, – с трудом от нее отделались. И тут мне как будто вдруг повезло, – мы нашли, как мне показалось, амфору. Булыга долго и старательно маневрировал, чтобы ухватить ее манипулятором. Каждый раз при включении винтов вихрем взметалась придонная муть, и мы упускали находку из вида. Наконец мы ухватили этот заросший ракушками, явно

рукотворный предмет и торжественно погрузили его в бункер, сообщив об этом на поверхность. После всплытия все население «Витязя» сбежалось смотреть на нашу находку. Однако под слоем ракушек обнаружилась старая алюминиевая кастрюля, явно не из Атлантиды.

Погружения, однако, продолжались. Вся вершина обследовалась шаг за шагом, однако пилоты все пожимают плечами и никак не могут определить, где они видели «развалины города». Только на четвертый день были обнаружены «стены», «комнаты» и что-то вроде арки. В этот день, однако, стала вдруг портиться погода, сильный ветер начал разгонять волну, и последнее погружение было предложено снова сделать мне. Это было четвертое погружение за день, однако пилоты согласились «еще поработать». Мотобот, раскачиваясь и подлетая на сильной волне, помчался к всплывшему «Аргусу», рубку которого почти захлестывала волна. Это момент для аппарата неприятный. Поэтому, сменяя предыдущего наблюдателя, я постарался не оставлять люк надолго открытым. Торопясь, я раньше времени захлопнул тяжелую крышку люка и довольно сильно прищемил руку, хотя в первый момент даже не почувствовал этого. «Ну, что? – спросил я у Булыги. – Нашли?» – «Да кто его знает, вроде похоже», – ответил он. Мы связываемся по подводному телефону с «Витязем» и просим засечь наши координаты. Сильное течение сносит нас в сторону от вершины. Надо торопиться. Срочное погружение. «Аргус» стремительно идет вниз. Привожу дальше отрывки из надиктованных мною под водой на магнитофон наблюдений.

«Аппарат лег на грунт в 13 часов 20 минут на глубине 110 метров на южном склоне горы Ампер. Видимость примерно 50 метров, поэтому можно работать без светильников. В поле зрения скальные выходы, хорошо видные на фоне белого песка и образующие прямоугольные гряды высотой около полутора метров, отдаленно напоминающие развалины домов. Всплываем над грунтом на 3–4 м и ложимся на курс 90 вверх по склону. На глубине 90 метров перед нами возникает вертикальная стенка высотой два метра и шириной около метра. Поверхность ее заросла красными водорослями – литатамниями. На их фоне видны как бы следы «кирпичной кладки», очень напоминающие породу, образующуюся при застывании излившихся базальтов. Стенка упирается в скалу. Хорошо бы посмотреть ее контакт со скалой! Тогда будет ясно, рукотворная это кладка или же по трещине в старой скале внедрилась новая порция расплавленной базальтовой лавы и застыла, образовав «стенку». В последнем случае край скалы должен носить следы обжига расплавленной

лавой. Пилот подводит аппарат вплотную так, что наша «механическая рука» царапает скалу. Но вся эта часть наглухо закрыта сросшимися глыбами, покрытыми густыми водорослями, и контакт не виден.

Всплываем над скалой, и перед нами открывается панорама прямоугольных гряд, чередующихся с долинами, засыпанными белым песком. На песке хорошо видны вытянутые борозды. Это так называемые рифели – следы сильного подводного течения, скорость которого на глубине достигает полтора узла, то есть почти столько же, сколько может давать наш «Аргус». Подходим вплотную к одной из гряд и обнаруживаем на стене большие ниши и каверны, явные следы разрушительного действия воды. Значит, эта стена была раньше на поверхности? Она разбита трещинами, заваленными базальтовыми глыбами, которые хорошо окатаны. Между глыбами – галька разного размера, значит, здесь гуляли когда-то волны прибоя. Да и края скал сильно разрушены выветриванием. Все это говорит о том, что гора Ампер была когда-то островом. Аппарат медленно всплывает над сильно разрушенными грядами. Они вытянуты в двух направлениях – на северо-восток и юго-восток. Вершины гряд напоминают зубья пилы.

Неожиданно прямо перед «Аргусом» возникает из зеленых сумерек тонкая нить, пересекающая наш курс. На ней борода водорослей. Лежащий рядом со мной Булыга настораживается, его мышцы напрягаются: перемет! Аппарат взмывает вверх, и опасная снасть остается под нами. Двигаясь тем же курсом на глубине около 90 метров, снова выходим на стенку высотой около двух метров и шириной полтора метра с отчетливыми следами «кладки». У ее подножия на песке целая колония морских ежей. Поверхность стенки, сплошь заросшая водорослями, плоская, как будто обработанная какими-то орудиями. Так же, как и в предыдущем случае, она упирается в сильно разрушенную скалу, но контакт завален камнями, и все попытки расчистить его оказываются безуспешными. Подходим к стенке вплотную. Ее верхний край разбит на правильные кубики, с гранью около 15 сантиметров. С большим трудом, раскачивая аппарат из стороны в сторону, Булыга берет манипулятором два образца «кубиков» и кидает их в бункер.

Движемся дальше вдоль склона над грядой, ограниченной двумя параллельными стенками. Внутренняя поверхность стен разбита прямоугольными трещинами. Впечатление такое, что плывешь на «речном трамвае» по родной Мойке. В конце «канала» между стенами – пещера с полуразрушенным навесом из крупных глыб. Все вокруг засыпано галечником и окатанными глыбами. На

стенах, разбитых глубокими трещинами, растут ярко-зеленые водоросли, напоминающие хвойные растения. Слева от нас – стена высотой около 20 метров, с большими расселинами. У ее подножья виден прямоугольник, засыпанный песком, посреди которого лежит изометрическая базальтовая глыба, похожая на «жертвенник». В конце сходящегося ущелья между стенами зияет пещера.

На поверхности дна под слоем песка просматриваются следы прямоугольных гряд. Перед нами по курсу возникает новая гряда. В глубоких расселинах, рассекающих ее верхний край, видны обрывки сетей и предметы. Как поется у Высоцкого: «Там хорошо, но нам туда не надо». Всплываем над грядой. Ее вершина напоминает сильно разрушенную башню. В верхней части «башни» к скале прилепился крупный осьминог. Подходим к нему вплотную и делаем фотоснимок. При вспышке света он дергается, как от удара. За грядой внизу, на дне, овальное углубление в скале диаметром около тридцати метров, похоже на цирк. Рядом с ним – целый ярус рыбацких сетей. Да, здесь нужно быть начеку!

На глубине 78 метров перед аппаратом возникает тройное сочленение стен, утыкающихся в скалу. Делаем несколько фотоснимков. Сразу же за этим тройным сочленением, на глубине около 80 метров, обнаруживается стенка со следами «кладки», аналогичная вышеописанной. Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Над ней подобие свода. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступеней около 2 метров. Делаем несколько фотоснимков. На внутренней стороне стены, у ее основания – выступ шириной около 20 см. Ниже по склону, под «лестницей», – прямоугольный участок, засыпанный белым песком. Поверхность гладкая, покрытая литатамниями. У основания стены на территории прямоугольника лежит какой-то изометрический камень. Сильно разрушенный «свод» над пещерой отдаленно напоминает кладку радиально расходящихся камней. Неужели это сделала природа?»

На следующий день было проведено еще одно погружение колокола с водолазами на вершину горы Ампер, на этот раз уже прямо на обнаруженные нами стены. Сделать это было не просто – сильное подводное течение упрямо сносило буй, по которому определялось место погружения колокола. Поэтому место погружения выбиралось тщательно на основе анализа подводных трасс «Аргуса» и маршрутов буксировки подводного аппарата «Звук» с телевизионной установкой, с помощью которой с борта «Витязя» можно было отчетливо видеть прямоугольные гряды.

Наконец, капитан Апехтин искусно поставил «Витязь» на два носовых якоря на глубине 101 метр, и в воду пошел колокол с

тремя водолазами. Уже с глубины 83 метра из колокола в прозрачной воде можно было отчетливо различить на дне чередование ровных гряд, похожих на стены и вытянутых примерно в направлении «нос – корма». Один из водолазов, Анатолий Юрчик, спустился прямо на участок, где «стены» соединялись между собой. Их поверхность полностью заросла мелкими темно-коричневыми водорослями, напоминающими мох. Понадобилось немало усилий, чтобы соскоблить водоросли с поверхности камня. После этого Юрчик расшатал один из «кубиков» в стене ломиком и отбил образец. В это же время другой водолаз – Владимир Антипов – несколько раз сфотографировал «стенку», однако усилия его оказались напрасными – в фотосистему попала вода.

Последнее заседание научно-технического совета, происходившее на «Витязе», раскачивающемся над вершиной горы Ампер, было таким же бурным, как океан. Небольшой конференц-зал судна был набит до отказа. После долгого обсуждения геологи сошлись на том, что найденные стены все же нерукотворные. Даже Леонид Почивалов, который, несмотря на седину, яростно, с детской настойчивостью защищал идею Атлантиды, вынужден был отступить перед бесстрастными доводами геологов. «Я так понимаю, что сегодня выносится смертный приговор Атлантиде», – горько заявил он. «Ничего подобного, – ответил я, – речь идет только о стенах на горе Ампер».

Тщательное изучение поверхности горы Ампер показало, что глубокие трещины, разбившие этот старый, давно погасший вулкан, ориентированы в двух направлениях: на северо-восток и на юго-восток. Такое же простирание имеют и найденные «стены», вероятнее всего, связанные с этими трещинами. Дело в том, что по трещинам, разбившим старую, уже остывшую породу, при возобновлении вулканической активности могут внедряться новые порции расплавленной лавы. Достигнув поверхности, они застывают, отражая прямые линии вмещающих их трещин. Такие похожие на стенки формы внедрения называются дайками. Возможно, что именно с такими двумя взаимно перпендикулярными системами базальтовых даек мы и имеем дело. Дайки эти, секущие склоны и вершину горы Ампер, сложены более молодыми базальтами, которые меньше поддаются разрушительному действию выветривания, чем старые породы, слагающие вершину. Поэтому в результате выветривания более древние базальты в промежутках между «стенками» разрушились, и между ними образовались углубления, столь похожие на «комнаты».

Ну, а как же «кирпичная кладка»? Скорее это не что иное, как система небольших параллельных трещин на поверхности базальтовых гряд, иногда засыпанных белым песком, что создает зрительное ощущение «кладки». Это так называемая «отдельность». Подобное я видел не впервые – когда-то в молодости мне пришлось немало поработать в северо-западной части Сибирской платформы, на знаменитых сибирских траппах. При выветривании базальтовые образования могут принимать самые причудливые формы, напоминающие башни и стены. Вспомним хотя бы известные всем Красноярские столбы! И все-таки…

Уже стемнело, когда «Витязь» покинул гору Ампер и направился к ее недалекой соседке – горе Жозефин. Из предыдущих исследований, проведенных немецким судном «Метеор», было известно, что это тоже подводный потухший вулкан, образовавшийся где-то около 13 млн лет назад. Вершина этой горы с глубиной около 150 метров также была детально изучена. Как уже упоминалось, обе горы входят в большую цепь подводных гор Подкова, тянущуюся на сотни километров вдоль зоны гигантских трещин, – так называемой Азоро-Гибралтарской зоны. Именно здесь проходит граница между двумя литосферными плитами – Африканской с юга и Евроазиатской с севера. Выяснилось, что Жозефин, как и остальные горы из системы Хосшу с плоскими, срезанными эрозией вершинами, тоже была когда-то островом.

Значит между Азорами и Гибралтарским проливом существовала в древности огромная цепь островов, которые затем погрузились в пучину океана?

Через полтора месяца после нашего возвращения состоялось заседание ученого совета Института Океанологии, на котором докладывались результаты рейса. Присутствующим продемонстрировали многочисленные (более нескольких сотен) фотографии вершин и склонов подводных гор, образцы горных пород, детальные карты геофизических полей, мощности и состава морских осадков и многие другие материалы. Мое сообщение о естественном происхождении стен было выслушано с большим вниманием, но поддержки не вызвало. Председатель Совета, тогдашний директор института А. С. Монин неодобрительно заметил: «Рано делать окончательные выводы. Городницкий осторожничает, – говорит одно, а рисует другое. Вы на рисунки его поглядите. С этим еще надо разбираться».

Так или иначе, анализ собранных данных дал возможность с уверенностью утверждать, что обе изученные подводные горы были прежде островами и только позднее погрузились под воду.

Их вершины – плоские, срезанные в процессе выветривания. На склонах обеих гор – явные следы разрушительного действия волн прибоя, много хорошо окатанной гальки. Геохимический анализ собранных образцов, изучение глубинного тепла, исследование подводных фотографий на горе Ампер дали возможность воссоздать геологическую историю этого древнего вулкана. Видимо, сначала – около 10–12 млн лет назад – в результате вулканического извержения образовался огромный остров. Затем он был разбит многочисленными трещинами, по которым поднимались новые порции расплавленной магмы. Они-то, вероятно, и образовали таинственные «стены».

В то время, когда мы работали на горах Ампер и Жозефин, второе наше судно «Рифт» провело глубинное сейсмическое профилирование по профилю, пересекающему края обеих плит перпендикулярно Азоро-Гибралтарской зоне. Выяснилось, что океанская литосфера Африканской плиты пододвигается под литосферу Евроазиатской плиты. Из-за этого сжатия возникают глубокие трещины, рассекающие кору. С этим же могут быть связаны вспышки землетрясений, одно из которых в 1735 году полностью разрушило Лиссабон. А на Азорских островах и в наши дни продолжаются извержения вулканов. А раскалывание океанской литосферы вполне могло вызвать быстрые и катастрофические погружения ее отдельных участков с образовавшимися на ней островами. Не так ли ушли под воду вулканические острова Ампер и Жозефин?

Примерно в это же время писатель Леонид Почивалов опубликовал в «Литературной газете» большую статью, в которой подробно описал наши работы на горе Ампер и свое погружение в «Аргусе» на загадочные стены. Он не оставлял надежду найти там Атлантиду. Вскоре я случайно встретился с известным сторонником летающих тарелок и экстрасенсов Феликсом Юрьевичем Зигелем. «Послушайте, – сказал он мне, – как вы относитесь к тому, что на вашей горе Ампер нашли недавно кусок мрамора? Об этом сообщалось в газетах». – «Ну что же, – ответил я, – ничего удивительного. Мы сами дважды находили там куски песчаника и мраморизованного известняка. Их рыбаки привязывают к сетям вместо грузил, вот они и падают на дно». – «Скучный вы человек, – расстроился Зигель. – Неинтересно с вами разговаривать».

И все-таки где же искать Атлантиду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться снова к геологии океанского дна. Когда в геологии господствовали представления о неизменности положения земных континентов – у них и сейчас еще немало именитых сторонников, «фиксистов», – легче жилось и

атлантологам, ибо предполагалось, что океанские впадины возникли в результате опусканий отдельных блоков литосферы. Веский козырь! Но если могли быть резкие опускания целых континентов, то как будто легко объяснимы причины гибели Атлантиды.

Увы! Сегодняшние многочисленные факты указывают на то, что в океане нет погруженных участков континентальной коры. Это на первый взгляд противоречит существованию Атлантиды. Не надо торопиться. Ну что ж, континенты действительно не могут погружаться. А архипелаги? Проведенные нами исследования убедительно показали, что подводные горы Ампер и Жозефин были когда-то островами. И весь подводный хребет, в состав которого они входят, тоже, возможно, был когда-то на поверхности. А если были острова, то на них могли жить люди. Весь вопрос в том, когда и почему это острова погрузились в океанские волны. Попробуем посмотреть на эту загадку с позиций современной науки.

Когда я прикинул, с какой скоростью погружались в воду эти бывшие острова Ампер и Жозефин, то неожиданно оказалось, что скорость была очень велика. Такие же следы быстрого погружения обнаружены американскими геологами, изучавшими несколько лет назад плосковершинную гору Атлантис, тоже входящую в систему Подкова. Еще 12 тысяч лет назад гора Атлантис была островом. Значит, острова, входящие в систему Подкова, затонули катастрофически быстро, что никак не могло случиться при простом утолщении океанской литосферы! Что же заставило их столь внезапно погрузиться? Вспомним, что в описании Платона (если ему, конечно, верить) говорится, что гибель Атлантиды произошла «в один бедственный день и в одну бедственную ночь»!

В 2006 году экраны всего мира обошел японский фантастический фильм «Гибель Японии». Грозные извержения вулканов и моретрясения вызвали неотвратимую катастрофу, и Японские острова неожиданно разламываются и погружаются в океан. Миллионы беженцев, навсегда потерявших родину, ищут спасения на других материках. Не правда ли, похоже на гибель Атлантиды? Так вот, с современных геологических позиций ничего фантастического в кинофильме «Гибель Японии» нет. Ситуация вполне вероятная. Там, где плиты сталкиваются, более тонкая и глубоко погруженная океанская литосфера ломается и «ныряет» под континентальную, унося в глубины на своей «спине» океанские острова. Именно такая картина наблюдается сейчас в Тихом океане, дно которого со сравнительно большой скоростью – около пяти сантиметров в год! – пододвигается под край

Азиатского континента: под Камчатку, Курильскую и Японскую островные дуги.

На восточной оконечности Камчатки, на полуострове Кроноцкий, геологи нашли остатки двух океанских вулканов. Они сорвались с ушедшей вниз океанской плиты и «впечатались» в берег. Вся эта огромная полоса, протянувшаяся на юг до Новой Зеландии, называется «огненным кольцом» Тихого океана. И не случайно здесь происходят многочисленные извержения. Безжалостные цунами обрушиваются на побережья. Грозные землетрясения постоянно тревожат жителей этих мест.

Похожая картина могла бы наблюдаться и при закрытии древнего океана Тетис. Известно, что на острове Кипр сохранился остаток ложа древнего Тетиса, который был выдавлен наверх, когда при «закрытии» океана Африка навалилась на юг Европы, сминая ее край. А большая часть дна Тетиса вместе с островами ушла в глубину. Катастрофические извержения Санторина, Везувия, Этны – все это следствия закрытия Тетиса. Платон пишет, что катастрофа произошла одновременно на всем Средиземноморье. Можно предположить, что при извержении вулкана Санторин в Эгейском море на востоке погибло Праафинское государство и эллинское войско. А на западе, по ту сторону Геркулесовых столбов, от той же катастрофы раскололся и погрузился в воду огромный архипелаг, протянувшийся от Азорских островов до Гибралтара, и вместе с ним Атлантида.

Значит, чтобы решить загадку Атлантиды, надо продолжить изучение подводных гор Азоро-Гибралтарской системы, прежде всего выяснить, была ли эта огромная горная страна на поверхности океана. А если была, то когда погрузилась? Вопрос очень важный. Ведь если погружение совпадает с эпохой человеческой цивилизации, и особенно со временем извержения вулкана Санторин, то именно здесь могла погибнуть Атлантида!

Надо сказать, что А. Галанопулос и Э. Бекон, приводя данные о геологии Атлантического океана и Средиземного моря, опирались на устаревшие «фиксистские» представления о формировании океанов, отвергнутые современной наукой. Так, например, глубоко ошибочны выводы авторов, что в Атлантическом океане якобы нет затонувших островов, – их к настоящему времени найдено несколько десятков. Неверно также утверждение, что «с точки зрения геофизики, Атлантида не могла находиться в Атлантическом океане». Будучи профессором геофизики, я со всей ответственностью заявляю, что именно с точки зрения геофизики, Атлантида могла находиться в Северной Атлантике в районе утонувших островов Хосшу, где проходит граница между Африканской и Евроазиатской плитами, в зоне

которой обнаружены гигантские трещины, частые и разрушительные землетрясения, а также огромные тепловые аномалии, свидетельствующие о высокой тектонической активности.

Что же касается времени гибели легендарной Атлантиды, то оно действительно совпадает со временем извержения вулкана Санторин около 1500 лет до н. э. Только само это чудовищное извержение, уничтожившее крито-минойскую культуру, по моему мнению, было не причиной, а следствием катастрофического столкновения плит по линии закрывшегося палеоокеана Тетис, последним остатком которого является Средиземное море. На острове Кипр на вершине горного массива Тродос геологами найдены остатки древней океанической коры, закинутой силами сжатия из глубин океана на высоту более 2 километров над уровнем моря. По всей линии границы между плитами в историческое время не раз возникали землетрясения и вулканические извержения. Взрыв и катастрофическое извержение вулкана Санторин, видимо, явились следствием такого сильнейшего сжатия, которое на атлантическом участке границы между плитами привело к погружению и гибели некогда могучей островной державы.

Сторонники средиземноморского варианта существования Атлантиды считают, что древние были неважными мореходами и географами, например, путали Геркулесовы столбы с Сицилийским проливом, а в Атлантике практически не бывали. Это слабый довод. Даже в «Одиссее» у Гомера Одиссей и его спутники наблюдают «Пляски богини Эос», то есть полярное сияние, которое можно видеть только в Северной Атлантике, да и то поднявшись до 50° северной широты. Значит, не такими уж плохими мореходами были древние греки.

Я уже упоминал о кокосовых пальмах, деревьях, дающих питье и мазь, описанных в «Критии», которые в Средиземноморье, как известно, не растут. Да и слоны на островах Эгейского моря не обитают. Обращает на себя внимание также, что в первой части «Крития» описано Праафинское государство с огромным Акрополем, которое также было разрушено, «когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп».

Натан Эйдельман призывал меня верить Платону, и я рискую это сделать. Тем более что и геологические данные, полученные нашей экспедицией, не противоречат предположению о гибели целой цепи островов, огромной горной страны между Гибралтарским проливом и Азорским архипелагом. Что же касается времени этого гигантского катаклизма, равного которому не знала человеческая история, то оно косвенно может

быть определено по совокупности легенд и мифов древних народов, в той или иной степени отразивших эту катастрофу, захватившую все страны Средиземноморья и архипелаги «по ту сторону Геркулесовых столбов».

Прежде всего, это Девкалионов потоп, опустошивший все побережье Восточного Средиземноморья от Сирии до Апеннинского полуострова. О нем неоднократно упоминается в древнейших записях на глиняных табличках, найденных на месте древнего порта Угарит, разрушенного землетрясением и огромными волнами где-то около 1370 г. до н. э. Этот потоп древние эллины связывают с именем царя Девкалиона, родившегося в 1573 г. до н. э. и начавшего свое правление в 1541 г. до н. э. Как свидетельствует Гельвеций, Девкалионов потоп произошел в 1511 г. до н. э. Примерно такую же дату 1516 г. до н. э. называет Сет Кальвиций. По мнению А. Стажериса, Девкалионов потоп датируется временем около 1529 г. до н. э. Как мы видим, даты эти, достаточно близкие, примерно соответствуют тому времени, когда на востоке началось гигантское землетрясение, вызвавшее катастрофический взрыв Санторина и волна цунами, обрушившиеся на берега Средиземного моря. Историк Иммануил Великовский, используя вышеупомянутую геохронологию, сделал вывод о том, что Девкалионов потоп совпал по времени с исходом евреев из Египта, описанным в Библии и датируемым примерно 1495 г. до н. э.

Таким образом, вероятнее всего, такие важные в начале человеческой истории события, как гибель Атлантиды на западе и праафинского государства (крито-минойской культуры) на востоке, оборвавшие первую в истории мировую войну, а также исход евреев из Египта, могут быть связаны с уникальной по своим масштабам геологической катастрофой в северо-восточной Атлантике и Средиземном море, вызванной коллизией между Африканской и Евроазиатской литосферными плитами. Нам удалось предложить непротиворечивую геолого-геофизическую модель этой катастрофы. Материалы геофизических исследований, проведенных нами, показывают, что Платону все-таки следует верить, и Атлантиду надо искать за Геркулесовыми столбами в Атлантическом океане, на вершинах обнаруженной нами затонувшей горной страны.

За последние годы мне неоднократно довелось выступать со статьями на страницах разных журналов, а также по радио и телевидению, демонстрируя приведенные рисунки, сделанные мной при погружении на гору Ампер. В середине 90-х годов в мой родной Питер прибыл из Греции известный археолог профессор

Ставрос Папамаринопулос, заинтересовавшийся нашими данными. Я для встречи с ним ездил в Питер и делал специальный доклад для его группы.

Была ли Атлантида или нет?
Профессор греческий внимает мне серьезно.
Ночное небо летнее беззвездно.
Струится в комнату холодноватый свет
С залива Финского. Отвечу, что была,
И положу на стол морскую карту,
И, подчиняясь детскому азарту,
Подводный опишу архипелаг,
Который наблюдал через стекло
Иллюминатора в подводном аппарате,
Где, помнится, дышалось тяжело,
И фотопленку попусту потратя,
Я рисовал старательно затем
Все то, что в полутьме доступно глазу, —
Руины башен городских и стен, —
И сам поверю своему рассказу.
Ведь этот старый выдумщик Платон,
Сократом уличенный в фантазерстве,
Не мог с Солоном разделить позор свой,
Воспоминаний завершая том.
За окнами становится темней.
Нас осеняет общая идея
Легенды допотопной. Перед ней
Ни эллина уж нет, ни иудея.
И проявив научное чутье,
Из фляги греческой некрепкое питье,
Мерцающее в сумерках, как пламя,
Мы разольем, поднявшись над столами,
И выпьем, чокнувшись, за гордый флаг ее,
За детство, что у каждого свое,
За прошлое, утраченное нами.

Вдохновившись докладом, профессор попросил срочно выслать ему в Грецию все имеющиеся данные наших работ, твердо пообещав пробить финансирование международной экспедиции под эгидой фонда «НАТО во имя мира». Получив необходимые материалы, профессор, однако, бесследно исчез.

В конце 90-х в моем кабинете появился молодой и энергичный историк Вячеслав Кудрявцев, директор созданного им «Института метаистории». Согласно его гипотезе, Атлантиду

следовало искать в Северной Атлантике, однако, прежде всего на южной оконечности Британских островов на Кельтском шельфе, в районе банки Литл Сол, геоморфологическая структура которой, по мнению Кудрявцева, напоминает погребенное осадками русло древней реки. Если это действительно устье древней реки, то нынешняя банка являлась местом, благоприятным для древнего города. Гибель Атлантиды Кудрявцев связывает с катастрофическим таянием скандинавских ледников и прорывом Гольфстрима на север. Такой неожиданный прорыв вполне мог быть следствием катастрофической коллизии между Африканской и Евроазиатской плитами и погружения системы островов между Гибралтаром и Азорами. Эта точка зрения находит частичное подтверждение в географических описаниях, содержащихся в упомянутых диалогах Платона, писавшего, что Атлантида состояла из двух частей – островного государства (архипелаг Хосшу?) и плоской прибрежной равнины значительных размеров (южный склон Британских островов?).

Согласно имеющимся геологическим данным, в конце ледникового периода значительная часть Западной Европы ушла под воду в результате повышения уровня Мирового океана, однако погружение это было медленным и происходило постепенно в течение нескольких тысяч лет, а не «в один ужасный день и одну ночь». Впрочем, у Платона это изложено так: «Потом были землетрясения и потопы необычайной разрушительной силы, и в один ужасный день и одну ночь все ваши воины были поглощены землей, и остров Атлантида тоже был поглощен морем и исчез…» («Тимей»).

Здесь упоминаются землетрясения и потопы во множественном числе, явно проходившие на протяжении более длительных промежутков времени. По данным американского палеогляциолога Хартмута Хайнриха, изучавшего донные отложения Северной Атлантики, опубликованным в 1988 году, в течение последнего ледникового периода по крайней мере шесть раз происходили крупномасштабные резкие сходы в океан льда с территории нынешней Канады. Речь при этом идет о миллионнах кубометров льда, что не могло не привести к повышению уровня океана. С другой стороны, резкая тектоническая перестройка на юге Северной Атлантики, в районе Азоро-Гибралтарской зоны и Карибских островов вследствие катастрофической коллизии между плитами могла привести к прорыву Гольфстрима на север и катастрофически быстрому затоплению побережья Западной Европы.

В соответствии с предположениями Кудрявцева, моря между современной Францией и Южной Англией, дно которого сейчас

называется Кельтским шельфом, в те времена еще не было. На его месте была низкая плодородная равнина, обрамленная поднятиями современной Англии и Франции. Вячеслав Кудрявцев, исследовав карту дна Кельтского шельфа, установил интересные совпадения с описаниями Платона. Кельтский шельф неглубок и имеет некоторое подобие берега, в середине которого установлен батиметрией холм, называемый банкой Литл Сол. Глубина дна здесь всего 57 метров на фоне окружающих опущенных участков дна с глубинами 130–160 метров. При этом именно здесь в сторону берега выходит широкое углубление, напоминающее погребенное русло древней реки. Совсем так, как описано у Платона: «Город, находящийся на холме с обрывом в сторону моря, и окружающая его плоская равнина, окруженная с трех сторон горами».

В нашем институте, не без моей помощи, составили проект поисковых работ. Были найдены спонсоры, и планировалась в 1998 году экспедиция на судне нашего института. Предполагалось вначале обследовать район банки Литл Сол у британского побережья, а затем район подводных гор, примыкающий к горе Ампер. Однако в августе 98-го грянул экономический кризис, и отечественные спонсоры развели руками.

Так миф об Атлантиде и остался мифом, не получив пока реального подтверждения. И все-таки я продолжаю верить Платону. Да и трудно не поверить человеку, написавшему много столетий назад: «Верь тому, кто ищет истину, и не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел». История с Атлантидой невольно наводит на размышления о роли в нашей повседневной жизни реального и фантастического, о соотношении между ними. Запомнив со школьных лет фразу Ромен Роллана: «Лучше жалеть о том, что пошел, чем о том, что не пошел», я всегда охотно поддавался искушению разного рода мифов и легенд, стараясь, с одной стороны отыскать в них реальную основу, с другой – лишний раз убедиться в ограниченности и стереотипности догматичного нашего мышления в рамках «диалектического материализма». Мучительно деля небольшое отпущенное мне жизненное время между наукой и литературой, я, в силу извечной своей слабохарактерности и дуализма, никогда не мог решительно отказаться от чего-нибудь одного во имя другого.

Мы живем в начале третьего тысячелетия, когда поток информации поглощает человека с его несовершенными возможностями целиком. Век Ломоносовых и Леонардо прошел безвозвратно. Чтобы добиться успеха в какой-то отрасли, необходимо день за днем сосредоточенно работать только в этом

направлении, стать профессионалом. Я не верю в идеальную картинку, нарисованную Маяковским: «Сидят папаши, каждый – хитр: землю попашет, попишет стихи». Так не бывает. Толстой пахал изредка и по прихоти, а никто из хлебопашцев великим писателем не стал. Дело еще более осложняется, когда речь идет о современной науке, забирающей серьезного научного работника круглосуточно с потрохами. На вопрос, что для меня наука, а что поэзия, я обычно в шутку отвечаю, что это отношение можно сравнить с отношением к жене и любовнице. Сразу же возникает второй вопрос: кто из них жена, а кто любовница? Тут все существенно осложняется. Как сказал поэт Давид Самойлов, графоман отличается от настоящего поэта только результатом труда. Вдохновение и все прочие переживания у него – такие же, ничуть не хуже. Когда пытаешься реализовать или сформулировать интересную идею в науке, испытываешь такой же азарт, такой же завод, как и тогда, когда пишешь стихи.

И все же между наукой и искусством есть непреодолимое глубинное различие. Ведь наука – это, в общем, лишь обнаружение некоего факта природы, поиск уже существующего, пусть даже очень глубоко спрятанного, хотя и здесь очень важен примат созидания, творчества. Открытие Коперником гелиоцентрической системы или Эйнштейном теории относительности – сродни творениям Данте или Бетховена. Самолет, радио, книгопечатание не существовали в природе, их надо было создать. Научный процесс близок к поэтическому, только он проистекает не из воспаленного воображения автора, а требует определенной суммы знаний. Нельзя ничего открыть или создать, не зная физики, математики, геологии. В этом смысле наука более, казалось бы, защищена от шарлатанов и невежд, чем поэзия, где порой невежество выдается за самобытность.

И все-таки, если бы не было, например, Эйнштейна, теорию относительности открыл бы кто-нибудь другой, ибо развитие человеческой мысли настойчиво подталкивало к этому открытию, ревизуя законы ньютоновской механики. Если бы Беккерель не обнаружил на фотопленке следы тяжелых частиц и не было Склодовской-Кюри или Оппенгеймера, все эти изобретения или открытия сделали бы другие. Не будь Лобачевского, другой вывел бы правила неэвклидовой геометрии. Потому что это заложено в самой природе, как металл в руде. Научные открытия, даже самые великие, быстро устаревают, взяв их на вооружение, человечество теряет к ним интерес. В то же время, сколько бы ни прошло веков, ничто не заменит фаюмской живописи, никто не напишет за Пушкина ни одной строки и никто не сочинит за Державина, как туча стремится «по наклонению небес». Так что

единственная неповторимая реализация личности в истории человечества возможна только в искусстве, а не в науке.

И отношения с властями предержащими у ученого сложнее, чем у поэта. Проблема «поэт и царь» довольно проста. Царю от поэта нужно прежде всего восхваление. Недаром говорилось, что «соцреализм – это восхваление начальства методами, доступными его пониманию». А вот от ученого властям нужны прежде всего все более современные орудия убийства. Даже Леонардо да Винчи вынужден был наниматься военным инженером. А дело Оппенгеймера в США или героическая борьба Андрея Дмитриевича Сахарова – отца водородной бомбы – за права человека? В науке и нравственные проблемы, и общественный резонанс подчас гораздо серьезнее и трагичнее.

Я и сам, много лет гордясь тем, что «для власти, для ливреи» не написал ни одной верноподданнической строчки, совершенно не считал зазорным сначала усердно искать для той же власти уран, а позднее – разрабатывать систему магнитной маскировки подводных лодок, никогда практически не задумываясь, как будут использованы результаты моих работ.

Не сгибался угодливо вроде бы,
Всемогущим хвала небесам,
И стихи про любимую Родину
По заявке властей не писал.
Про величие красного знамени
И высоких партийных идей.
Было радостно мне от сознания,
Что руду я ищу для людей.
Лишь к тебе обращался в работе я,
Бог распада, – подземный Плутон,
И нисколько меня не заботило,
Что из этого выйдет потом.
Оснащенный приборами ловкими,
В океанской мерцающей мгле,
Я следил за подводными лодками,
Чтобы мир укрепить на Земле.
Самолюбие теплила гордое
Очевидная польза труда,
А поэмы начальству в угоду я
Никогда не писал, никогда.

С большим запозданием я понял, что для настоящего ученого, помимо таланта, знаний и упорства в работе, постоянного, как у спортсмена, поддерживания формы, необходима

принципиальность и высокая нравственная позиция, чтобы здесь, так же, как в искусстве, «гений и злодейство» были несовместны. И теперь, когда я думаю о тайне гибели Атлантиды, мне все чаще приходят снова на память позабытые строки старой песенки:

И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда»,
Если спросят: «Была Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да».
Пусть поверят историям этим.
Атлантида, ведь дело не в ней:
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.